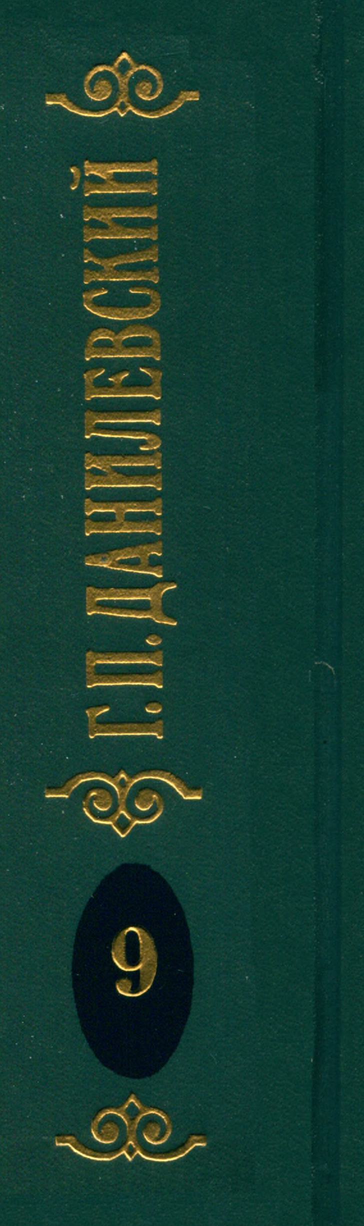
Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

9

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Рассказы
Святочные вечера
Цимбелин
Жизнь и смерть короля Ричарда III
Из путевых заметок



Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Рассказы
Святочные вечера
Цимбелин
Жизнь и смерть короля Ричарда III
Из путевых заметок

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти
томах

МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том девятый

МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.
Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. — М.: ТЕРРА, 1995. — 720 с.

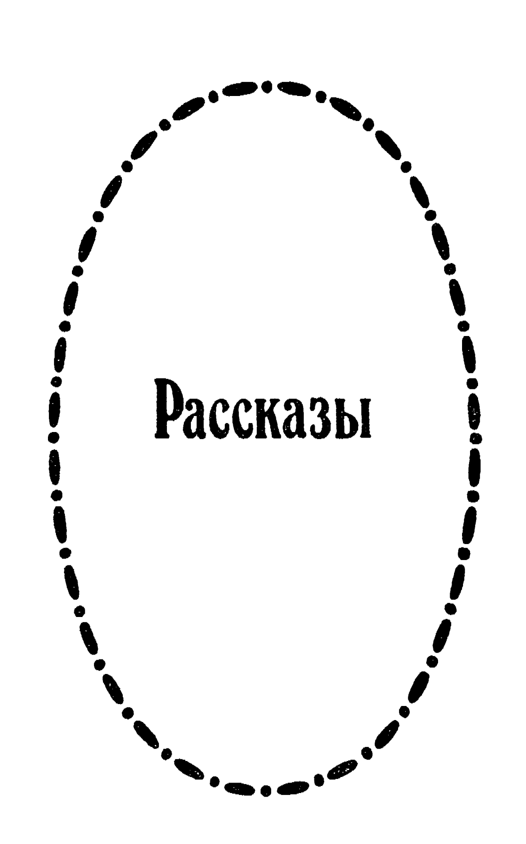
ISBN 5-300-00052-3 (т. 9)
ISBN 5-85255-702-1

В девятый том собрания сочинений вошли рассказы, явившиеся первым опытом писателя в исторической беллетристике, серия фантастических святочных рассказов, написанных в духе знаменитого «Декамерона», просто и увлекательно повествующих о привидениях, явлениях духов и других таинственных вещах, переводы на русский язык двух шекспировских драм «Цимбелин» и «Жизнь и смерть короля Ричарда III».

Д $\frac{4702010100-086}{А30(03)-95}$ **Подписное**

ББК 84Р1

ISBN 5-300-00052-3 (т. 9)
ISBN 5-85255-702-1



Рассказы

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ НА ДНЕПРЕ

(1787 г.)

«Я, матушка, прошу воззреть на здешнее место, как на такое, где слава твоя — оригинальная, и где ты не делишься ею с твоими предшественниками; тут ты не следуешь по стезям другого».

Письмо Потемкина к Екатерине

Императрица Екатерина пожелала увидеть «свое маленькое хозяйство» — вновь приобретенную Новороссию. Она выехала из Петербурга 7 января 1787 года в кругу отборных лиц двора, в сопровождении послов французского, австрийского и английского, поджидая на дороге встретить двух венценосных гостей — польского короля, Станислава-Августа, и австрийского императора, Иосифа Второго. Императрица совершала путь в раззолоченной карете; четырнадцать других карет везли ее свиту и двор. В экипажи впрягалось по восьми лошадей. До шестисот лошадей заготовлялось на каждой станции.

Современникам это странствие Екатерины казалось шествием божества по земле; лица, окружавшие ее, казались гениями, наместники в вышитых золотом кафтанах — королями. Придворным лакеям кланялись, принимая их за генералов. Светлейший Потемкин, прозванный запорожцами *Грицком Нечосой*, ничего не щадил, чтобы путешествие Екатерины сделать поистине волшебным.

Целые дворцы были построены для ее ночлега. Целые леса были сожжены на освещение пути для ее карет. По сторонам дороги горели костры и сотни смоляных бочек. Целые рынки всякой живности уничтожались на перевалах для насыщения желудков царственного поезда. Встретился ветхий хутор, невзрачная деревенька — долой все старое и ветхое. Подгнившие избушки снесены, и на место их выстроены новые, с «веселыми перспективами» и «романтическими перистилями». Кое-где возведены триумфальные ворота, с амурами и стихотворными надписями. На опустелые поля согнаны огромные стада овец и табуны лошадей. Наступила весна. Пастухи одеты в красивые местные наряды и на свирелях приветствовали свою царицу. Целый город Алешки, на Днепре, против Херсона, был выстроен в течение одной зимы. Где не было вовсе деревень, были нарисованы их красивые декорации, с барскими домами, церквами, садами и беседками. Царица остановится на ночлег, а той порой декорации соберут и перевезут далее. Как было не плениться этими видами в местах, где еще недавно рыскали поляки и носилась дикая татарва́. Приятные маленькие обманы были во вкусе века. О них, быть может, под рукою и знали, но они отрадно щекотали самолюбие.

Потянулись безлюдные заднепровские степи. На них встает клубами пыль, несутся ряды всадников. Стреляют из винтовок, веют знамена, гремят барабаны, штыки блестят на солнце. Это — новая украинская армия, отряды пикинеров и гусар, в «удобных и нарядных мундирах», придуманных самим светлейшим. И тут же ближе, глядя на эволюции щегольской конницы, ходят хороводами поселяне и поселянки. Крики «виват!» и украинские напевы несутся с берега. На сухом пути знатное шляхетство, т.е. дворянство, сановники светские и духовные, приветствуют царицу пышно-льстивыми речами. В Мстиславе могилевский архиепископ Георгий Коннисский начал приветственную речь словами: «Оставим астрономам доказывать, что земля около солнца обращается; наше солнце вокруг нас ходит». Первоспущенный в Херсоне для черноморского флота корабль назван именем «Слава Екатерины». В Ка-

неве на Днепре императрицу встретил король Станислав-Август, в ожидании великой гостьи Малороссии, пожертвовавший здесь, по словам тогдашних французских газет, «тремя месяцами времени и тремя миллионами денег, за три часа свидания с императрицей русской!».

Въезд в Киев был совершен зимой, при ста тридцати одном выстреле из пушек и сдаче ключей комендантом крепости. Сотни купчих и мещанок, в малороссийских одеждах, провожали карету императрицы. Она явилась местному дворянству на городском бале, веселая, милостивая, любезная, в атласном зеленом молдаване и в шитых золотом башмаках, проиграла до десяти часов в карты и удалилась в свои покои, повергнув всех в очарование и восторг.

Об этом въезде в Киев Екатерина так писала наутро к генерал-поручику и сенатору Еропкину в Москву:

«Петр Дмитриевич! Вчерашний день, в пять часов за полдень, я сюда благополучно и здорова приехала. Я думала найти в сих полуденных местах и под сорок девятым градусом воздух теплый, а напротив того. Мы въехали в сей город с двадцатиградусным морозом, который и в Петербурге редкость. Однако, воздух здесь имеет менее суровости; понеже, при величайшем людстве и встрече, неприметно было, чтоб кто отморозил уши или нос, что́ бы на севере, конечно, воспоследовало. Здесь приезжих тьма, но, кроме гетмана Браницкого, прочих еще не успела узнать. 30 января 1787 года». И в других письмах к Еропкину, удивляясь, что в Малороссии «на сто тридцати верстах расстояния дубового и соснового лесу столько, как сроду не случалось видеть в один день», — она, между прочим, писала о Киеве: «Здесь великое множество поляков наехало и всякий день еще прибывает. Прошедшее воскресенье у меня был бал, на котором персон до пятисот было обоего пола. — Здесь третий день как не мерзнет, и погода весенняя. Мы все здоровы, в ожидании вскрытия Днепра, который в устье у Херсона и выше порогов уже вскрылся, а здесь еще продержит легкими морозами при солнечном сиянии во весь день».

Два с половиной месяца, с января до половины апреля, Днепр задержал Екатерину в Киеве. От 23 марта она писала Еропкину: «Сегодня Днепр тронулся, и уже в лодках оный переезжают; однако, еще холодновато. Я надеюсь, аще Бог изволит, в половине будущего апреля отселе на галерах пуститься далее». В письме к королевско-великобританскому надворному советнику и лейб-медику Циммерману, перед отъездом из Киева, Екатерина писала: «Завтра отправляюсь в путь и поеду вниз по Днепру до Херсона. Киев своим положением есть место совершенно живописное. Четыре части города весьма обширны, но очень худо застроены. Однако ж, давно уже сей город не имел столь большой нужды в хороших квартирах, как во время трехмесячного моего в нем пребывания. Число разных приезжих народов было весьма велико. Трудно отгадать, что́ их привлекло в Киев, ибо нельзя полагать, чтоб все они обмануты были некоторыми газетами, которые изо всей силы повещали будущее мое коронование в Тавриде, или здесь, о чем никогда и не думано».

22 апреля императрица и двор со свитой сели на галеры, раззолоченные и убранные флагами. На каждой поместился хор музыки. Галера «Днепр» выкинула адмиралтейский флаг. На ней ехала императрица. По сигналу все сходились обедать на галеру «Десну». Время шло быстро. Через неделю прибыли в Кременчуг. Это было 30 апреля. Императрица вышла рано утром на палубу из каюты, где постоянно еще топился камин, и изумилась. Украинская весна была во всем блеске.

Тогда уже во всей красе пышно цвели в прибрежных садах и лесах черешни, дикие яблони и груши. Берега устилались каймами цветов; голубые про́лески цеплялись по отвесам скал. Алый воронец поднимал свою голову среди моря первой сочной зелени. Лиловые ирисы и желтые дикие тюльпаны мелькали по луговинам, а кусты и деревья стонали от криков птиц. У мутных еще вод Днепра, над камышами, перепархивали желтогрудые иволги и краснощекие дятлы. С кормы галер некоторые из свиты забрасывали удки. Между

старых пней по берегам порой мелькали золоторогие змейки. Рои насекомых роились в вешних лучах. Баба-птица едва успевала в исполинский зоб пропихивать мелкую, глотаемую у берегов рыбу. Небо было сине и без единой тучки. Близость юга была слышна на каждом шагу. По вечерам, на заре, гребцы, чубатые и усатые хохлы, затягивали песни, и, под мерный плеск весел, слышались напевы *Доли*, *Журавля* и веселых тогдашних *Вербунок*, под которые набирались из слободских и запорожских казаков новые полки гусар.

Так подвигалось шествие водою до 6 мая, когда галеры были в пятидесяти верстах от прибрежного местечка Новых Кайдак.

День открывался туалетом императрицы, при разнесении кофе. Вскрывались пакеты, доставленные с гонцами сухим путем из Петербурга, Москвы и чужих краев. Время до обеда шло в разговорах. Императрица, в плавучей зале, работала со своими секретарями и письмоводителями. Тут же были и аудиенции высшим сановникам. Обедали за общим столом. Одушевленные речи пересыпались французским остроумием. Принц де Линь, как знали некоторые из собеседников, вел путевые записки. После обеда читали французские и немецкие комедии, писали шуточные русские и французские анаграммы, буриме, загадки, сатирические куплеты, играли в фанты, шахматы и в карты. Кто-то из свиты красками снимал виды скал и берегов Днепра.

Императрица каждое утро, в пудромантеле, чепце и в кофте, усаживалась к столу своей каюты, открывала занавеску у окна, выходившего на реку, замыкала дверь и на листах переплетенной в зеленый атлас тетрадки упражнялась писанием стихов. Придворные сгорали нетерпением услышать новое произведение царственного автора. Впоследствии открылось, что это была комическая опера «Храбрый и смелый витязь Архидеич», игранная потом в Петербурге.

В куплетах оперетки отражалось собственное приятное в те минуты настроение души императрицы. Екатерина писала:

Днесь шумят потоки, тихи ветры веют,
И ключи из горок воду бьют;
Прешироки реки вод плескать не смеют,
А струи вод свежих в поле льют,
Сладко напояя землю растворенну,
Естество прекрасно обновят,
Обольщенны очи, зрящи на вселенну,
Нежны чувства тем увеселят...
Я куда ни погляжу,
Там утехи нахожу;
Там поют соловьи,
Множа радости мои...

Литературные занятия Екатерины были в одно утро неожиданно прерваны легким стуком в двери. Она спросила: «Wer ist dort?» Веселый и звонкий голосок дежурной камеристки Пехтеревой торопливо ответил: «Da ist Jemand von dem Fürst!» Императрица велела ввести пришедшего. То был посланный от князя Потемкина граф Михаил Петрович Румянцев. Он прискакал от фельдмаршала из Кайдак с известием, что император австрийский Иосиф II, под именем графа Фалькенштейна, около 6 мая приехал в Миргород и 8-го въехал в Кайдаки, в сопровождении Потемкина, собираясь посетить Екатерину на галерах. Императрица сейчас же приказала кинуть якоря и вышла на берег, где рядом с галерами, по сухому пути, ехали ее придворные экипажи. Там она пересела в карету и, в сопровождении Пехтеревой, графа Румянцева и графа Безбородко, поспешила от Днепра навстречу к графу Фалькенштейну.

— Ну, скорее, друзья, скорее! — сказала она ямщикам из местных жителей, усевшись в раззолоченный рыдван и жадно впивая в круглое, с резьбой, окно душистый свежий воздух весеннего утра.

Главный ямщик бойкого, поджарого обывательского восьмерика повернулся и, скинув шапку, причем свесился за его ухо черный чуб, ответил, указывая на карету:

— Коли б не вот эта золотая бричка, матинко, так мы б тебя так подхватили, что аж колеса б горели...

Императрица улыбнулась и разговорилась с графом Безбородко. Карета медленно взобралась на крутой, возвышен-

ный правый берег Днепра и быстро покатилась по узенькому проселку. Было шесть часов утра.

Слева мелькали поемные луга, покрытые туманом и поросшие камышами. Справа тянулись холмы, пересекаемые зеленеющими логами, сенокосы и пахоты кайдацких обывателей. В одном месте, в воздухе, над головами как бы прозвенели трубы. Екатерина выглянула из кареты: тремя косяками от Крыма за Днепр тянулись по небу стаи журавлей. Форейторы скакали в пыли и с криками погоняли лошадей.

— Я зачинаю походить приключениями моего века на Петра Великого, — начала Екатерина, глядя на беспрестанно менявшиеся вокруг кареты картины видов, — но что́ Бог ни даст, а по примеру дедушки унывать не стану. Принцесса Ангальт-Цербстская стала Русской Императрицей, и два венценосца ей едут навстречу...

— Однако, ваше величество, — перебил ее граф Безбородко, — что будет, если император Иосиф теперь сидит где-нибудь с обломанной осью и без лошадей? По этой дороге не слишком разлетишься...

В самом деле, толчки дороги давно давали себя чувствовать. Карета круто свернула вправо, потом опять влево и пошла по берегу невзрачной речонки. Густой лес тянулся по другую ее сторону; болотистый берег был усеян кочками, и лошади между ними едва бежали рысью. Вдруг передовой форейтор замахал шапкой и закричал: «Кто-то едет!»

И в то же время из-за угла леса, в полуверсте, навстречу карете показалась рессорная дорожная коляска, также запряженная восьмериком. Лошади коляски неслись в карьер. Это был Иосиф, бросивший свою свиту и ехавший с одним Потемкиным. Встреча Екатерины и Фалькенштейна не замедлила совершиться. Экипажи съехались среди поля, в долине, у кучки верб, под которыми была корчма соседнего казацкого хутора. Дымясь от пара, остановились лошади обоих экипажей.

Император выскочил первый и подоспел к откинутым подножкам кареты, из которой выходила императрица. Они несколько минут провели в обычных приветствиях. Завидя

белую мазанку корчмы и чтобы дать лошадям вздохнуть, Екатерина предложила несколько минут переждать. Предложение было принято. Екатерина и Иосиф пошли вперед, свита немного поодаль. Потемкин указывал дорогу.

«И что это за корчма? И черт бы ее побрал!» — шептал светлейший между тем, не зная сам, куда идет и куда ведет двух венценосных странников. «Ну, ожидал ли я, что они тут встретятся? Строил города, рыл горы, крестил татар, завоевывал царства, чтобы прославить Екатерину, совершил чудеса, чтобы в безлюдном крае она царственно проехала и увидела многолюдство, короля польского заставил выехать ей навстречу в Канев, дождался, что и австрийский император выехал ее встретить... все устроилось отлично, и вдруг они встретятся в гнилой корчме, где попадется какой-нибудь жид, или хохол, или пьяный шляхтич. Наговорят ей, наврут... беспорядок!..»

— Ваше величество, пожалуйте! — сказал светлейший, отворяя перед императрицей дверь корчмы, точно давно знакомый и с этим местом, и с самой корчмой, между тем как глаза его напряженно и не без волнения следили из-за спины гостей за внутренностью комнаты, куда они вошли.

Первые впечатления светлейшего были приятны. Чистые лавки шли вдоль стен комнаты. Образа в главном углу были утыканы сухими цветами. Лампада теплилась перед иконою Николая Чудотворца, праздник которого 9 мая был через два дня. Двухлетний ребенок сидел у порога комнаты на полу и ложкой каши потчевал подслеповатого котенка, которого успел поймать и придержать между ног. Белая курочка вышла из-под печки, причем на только что подметенном и усыпанном песком полу оставила ряд крестиков от своих осторожных лапок и клевала на лавке из миски, покрытой полотенцем, какую-то стряпню, припасенную на ужин. Не видя хозяев, Екатерина обратилась к Потемкину:

— Вероятно, здешняя хозяйка ушла в поле на работу или на базар? — И, обращаясь к Иосифу, прибавила по-французски: — Не могу не заметить вам, граф, удивитель-

ный здесь народ. Простота изумительная. Вот тут, например, весь дом оставлен на руки двух- или трехлетнего ребенка!

— Это корчма, — заметил почтительно Безбородко, — корчма, где продается вино. Вот и бочка. А ведь никто и не тронет.

— Вероятно, потому, ваше величество, — отнесся к Екатерине граф Фалькенштейн, — что все здешнее народонаселение ушло в надежде увидеть у Днепра свою императрицу...

Императрица ласково протянула руку Иосифу, который ее поцеловал, и с улыбкой попросила его сесть. Потемкин, Румянцев, Безбородко, Шувалов и прочие из свиты Екатерины и Иосифа почтительно стали у дверей.

— Чем далее, ваше величество, — сказал Иосиф, — тем более я изумляюсь... Я думал встретить пустыни, а увидел населенные богатые места...

— Да, — подхватила весело Екатерина, взглядывая на Потемкина, — я рада, что сама увидела эти страны своими глазами. Враги князя все употребляли, чтобы очернить его передо мной и перед светом. Нам сказали, что нас встретят жары, несносные человечеству, а нас встретил воздух если не Италии, то родной вашему величеству Венгрии. Степь, правда, безлесная и почиталась безводной, а мы, однако, видели повсюду ручьи и реки, при которых поселений уже не в малом числе. Пользы государственных заведений не всегда вначале открыты понятию множества. Так, Санкт-Петербургская губерния ныне дает восьмую часть доходов всей империи; она же существует всего восемьдесят четыре года. А сколько было говорено против этого города Петра! Посмотрим, как доходны будут здешние порты через короткое время...

— Ваше величество, — возразил граф Фалькенштейн, — у князя Потемкина много врагов, но еще более друзей.

Екатерина продолжала:

— Кричали против климата, пугали и отсоветовали! Обозрев самолично, сюда приехавши, ищу причины такого безрассудного предубеждения — и не нахожу. С приобретением этих благословенных стран исчезнет страх от татар, которых наши

Бахмут, Украйна и Елисаветград так еще живо помнят... Да, граф, я теперь с немалым утешением ежедневно ложусь спать, видя своими глазами, что я не причинила вреда, но принесла и принесу величайшую пользу своей империи...

Вслед за тем разговор перешел к иностранной политике и к туркам. Живое любопытство предмета и обмен глаз на глаз сокровенных мыслей увлекли обоих венценосцев. Потемкин мигнул придворным; те оставили Екатерину наедине с Иосифом. Императрица вскоре позвала Потемкина и стала продолжать свой разговор с Иосифом втроем. Был уже час пополудни. Императрица не заметила, как прошло более двух с половиною часов. Желудки путников начали себя напоминать. Первый нашелся Безбородко. Войдя в комнату, он шепнул два слова Потемкину. Князь смешался и закусил губу. Екатерина угадала его мысли.

— Граф, — обратилась она к Фалькенштейну, — перед возвращением к моим галерам не закусить ли нам чего-нибудь?

— Как угодно. Еще Данте сказал, что может родиться племя, которому не суждено умирать. Это прямо относится к вам и к вашему бессмертному странствованию...

— Но есть ли у нас что с собой? — спросила Екатерина.

Кинулись к экипажам. Оказалось, что впопыхах забыли взять с собой придворную кухню императрицы. В коляске же графа Фалькенштейна, кухня которого также отстала, нашли только нераскупоренную бутылку старого венгерского, кусок сыру да краюшку сухого крестьянского хлеба, которым граф, охотник до лошадей, на станциях из своих рук кормил обывательских скакунов.

— А далеко ли до Днепра? Сколько мы отъехали? — спросила Екатерина.

— Верст тридцать, ваше величество. Кажется, не меньше будет, — ответил Потемкин. — Ехать тяжело, и лошади устали; но не худо бы сейчас же и продолжать путь...

Иосиф молчал. Ему, очевидно, хотелось хоть чем-нибудь перекусить и заморить начинавшийся голод.

— Да неужели тут нет чего-нибудь, хоть самого простого? — начала Екатерина. — Ну, масла, кур, яиц, сметаны?..

— Трудно достать, — ответил Шувалов, — место глухое, и все теперь в поле, на работе. Да верст на десять тут и поселка не найдешь... Ведь это, ваше величество, уже почти Запорожье...

Безбородко нашелся.

— А що, ваше сиятельство, — сказал он по-малороссийски Потемкину, — неужели мы не нагодуем царицы и ее гостя?

И, подвязав под мышки, в виде фартука, носовой платок, он открыл трубу, наложил в печку щепок, вздул огонь, поставил на треног сковороду; очень ловко угадал, что под лавкой, в чистом горшке с золою, должны быть куриные яйца, выпустил их с дюжину на сковородку, и яичница вскоре зашипела. Румянцев и Шувалов от него не отставали: нашли в сенях в подполье крынку масла, с чердака стащили привешенный в дымнике окорок, в темной кладовой отыскали кувшин молока и все это уставили на стол. Этот пример увлек остальных. Фрейлины чистили и на вертеле, импровизированном из деревянных щепочек, поджаривали часть окорока. Иосиф с молока снимал в стакан сливки. Сам Потемкин, в душе посылая к черту всякие неповинные дорожные приключения, в чулках и в башмаках, закинув за спину полы шитого золотом кафтана, не отставал от этих самоучек-поваров и стряпух: он засучил рукава, запихнул под них блондовые манжеты и весьма усердно перемывал и перетирал для царского завтрака глиняные миски и деревянные тарелки корчмаря. «Ну, как вы себе там ни радуйтесь этому, — думал он, — однако ж желудок всегда играл великую роль в дипломатии! И как бы Иосиф без этой яичницы не прибрал нас к рукам в начинаемом нашем деле с турками...»

Между тем, пока готовился завтрак, в открытых дверях корчмы показался старикашка, согнутый, с красным носом и с жиденьким белым пухом на голове, бороде и около ушей. Он остановился на пороге и в изумлении стал глядеть по комнате.

Завидя его, собеседники замолчали и, в разных положениях, с любопытством устремили на него глаза.

— А что, панове молодции, — начал старичок, очевидно, бывший навеселе, — ходил я на царицю подывиться! Да ба! Ничего не видел... Нету уже. Еще вчера проехала!

Разбитные движения и шамкающий голос старичка были поистине забавны.

— Ты хозяин? — спросила Екатерина.

— Хозяин, пани-матко, корчмарь. А вы из Мирной, чи з Кременчука?

— Из Кременчуга — улыбнулась Екатерина, втайне радуясь, что ее не узнали.

Глаза светлейшего впились в красноватые, веселые глазки старика.

— А что, давно ли ты здесь торгуешь? — спросила императрица.

— Да еще как Пугача ловили, то я внука на войну снарядил, а сам тут сел. Вот с какого году, считайте сами...

Имя Пугачева несколько смутило слушателей.

Потемкин начал опять кусать то губы, то ногти.

— Сын у тебя есть? — продолжала Екатерина.

— Был, да уж три года как умер.

— Который же, дедушка, тебе год?

— Какой год? А вот какой. Девяносто восьмой год, говорят. Я еще и шведа не забыл, как под Полтавой бился, да и самого царя Петра Алексеевича видел...

Имя Петра Великого оживило присутствующих. Все тесно сдвинулись к старику. Потемкин подошел к нему и ободрительно-благосклонно потрепал его по плечу.

— Говори, говори, старик! Как тебя звать? — подхватила Екатерина.

Старик кашлянул, вынул из-за пазухи клетчатый платок и утерся.

— Постойте, пани-матко! Что-то утомился! Сяду немного. Ходил пешком до самого Днепра на царицю посмотреть, какая там она есть, да прозевал... Гайда — уже проехала. А

царя Петра так я точно видел и даже говорил с ним, как шведа погнали до Переволочной и мы панихиду на могиле служили. Зовут меня Галайда. Стойте, добродии. Выпить хочется... То нет ли у вас, господа, горилки? Моя Феська где-то запропастилась, а ключ у нее, и мне она горилки не дает, хоть горилка и моя, — бо как начну с радости, то упьюсь...

— Кто же это Феська? — спросила Екатерина.

— А моя наймичка, — прошамкал старик, — она продает горилку да меня доглядает; а я уже не осилю; только кашу ем да Богу молюсь. Хорошая девка, да шкодливая: от москалей не отобьешься...

Старика усадили.

— Так как же, как, — допрашивала его Екатерина, — ты, дедушка, действительно видел царя Петра?

Беззубый Галайда выпил водки, заметил, что Шувалов из-за спины других нюхает табак, попросил и себе табакерку, понюхал, крякнул и начал. Граф Безбородко переводил его слова.

— Был я, пани-матко, и вы, панове-молодцы, был я, голубочко, краля ты моя, тогда казаком и служил у Мазепы в войске, только ему не передавался, чтоб ему пусто было! И царю не изменял, хоть и был еще совсем молодой... Как наступал на нас швед, а меня поставили с алебардой и пищаль в руки дали. Только туда-сюда, глядь, ан велят уже бить не шведов, а москалей, и шведу передаться. Не передались мы и пошли гурьбой до лагеря. Тут палят из пушек, а мы хлеба с солью поели да и сами давай палить. После нас перевели на гору за Ворсклу, через Лыкощин брод. А тут вблизи уже царь стоит лагерем. Как стали стрелять из царского отряда, смотрим, шведы и побежали. Вот так стоял царь да в трубу смотрел, а так редут стоял, а тут палатки... Ну, и побили же шведов да в Переволочной перетопили. Слышим: зовут на панихиду. Пришли мы, а трупу навалено — и Боже упаси! Чугун, ядра да кони. А тут опять и сам царь стоит: такой на нем зеленый кафтан, высокие сапоги с раструбами и шпага. Попы поют канон, крест высокий такой на могиле ставят, а царь поднял икону, что́ швед-антихрист на поругание расписал в шашечную

доску и в лагере своем в шашки на ней играл. Прослезился царь и при всем народе поцеловал ту икону, а после ее на освящение отдал. Как сошел царь с могилы, генералы окружили его, а он к нам. Обходит ряды. То с тем, то с другим из нас поговорит. А мы, казаки, уж так и ждем, что станут нас перебирать. О Мазепе стал говорить. Он, говорит, в Турецкую землю побежал; но мы, говорит, его оттуда вызволим. Стал наискосок так против меня, да как глянет на меня — я обомлел. «Ты, — говорит, — красавец, откуда?» А я, панове, был как мак румяный, да рослый, да сильный. «Из Кайдаков, — говорю, — ваше царское величество!» — «Убил же ты хоть одного шведа?» — спрашивает. «Семерых, — говорю, — убил, только упал один скурвин-сын, — говорю, — без сабли был, свалил меня обманом сзади, да платок с хлебом вынул и удрал опять. Так, дрянной народ! Только баб наших забиждает!» Усмехнулся царь, постоял и говорит тому генералу, что выше да толще других был и ближе к нему стоял. «Вот этот, — говорит, — красавец, и правду сказал, что шведы дрянной народ. Мы же баталию хорошую одержали». А тут уже, после панихиды, нас и распустили по домам; кто куда хотел, туда и шел. И долго мы поминали царя...

Этим рассказом не кончилось. Императрица задала старику не один еще вопрос о виденном им.

В уме Потемкина между тем зрела счастливая мысль. Он не хотел даром пропустить и этой случайной встречи в степи с живой скрижалью времен петровских. Обратясь к императрице, он сказал:

— Ваше величество! На обратном пути из Крыма, в Полтаве, я намерен устроить вам зрелище, матери отечества и мудрой царице достойное: именно маневры воинские, где бы два разные лагеря представили на деле примерно полный бой блаженной памяти императора Петра Великого с королем Карлом XII, и, для вящей верности в расположении войск и хода боя, возьму в руководители этого старика. Ему совершенно можно поверить, и он все отлично расскажет по памяти.

Сказано и сделано.

Старику, наконец, сказали, кто перед ним был. Он несколько мгновений остался в совершенном столбняке, потом упал на колени и вскрикнул: «Ма́мо, царица, помилуй!»

Императрица милостиво подняла его, снова обласкала, садясь в карету, поручила его графу Безбородко и, видя, как он занял ее гостей и в особенности Иосифа II, спросила у старика:

— Ну, дедушка, скажи же ты мне, чего ты желаешь? Все, что скажешь, исполню. Говори. Не робей...

Старик взглянул на пышных странников, на придворных, которые суетились вокруг кареты, и задумался. Хмель его прошел.

— Ваше царское величество! — сказал он. — Коли просить, так вот чего я попрошу. Дайте мне денег рублей двадцать, коли ваша милость... Есть у меня племянник — полюбил одну девку и посватался за нее, а батько ее не отдает, за тем, что бедный он. Ну, он и продался в рекруты, нанялся за одного мещанина за двадцать карбованцев — ну, и гуляет теперь! Так коли бы его спасти от солдатчины, пропитые деньги мещанину воротить, а его женить! Вот бы мне подмога и была... Да и жаль его: малюет, вот как малюет всякие картины, что поискать! В Борисовке учился и совсем вышел маляр, и в Переяславле в ученье, в бурсе был! Грамотный и совсем хороший человек...

— Где же твой племянник? — спросила Екатерина. — И не поздно ли? Может быть, ему уже и лоб забрили?

— Ни, ма́мо, — ответил Галайда, — срок еще до завтра! А он в Мирном, тут неподалеку, на ярмарке, гуляет со своим наемщиком...

Императрица обратилась снова к графу Безбородко, поручила ему устроить судьбу племянника старика, назначила сумму на выкуп его из рекрут и на его свадьбу и уехала снова на Днепр, к своим галерам, с графом Фалькенштейном и с остальной свитой.

Старый Галайда, которого уже теперь и Потемкин не желал упустить из виду, очутился в раззолоченной карете и с графом Безбородко понесся на ярмарку в Мирное. Граф,

пользуясь тем, что Екатерина должна была переждать несколько в местечке Кайдаках и потом спуститься ниже, для заложения города Екатеринослава, и чтобы угодить императрице, поехал лично устроить судьбу племянника Галайды.

Невыразимо было впечатление ярмарочного люда, когда царская золотая карета въехала на торг и из кареты вышли важный пан, в шелку и в бархате, и старый дед, в онучах и в свитке. Кинулись искать рекрута. Он явился к карете, как был, с музыкантами и с толпой гулявшего с ним народа.

Новому рекруту оставалось докучивать еще один день, и он кутил «во все заставки». По местному обычаю, сохраненному и доныне, Боровиковский (так звали племянника старого Галайды) еще с утра обвешался лентами и платками, взял музыкантов, выговоренных у своего нанимателя, и пошел на торг. Наниматель, толстый мещанин, в долгополой свитке, с трепетом следил и по уговору исполнял малейшее желание своего рекрута. По уговору было положено: ему, Боровиковскому, казаку и ремеслом маляру, идти волею в рекруты за мещанина, а мещанину за это дать ему двадцать рублей денег да горилки вдоволь и целую неделю быть в его распоряжении. И вымещал же за это Боровиковский, и всякий продававшийся в рекруты, на его месте, за потерю свободы! Чего только он ни придумывал в своей простоте в эту буйную и роковую неделю! Например, в первый же день он напивался до омертвения, ложился среди улицы, приказывал прикатить бочонок водки и собравшейся толпе кричал: «Пейте! Все пейте!» Все пили, и наниматель не смел отказать в этом.

Воспользовавшись ярмаркой, Боровиковский водил гурьбу народа за собой. Подплясывая под музыку, он хватал с купеческих прилавков шелковые платки, серьги, ленты и гранаты, кричал: «Нате, это вам, люди добрые! Берите!» — и швырял забираемое в народ, а мещанин молча расплачивался. Остановясь перед бочкой с дегтем, он кричал мещанину: «Мажь всем!» Все подставляли ноги. Купец мазал кому сапоги, кому черевики, и мещанин снова безмолвно за все расплачивался. А попробуй он не заплатить! Продающийся

в таком случае имел право тотчас отказаться идти за него в рекруты, и все угощения, и данная сумма терялись безвозвратно. Подойдя к торгу, Безбородко остановился против любопытной гурьбы с рекрутом.

— Ты наемщик в рекруты? Ты Боровиковский? — спросил он, вглядываясь в забулдыгу, который уже не мог как следует танцевать, но все еще под хор музыки переминался на месте и подплясывал.

— Я... а вам что, пане-добродию?

— Ну, Боровиковский, готовься же: меня послала сама царица. Бросай своего нанимателя... Вот деньги за тебя и за все, что ты растратил.

Мещанин вытаращил глаза и, дрожа, лепетал:

— За что же, помилуйте, не погубите!

— А за тебя, — сказал Безбородко с улыбкой, — я попрошу государыню, — она, милостивая, простит тебя за противный законам подкуп. Только чтобы загладил вину против царицы, за нехотение служить, ты должен сейчас же поступить на службу. Вот твои деньги.

Мещанин взял сто рублей и, довольный тем, что получил впятеро более, чем задолжал ему его рекрут, на другой же день сам охотно сдался в солдаты.

Боровиковский проспался и не верил глазам. Он уже был дома. Дед Галайда зажег свечку у образов, закурил ладан в ручной поливяной курильнице и молился. Феська, стоя у дверей, плакала. Дед достал из сундука завязанные в холст деньги. Царица дала на свадьбу Боровиковскому особо сто рублей. Нечего говорить, что это в те годы была почти баснословная сумма для простолюдина на Украйне, да и везде. Молодой маляр, еще вчера рекрут, не выдержал, упал на колени перед дедом и залился слезами, целуя царские деньги. «Господи Боже! За что такая милость! Спаси и помилуй царицу! А тебе, дидусю, вот какое спасибо!» И он трижды поклонился ему в землю. Старику и маляру было велено немедленно снаряжаться и ехать на царской подводе в Полтаву.

В Бахчисарае Екатерина написала стихи Потемкину:

Лежала я вечор в беседке ханской
В средине бусурман и веры мусульманской.
О, Божьи чудеса! из предков кто моих
Спокоен почивал от орд и ханов их?

О Крыме, где императрица из окон дворца в Инкермане любовалась юным севастопольским флотом, Екатерина выразилась: «Приобретение сие важно; предки дорого заплатили бы за него».

На возвратном пути из Крыма, под Полтавою, императрица смотрела неслыханные и невиданные дотоле маневры, где был искусно представлен примерный бой русских и шведов. И эти маневры были устроены по указаниям старого Галайды. Конечно, он не мог помнить в частностях подробного расположения частей войск и хода боя. Зато с невыразимой ясностью он помнил главные черты побоища и — самое важное — мог указать, где стоял в такое-то время, где сказал и где распоряжался сам царь. «Вот тут он глядел на шведов! А тут понесся к пушкам! А там и вовсе погнал врага с поля! И мы все за ними гналися!»...

Боровиковский отличился на другом поприще.

Полтавское дворянство в самом городе выстроило залу для встречи императрицы. Его маршалу кто-то шепнул о происшествии близ Кайдак и о любопытной судьбе племянника Галайды, руководившего приготовлениями к царским маневрам. Маршал призвал маляра.

— Можешь ли ты расписать царскую залу? — спросил он.

— Могу.

— А как брешешь?

— Ну, убей Бог, не брешу!

— Ну, смотри же! Вот тебе краски и кисти, что остались от нового иконостаса в соборе. Малюй, да берегись! Испакостишь дело, дам тебе двести батогов в спину...

Боровиковский принялся за работу и изумил всех.

Когда императрица въехала в Полтаву и вошла в изукрашенную дворянскую залу, четыре картины на четырех стенах представились ее глазам.

На одной был изображен, во весь рост, Петр Великий, в виде плугаря, пахавшего тяжелым плугом пустынную, заросшую тернием и бурьяном почву России.

На противоположной стене была изображена Екатерина Вторая, в виде сеятельницы, бросавшей из лукошка на плече семена в эту разрыхленную уже почву.

На третьей стене изображалась опять Екатерина, с пером в руке и со вдохновенно откинутой головой, за работой над знаменитым Наказом о составлении проекта нового уложения.

На четвертой были изображены семь греческих мудрецов, удивлявшихся и ломавших голову над этим мудрым Наказом.

Дальнейшая судьба Галайды неизвестна. Боровиковский же получил ход и впоследствии прославился в Петербурге своими работами по церковной и портретной живописи.

1858 г.

ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ С СОКОЛОМ

Было весеннее время.

Выехал восемнадцатилетний царь Алексей Михайлович из села Измайлова, вдоль берегов Москвы-реки, на любимую потеху, на охоту с соколами и кречетами.

Это был еще второй год его царствования. Государством правил царский дядька, Борис Иванович Морозов, и рад был, что государь тешится. Охота выезжала как следует: все верхами, кто на буланом, кто на гнедом, с соколами на правой рукавице. На головке каждой из ловчих птиц был алый бархатный клобучок, с золотою оторочкою; на ногах суконные «ногавки», род чулочек, с тесменными «опутинками»; а в хвосте, чтоб слышать, где сокол сядет, серебряный

колокольчик. Тут были все любимые царские охотники, и за каждым его «поддатень». За всадниками ехал обоз со слугами, царскою кухнею и палатками. Стража из стрельцов замыкала шествие. Сокольники были в цветных кафтанах, в горностаевых и лисьих шапках и в сафьянных сапогах. У каждого на боку висел серебряный рог. Птицы также были в больших выездных нарядах. Сам царь ехал без сокола. Он ожидал к сборному месту из Москвы от главного ловчего, Афанасия Ивановича Матюшкина, гонца с нововыношенным соколом, птицей, как уведомлял Матюшкин, неслыханного лета и силы. Сам же царский любимец Матюшкин лежал в Москве в лихорадке и не мог присутствовать на этой забаве. И каждый сокольник, помня уряд по уставу, вздевал рукавицу «тихо и стройно», принимал сокола и кречета, перекрестясь, «красновато, премудровато и молодцевато» и выносил его по уставу: «бережно, явно, смело, подправительно, подъявительно, к ведению человеческому и к красоте сокольей».

Было еще рано. Туманный, сероватый денек обещал птице резвую и нестомчивую гоньбу. Царь, ожидая посла от Матюшкина, то и дело оглядывался к проселку, откуда должен был показаться гонец. С косогора, поросшего мелким ивняком и березками, выехали на широкое, низменное поле, усеянное озерками, кочками и кустарниками. Нигде в свои разъезды по московским окрестностям, ни близ сел Тайнинского, Сущева и Воробьева, ни близ Преображенского и Напруднова, царь не находил столько дичи, как здесь, по болотным «прыскам» Москвы-реки. Здесь кишмя кишели бесчисленные стаи уток, гусей, чаек, куликов, цаплей и всякой дикой птицы.

Спустившись мимо капустных огородов чьей-то подгородней земли, царь остановил коня. Из-под его ног через болото взлетел гусиный выводок. Царь указал рукою.

— Знать, гонец-то от Афанасия Ивановича не скоро выедет! — сказал он, вглядываясь, как гуси полетели и плавно спустились на ближнее озеро.

Всадники стали готовиться к охоте.

Первый выпустил птиц Парфентий Табалин. Его кречеты, Анпрас и Арбас, были из породы «дербников», то есть брали, как сокола, падая с высоты, и, как ястреб, ловя птицу в угон. Взлетела чайка. Кречеты брошены с рук и стали всходить кругами, один выше, другой пониже, так что чайка вскоре очутилась между ними и кинулась к земле. Нижний кречет помчался полем, плывя, как ласточка, и чуть не задевая земли крылом. Вмиг он подбил чайку кверху. Она взвилась. Верхний кречет кинулся вниз на нее. Чайка взмыла в сторону и промахнулась. Оба кречета, почти разом, вцепились в нее и вместе с нею, звеня бубенчиками, упали в траву. Табалин поскакал принять добычу.

За ним пускали птиц Комчатый, Хомяков и Лабутин. Кречет Комчатого, Бумар, между двух лесков кинулся на молодого гуся и, после двух угонов, сшиб его в траву. Вежливая птица даже не села на добычу, а опустилась возле, к сторонке, и, поводя разгоревшимися от злости глазами, стала охорашиваться, чистя клювом перья и кивая алою шапочкою. Затравили еще двух куликов и утку. Царь все поджидал гонца и почти не принимал участия в охоте. Стоя на пригородке, под деревом, он смотрел вдаль и изредка переговаривался с Хомяковым. Пестрые «вершники» то рассыпались по лугам, то скакали кучами вдогонку за соколами. Царский стремянной затрубил в рог сбор к месту. Все сокольники съехались к царской палатке. Пошли толки о добыче, о соколиных ставках. Как ни строг был дворцовый уряд, между сокольниками, все почти сверстниками царя, то там, то здесь слышались шутки или веселый смех.

— Ну, знать, доподлинно Афанасий-то Иванович позамешкался. Сытый голодного не разумеет! Давайте есть! — сказал царь. Слуги разостлали у палатки шелковый коврик. Все место отдыха обнесли подвижными рогатками и поставили у входов стражу. Царь велел, без чинов, сокольникам садиться по ковру, а сам поместился у входа в палатку.

Не успел царь с охотниками закусить, на лугу послышался звук рога. Все повели глазами с косогора. Из-за кучки берез по-

казался гонец от Матюшкина и с ним несколько сокольников. Посланный подъехал, спешился у рогаток и поднес царю вновь обученного сокола. Царь взглянул на птицу, и охотницкое сердце его запрыгало. Такой красоты он еще и не видывал...

Что за птица! Взят он был не с гнезда от матери, а выношен уже «слётком». Дикости и смелости он был удивительной. Весь белый, как серебро, только ножки красные. Сидел он степенно и гордо. Головка была маленькая, спина широкая, грудь крепкая, крылья и хвост перо к перу, а глаза так и горели, ярко-желтые, «наигранные» и сверкавшие смелою, дикою ясностью...

— Хороша птица! Как-то ловит? — сказал царь, осмотрев сокола с полным вниманием ценителя и знатока.

Палатку собрали; всадники сели на коней. Обоз тронулся вперед. Царь указал охоте ехать к Коломенскому. Подвели царского коня. Царь ухватился за холку, прыгнул в седло и протянул за соколом руку. Рука его дрожала, грудь порывисто поднималась. Неровным взором он окинул сокольников, повел поводом. Тяжелый, коренастый конь тронулся рысью по кочковатому полю. Бубенчик зазвенел в хвосте сокола.

Молча ехали сокольники, минуя то озерко, то мелкий кустарник, то бегущий в сторону узенький проселок. Всадники забились в лесистые луга, с которых еще не сошли весенние водные застои. Сокольничий Лабутин первый завидел в стороне между длинных прошлогодних камышей выводок нырков. Он подал знак. Все остановились и замерли в ожидании царского приказа. Царь укоротил поводья, вгляделся, медленно поднял правую руку и бросил сокола с рукавицы в воздух. Шнурок развязался, сокол взмыл и кругами стал всходить вверх... все выше и выше, так что скоро чуть стало его видно, и когда показалось, что вот он исчезнет в облаках, вдруг, распластавши хвост, он сделал ставку и, склоня голову, зорко посмотрел вниз... Уток согнали.

Не успел царь пришпорить коня, как сокол свернулся в комок, ринулся сверху, вцепился в добычу и вместе с нею упал в ближние кусты.

Все бросились туда. Чины позабыты. Охотники толпятся, чтоб только взглянуть, как взята птица: жива ли она, изранена или убита до смерти? Только не видно сокола в кустах. Рассыпались охотники по всему перелеску, по ближним пригоркам, стали спускаться в овраги, прислушиваться к бубенчику: нет да и нет. Или сокол спустил утку и, невидный за кустами, с другой стороны пошел в угон за иною какою птицей; или не выпускал ее и, на полном раздолье, ел ее где-нибудь в гущине деревьев. Наконец, мог оборваться бубенчик, а он тут же, в кустах, где-нибудь сидел, охорашиваясь и чистя перья. Что за диво!

— Ищите, ребята! — сказал царь, снуя на коне по траве и между кустов. — Кто изловит мне сокола, дам тому пару соболей!

Пропажа сокола, особенно в первый улов, была не редкость. Часто соколов уносило ветром, а еще чаще они отбивались и дичали в соседних лесах.

Сокольники, для лучших поисков, спешились; коней привязали к кустам, а сами с новым рвением кинулись по лугам и по соседним оврагам. То там затрубит рог, то здесь отзовется. Желтые, голубые и красные кафтаны мелькают между деревьев. На соседней пашне мужик пахал сохою под озимь. Остановился, оперся на присошник и дивуется, что это за бояре охотятся: не Борис ли Иванович Морозов выехал поразмяться, или дворские травят птицу на государеву кухню; а может быть, и сам царь тут же, недалече, где-нибудь между ними?..

Затрубил опять государь. Собрались к нему охотники уже в другом месте, на какой-то лесистой лощинке, у берега небольшого ручья, впадавшего в Москву-реку.

— А что, ребята, не нашли сокола?

— Нет, государь, не нашли!

— Что за притча!

Государь очень досадовал, что пропал еще неиспытанный сокол.

Охотники выехали в другом месте на крутой берег ручья и увидели сокола в траве: утка билась у него в когтях. И

в то же время на ясной поверхности воды, между склоненными с берега камышами, показалась перед охотниками редкой величины, вся белая, как лунь, цапля. Она бережно шла неглубокой водою, поглядывая издали на всадников и вынимая из воды то одну ногу, то другую. Царь принял утку, снова сел на коня, спугнул цаплю и указал ее соколу. Цапля взмахнула крыльями, медленно поднялась над водой и полетела в сторону. Сокол кинулся за нею не прямо, а стал забирать вверх, забрался в недосягаемую высоту и оттуда полетел вровень над цаплею...

Царь дал коню шпоры и поскакал, следя за соколом. Сокольники не отставали от царя. Так мчались они долго по лугам и просохнувшим полям, через рвы и кочки, мосты и гати. Цапля была сильная и — ноги назад, а грудь вперед — на огромных крыльях плыла, как белопарусная ладья, по ветру. Сокол не отставал от нее и забирался выше и выше. Цапля его видела. Всадники выскочили на возвышенную, гладкую поляну. Вдали мелькали крылья мельницы и огород какого-то селения; вправо шел проселок в лес, глядевший из-за косогора. Вдруг цапля, от усталости или с особою хитростью, замедлила полет и стала забирать влево, как бы желая опуститься в лес. В тот же миг сокол всею силою полетел вниз на нее. Он был уже близко; оставался последний удар, как цапля обернулась хвостом к земле и отбила его толчком длинных ног и огромного носа. Сокол сдался, пошел книзу, но, не долетая до земли, опять собрался с силами и еще быстрее стал забирать над цаплей. Царь оглянулся: за ним скакал один Хомяков. Другие охотники чуть виднелись в рассыпку, далеко назади, где один, а где два и три вместе. «Ну, Семеныч, не отставай!» — крикнул разгоревшийся царь и, стегнув коня, еще быстрее поскакал за соколом.

Незаметно миновали опять какую-то пашню со свежими зеленеющими всходами. С грохотом пронеслись кони через старый расшатанный мост, над узеньким ручьем какой-то усадьбишки. Путь начинал идти в гору, к лесу. Замелькали березы. Показался песок. Овраги зачернели чаще. «Не от-

ставай, Семеныч, не отставай! Еще пробежим, и возьмет сокол!» — кричал царь, то и дело устраняясь от ветвей. Конь под Хомяковым задел копытом за пень и грохнулся с ездоком оземь. Чуть успел оглянуться царь, как сокол над опушкою леса сделал полукруг, ударил грудью в цаплю и, вместе с нею перевалившись за деревья, пошел оврагом далее. Царский конь взобрался на гору и с последним усилием вместе с ним влетел в просеку леса вдоль оврага. Не проскакал он и ста шагов, как остановился на всем размахе. Царь глянул: конь, фыркая, уперся ногами в обрыв...

За обрывом шла река. За рекою, по зеленому откосу берега, рассыпавшись бревенчатыми избами, клетями, журавлями колодцев и овинами, располагалась у реки деревня. Деревянная, почернелая церковь стояла в стороне, на крутом пригорке. А прямо за рекой в гору шел обширный сад. Над ним чернели вышки боярского терема, с пристройками, крылечками и голубятней. Но не село, не сад и не терем заняли царя. Остановившись на всем скаку и ухватясь рукою за гриву коня, он повел глаза вслед за цаплею и остолбенел. Прямо против обрыва, над которым он стал, между безлистных еще деревьев сада возносились резные, расцвеченные качели. А на качелях, лицом к реке, сидела и качалась, в зеленой душегрейке, в красном монисте, в желтых башмачках и в золотом с травами сарафане, боярышня, очевидно, дочка хозяина. Сенные девушки толпою, с песнями и смехом, раскачивали качели. Долго не мог опомниться царь. Девушки увидели его, взлетевшего на пригорок с конем; перед ними обрисовались его расстегнутый на скаку опашень, высокая соболья шапка, цветная перевязь на груди. Они вскрикнули, побежали от качелей к дому...

Хомяков, прихрамывая, привязал к дереву коня и в беспокойстве побежал к обрыву, над которым, вырвавшись из-за дерев, стоял и следил за уходившими девушками царь. Глаза Алексея Михайловича, казалось, все еще видели перед собою высоко взлетавшие качели, красные башмачки, белое лицо, черные брови и прыгавшее на груди монисто боярыш-

ни. Царь уже не думал о соколе. Он сам в этот миг походил на сокола, вперяющего взор в красную и славную добычу.

— Что, Семеныч, — сказал в волнении царь, завидев Хомякова, — а ведь сокол-то наш с цаплею, кажись, свалился вот в этот сад.

Хомяков, потирая ушибленную ногу, не показал виду, что заметил волнение царя, и ответил: «Как знаешь, государь; тебе виднее. Ты сюда прежде подоспел!» И оба охотника, пока остальные всадники доскакали до лесу, спустились к реке, отыскали мосток и стали подниматься мимо сада к боярским воротам. Ворота были заперты. Хомяков затрубил. Конюхи выскочили из людской. Через двор к воротам, переваливаясь, спешила грузная боярская домоправительница, в бархатной кичке и в меховой душегрейке.

Ворота растворили. Домоправительница, пугливо разглядывая посетителей, отвесила низкий поклон.

— Мы охотились тут, — сказал царь, — наш сокол с добычею упал, должно статься, в ваш огород или сад. Не видали ли?

— Ох, батюшки, ох, кормильцы мои! Точно упал ваш сокол: видели, как и опустился, у самой той вон горенки. Там и щиплет дичину! А вы кто такие?

Царь молча переглянулся с Хомяковым и ответил:

— Дворские, царские охотники. А ваш боярин дома?

— Нету-ти боярина! В свою Касимовскую вотчину отлучился с боярынею.

— Чье же это село и чьи хоромы? — спросил царь, радуясь, что его не узнали.

— Рафа Родионовича Всеволожского.

— Ну, коли вам запрета нет, — сказал царь, — мы заедем, на отсутствии боярина вашего, отдохнуть и коней напоить. Мы московские, далече от своих отбилися, а до вечера еще путь велик.

— Милости просим, кормильцы! Чай, боярин-то вас али вы его знаете? — сказала старая домоправительница и, суетливо переваливаясь, пошла к терему. Терем был красиво

выстроен. Боярин Всеволожский не был близок ко двору. Он еще с конца предыдущего царствования удалился из Москвы, безвыездно проводил время в своих деревнях и только изредка служил пищею для толков о своих затеях: всем была известна его страсть к садам и цветоводству.

У крыльца всадники спешились. Боярские конюхи повели их лошадей к конюшне.

— Вот ваш сокол, вот! — говорила домоправительница, вводя гостей в особую загородку сада. Хомяков принял цаплю, царь взял сокола. Дворня толпилась у калитки, желая поглядеть и на нарядных охотников, и на птиц.

— Ну, спасибо же вам, — сказал царь, осмотрев сокола и отдавая его Хомякову, — только нет ли у вас водички испить? Устали с погони за птицей.

— Квас, кормилец, есть, хороший, яблочный, с инбирем и грушевый. Прикажешь подать? — Царь попросил. — Ну, Проня, — обратилась старуха к одному из слуг, — вот ключи: беги сам да нацеди стопу. А мы тем временем сад покажем. Хотите ли, гости милостивые?

Царю понравилось это приглашение.

— Покажи, матушка, покажи. Мы дворские и очень хотели бы поглядеть на ваше сельское домостройство. Ведь, чай, из семьи-то боярской... никого тут не осталось?

— Боярышня, родимый, осталась, боярышня, — ответила, как-то с расстановкой, старуха и медленно пошла по главной дорожке сада.

Царь молча пошел за нею. Сердце его сильно билось.

Сперва вошли в дикий сад. Дорожки стали перекрещиваться и ввели в хитро извернутое между кустов «*путище*», род лабиринта. За путищем начался рассадник груш, вишен, слив и яблонь, а дальше вереница ягодных кустов. Среди последних возвышался под «*шатриком*», или беседкою, на четырех столбах колодец с колесом и бадьей на веревке.

— А это виноградный сад нашей боярышни, — заметила домоправительница, провожая гостей вправо. Щеки царя вспыхнули.

Открылся пруд, обнесенный кустами жимолости и березками. На одном его конце возносилась деревянная остроконечная «*смотрельня*», род башенки, с воздушным крыльцом. Против смотрельни, на другом берегу пруда были три размалеванных маленьких «*чердачка*», род павильонов, со стекольчатыми стенами. Вокруг чердачков хитро извивались «*пути*», дорожки. По бокам чердачков цеплялись ползучие ветви дикого винограда.

Царь подошел к пруду, на котором была устроена рыбья сажалка. В стороне от пруда, между дерев, открывались «*перспективы*». Это были натянутые на большие деревянные рамы картины, писанные красками. На одной изображались гора и река, над горою замок и висячий мост, на мосту поезд всадников, в шлемах и с распущенными знаменами. На другой «перспективе» виднелись море, корабли с парусами, птицы, а над морем огненное солнце. На третьей — какой-то чародей, а кругом его чуда, грифы, кентавры и змеи. На четвертой — город, точно Москва: с церквами, теремами и башнями.

Царь остановился и со вниманием стал рассматривать «перспективы».

— Кто это все так хорошо и мудрено тут расписал? — спросил он.

— А вот кто — наш садовник, — ответила домоправительница.

Царь оглянулся. Вправо, сначала незамеченный за шпалерою кустов, показался, в зеленой куртке и в красной вязаной шапочке, с лейкой и ножницами, старичок-иностранец. Он снял шапочку, поклонился и продолжал поливать цветы.

— Откуда он? — спросил царь.

— Боярин наш его выписал из-за моря, как сад строил. Никак немец, али фряжанин. Вон и помощник его — толмаченок. Тоже у нас состоит.

Царь ласково подозвал садовника и мальчика, его ученика. Между заморским садовником и царем начался такой разговор:

— Ты кто?

— Гарлемский садовник и аптекарский ученик Индерик Бартбус, — отвечал, переводя его слова, мальчик толмаченок.

— Давно ли ты тут?

— Девятый год.

— Много ли боярин тебе дает в год оклада?

— За строение и уряд сада пятьдесят рублев, да толмачу шесть, да одежда и корм.

— А ты еще что знаешь?

— Я, сударь, столяр и огородный стройщик; перспективы я тоже ставил.

— А кроме Неметчины был ты еще где-нибудь?

— Был у флоренского князя, в италийской земле, и много там див видел: а таким дивам, сударь, в Московии и не бывать!

— Отчего же?

— Больно здесь лето коротко и зимы студены: надо зимою кусты и деревья, какие понежнее, обвертывать в войлоки, а не то мерзнут.

— А какие же ты дива видел у флоренского князя? — спросил царь.

— Дива хорошие-то, пожалуй, есть и у нас на родине, в Гарлеме. Только место у нас уж больно плоское, а там теплее и горы. Как тебе сказать? Видел я там в грунте кедр, и кипарис, и лимоны — плоды по дважды в год зреют Видел на княжем дворе — вода взведена сажени с четыре — фонтан прозывается — в саду вверх бьет тоже высоко. А о Крещении жары там великие! Яблоки и слива в тех краях величеством по шапке. А красоты в садах не описать, нет-де там ни зимы, ни снегу ни на один месяц. Да еще игр, органов, кимвалов и музыки много. Такие люди-кумиры из мрамора поделаны в садах, и иные сами играют, а никто ими не движет. А иного и не описать. Кто не видел, тому и в ум не придет!

Царь слушал со вниманием.

— Лето здесь больно коротко и зимы студены, — продолжал Бартбус. — Ничто здесь хорошее не дозревает: ни виноград, ни орех волоский, ни яблонь, ни аркат, ничего в прок не идет. Кабы еще не здешняя боярышня — уж та-

кая-то любительница сада и цветов! — не дожил бы тут и уговоренных годов. Так бы и ушел, не во гнев будь сказано боярской милости.

У царя чуть не сорвался при этом с языка еще вопрос, а именно о боярышне. Он молча, со вздохом, окинул взором приют ее девических игр и прогулок, дорожки, чердачки, смотрельню, и там, и здесь размалеванные перспективы.

— Благодарствуем тебе, Индерик Бартбус, и тебе, хозяйка! Мы люди, близкие к царю, и скажем ему, какие дива тут видали. А боярину кланяйтесь! Дворские, мол, кланяются.

С этими словами царь пошел обратно из саду.

— Как же, боярин, хоть в боярские покои зайди посидеть, — сказала старуха, — да вот и кваску испей, ишь ты, в погребу-то позамешкались.

Царь подумал: «Что же заходить? Ведь ее и мельком и невзначай там не увидишь. Забилась она, по обычаю, куда-нибудь в верхнюю горенку и не сойдет оттуда».

— Нет, — ответил он, — нам пора ехать. Не осудите, что не заходили. В иное время заедем. А квасу дайте испить.

От погреба показался с ковшом слуга. Царь отпил, дал напиться Хомякову, сел на коня, взял сокола и поехал.

— А коли боярин станет пытать, кто был, как отвечать? — спросила еще раз вслед ему домоправительница.

— Скажи, матушка, что дворские, царевы были. А коли будет время, может статься, и не впоследнее заехали...

Старуха, облокотясь о перила крыльца, долго следила всадников, не сходя по лестнице. Наконец, медленно охая, взобралась она по ступенькам на вышку, в боярышнину горницу, выслала всех девушек, заперла дверь на ключ и, расставив руки, сказала боярышне, чуть не задыхаясь от волнения: «Ну, светик ты мой! А ведь я его спознала, видемши на выходе о Казанской: ведь это царь!» Боярышня вскрикнула и кинулась глядеть к окну.

Царь, между тем, спустился околицей к мосту, переехал реку и на поляне под обрывом увидел остальных охотников. Они стояли кучкой, толкуя и недоумевая, куда мог скрыться

царь. Хомяков рассказал им, как сокол окончательно взял цаплю и как его нашли в саду. Все поехали обратно к Измайлову.

Царь был заметно не в духе.

Начинало уже вечереть, когда поезд подъехал к первым березам заповедной измайловской рощи.

Никто не знал остальных подробностей охоты. Догадывался один Хомяков. Боярин Всеволожский, воротясь из Касимовской вотчины, добился тоже только одного, а именно, что приезжали-де какие-то дворские с охоты, сокол их упал через реку в сад возле огорода; ходили-де они по саду, дивовались на пруд, на чердачки и на перспективы дивовались, а заходить в хоромы не заходили.

Лето прошло и Измайлово опустело. Царь переехал в Москву.

Началась обычная жизнь в Кремлевских теремах: выходы на службу, в соборы, приемы послов, слушание и решение дел.

Как вдруг, незадолго до нового года, в трескучие, бесконечные холода, когда небо заволоклось тучами, а метели, кружась и сыпля ворохи снегу, застилали пред окнами окрестные дома и храмы, Морозов получил такой приказ от царя: собрать со всего царства на смотрины девиц. Царь задумал выбрать себе жену «красотою и честью великую, тихую и разумную, в свое царево счастие и в наследие своего государского рода». Гонцы полетели во все стороны. Засуетились и взволновались отдаленные и близкие семьи. Бояре и окольничьи, думные люди и стольники, стряпчие и приказные, стрелецкие старшины и неслужилые дворяне стали готовить своих дочерей на показ и на выбор царю. Патриарх с причтом служили молебны. К февралю съехались в Москву двести почетнейших семейств.

Назначен день смотра и выбора. После множества смут и всякого рода происков со стороны родни, девиц свезли в Кремль и посадили за царский обед. Во время стола, в числе немногих приближенных бояр, царь, не узнанный и в малом наряде, вошел в обеденную палату и осмотрел девиц. Из двухсот указаны сперва шесть. Наконец, и последний жребий брошен. Царский выбор, из шести, пал на Ефимью, дочь

дворянина Рафа Родионовича Всеволожского. Роковая весть потрясла весь блестящий сонм невест, все малые и великие чины двора, Москву и окрестности, и тайком передаваясь из уст в уста, пошла по всему Русскому царству. А выбранная невеста обеспамятела от испуга и от неслыханной радости и счастия.

Царя поздравили. Всеволожские с почетом приехали в Москву. Начали готовиться к царской свадьбе. Хомяков стал явно близок к царю. Царь его и ласкает, и хвалит, и жалует. Что ни день, подсокольничий либо с вестью, либо с приветом, либо с государским подарком у царевой невесты. На языке у всех Хомяков и Всеволожский. Значение Морозова стало меркнуть, как ни хлопотал он, устраивая и уряжая все к царскому браку. Запечалился Борис Иванович и взялся за ум крепкою опытною думою.

Наступил день свадьбы.

И вдруг, как громом, всех поразила другая неожиданная весть. Во время уборки волос к венцу невеста упала в обморок. Ее обвинили в скрытой падучей болезни. Иные, правда, тут же сказали, что она упала от страха и волнения; другие, что, по непостижимой причине, по недоумению ли или по какому злобному расчету, одна из приставленных к ней для одевания женщин сильно стянула ей косу: кровь бросилась в голову, и боярышня упала без чувств. Языки тотчас затрубили тревогу и осилили сердце царя: решили, что выбранная невеста испорчена. Свадьба отменена, а Всеволожского с семьей, за чары, косный развод и за умысел против царя, сослали сперва в Касимовскую вотчину, а потом в Тюмень на воеводство. Там он вскоре от горя и умер.

А через год царь женился на дочери медынского стольника Ильи Даниловича Милославского, на Марье Ильиничне. Морозов, через десять дней после царской свадьбы, обвенчался на сестре новой царицы, на Анне Ильиничне.

Москва пировала на царской свадьбе, и толкам о государевых пиршествах не было конца.

На виду и на почете у всех стали недосягаемо вознесенные: царский тесть, Илья Данилович Милославский, и царский свояк, Борис Иванович Морозов.

Свадьба была зимой.

Только не в прок пошла близость к царю его бывшего дядьки. Весною Москва взволновалась. Граждане, покорствуя великому царю и без шапок стоя у Кремля, требовали выдачи головою изменника, грабителя и корыстолюбца, боярина Бориса Ивановича Морозова. Он был удален.

Прошли года. Многое позабыто. Но часто вспоминала боярышня Всеволожская свое подмосковное село, садовые качели, реку и всадника, взлетевшего на обрывистый берег. До конца жизни она осталась безбрачною. Царь впоследствии узнал о ее невиновности, много сетовал о ее судьбе и богато одарил ее и ее семейство.

1856 г.

ВЕЧЕР В ТЕРЕМЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ

Прошло тридцать лет. Новые времена были не за горами. Носились странные слухи.

Молва передавала вести о потешных теремах в Кремле и в селе Коломенском. Иноземцы отписывали на родину о присылке к московскому двору новых заморских игрушек «клавикортов», «охтавок» и «часов с куранами», и выхваляли щедрость и общедоступность царя. Гонцы боярина Матвеева чаще сновали от государских теремов к посольскому приказу и обратно. Боярин, в тишине своих палат, изыскивал способы к отпечатанию разумных книжек: «Космографии», «Риторики», «Фундаментов» или «Максимов фортификации». А в теремном саду, где над деревьями от птиц были раскинуты медные сетки и в шелковых клетках висели любимые царские птицы, перепелки, его же хлопотами были устроены разма-

леванные деревянные горы. С них по праздникам на повозочках катались царевны, сокровенные еще от посторонних взоров. В другом углу сада устраивались веселая потешная площадка и пруд для младшего из царевичей, четырехлетнего младенца Петра, также стараниями боярина Матвеева, и старшего брата царевича, расслабленного Феодора. На площадке устанавливались деревянные пушки на резных лафетах, а на пруд спускались маленький катер и шлюб.

Что ни вечер, с недавней поры в низенькой комнате посольского приказа усаживался на залавок толстый дьяк и с посольским толмачом считывал какие-то бумаги. Перед дьяком на столике лежали разбросанные свертки и листы ведомостей, гамбургских, гарлемских, венецейских, кенигсбергских и амстердамских, получавшихся в Москве с той поры, как голландец Фан-Сведен устроил сюда, от немецкой границы, постоянную почту, через Новгород и Псков. Понюхивая из-под полы запретное зелье, табачок, дьяк занимался любопытным делом: он поверял переводимые ежедневно, на сон грядущий царю, зело предивные выписки из курантов о заморских делах и слухах. В комнате слышалось: «О Кесарской же земле из Амстердама паки пишут, что Кесарская земля тебе, Государь, и всему твоему царству самое неверное соседство, и дружба вельми коварственная. А и где же то верность, коли от франкского короля тайно и инде чужие войска затягает и свои дает, и с турком водится, и бусурману, и султану кланяется, и всей Московии искони неверность и гибель сулит. И, аки рыба левиафан глаголемая, своих ближних поедает...»

Куранты занимали царя. Но, будучи вещью хорошею, почта в то же время пускалась и на лихие проделки. Немец Мерселис, содержатель ее и преемник Фан-Сведена, был торжественно уличен в том, что прежде лиц, к кому писались письма, распечатывал их и тайком вычитывал из них разные новости. Вышло множество ссор и пересудов.

Но ничто так не волновало умов, как недавно возникшие забавы царя в потешных теремах. Иные, побывавшие в чу-

жих краях или в соседней Польше, говорили, что это просто театр, где играет музыка и комедианты пляшут. Другие, посмелее, или из партии недовольных, утверждали, что царь, с приближенными и с боярином Матвеевым, переодевается там в заморские платья, читает немецкие книжки и готовится поворотить Россию в бусурманы.

Везде, и за прилавками в гостином ряду, где, развесив бухарские ковры и меха и щелкая орехи, толковали и перебрасывались шутками молодые сидельцы, и в боярских палатах, везде шли речи о новых царских забавах. В хоромах боярина Мосальского, зазванный от ранней обедни набожною боярыней, сидел, в обтертой скуфейке и босиком, расстрига-дьякон и, поводя косыми глазами, поминутно вздыхал и крестился. «Что тебе, Касьяныч?» — допрашивала заботливая боярыня, доставая гостю из стекольчатого поставца графинчик и серебряную чарку. «Мир, матушка, к концу клонится, мир!» — отвечал он. А в углу той же горенки молодой князь Пехтерев, из хозяйских племянников, уже обвеянный новым духом, рвавшимся сюда сквозь запоры и стены, сидел у решетчатого окна и полушепотом, наскоро, пересказывал двоюродным сестрам, как он был в Коломенском и как увидел в щелку двери, что такое потешные терема и что там делается. «Мишенька, голубчик! Что же там такое, говори?» — допытывались двоюродные сестры. «Действа, миленькие, действа!» — «Какие действа?» — «А вот какие!» И он рассказывал, под набожную беседу тетушки с Касьянычем: «Намедни играли о том, как Алаферну голову отсекли; а там другое: как Артаксеркс велел повесить Амана, по царицыну челобитью и по Мардохеину наученью! И так-то все это мудрено, сестрицы, так мудрено! Это, выходит, сперва все чинно усядутся, вот хоть бы как и мы; царь с царевичами по одну сторону, а царевны с няньками по другую. Дворские и гости сядут чинно сзади, поодаль. Тут висит такая занавесочка шелковая и свечки разных цветов горят. Проиграют на гуслях да на трубах. А боярин Артамон Сергеевич Матвеев выйдет, ударит в ладоши, занавес и отдер-

нется. Тут явится палата, и часовые стоят, и цветы, и зверь кентавр, и город заморский, а потом и выйдет человек. А на нем всего наверчено, наверчено! Разведет руками и станет говорить скоро, али виршу. А там выдернет меч, другой человек тоже выскочит. Вот, ходят они, ходят, говорят виршу. Занавес и задернется. Тут опять в гусли да в трубы заиграют. Действо и кончено. Тогда уже боярин Артамон Сергеевич только подойдет к царю, в пояс поклонится. А царь так милостиво говорит с ним, али с царевичами шутит, забавляется. А то еще было такое, говорят, дело, что как отдернули раз занавес, а там стоят человек десять, один на другом. Выходит, пирамид делали. Балансер тоже, скоморох, из Марселии града, с имперскими послами приезжал. Натянул это канат перед царем, да и ходит по нем, вот как по мосточку, да все качается, да царю красными платочками машет, и такой-то нарядно одетый. Эх, ведь как мило-то! Не вышел бы оттоле! А наши бояре еще ершатся, кобенятся!» — «А что?» — «Да то, сестрицы, что царю они непокорны! Нынче уже не охотою токмо, а всем и нарочито велят быть при действах: кто нейдет, за тем посылают, силою берут и велят идти! Сам намедни видел, как Горюшкина Илью да Лыкова Алексашку тащили по Басманной, так-таки царские вершники, как застали их в дядевых хоромах, и тянули к действам. Инда со смеху помирали все!»

На святки царские забавы увеличились. К ним, заботами главы посольского приказа, допускались и заморские послы. Царь не разумел чужеземных языков, послы тоже не понимали по-русски. Но посредством переводчиков дело улаживалось, и заморские гости возвращались домой, не нахвалясь царскими ласками и царскими угощениями.

Однажды, незадолго перед вечером, постельничий Парамонов вошел в покои посольского приказа и объявил, что царь на завтра приглашает голландского чрезвычайного посла Фан-Кленка, имперских послов, Франциска де-Баттони и Карла Тирлингера-де-Гусмана, на свои царские забавы и на вечернее кушанье. Заморских гостей повестили и в раззоло-

ченных колымагах привезли в Коломенское к царскому терему. Они шли, предводимые переводчиком, рядом невысоких жилых царских покоев, где носился легкий запах ладана от близости теремных молелень, в которых еще недавно было на молитве царское семейство. Перед дверью на половину царевичей и царевен послы увидели на часах стрельцов. Стоя на маленьком коврике, стрельцы перешептывались между собою. Их разноцветные кафтаны, золоченые винтовки и об тянутые по древкам красным бархатом алебарды ярко отсвечивались в отблеске вечерней зари, проливавшей радужные огни сквозь разностекольные решетчатые окна терема. Послы вошли в обширную комнату, с изразцовою зеленою печью и с желтыми, в золотых травах кожаными обоями. Тут послы увидели самого царя...

Царь Алексей Михайлович, окруженный боярами, сидел за небольшим столиком. Он доигрывал с князем Ромодановским игру в шахматы и, оспаривая у противника победу, едва заметил вошедших иностранцев. Почти пятидесятилетний царь Алексей был дороден, с проседью, но свеж. Наряд его ослеплял обилием золота и драгоценных камней. Смелые карие глаза, смотревшие несколько исподлобья, и важное, горделивое лицо оправдывали народное прозванье: царь-сокол. Он сидел на резной высокой скамеечке, облокотясь белой полной рукой о шахматную доску. На голове его была золотая шапочка с лисьим мехом, утыканная жемчугом и изумрудами. На нем был шелковый зеленого цвета опашень; на груди — наперсный, усыпанный алмазами, крест. А возле, по бокам царя, неотлучно стояли два рында, с нежными, отроческими лицами, в белых серебристых одеждах до земли. Один держал царский посох, из черного индийского дерева, а другой — царское полотенце.

Одна из дверей комнаты была занавешена легким парчовым пологом. Он поминутно колыхался, точно нетерпеливая и вместе робкая рука его отдергивала. Пока царь доигрывал игру, полог отодвинулся. Из-за него вошли две тучные мамы, в бархатных кичках и в шелковых душегрейках. С одною об руку

вошла белокурая девочка, старшая царская дочка, царевна София Алексеевна, в алой, подбитой горностаем шубке и в меховой шапочке. Она уселась поодаль, с неотлучною своей забавницей, с маленькой, сморщенной служкой-карлицей, столетней царицыной дуркой-шутихой. Вслед за нею явился и тотчас занял иностранцев черноглазый и чернокудрый мальчик, тот самый четырехлетний царевич Петр Алексеевич, для которого стараниями старшего брата устраивались стрельцовая площадка и потешный пруд. Стоя возле полной и статной мамы, он быстрыми глазками следил за движениями заезжего рыжего немчина. Поместившись на скамеечке у печи, немчин заводил и устраивал заморский орган, только что привезенный из чужих краев и подаренный бояриной Матвеевым больному царевичу Феодору, вместе с голландскими клавикордами и венецейскими охтавками. Полная мама, восклицая: «Ах ты, сокол мой, ах ты, батюшка-непоседа!», то и дело останавливала быстрые порывы царевича, который размахивал ручками и, потягиваясь к немчину, допрашивал у него едва внятными детскими речами: где делают такие органы, и далеко ли живут немцы, хорошо ли у них и ездят ли там на кораблях и стреляют ли из пушек?..

Никто не знал наверное, чем угостит теперь царь на своей вечеринке: придет ли балансер и станет с помощниками «пирамид» делать; будут ли только играть на органе да обносить сластями; действа ли покажут? Ничего не знали.

Царь кончил игру. «Ну, боярин, — сказал он, вставая, — ты врагов лучше бьешь, чем берешь коней да ферязей!» Царь выиграл и был, очевидно, в духе. Завидев послов, он тут же ласково кивнул им головою; поручил через переводчика сказать им, что по случаю нового года позвал их к себе на веселье; спросил, довольны ли они содержанием и обхождением окружающих и, обратившись к голландцу Фан-Кленку, сказал ему: «*Мин-гер*, поди сюда!» Мин-гер подошел и несколькими словами с царем возбудил зависть не очень-то довольных недавним объяснением царя со смелыми моряками и торговцами-голландцами. А между тем,

немчин, по данному знаку, завертел ручку органа, сначала невпопад, но потом оправился, и веселые извивистые варьяции тирольской плясовой мелодии наполнили комнату...

Царь уже не в первый раз говорил с голландским послом. Он говорил с ним о торговле и о чужих странах, о науке и о морском деле; расспрашивал его о дворе франкского короля, у которого Фан-Кленк был незадолго перед тем; перешел потом к своей особе, говорил, что намерен улучшить у себя воинское и судное дело; жаловался на то, что пропал его любимый сокол, и что он сам уж как-то стареет и охладевает к этой охоте; спрашивал у Фан-Кленка, как бы ему завести настоящий театр, с комедиантами, такой, как, по слухам, заведен у польского короля.

В это время вошел боярин Матвеев и что-то сказал царю, склонившись пред ним. Царь ответил ему легким мановением головы и, вслед затем, обратившись к Фан-Кленку, сказал: «Передай своим товарищам, что сегодня придется услышать вам у меня захожего из вятских лесов русского сказочника. Вам это, чай, в диковинку?» И действительно, царь Алексей Михайлович хоть и любил заморские игры и забавы, но, по его собственным словам, не было для него ничего слаще, как слушать, в часы отдыха, разнообразные и поучительные повествования странников. «В их речах о старине, — говорил он, — складные уроки для нового времени; а в рассказах о новом времени познаешь то, чего не увидеть своими глазами!» Еще не далее, как месяц назад *перед тем*, царь оплакал и, как друга, проводил до могилы лучшего из своих дворских повествователей, Венедихта Тимофеева. Последний поистине был скрижалью лет давно минувших и услаждал царские досуги рассказами о киевских и новгородских князьях и о татарщине.

Боярин Матвеев снова вошел в комнату и, в пояс поклонившись царю, сказал: «По твоей по воле, государь, привели ко двору твоему верного раба и слугу твоего, прохожего бахаря-сказочника. А зовут его Устином, а сказывает он сказки и песни из детства, и идет издалеча. Был в Киеве, на Волге и за Уралом. Прикажешь его звать?» Царь сказал:

«Зови!» Вошли два покоевых стражника и стали у двери. За ними на пороге показался сказочник, мало чем выше среднего роста, лет под шестьдесят, невзрачный, в старом потертом кафтанишке, с редкою бородою клином и стриженный в скобку. Он низко поклонился и сперва было оробел и смешался. «Здравствуй!» — сказал звучным голосом царь. Сказочник устремил несмелый взор на царя. «Не робей! — продолжал царь: — ты гость наш и наших гостей. Откуда ты идешь и где жил?» Устин, Иволга по прозванию, оправился, глянул на бояр и на прочих гостей, стоявших вкруг царя, ступил от двери и ответил: «Иду я ноне, царь-батюшка, из далекой Украйны, из даурской, зауральской стороны, меховой да золотой твоей землицы. В Сибири руду копал. Много там у нас, по заводам да раздольям, гудочников да песенников. Холодно жить, и людишки все перехожие. Ну, да весело жить, и милостью твоею сыты и вскормлены!» — «Ну, выпей же чарку вина да поведай нам, Устин, сказку или притчу какую, повесели нас, да и семью нашу. Вот и господа послы заморские хоть не поймут тебя, да послушают».

Царь сел. За ним сели и все присутствующие. Сказочнику внесли его гусли, и он сел их ладить. Дворские слуги тем временем пошли между скамьями, с кубками романеи, мальвазии и ренского. Царским детям, и кому хотелось, подавались леденцы, шептала, обсахаренные дынные корки и индийские сласти, мускат и инбирь в меду. Царь спросил: «А где же князь Феодор?» Дверь растворилась, и старший сын царя, расслабленный царевич Феодор, появился в носилках из черного дерева. Взоры присутствующих с жалостию обратились к нему. Тут царские гусельники и скрипотчики проиграли род взводной музыки. Боярин Матвеев вышел перед царя и произнес: «*Повесть по преподобному Нестору зело предивна о князе Владимире и о том, как парень Ян победил Печенежина!..*»

Сказочнику поднесли романеи. Он выпил, утерся и стал, изредка поигрывая на гуслях, нараспев сказывать:

То не в небе взыграло две радуги,
В княжем тереме стало две радости.
А и первая радость великая —
У него ли, у свет у Владимира,
У киевского Красного Солнышка:
Побивал светел князь силу вражию,
Покорял поморян-побережников;
И вторая-то радость не малая —
На воскресной заре, на утренней,
Только стали звонить, свет княгинюшка
Даровала ему сына-первенца...
Собирались во двор няньки-мамушки,
Во злату во купель клали княжича;
И купали его, припеваючи,
Во злату пелену пеленаючи.
Князь в тайницы сходил заповедные,
Отпирал погреба с медом, брагою.
И скликали гонцы Русь со всех сторон
Славить князя и княжего первенца...

Над быстрым Днепром, по взгорию,
Словно по полю кинуты цветики,
Все стоят терема княженецкие,
Со решетками, белыми крыльцами,
С петушками на вышках, с перильцами:
Вдоль по горенкам стены тесовые
Узорочьями все изувешены;
А в углу, где кивот златокованный,
Княженецкое знамя поставлено,
Парчовое, древко кипарисное;
На том знамени шелком вытканы —
Чуден Спас, со своею Пречистою,
Гавриил и Михайло Архангелы,
Еще все ли тут силы небесные.
В княжем тереме окна растворены;
Смотрит в них со двора чернь служивая.
По десную ж и левую сторону
Вокруг князя сидят други верные,
Вся дружина его богатырская.
И на каждом шапка бебряная,
По краям черным соболем браная;
На ногах семицветные лапотки.
А кафтан распашной, он камки дорогой,
Не камка дорога, узор хитер:

Словно по небу звезды разметаны.
Из окошек летят во все стороны,
Будто гусли поют златострунные,
Речь и гул со стола княженецкого...

Выходил светел князь из-за трапезы,
И вставали за ним, Солнцем Красным,
Сотрапезники, рать богатырская.
Они вышли, с тесового глянули —
Шапки вверх над толпой заметалися.
Началось угощенье на мир, народ.

Князь идет, таково смотрит весело:
На лотках стоят жарены лебеди,
Кабаны, петухи, рыба всякая;
Виночерпии черпают чарочки,
Хлебодары подносят всем прянички,
Тут, когда пили все, потешалися,
Приворотники игрища зачали...
Они зачали свайкою тешиться.
И сам князь, ласков князь, выступаючи,
Парчевой кушачок оправляючи,
Свайку брал, щурил глаз и кидал
Он гвоздем во кольцо золоченое...
Вдоль по выгону дети посадские
Меж собой стали тешиться бабками.
Подходил светел князь со дружиною,
В белы руки брал битку свинчатую,
В костяной городок с ходу целился,
И с носка разбивал частокольчатый.
А и было веселье великое,
В славу князя и княжего первенца.

А тем часом гроза подымалася,
Под горою труба откликалася...
Расступается люд на две стороны,
Подбегает ко князю Владимиру
В рысьей шапке гонец, сам запыхался,
Таково говорит, в пояс кланяясь:
«Светел князь, выводи свои полчища!
Подступает к твому граду Киеву
Сила велия, рать печенежская.
Сам Каган с ней идет, стал окопами,
А тебе шлет привет, слово ханское:

Я не даром-де шел и не попусту —
Я пришел покорить князь-Владимира;
А и полно войсками нам тешиться,
Изберем от себя поединщиков.
Покорит твой маво — я отправлюся
И три года в войне жить закаюся;
Если ж мой победит — не прогневайся...
В Киев-град я к тебе, хан, пожалую,
Златоверхую сень выжгу, вырублю,
Богатырскую рать возьму в конюхи,
А тебя самого, со княгинею,
В кандалы закую — уведу в полон»
Усмехнулся тут князь, слово вымолвил:
«У меня ли, у князь-Владимира,
Не найтись на врага супротивника.
Коль дружина моя богатырская,
Не побита никем, вся кругом стоит:
Щелкан богатырь, сын Дудентьевич,
Самсон богатырь, Колыванович,
Полкан богатырь, сын Иванович,
Светогор богатырь, и Полкан другой,
И Сухан богатырь, с богатырской семьей
Да и он ли Добрыня Никитьевич?
Ты беги, скороход, к хану грозному,
Отвечай ты псу печенежину:
А и день не зайдет, в путь я выступлю —
И отыщем ему поединщика.
Не силач богатырь, пойдет всячина;
Да и нет той души во поднебесной,
Чтоб сломила когда силу русскую!»
Скороход побежал по дороге вспять,
Только пыль по следам закурилася...
А народ загудел и задвигался,
Будто лес загудел в бурю-непогодь.
И со всех-то сторон бойцы-соколы
На борьбу выходить выкликалися.

Не сизы орлы, не кречеты
Ко Днепру слетались, к широкому —
Светел князь выступал со дружиною;
И стеной становились, как встретились,
Печенежская рать против княжеской.
Восседал тут Каган на седалище,
Ставил боги, из камени сечены,

Возжигал против них жертвы ценные.
Солнце-князь становился под явором,
Вкруг него его вои, приспешники,
А над ним поднимали с молитвами
Княженецкое знамя походное,
Парчевое, древко кипарисное...

Ой, не слон во чистом поле слонится,
Не сырой дуб во поле качается,
То качается, слонится чудище,
Человек-Печенег, сила крепкая.
Он идет, не идет, озирается.
Охом сир-человек подпирается.
А на нем-то броня трехпудовая,
Шапка рысия, очи крысия;
Череп гол, как котел, сам собака хитер:
Что куда он, пес, ни повернется,
Тут в народе и вольные улицы —
Плакуны ревунам громко плачутся,
Бегуны скакунов гонят взапуски.
Да как стал-то силач, приосанился,
Он на весь народ и расхвастался:
«Выходи, — говорит, — Русь запечная,
Не робей, а узнай, каковы-де мы!
Уж и нет на земле наших супротив:
Кистенем мы метнем — караван в плен возьмем;
Выходите на битву, не бойтеся...
Я не всех положу в пищу воронам —
Сохраню человека на семены!»

Да не долго орда потешалася.
Расступается люд на две стороны.
К князю старец выходит засельщина,
Слово молвит ему деревенщина:
«Сударь князь, не казни, слово выслушай!
У меня на селе есть детинушка,
Парень Ян, Усмошвец по прозванию.
Его сил, осударь, я не ведаю,
Только с детства никто с ним не игрывал,
Шутки с ним в забавах не шучивал,
Было раз, мял он кожи на торжище,
На меня, старика, млад разгневался
И порвал пополам кожи крепкие,
Сыромятные, вдвое положены!

Не обидь ты его, сударь-батюшка,
Прикажи с супостатом померяться!»
Говорил светел князь: «Старец, честный муж!
Где же сына тваво нам отыскивать?
Враг не ждет, да и время нам спешное»...
— «Во кружале искать парня надобно...
Со голыдьбою там со кабацкою
Млад-детина любит забавиться,
Хороводы водить, в волю бражничать,
Свето-русскую душеньку тешити!»
Посылал князь гонцов во все стороны,
Ждал-пождал, оглядал свои полчища;
А тем часом к ставке княжеской
Привели парня Яна посыльные.
Светлорус шел детина, приземистый,
Бородат да плечист, лапти драные;
Набивные порты, в белом тельнике.
И пытали его силу крепкую —
Выпускали быка разъяренного,
И как бык побежал вдоль по выгону,
Ухватил его Ян, не шелохнувшись
И ногою на пядень не сдвинувшись:
Как заял пятерней грудь рогатого,
Так и вырвал клок мяса, с кожею.

Вышли в поле тут княжьи глашатаи,
Вольный кон по уставу размеряли.
Становились на кон поединщики;
Вестовая труба откликалася,
Борьба смертная начиналася...

Поглядел на бойца малорослого,
Стал смеяться силач над детиною:
«Уж и где же бывало то видано,
Чтоб такой мелкотой битву красили?
А остался бы лучше ты с бабами,
Веретена б строгал, спал без просыпу!..»
Выходил парень Ян на противника,
Словно вдруг заробел, не умеючи,
На врага-то и глянуть не смеючи...

И схватилися бойцы, крепко обнялись,
Будто братья родимые, кровные...
Они так уж и так изловчалися,
Как с невестой жених целовалися.

Тут и дрогнули рати дозорные,
Громкий клич пролетел над Днепром-рекой...
Парень Ян подхватил Печенежина,
Подхватил он его, поприжал к груди;
Да потом, как отвел руки крепкие,
И с размаха ударил им о землю —
Индо вольная степь перекликнулась...
Поломал ему сразу все кости он,
Все суставы, все ребра и голени...
Тут смерть ему приключилася.
Оробела орда, заметалася,
Во все стороны вдруг разбегалася.
А покамест бойцы свето-русские
Выходили в погоню за ворогом,
Светел князь созывал слуг-приспешников,
Нарекал те места Переяславом —
Переял-де он там славу вражию...
И опять пили все, прохлаждалися,
На честном пиру потешалися.
Они славили князя с княгинею,
Первородного княжего первенца,
Киев-град, и весь свет, и веселие...
На пиру тут сидели старейшины
И сложили такое вещание:
«Не удачей возьмет, не уловкою,
Не мудреной какою сноровкою —
Своей силой возьмет Русь-кормилица:
Перед ней же ничто не схоронится...
Как пойдет, все на свете сторонится!»

Рассказчик замолк. Одобрительный говор пошел между слушателями. Переводчики передавали иностранцам содержание сказки. «Ну, спасибо тебе, Устин! И тебе спасибо, Артамон Сергеевич!» — сказал царь. Матвеев дал знак. Царский кравчий поднес Устину на серебряном блюдце кубок ренского. И кубок, и блюдце царь пожаловал сказочнику. «Ну, Устин, — продолжал царь, — не полно ли тебе шататься по свету? Оставайся-ка у нас на Москве. Ты заменишь нам Венедихта Тимофеева...» — «Прости, государь, — возразил сказочник, — смилуйся и не прогневайся! Канарейка-птица хорошо поет в клетке, а супротив соловья

в лесу ей не справиться! Тесно мне будет в твоем тереме, да и платья-то золоченого носить не сумею. Отпусти, царь-батюшка. Довольны мы твоею государскою милостью. И внукам, и правнукам о ней скажем». Царь не настаивал и отпустил его с миром.

Когда иностранцы разошлись, два стрельца внесли и поставили на стол перед царем невысокий железный ящик, с ликами святых угодников по сторонам и с скважиною в крышке. Ящик был заперт на замок, ключ от которого висел у царя за поясом. Его вносили, таким же порядком, каждый вечер в царские покои. Этот ящик прикреплялся к столбу, у окон, для всех проходящих. «А! челобитные! Это по твоей части, Фрол Демьянович!» — сказал царь, обращаясь к низенькому седому старичку, правившему судными делами, и подавая Демьянычу для прочтения челобитные, опущенные в ящик с утра того дня. Старик читал: «Челобитная на Степанка, да на Иванка, да на Алексейку Карнаухова, да на Микитку Груздева; бьют тебе, великому царю и государю всея Руси, сироты твои хресьяне, Ортемка, да Лука, да Костя Суздальские. А нам, господине, жалоба на них, что взяли они у нас и оттягали пруд и меленку; а гуси их огороды наши, и сады, и грядки портят. Смилуйся, батюшка, и защити!» — «Отпиши, Демьяныч, к воеводе, чтоб собрал и выслушал челобитчиков, и дело бы решил, и нам бы отписал». — «Челобитная Федьки Чемеря, — продолжал старик, — на Афанасия Periннова! Доношу, осударь отец, что он, лихой человек, Афонька Периннов, из пограничной крепости, из Тора на Донце бежал, и с турком не дрался, и в бой не шел. А у меня, Федьки Чемеря, украл шубу баранью, да пять алтын денег, да новую ширинку». Царь улыбнулся. «Запиши, Демьяныч: сделать обыск, и коли вернется Афонька из побегу, за воровство бить батоги нещадно, и отдать Федьке Чемерю взятое, шубу, деньги и ширинку». Старик продолжал: «Челобитная тебе, великому царю и многомилостивцу, сирых защитнику и правды поборнику, на ярославского воеводу, на грабителя и губителя. Заграбил он у нас,

сирот, и у немощных, и убогих, всякое состояние и гонит всех, и губит. А у Андрея Шестипалова дочь отнял и держит... Донесение смиренного раба и богомольца твоего, инока Евстигнея». Долго царь не произносил решения. Напоследок он сказал: «Нарядить сейчас гонца за воеводою, везти его сюда неуклонно. Давно я считаю за ним грехи и добираюсь до него. Инока же Евстигнея под стражу взять и держать до конца дела. Прав будет, дать ему место архимандрита, али вотчину из воеводских, а нет — так батоги! Смотри, Демьяныч, не покривить душою! Гляди, чтоб судьи судили по истине, правили бы дело по правде и отнюдь бы не стыдились лица сильных!» Старик читал далее: «Батюшка, царь, берегись! Тебя извести хотят! Ондрейко Лодиев, да Сухоня Василий, да попович Сережка, на торгу, на Москве-реке, онамедни ходили и хвалились извести тебя, и всякие зелья собирали, и злобные словесы говорили, и тебя и твоих бояр корили, и царское твое имя поносили!..» Царь не дослушал. «Брось, Демьяныч, эту ябеду, да и сам не читай, кто писал! Мало ли что языки мелют! Одни корят и хулят, другие хвалят. Коли смотреть на собаку, что лает, так еще подумает, что и на льва похожа...» Демьяныч прочел еще две незначительные челобитные. В одной погорелые зарайские крестьяне просили помощи, а в другой жена жаловалась на мужа. Царь велел произвести следствие, пожаловать погорелых крестьян, а обвиняемого мужа, коли окажется виноватым, постращать хорошенько, чтоб жил в мире и согласии с женою...

Царь снова запер челобитный ящик, отдал его Фролу Демьянычу и пошел в опочивальню. Там он зажег лампадку у образа Казанской Богородицы и долго молился. Царь заснул, когда занималась заря и в Донском монастыре раздался благовест к заутренней.

1856 г.

ШАРИК

Жил в Москве бедный портной, еврей Айзик Шмуль. Трудолюбивый и выносливый, он проводил с семьей целые дни впроголодь, копаясь, от раннего утра до поздней ночи, в подвальной конуре, над разным носильным хламом, который брал от рыночников и небогатых людей в починку, переделку и перелицовку.

Работал он без вывески. Исполняя заказы, ходил с конца в конец Москвы за деньгами, в одном и том же, сильно поношенном сюртучишке без нескольких пуговиц, в пестрых, узких брюках и в помятом цилиндре, похожем более на воронье гнездо, чем на шляпу. От одежды Шмуля постоянно почему-то отдавало странным запахом, напоминавшим запах жареного рябчика. «А, рябчик уже тут!» — говорили себе заказчики, заслыша в передней робкое переступание худых ног портного, обутых в истоптанные, с искривленными каблуками, ботинки.

Большие, черные, постоянно унылые и как бы заплаканные глаза Шмуля с жадным вниманием устремлялись на руки входящего заказчика, а длинный, мясистый нос и толстые, безусые губы, при виде вынутых денег, освещались блаженною улыбкой, и весь он, с принесенною в черном чехле работой, отвешивая низкие поклоны, как-то судорожно дергался сверху вниз, точно у него силой отнимали эту работу, а он боролся, увертываясь и не выпуская ее из рук.

— Отчего, Шмуль, у тебя постоянно такие унылые глаза? — спрашивали портного заказчики.

— У бедного еврея печаль, — отвечал он со вздохом, — чего ему радоваться и веселиться?

— Но почему же?

— Еврей иначе не может смотреть на свет, за неправду, как с печалью, презрением и скорбью.

— А почему от тебя рябчиком пахнет?

Шмуль краснел, как рак.

— Барин шутит, — отвечал он с гордым недоумением, оглядываясь на свою одежду, — бедный еврей, мо-

жет, давно не только рябчика в глаза не видел, но и ничего не ел.

В окраинах Москвы свирепствовала повальная оспа. Заболели жена и двое детей Шмуля. Жена умерла; дети-близнецы, сын Иоська и дочь Ривка, выздоровели, но их лица до того были разрисованы оспой, что казались терками, на которых трут редьку и хрен. Сильно горевал и убивался портной, схоронив жену. Жить стало еще тяжелее. Детям шел пятый год. Надо было ходить за ними, обшивать их, чесать их всклокоченные, курчавые головы, варить им лапшу на молоке и в то же время не разгибать спины над заказами. Работа валилась из его рук. Голодал еще более Шмуль с детьми. Голодал и выкормленный покойною Суррой, вихрастый, с кривыми лапами пес Шарик.

Эту собаку жена портного однажды осенью нашла под Москвой на огороде, куда ходила с корзиной за покупкой дешевых остатков капусты и картофеля. Услыша тихие, жалобные стоны из канавы, поросшей травой, Сурра подошла и увидела в траве свернувшуюся в жалкий комок и дрожавшую от холода, голода и увечий собачонку. «Злые люди били тебя, видно, на смерть, — подумала Сурра, — и бросили сюда издыхать, но ты еще жива и будешь жить!» Она подняла собаку. Та еле двигала искалеченными ногами; с боков клочьями висела шерсть. Взяв собаку в корзину, портниха принесла ее домой, накормила, а вечером, когда купала детей, сварила щелок и для собаки, бережно вымыла ее и уложила в подвальный чулан, прикрыв ее старыми рогожами.

Долго Сурра носила в чулан собаке, тайно от мужа, есть и пить. Шмуль не любил собак, говоря, что от них, обжор, кроме блох, никакого нет толку. Портниха размышляла: «Выздоровеет бедный пес, наберется с силами, тогда выпущу его на волю; кто-нибудь сжалится над ним и возьмет его себе... Бывают красивые и из уличных: может быть, и это такая». Собака понемногу оправилась, вылезла из-под рогож и, в отсутствие портного, была выпущена размяться и побродить на дворе. Сурра взглянула на нее и увидела, что о

красоте найденной собаки нечего было и думать. Острая, с торчащими ушами, морда и кривые, крепкие лапы ее с первого взгляда напоминали как бы нечто, похожее на таксу. Но неуклюжий, с глупою закорючкой, хвост, а вместо черных глаз и гладкой, черной, с желтыми подпалинами шерсти такс длинные лохмотья какой-то буро-лиловой шерсти и разномастные — серый и голубой — глаза найденной собаки прямо указывали на ее происхождение от простой и самой заурядной дворняжки.

Оправясь от увечий, собака, впрочем, оказалась весьма веселой и резвой. Она стрелой носилась за Суррой и волчком вилась у ее ног, когда та ходила в лавочку или во дворе развешивала белье. За эту веселость и резвость портниха назвала его Шариком. Как-то Сурра обронила на улице сверток с покупкой. Шарик поднял его и принес в зубах за хозяйкой.

— Что это? Откуда уродина? — спросил Шмуль, увидев впервые эту собаку, беззаботно прыгавшую за Суррой.

— Шарик, — ответила, смутясь, жена.

— Шарик — ну, и пусть Шарик, а откуда он и зачем? — настаивал Шмуль.

Портниха объяснила, как, где и в каком виде она нашла его.

— Он, представь, и поноску носит, — прибавила Сурра, стараясь так или иначе смягчить мужа.

— Поноску? Вот что! — сказал Шмуль, недоверчиво разглядывая собаку, которая, в свой черед, пристально глядела ему в глаза.

— А ну! — произнес портной, бросая через решетку в сад свою шапку: — пиль!

Шарик кинулся кубарем в калитку и притащил из сада шапку. За шапкой были туда брошены платок, хлебный сухарь и говяжья кость. Все это Шарик также нашел и принес.

— Держи его, закрой ему глаза, — сказал портной жене. Он вынул из кармана копейку, поплевал на нее, швырнул ее в траву, на конец двора, и крикнул снова: пиль!

Шарик сначала не понял, в чем дело, и смотрел, склоняя то одно, то другое ухо в разные стороны. Слыша повторения

приказа и видя, что в его услугах по-прежнему нуждаются, он, обнюхивая землю, кинулся было в сад, исколесил его несколько раз вдоль и поперек, возвратился и, с высунутым языком, недовольный поисками, сел на задние лапы.

— Пиль, шельма, пиль! — твердил портной.

«А, так вот что, — как бы подумал Шарик, — значит, все-таки что-то брошено, только не там!» Он шевельнул хвостом, увидел, что хозяин смотрит в конец двора, бросился туда, уткнулся носом в траву, росшую под забором, прошел по ней несколько шагов и с радостным визгом подбежал к Шмулю: в зубах у него была копейка.

Портной, однако, остался не вполне доволен собакой. «Поноску, действительно, она носит, — рассуждал он, — но зачем нам этот пес? Самим тесно и голодно, лишний только рот...» Сурра заметила это недовольство мужа и стала придумывать, чем бы расположить его в пользу собаки.

Как-то к обеду Шмуль долго не возвращался от заказчиков. Проголодалась портниха с детьми; еще более проголодался и Шарик. Сидя, как вкопанный, с подведенными, тощими боками, он давно поглядывал на припертую, варистую печь, из которой так вкусно пахло молочною кашей и щукой с луком. Шмуль, наконец, пришел и уселся с женой и детьми за обед. О собаке никто не вспоминал. Слыша дружное чавканье ртов, Шарик по-прежнему степенно и вежливо сидел вдали от стола, изредка только склоняя то на один, то на другой бок голову и, точно для развлечения, следя за сонными, вялыми мухами, ползавшими в ожидании зимней спячки по нагретому карнизу печи. Сурра, впрочем, не покидала мысли о собаке.

Раздумывая, как бы окончательно расположить в ее пользу мужа, она в конце обеда сказала ему:

— Шарик, может быть, собака не простая.

— Это почему? — спросил портной, — Носит поноску; немудрено — научен и еще что делает. Вот вздумала! И кто такую паршивую барбоску станет учить? На что она, кому?

— Ну, не говори, может, он был у фокусников, а те научили его и не таким штукам, да обеднели и бросили его либо потеряли, — говорила Сурра, подкладывая мужу лакомые куски.

— Попробуй, попытай, — ответил, с усмешкой, Шмуль, — ты его нашла, ты с ним и возись.

— Сам попробуй — разве я что знаю в таких делах или ходила с фокусниками?

Портной был в духе в тот день от полученных заказов и еще более от фаршированной с луком щуки. Он оглянулся на Шарика, который, в прежнем ожидании подачки, сидел неподвижно, не спуская глаз с хозяйского стола. «Осрамлю ее, — подумал о жене Шмуль, — так и быть, испытаю собаку; только она, разумеется, не отличится». Не вставая со скамьи, портной кольцом сложил руки, наставил их против собаки и едва сказал: «Аванц!» — Шарик слегка пригнулся и мгновенно проскочил через руки Шмуля, как сквозь обруч. Присевшая к столу Сурра ахнула от восхищения. «Что время терять!» — подумал, между тем, Шарик. Видя, что озадаченный его подвигом хозяин, нагнувшись, недоверчиво рассматривал его лапы, точно удивляясь, как такой невзрачный пес, и на таких кривулях, мог произвести подобный прыжок, Шарик шевельнул хвостом, еще ниже пригнулся, вскочил на скамью и легче мухи перелетел через спину самого Шмуля. Сурра, покатившись со смеху, припала к столу; а Шарик, недолго думая, опять прыгнул на скамью и перемахнул через спину хозяйки.

— Да, собака из ученых, — невольно согласился с женою Шмуль, — и кто мог ожидать? С виду — плюгавая шавка: а за такую, пожалуй, охотник даст не меньше синей, а то, пожалуй, и красную.

С той поры Шарик водворился на жительстве у портного, деля с хозяевами сытые и голодные, веселые и горестные дни, служа им в виде забавы за столом, срывая с прохожих шапки и расхаживая, в виде солдата, на задних лапах, со вложенной в передние лапы палкой, как с ружьем. Веселые дни портного, со смертью его жены, окончательно

прошли и не возвращались. Овдовевший Шмуль впал в безысходную бедность и горе. Он выбился вовсе из сил и — стал роптать: «Бог Исаака и Иакова, где Ты? — восклицал он мысленно, не попадая от слез ниткой в иглу. — Почему Ты, о Господи, глух ко мне? За что губишь бедного еврея и его неповинных детей? Отчего христианам хорошо? Смотришь, никуда не годный, пьяница завалящий, шарлатан, живет хорошо, а бедному еврею везде неудача и теснота! Даже вон, русский пес Шарик — и тот счастлив, так весело вечно возится с друзьями своими, собаками соседей».

Был жаркий, пыльный и душный день. Портной с утра ходил по заказчикам за деньгами и нигде не получил ни копейки. Особенно огорчил его один мелкий адвокат, задолжавший ему более ста рублей и постоянно говоривший: «Приходи завтра, денег нет». Отмахал Шмуль с Пресни за Покровку, в Плетешки, и оттуда к Серпуховской заставе, на Замоскворечье. Устал и проголодался он до невозможности, и пить ему сильно хотелось. Пирожники кричали: «Вот горячие, с пылу!» На лотках красовались горы моченых груш, всяких ягод и квас, а в кармане было пусто. К вечеру доплелся он на Садовую и присел в ближнем переулке на столбик у каких-то ворот. Через каменный забор из сада, возле которого он сидел, повеяло прохладой. Послышалось тихое, стройное пение. Шмуль оглянулся.

Невдали, в глубине переулка, сквозь вечернюю мглу, он увидел деревья за чугунною оградой, а за ними ярко освещенные окна церкви. На паперти, полулежа, дремало несколько нищих. Дорога Шмулю была мимо этой церкви. Отдохнув, он встал, пошел далее, поравнялся с церковною оградой и повернул к паперти. «Дай, посмотрю, — подумал он, — как молятся христиане; никогда не был в их храме». Дверь в церковь была отворена. На портного в сумерках никто не обратил внимания. Он вошел в церковь.

Был канун приходского праздника. Убранный особенно торжественно, со множеством горящих перед иконами свечей, позолоченный алтарь в кадильном дыму точно плавал на воз-

духе по облакам. В его раскрытых вратах стоял в белой, из серебряного глазета ризе, с седою, длинною бородой священник. Он тихо возглашал моление. Хор любителей, из купцов этого прихода, вторил ему, с незримого за колоннами клироса, переливами нежных, на диво спевшихся голосов, среди которых, как от звука дальнего грома, изредка и в меру слышалось гудение мощного баса. Шмуль почувствовал, как бы нечто вдруг подхватило его и стало уносить куда-то вверх, далеко-далеко. Над ним и вкруг него звучало и веяло что-то волшебное, неземное. «Свете тихий» — слышалось от клироса. Волосы шевельнулись на голове Шмуля, и весь он стоял, охваченный мучительным и сладким трепетом. Церковь опустела, служба кончилась. Вслед за прочими богомольцами вышел на улицу и портной.

Долго ли он пробыл в церкви и как добрел до своего подвала, разделся и лег спать, он мало впоследствии помнил. Ясно сознавал он одно, что усталость и голод в то время мгновенно оставили его. Он почувствовал себя бодрым, спокойным и готовым на новую работу. Должник-адвокат выиграл безнадежное выгодное дело и неожиданно расплатился с ним. Прочие заказчики, точно условясь, также в непродолжительном времени уплатили свои долги. Одни прислали деньги через прислугу; другие для расплаты сами явились к Шмулю на квартиру, да еще с извинениями за просрочку. «Что за диво!» — изумлялся портной. Не только рыночники, капитанша-ростовщица, даже скваlыга участковый пристав не только расплатился до копейки, а еще заказал другое платье и, чего не бывало прежде, на материал дал вперед деньги. Новые заказы посыпались в то же время так, что портной взял к себе в помощь подмастерье, вскоре затем другого, а спустя полгода перебрался из подвала в просторную и теплую комнату о двух окнах, на антресолях двухэтажного деревянного дома, в переулке на Плющихе. Детям он купил по полдюжине белья, новые сапоги и шубейки, и себя не забыл: справил себе, вместо помятого цилиндра, еще малоподержанную, поярковую шляпу котелком и — с чье-

го-то плеча — теплое, длинное пальто с барашковым воротником. Дети по двору стали бегать сытые, пузатые, так как постная лапша с луком у Шмуля сменилась теперь бараниной, клецками и рубцами. Отощавший до крайности, кривоногий пес Шарик тоже теперь ходил сытый и пузатый, лукаво помахивая закорюченным, наполовину облезлым в голодные дни, хвостом, как бы говоря: «Что, взяли? Вот мы каковы!» Дела Шмуля вскоре наконец пошли так хорошо, что он стал подумывать и о вывеске. В одном было препятствие: дом, где он жил, стоял в глубине грязного дровяного двора, так что вывески из-за дров с переулка, пожалуй, не было бы видно.

Кончая теперь заказанную работу, Шмуль весело брал ее под мышку и с тросточкой, в модном котелке и новом пальто шел по улицам в таком духе, что сам удивлялся. «Это все за мою правду и честность Бог послал, — рассуждал он, гордо выступая двойными подошвами по панели, — за то, что я все обряды и правила Израиля соблюдаю, как следует».

И действительно, евреи того и ближних околотков знали доподлинно, что Шмуль никогда в рот не брал свинины — не только в виде жирной ветчины, но и самых невинных, тощих сосисок, а с пятницы под субботу, как ни требовали того срочные и спешные заказы, сидел с детьми в потемках, не зажигая огня. Что же касается празднования субботы, он соблюдал ее до того строго, что не ходил в этот день ни к заказчикам, ни в лавку за припасами, и даже не топил печки, заготовляя пищу, как установлено Талмудом, накануне. Раз, впрочем, встретился великий соблазн: приходилось отправиться с работой за деньгами именно в субботу. Шмуль и помедлил бы, но выгодный заказчик жил на другом конце Москвы и в тот день с утра покидал город. Памятуя, что Израилю в день субботний воспрещены всякие поездки, кроме морского путешествия, то есть езды на воде, Шмуль сел в вагон конки, подложив под себя бутылку с водой, и спокойно на ней съездил за деньгами.

«Вот, говорят, — рассуждал он, — плохо евреям. Оно правда: на улице мальчишки показывают тебе, свернув из полы платья, свиное ухо, зовут тебя пархатым, нечистым. А отчего нечистота? От бедности. Дай евреям волю везде жить, делать честно дела, богатеть, разве то будет? Не один ли у всех Бог? Я тружусь, не пьянствую, забочусь о детях, вот Бог оттого и склонился ко мне, за правду, оттого и улучшились мои дела». — «Оттого ли, однако? — раздумывал иногда Шмуль. — Не было ли тут другой причины?» В голову ему сама собой приходила мысль, что поправка в его делах началась, как нарочно, с того вечера, когда он, истомленный ходьбой, голодом и жаждой, нежданно зашел в христианский храм и постоял там каких-нибудь полчаса. «Случай, не более! — старался себя уверить Шмуль. — Ведь я вовсе не молился там... фуй! Разве я осмелился бы? Ну, и что такое, наконец, если я, зайдя в ту церковь, послушал, как седой поп читает там молитвы и как поют купеческие певчие? Впрочем, очень хорошо поют и столько в церкви образов, так пахнет в ней ладаном и светло — не то, что в нашей темной, бедной и всегда печальной синагоге».

Дела портного становились все лучше. Явились у него заказчики и из военных. Некий подполковник, получив в командование батальон, заказал ему для себя целую новую обмундировку: летнюю, зимнюю, будничную и парадную. Шмуль нажил на этом немало. За командиром обратились к нему с заказами и офицеры того батальона.

— Отчего ты, любезный, не заведешь вывески? — говорили ему офицеры. — Шьешь не хуже модных портных, а тебя почти никто не знает...

Шмуль подумал и завел вывеску. Дров к началу лета во дворе стало менее, и огромная вывеска: «Портной из Варшавы — Август Самойлов» — стала всем видна с переулка. В числе новых давальцев к Шмулю, перед осенью, явился с заказом новой суконной рясы не старый еще соседний протоиерей. Шмуль снял с него мерку, сходил в гостиный двор, где забирал товар, и, зайдя на квартиру протоиерея,

выложил перед ним штуку тончайшего, с заграничной пломбой, сукна. Заказчику очень понравился товар.

— Суконце важное... А давно ли мастеришь в наших краях? — спросил священник, гладя сукно по ворсу и против ворса и приглядываясь к нему на свет.

Польщенный похвалой важного духовного лица, Шмуль сообщил ему о своем прошлом и не утерпел, кстати, рассказать, как он случайно, год назад, зашел вечером в церковь и как с той поры совершенно неожиданно поправились его дела.

— Крестись, чадо! — ответил ему на это священник. — Перст Божий указывает тебе, как и что делать.

Шмуль не нашелся, что ответить на это, и промолчал. Выйдя в некотором смущении от священника, он несмело прошел несколько шагов по улице и тряхнул головой.

«Вот еще что выдумал! — сказал он себе в неудовольствии. — Точно не всякая вера сильна у Бога, точно их вера праведнее и сильнее! Немало господ и прежде, да какие — генералы, графы, богачи, особенно полковница Ульянова — два дома у нее, на Стоженке и Мясницкой, — предлагали мне то же... Устоял, однако, бедный еврейчик в вере в дни всякого горя — теперь же и пуще того устою!»

С осени Шмуль принанял, рядом с прежнею своею комнатою, на антресолях, еще другую; в прежней помещался он сам с детьми, а в новой работали и спали его подмастерья. Старуха-кухарка нижних жильцов — сапожников, тоже евреев, — была договорена варить ему обедать и ставить самовар. К зиме дрова опять завалили двор. «Надо весной искать другую квартиру, — думал портной, — вывески не видно с переулка; впрочем, еще месяц-другой такой работы, можно перейти не только на Арбат, а хоть и на Тверскую».

Стояла морозная погода. Дети Шмуля реже стали выбегать во двор и на улицу и скучали взаперти. Он справил им теплые шапки, рукавицы и калоши. Резвый сынишка спускался раз в новых калошах по крутой обледенелой лестнице, поскользнулся и со второго этажа скатился по ступенькам вниз.

— Тату, тату! — закричала Ривка, вбегая к отцу: — там Иоська упал, лежит и не дышит.

Шмуль бросился к сыну, поднял его: мальчик был как мертвый. Он внес его в комнату, тер ему виски, брызгал в лицо водой — Иоська лежал бездыханный.

«Умер! А не умер, непременно помрет!» — в ужасе думал Шмуль, прислушиваясь к чуть слышному дыханию сына и вглядываясь в его безжизненное рябое личико. Сбежались соседи; были приведены знахари и знахарки. Но что они ни делали, что ни предпринимали, мальчик не приходил в себя. Так он, в бессознательном состоянии, пролежал несколько дней. В длинные, темные ночи, просиживая при свете ночника над сыном, Шмуль безнадежно ломал над ним руки, бил себя в грудь или, по обычаю единоплеменников, босой, в разорванном белье забивался в угол, посыпал себе голову золой и, тихо всхлипывая, повторял: «Бог Исаака и Иакова! Опять Ты отвернулся от меня, жестокий, опять караешь и казнишь неповинного! За что, вай-мир, за что?»

Вьюга гудела на дворе, снег ледяными ворохами бил в окна. Ночник догорал, а Шмуль до утра не смыкал глаз, не отходил от сына. В одну из таких ночей, измученный долгою бессонницей, он забылся короткою дремотой и вдруг, точно ударил его кто-нибудь по голове, очнулся. Впотьмах над ним прозвучало странное слово. Он явственно разобрал чей-то тихий, но властный голос: «Крестись!» Думая, что это ему приснилось, он закрыл глаза; но опять услышал: «Хочешь спасти дитя, крестись!» Вскочив с полсти, на которой он прилег у кровати сына, Шмуль оправил потухший ночник, осмотрелся кругом. В комнате кроме детей не было никого. Ривка мирно спала на лежанке в одном углу комнаты; в другом, по-прежнему, как мертвый, лежал неподвижно Иоська. Шмуль отошел к окну, вперил глаза в надворье, где, злобно кружась, гудела вьюга, и задумался.

«Крестись!» — громче раздался за его плечами тот же голос.

Ужас охватил Шмуля.

«Да для чего же? — сказал он себе. — Чем одна вера выше другой? Сына моего, мертвого Иоську, не спасти теперь никому!» Шмуль оглянулся и замер. У кровати сына стояло что-то белое. На слабых, худых ножках, кто-то, шатаясь, шел к нему, протянув руки. Портной бросился к призраку: то был его очнувшийся Иоська. Весь дом утром сбегался на радостные крики Шмуля, дивясь на мальчика, который столько времени был как мертвый и ожил.

— Это по вере моей, по вере отцов! — всем твердил и объяснял Шмуль. — Бог Израиля, владыко наш, явил мне такую милость!

В несказанном счастье от спасения сына, Шмуль стал обдумывать, чем бы ознаменовать эту радость и решил пожертвовать в синагогу ценную пелену на свитки священных книг Торы. Справившись, однако, о ее стоимости, он остановился с исполнением жертвы. «Дорого, не по карману! — рассуждал он, вспомнив жену. — Будь жива Сурра, купил бы одну материю, а она вышила бы; теперь лучше пожертвую коврик к кафедре — это будет дешевле... Да и коврик не подождать ли, пока более соберусь со средствами? Ведь тоже немало обойдется; дешевый неприлично, да и не примут. К тому же времени и Иоська подрастет, станет учиться грамоте; введу его в синагогу, да кстати, постелю там, при всех, и ковер...»

Мысли о возвращенном к жизни сыне не выходили из головы Шмуля. Он думал об его будущности, воображал его себе красивым, стройным отроком, потом разумным юношей, на выучке в хедере, у первых по знаниям меламдов. Иоська давно вытвердил по Сидеру все молитвы, прошел Хумеш (Пятикнижие) и изучает Мишну и Талмуд. На степенного острослова-ученика заглядываются в синагоге первые еврейские тузы. Его черные кудри вьются до плеч, как у Авессалома; рябины на лице с годами исчезли, а умен и находчив он, как его соплеменник, прекрасный Иосиф, и стихи пишет, как Давид. Наука кончена, Иоська поступил в банкирскую контору, да какие дела делает! Вот, из тщедушного и жалкого мальчика выйдет если не сам реббе Рот-

шильд или реббе Монтефиоре, то по крайней мере барон Френкель.

Прошло еще некоторое время. Шмуль выгодно купил, по случаю, мягкой мебели, горшков с цветами, ситцевые занавески на окна.

У какого-то закладчика, также случайно и выгодно, он купил к дивану и красивый ковер. Совесть шевельнулась у него.

«Как же это? — мыслил он. — Я положу ковер у себя, а обещал на синагогу? Ничего, — утешал он себя, — я обещал новый, а это подержанный, для синагоги не идет».

Жилье Шмуля совсем перестало походить на скудный угол убогого поденщика. Фарфоровая посуда красовалась за стеклом на горке, по стенам были развешаны хромолитографии, на столе перед диваном стояла лампа. Одно смущало его: по комнатам ходил все тот же лохматый и кривоногий, с закорюченным облезлым хвостом Шарик. Собака с некоторого времени так опротивела Шмулю, что он стал забывать об ее пище, а когда дети кормили ее, ворчал и гнал ее от себя. «Надо сбыть эту уродину, — думал портной, глядя на Шарика, умильно ластившегося к нему, — у полковницы Ульяновой отличные белые пуделя, ходят наполовину стриженные, зад без шерсти и морда прострижена, так что торчат только усы да брови, а на шее голубые банты; непременно выпрошу у нее щенка, а этого хоть отдать прохвостам, на живодерню, — одно жаль, покойница Сурра выкормила его. Отвел бы на толкучку, под Сухареву, да кто купит?»

Решение сбыть Шарика так засело в голову Шмуля, что он без досады уже не мог видеть его, а когда тот при встрече бросался по привычке к нему, он даже угощал его пинками.

«Вот чертов пес, — отмахиваясь, думал Шмуль, — лезет на грудь, выпачкал всего грязными лапищами и не думает, где вскоре очутится».

Сшив на собаку ошейник, портной выбрал бечевку и повел Шарика на рынок; но собака, всегда охотно следовавшая за портным, тут вдруг почему-то запрыгала вместо четырех

на трех ногах, поджав одну из задних, — может быть, вследствие примерзшего к ней комка снега.

«Нет, подожду, — подумал Шмуль, — пусть выходится, еще забракуют хромую».

Судьба Шарика была отсрочена.

Был холодный и темный вечер в конце зимы. Порывистый ветер раскачивал безлистые, обледенелые деревья сзади дома, в котором была квартира портного. Жильцы двух нижних этажей этого дома давно погасили огни и спали. Дети Шмуля, набегавшись на дворе, также уже улеглись. Спали в соседней комнате мезонина, побывав с вечера в бане, и оба подмастерья. Шмуль, пока было светло, наскоро выутюжил конченную чью-то пару платья и тоже улегся, сердясь на кухарку нижних жильцов, которая с обеда куда-то отлучилась и вовремя не поставила вечернего самовара, и когда внесла его, он так сильно дымил, что вообще покладистый нравом Шмуль раскричался и велел вынести его на лестницу за дверь. Подмастерья, после обычной еженедельной бани, показались ему тоже подозрительными: смеялись громко, отвечали, точно хмельные, невпопад, а ложась спать, так долго возились за тонкою дощатою стеной, что Шмуль не выдержал и крикнул:

— Цыц! Шарлатаны! Пьяницы! Откуда взяли денег, надрызгались? Я вас!

Наморившись за день на ходьбе по заказчикам и на работе, портной вскоре заснул. Холодный ветер продолжал еще шуметь на дворе, раскачивая деревья; зато в комнате было так уютно и тепло. К полночи ветер замолк. Кругом настала тишина. Слышно было в комнате, где-то в углу, только позвякиванье сверчка, да Шарик, переходя от жарко натопленной печи на более прохладную средину комнаты и опять возвращаясь к печи, то мирно дремал, то вдруг поднимал голову и тревожно, спросонья, навострял уши, точно обнюхивал темный воздух.

Шмулю приснился дивный и радостный сон. Он увидел себя вдруг в раззолоченной какой-то комнате, в компании пышных богачей. На каждом были дорогие платья и каждый с похвалой говорил, что это работа Шмуля. Среди хваливших

и славивших его богачей портной разглядел и своего Иоську; но это уже был не Иоська и даже не Иосель, а гордый, с крупными брильянтами на манишке и на перстнях, миллионер-банкир, барон Иосиф Шмуленштейн. Все были веселы и шумны, пили дорогие вина и играли в карты по большой. Одно обстоятельство несколько беспокоило Шмуля, а именно, не совсем чистый и приятный воздух в раззолоченной палате. Пахло как бы дымом или гарью. «Треклятая стряпуха забыла, значит, на лестнице самовар! — подумал Шмуль и сам невольно улыбнулся во сне этой неподходящей мысли. — Какая глупость! — решил он, сладко потягиваясь на кровати. — Ну, может ли стряпуха Мавра даже попасть в такой дом?»

Едкая гарь, однако, усиливалась. Кто-то простонáл у изголовья портного, кто-то тронул его чем-то теплым за руку, потом за лицо. «Тьфу! Не Шарик ли вздумал ластиться? — пришло в голову Шмуля. — И зачем я этого аспида оставил тут, не прогнал на мороз?» Портной очнулся. На дворе была еще ночь, но в комнате что-то светилось, Шмуль протер глаза. У кровати, странно визжа, действительно метался Шарик. Портной уже собирался вытолкать его за дверь, но остановился. Комната наполовину была полна дымом. Очевидно, горело где-то невдали, чуть ли даже не здесь, на антресолях. Сквозь щели притворенной двери из коридора мерцал огонь. Шмуль вскочил, отворил дверь и вскрикнул. Коридор был полон дыма. Он поспешил к лестнице. Пламя хлынуло ему навстречу. Огненные языки вились над выходом и уже касались перегородки, за которою спали подмастерья. Портной бросился к детям, подхватил их, сонных, на руки и, прикрыв одеялом, побежал сквозь удушливый дым к выходу и замер в ужасе. Путь на лестницу был уже прегражден. Портной распахнул входную дверь... Лестница сверху донизу пылала. Шарик с визгом скользнул мимо Шмуля и стремглав кинулся по ступеням в это пламя.

«Боже Господи! Бог Единый! — в смертном страхе мыслил портной, кинувшись обратно в комнату и запирая за собой дверь в коридор. — Лестница в огне, другого выхода

нет, а дым и пламя увеличиваются, скоро вспыхнет и это последнее убежище. Что делать? Что предпринять?»

Спустив на пол испуганных огнем, кричавших и хватавшихся за него детей, Шмуль подошел к окну. Во дворе было тихо. Жильцы нижних этажей, очевидно, еще спали, не зная, какая беда грозила им. Портной выбил стекла в окнах, выломал рамы, высунулся наружу и стал кричать:

— Пожар! Вай-мир! Гевалт! Спасайтесь! Горим!

Отклика не было. Шмуль еще громче повторил крики. В переулке замелькали тени. Кто-то оттуда стал ломиться в запертые ворота. Верхний этаж дома, между тем, разгорался, застилая двор дымом и освещая красным отблеском остатки сложенных возле дома дров.

«Сгорим, сгорим, как солома! — с содроганием думал портной. — А чем спасти хоть бы детей?» Он упал ниц и стал горячо молиться: «Спаси Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова! Бог Единый, помилуй и помоги!.. Не меня, спаси хоть малых детей...» Шмулю вспомнилось, что он обещал жертву на синагогу и не выполнил ее. «Не только ковер, пелену куплю и внесу! — шептал он трясущимися от страха губами. — Все прозакладую, отдам... все!» И он бросился к кроватям, сорвал с них простыни и одеяла, связал их в длинный канат и стал концом его обматывать плачущую дочку. «Она легче, не оборвется и крепче стянет узлы, — думал он, — за нею спущу и сына».

— Не плачь, Ривка! — говорил он дочери. — Спасу тебя в окошко, не бойся, видишь, на этих связках, а ты, как только станешь наземь, развязывайся скорей.

Дым врывался в комнату более и более; в ней становилось трудно дышать. Огонь, треща за дверью, охватил, очевидно, весь коридор. Над притолком коридорной двери уже мелькали огненные змейки. Портной быстро спустил из окна девочку, вздернул канат обратно и стал обвязывать им сына. Ворота во двор растворились. Под окнами, в дыму, который валил уже из остальных этажей, двигались люди. Нижние жильцы проснулись, выбрасывая в окна, впопыхах, разную рухлядь.

— Помогите, держите! — закричал Шмуль, бережно спуская из окна сына.

Снизу увидели его, отстраняясь от дыма, протянули руки и приняли Иоську, но при этом так потянули канат, что портной не удержал его и выронил из рук.

Шмуль обмер в ужасе. Он понял, что спасения ему более нет. Он должен был неминуемо сгореть. Удушливый, жгучий дым, захватывая дыхание, летел к открытым окнам, вырываясь сквозь них багрово-темными клубами. Портной высунулся на мгновенье в окно, взглянул вниз и увидел, что броситься туда с трехсаженной высоты — значило разбиться вдребезги. Он схватил ковер, набросил его на голову и беспомощно припал в угол под окном.

«Здесь постигнет меня последняя участь, — думал он, замирая, — хлынет пламя, вспыхнет одежда, задохнусь, сгорю...» Ему вспомнился в этот миг Шарик. «Бедный, верный пес! — сказал он себе. — Я гнал его, хотел сбыть, а он-то и разбудил меня, сохранил жизнь детям и сам, как бы показывая путь, бросился в огонь...»

Страшные секунды летели. Шум и гул пожара увеличивались. Пылавшая коридорная дверь с треском рухнула. Портной невольно выглянул из-под ковра и обмер. Ярко освещенная комната была в огне; горела мебель и занавески окон. Шмуль сбросил с себя ковер... Внезапная мысль охватила его.

«Бог Израиля не дал мне всей помощи, отвернулся от меня! — подумал он, — неужели же точно есть другой Бог, милостивее и сильнее? И неужели оттого только, что я зашел в Его светлый храм, вся жизнь моя стала лучше? И я не понял Его зова, остался глух к нему... Лучше сразу разбиться, чем медленно сгореть...»

Шмуль вскочил на подоконник, уцепился за него, свесил ноги наружу и на мгновение помедлил. Клубы дыма душили его; волосы на голове и бороде затрещали. Шмуль закрыл глаза, поднял руку и, мысля: «Бог христианский! Иисус, спаси меня, бедного!» — осенил себя крестом и бросился из окна...

Через неделю в церкви близ Садовой полковница Ульянова принимала от купели нового христианина. То был портной Айзик Шмуль. В белой, длинной рубахе, с розовою лентой вместо пояса, он принял крещение не один, а с детьми. Сияющий и радостный стоял он во время обряда, слушая молитвы и думая: «Нет, не простой случай, не выкинутая из нижнего жилья чья-то перина, как уверяли тогда, спасла меня. Едва я сорвался и бросился в темную, страшную пропасть, точно некие огненно-голубые крылья подхватили меня, и на них-то я бережно спустился и невредим стал на ноги... Свят Господь Иисус Христос! И нет выше, радостнее веры в Него!»

А у ворот новой квартиры портного, в доме его крестной, Ульяновой, в обществе белых пуделей хозяйки, сидел на задних лапах, с виляющим хвостом, уцелевший на пожаре Шарик. Он не был выстрижен, так как из огня выскочил совершенно без шерсти; но зато был чисто вымыт и в голубом ошейнике, как и пуделя, поглядывал на улицу с таким спокойствием, как бы ничего особого с ним и не было.

1890 г.

ДЕВОЧКА

(ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ОБ ОДНОЙ ПТАШКЕ)

Его высокородие господин полицеймейстер Сантурин венчался с туземною барышней. Розами устилался путь новобрачных. Будочники стояли в новых мундирах и с нафабренными усами. Завитые и распомаженные щеголи выскакивали из зала первого губернского парикмахера мосье Исидора, что на Московской улице (в каком городе их у нас нет!), и уносились — кто в церковь, а кто домой, в ожидании вечера.

Непомерно скверен был только день, мрачно противоречивший восторженному настроению гражданских сердец.

В ту минуту, как среди смолкнувшего городского шума и горячечной суеты купцов, готовивших иллюминацию, кончилась брачная церемония и счастливый *молодой*, носивший в одном ухе вату, а в другом волокна морского каната, протянул свои губы к розовым губкам сочетавшейся с ним барышни, — в отдаленнейшем из закоулков города к небольшому домику подкатила коляска, вся перепачканная грязью. В коляске был губернский землемер вообще и красноречивый Жюль Фавр в особенности, Щукович, перезябший донельзя под октябрьским туманом и голодный от неустанного сидения за планами бесконечного, тщетного полюбовного размежевания туземных аборигенов. Он рад был, что пара серых рысаков наконец примчала его к домашнему порогу, и, вбежав в переднюю, крикнул: «Обедать!» Нанятый слуга его, Михайло, вместо ответа упал ему в ноги...

— Это что такое? Что за китайские церемонии?

— Так и так, ваше высокоблагородие, смилуйтесь! Защитите и спасите сироту безродную; не оставьте моей племянницы...

— Да что ты за чепуху несешь? Денег тебе, что ли, на выпивку нужно? Говори прямо!

Михайло опять в ноги.

— Нет, не денег, а вот какая притча...

С этими словами он выдернул за руку из своей конурки девочку лет четырнадцати-пятнадцати, в платочке на голове, с красными и от слез припухшими глазами.

— Это-с моя племянница, — начал Михайло, всхлипывая, — мы одной деревни; я по пашпорту, известно вашей милости, а она в белошвейной, в обучении, у парикмахера Исидора, на Московской, при магазине отдана. Уже второй год она у него... Только француз этот — приударил за ней... Ну, известное дело, дитя... Что же-с? Убивалась она плакала, плакала — сбежать хотела... А вчерась он, окаянный, с ночи опоил ее чем-то или так задобрил — задарил, вы-

ходит, что ли, лакомствами всякими, — запер ее под видом ареста за леность... Ну, а нынче вот прибежала ко мне... Что уж тут!.. Как его земля носит, окаянного!.. — продолжал Михайло, уже громко рыдая и произнося каждое слово с усилием.

— Вот что! — повторял про себя Щукович, качая головою, и спросил девочку: — Как тебя зовут?

— Фрося...

— Правда ли все это, что говорит твой дядя?

Слезы закапали из глаз девочки... Круглые, побелевшие от страха и отчаяния, полные губки вздрогнули. Посинелое, маленькое личико отклонилось в сторону. Она стала перебирать конец косынки...

— Говори же, не бойся! Правда это?

Девочка опять смолчала. Наконец, после долгих приставаний Щуковича и Михайлы, чуть слышно ответила:

— Правда...

Кровь кинулась в голову Щуковича. Он был грозою местных дон-жуанов и казнокрадов, и тщетно три губернатора сряду, правившие губернею, старались сбыть его с рук. Его спасало собственное начальство. Он представлял зародыш тех адвокатов, которым суждено, вероятно, вскоре начать новую эпоху в русском судопроизводстве. Он мог ясно, почти осязательно излагать самые запутанные дела, он уже прославился решением нескольких давнишних процессов, ежегодно загромождавших местные присутствия грудами бумаг, и губерния кричала о нем. Со всем увлечением пылкого юриста, несмотря на свои сорок лет, Щукович бросался на каждое дело и вел его победоносно до конца. Ничем не пренебрегал он. Богачи осыпали его за решение своих тяжб огромною платой, подарками каменных домов, рысистых лошадей, экипажей и просто золотом; с бедняков он не брал ничего. Разводя в свободное время сад при маленьком домике, в конце города, где жил он сам, Щукович, кроме того, страстно следил за родною литературой, втихомолку пописывал стишки, любил декламацию и, читая много медицин-

ских сочинений, занимался даром врачебною практикой. Множество бедных людей ходили к нему советоваться, и он всем помогал, а соседние мещанки, вдовы-солдатки и хуторяне подгородних сел считали его отцом, за несколько счастливых и действительно поразительных опытов лечения самоучкой. Вот этот-то господин крикнул: «Лошадей не отпрягать!» Посадил с собою в коляску Михайлу и девочку и полетел искать суда на обидчика-француза. Никогда еще задор так не овладевал Щуковичем, как теперь. Не обращая внимания на то, что было уже четыре часа пополудни и что голод давно уже его мучил, он хотел разом накрыть преступника, и, разумеется, в голову ему не приходило, чтобы тут не одержал победы *он*, одержавший столько побед в мире юридическом.

Коляска подлетела к дому младшего полицеймейстера. Как угорелый, влетел Щукович в переднюю и в приемную.

— Павел Николаевич! Нужны ваши быстрые и неотразимые меры! Вы у меня в долгу: помогите! Дело вопиющее. Я привез девочку, одну девочку здешнюю. Так и так...

Младший полицеймейстер, в ожидании вечера у своего главы отдыхавший после жирного обеда у какого-то купца и разбуженный собственно для Щуковича, выслушал его с измятым лицом, зевнул, подошел к зеркалу, взглянул на свой язык и, гладя бакены от ушей к носу, ответил:

— Ох, уж вы мне, адвокаты! Не оберется от вас Россия хлопот! Оно, действительно, этот Исидор известный пакостник и негодяй! Да что же делать с ним, хоть бы и мне? Не далее как вчера губернатор велел мне подать в отставку... ну, я и подал! Оно, разумеется, я еще не уволен... Да кто же поручится, что мой преемник не соблазнится на благодарность со стороны обвиняемого и не повернет следствия в его сторону? Ведь дело уголовное, тут пахнет острогом — и француз ничего не пожалеет... Знаю я его!.. А кто-с начал следствие-с? А? Кто начал? Я-с, Павел Николаев, сын Трощенко. Ну, и упекут меня же под суд... Не могу, никак не могу принять вашего дела, извините.

— К кому же мне обратиться?!

— Коли такой уже задор напал тягаться с французом, поезжайте к частному приставу. А еще лучше, оставьте... Оставьте это без внимания! Мало ли этих девчонок шляется по городу, и все с такими же жалобами. На всякое чихание не наздравствуешься! Бросьте! Это мой благой совет!..

Поехал Щукович к частному. Везет опять лакея, везет и девочку. Уже пять часов вечера... Частного пристава застает он за бумагами, мрачного и небритого... Это был дикий, зелено-бледный, темный, грязный и необщительный человек. Он всегда смотрел вниз, взятки брал, не глядя и молча, и колотил будочников собственноручно и также в полном безмолвии.

— Максим Иваныч! — начал опять Щукович. — Так и так, окажите содействие. Надо наказать одного негодяя Исидора! Ей-Богу, надо! Я привез девочку, вот она! Так и так!..

Вместо всякого замечания пристав обратился к писарю.

— Степан! Дело мещанки Саможаренковой! — Писарь уткнул нос в угол, повозился там и подал пыльную связку бумаг.

— Вот, вот, видите? А?! Это дело-с того же-с самого Исидора. Таких дел его у нас же восемь других... Ну? И вы думаете выиграть свое?.. Отложите попечение. Лбом стены не прошибешь! Так-то-с!

И пристав начал опять писать.

— Да я, однако же, прошу вас начать следствие...

— Дудки!.. Вы думаете, что вы на своем веку кончите это дело? Повторяю: у этого Исидора таковых наберется восемь уже, и все у бестии насчет седьмой заповеди... Дела эти, разумеется, идут своим махом, а он живет в свое удовольствие! И как живет, мы и сами не знаем... Отписывается, должно быть, ловко — и все тут!

— Это срам! У вас нет совести, господа, я вижу! Такое вопиющее беззаконие, и нет ему расправы... Я вас прошу, требую...

Пристав понюхал табаку, потер лоб и вдруг, оборотясь всем телом к Щуковичу, ответил:

— Милостивый государь, увольте! У меня жена и дети... Увольте меня, ради Бога, увольте! У вас связи и знакомства; вы же и законы хорошо знаете! А у меня дел гибель... Куда нам? Избавьте, обратитесь лучше к младшему полицеймейстеру...

— Да я у него сейчас был; он к вам меня направил. Его отставляют...

— Ну, и меня отставляют! Я и забыл вам передать, — даже с радостью поспешил подхватить пристав, — я также подал уже в отставку, коли хотите знать! Не приму такого дела к следствию. Не могу...

«Как тут быть? — думал Щукович, выходя от пристава. — Один отказывается, другой отказывается! К кому же ехать? К старшему полицеймейстеру? Но он теперь на верху счастия, как индийский набоб, и до горя ли ближнего ему теперь? Женится, жена его станет составлять аллегри и всякие лотереи в пользу бедных. Увидит ли она, услышит ли хоть раз истинно-бедного и страждущего? И что такое моя девочка? Соблазненная служанка! Роман с горничной! Эка невидаль! Да и мало ли их в самом деле! Пируйте, ваше высокоблагородие! Все в городе обстоит благополучно: и права, и обычаи страны, и честь, и совесть, и имущество граждан...»

— Куда прикажете ехать? — спросил кучер, летя без цели по мостовой.

— К Безходанцеву...

Лошади понеслись опять. На дворе уже совсем стемнело... Безходанцев был прежде полковник из гвардейцев. В свете щеголь и дамский угодник, он отличался отменною чистоплотностью; в делах был сух и краток, стригся под гребенку, носил изящные белокурые усики, запускал длинные розовые ногти, душился тонкими духами и тайком дома пел итальянские арии, вероятно, в память своей гвардейской молодости. Его вообще любили, но как-то нехотя, скупо и пугливо. Сама история в полку, по которой он перешел из гвардии в провинцию, впрочем, не набросила на него особенной тени. Он любил книги и стоял за молодое поколение.

Тем не менее, собственный его казачок трепетал его, как огня... Шукович застал его после обеда, за роялем. Казачок сейчас его ввел. Красивый полковник принял его без эполет, извинился, дал ему сигару и, видя волнение своего знакомца и гостя, попросил его говорить откровенно. Не забыл опять Шукович и «человеколюбия», и «вопля поруганной невинности», и «падежа скорбящей добродетели», и множества других, трогательных и размягчающих душу, выражений. Шукович кончил. Чувствительный полковник тотчас взял перо, провел им по своим щегольским усам, помолчал, взглянул на свои розовые ногти и стал писать. Это было письмо к младшему полицеймейстеру, письмо — надо отдать ему справедливость — такого едкого содержания, что, когда Шукович опять заехал к младшему полицеймейстеру, этот последний утер лоб, мгновенно орошенный холодным потом, и пометил прошение Шуковича словами: «Такого-то года и числа: принять к следствию».

«Ну, слава Богу! — думал Шукович и поехал с помеченной бумагой в канцелярию городской полиции. — Это, впрочем, очень любопытно, если *мне*, губернскому пресловутому адвокату, не удалось до этого часа начать этого дела, то каково же было бы начать его самой этой девочке?»

Он вошел в душную и темную канцелярию. Груды ежечасно растущих бумаг требовали от жрецов их и вечернего присутствия. Канцеляристы хорошо знали Шуковича; любовались ежедневно его рысаками, передавали друг другу его юридические победы, встречали его с поклонами, с улыбками, и вообще смотрели на него дружески.

— Как? И вы здесь? — спросил его один из столоначальников, добивавшийся со всеми быть за панибрата. — И вы в нас, грешных, имеете нужду?

— Да, здесь! Что же делать!

— А что у вас за дельце? Должок, чай, на ком-нибудь, или свидетельство какое от полиции нужно?

— Нет, а вот что-с...

И Щукович рассказал снова свое дело. Бумага его, с пометкой младшего полицеймейстера, прочтена.

Канцеляристы окружили адвоката и его спутников.

— Господа, я вас прошу скорее начать это дело...

— Да что же вы торопитесь? Не хотите ли посидеть? Вот папироска: не угодно ли?

— Нет, нет, господа, избавьте: я еще не обедал! Начинайте следствие, и с Богом...

Любезный столоначальник пожал плечами.

— Вы торопитесь непременно? — сказал он. — Не понимаю! А, впрочем... Дневальный! Позвать сюда Марфу!

— Кто это Марфа? — спросил Щукович.

— А это одна солдатка! Она у нас ходок по этой части! Ведь таких дел у нас каждый месяц гибель...

— Да помилуйте, — перебил Щукович, — тут нужна врачебная управа, а не солдатка Марфа!

Столоначальник расхохотался во все горло.

— Управа?! Полноте; ну, стоит ли созывать для всякой дряни врачебную управу! Мы и так обойдемся, полноте...

— Ну, уж нет, не обойдетесь: взгляните сюда!

Щукович раскрыл свод законов, наскоро перелистал его, указал статью, и чиновники, волей-неволей, должны были уступить ему.

Было восемь часов вечера, когда Щукович, после первых успешных формальностей, поехал домой. Город уже горел иллюминацией, экипажи сновали и прыгали по мостовой, а соборная церковь кипела свидетелями счастливого события в семье главы городской полиции. Венчание совершилось, и гости выходили уже из церкви. Хожалые кричали: «Карету Мымрина!», «Карету Стовбенко!» и просто: «Иван Васильича ка-ре-ту!»

Наконец, Щукович сел за стол и налил тарелку борщу. Тут же возле него, на особом столике, велено было приготовить обедать и виновнице поездок к центрам правосудия.

— Ну, Фрося, много же вас всех у француза? — начал Щукович. Фрося не отвечала и не трогала пищи.

— Эка, бедная ты, точно горем подавилась! — заметил Михайло.

Щукович не настаивал; кончил обед, выслал Михайлу и стал расспрашивать Фросю о ее житье-бытье у француза. Сперва она отмалчивалась, то тупо глядела в пол, то вертела конец старого головного платка, то вдруг заливалась самыми горькими, быстрыми слезами и, ломая руки, взглядывала то в окно, откуда будто ей грозила невидимая рука, то на образ. Ее больше всего убивала мысль: «Что скажет ей и что сделает с нею мать?»

Щукович побожился, что защитит ее перед матерью и у нее, жившей в соседней губернии, выпросит ей позволение воротиться домой в деревню. «Нет, не пустит меня мать в деревню! Я уже два года в обучении и уже аглицким шитьем стала шить. Не пустит! А еще четыре тоже девочки учатся в швейной у Исидора! Не пустит!» Из слов Фроси оказалось, что под видом родства Исидор поместил, этажом выше себя, над магазином своим, какую-то француженку, *мамзель Пуссен*, и выхлопотал ей право держать швейную; что эта швейная содержится на его деньги, а мамзель Пуссен только принимает заказы; что в первых комнатах у нее чисто, а во внутренних духота и нечистота; что девочки у нее голодают, а по ночам работают на себя, чтобы хоть два раза в неделю на складчину есть мясо; что у них нет ни белья, ни одеял, ни шуб; что все спят вповалку на полу и чередуются зимой, кому спать ближе к печи, а кому к двери, откуда иногда надувает на пол из сеней снегу; что мамзель Пуссен — старая девка, бьет утюжными брусками девочек по голове до крови и со злости выщипывает иногда с головы им волосы, а у одной вырвала в бешенстве бровь за то, что ту все подруги хвалили за хорошенькие соболиные бровки; но многие белошвейки слепнут у нее над шитьем золотом; что, наконец, «новеньких» она всегда ласкает, и как только такая явится к мамзель Пуссен, сейчас снизу начинает Исидор ходить обедать, а после пристает к новенькой с глупостями, и когда та обратит внимание на него, то такую все другие

девочки долго зовут после того француженкой и аристократкой. А взрослым и сама мамзель Пуссен говорит: «На тебя твои родные шлют одежду, да я ее продаю; а теперь ты и сама на возрасте и можешь себя одеть!» Ну, и одеваются они на свой счет...

Заварилось дело. Начали писать и отписываться.

Щукович лез из кожи, чтобы победить.

Благодетели, без сомнения, тотчас перекинули весточку самому Исидору, что вот, мол, на него поступил такой-то и такой-то иск, и еще не от простого какого-нибудь челобитчика, а от самого Щуковича. Потерялся было, не на шутку, с первого разу Исидор, знавший таланты Щуковича по слухам и бривший лично несколько раз его благородные щеки; даже гнусно потерялся, до того, что без причины надел старенькую рыжую шинельку, в которой впервые явился в Россию из Франции и которую надевал только по ночам, и в ней пошел ходить по улицам. Его просто пришибла нежданная мысль: «Чем я куплю мосье Щуковича, чем я куплю его? Его ничем не купишь! Да!» — думал он и, дрожа от трусости, чувствовал уже, как его вели по улице русские солдаты и как за ним со скрипом замыкались двери губернского острога. Поздно он воротился в тот же день домой и двое суток лично не принимал гостей в своем магазине, где так ловко он покручивал всегда свои белокурые усики, картавя без милосердия и встречному и поперечному рапортуя о своих маленьких любовных интрижках, причем, разумеется, смиренные личности Фроси и какой-нибудь Маши дерзко заменялись фамилиями туземных великосветских барынь и даже барышень. Сильно затосковал француз...

Только через пять дней дело его устроилось как-то так, что печальный Исидор неожиданно поднял нос, с улыбкой появился снова в магазине и стал еще более прежнего развязен. Имя Щуковича более не пугало его. Он даже сам затеял дать острастку знаменитому адвокату. В виде диверсионного отряда был для этого послан к нему комми из магазина...

Сидел Щукович дома вечером и пил чай. На пороге явился развязный незнакомец в общипанном кургузом полуфраке с пуговицами в ладонь величиною и в желто-зеленых крокодиловых брюках. Это был подмастерье Исидора, ярославский мещанин, с серыми глазами на выкате, с румяными щеками и с лошадиными губами, корчивший из себя француза, для чего постоянно кричал другим мальчишкам в магазине: «Мальшик, шипси!» или: «Мальшик, мосье папирос э-дю-фе!» Войдя к Щуковичу, офранцуженный Этьен, а православный Степка, бойко тряхнул волосами и отрапортовал: «Мосье Исидор поручили вам сказать, что если вы переманиваете из швейной их сестры ленивых девок, то они вам и остальных всех оттуда вышлют!» Щукович вспыхнул... «Ах ты, мерзавец!» — крикнул он и схватил шандал в намерении пустить им в мнимого француза Этьена. Но консервативная природа взяла верх, и Степка выскочил невредим и цел из квартиры Щуковича. Исидор, однако же, не угомонился и с беспримерною пошлостью буквально исполнил свою угрозу. Как-то опять Щукович воротился поздно из присутствия; во дворе его встретила толпа из семи девочек, без платков на голове и босиком по морозу. Все дрожали и, заливаясь слезами, объявили, что их прогнали к нему мамзель Пуссен и мосье Исидор. Щукович должен был поместить их у себя на хлебах, пока полиция примет свои меры.

«Нет, это уже из рук вон! — подумал Щукович, — это превосходит всякую степень дерзости! Была не была!» И он поехал объясниться к губернатору, лицу действительно очень доброму и любившему показать, что он самостоятелен. Губернатор принял дело к сердцу. Сам осмотрел все бумаги по следствию, где оказались уже и подчистки, и ложные показания. Все дело поручено переисследовать губернаторскому адъютанту. Юноша-адъютант принялся за дело тем, что целый вечер просидел у Щуковича, выкурил пять отличных сигар, много говорил о злоупотреблениях всякого рода в отечестве, признался, что не получает никаких журналов, но что теперь «подпишется непременно!» («И опять врет!» —

подумал на это Щукович), рассказал план, по которому думал начать следствие, и кончил тем, что на первом же бале в городе завертелся и забыл обо всем сказанном. А в деле явился новый эпизод...

Сидел как-то, снова под вечер, Щукович дома и пил чай. Говорят ему, что за ним прислан экипаж от госпожи Дымоглотовой.

— Кто это такая Дымоглотова?

— Это по доверенности матери Фроси, — робко отвечает Михайло, — приехала, говорят, нарочно из своей вотчины и остановилась в трахтире «Венеция»...

Поехал Щукович в «Венецию», мимоходом взглянувши, при надевании шубы, за перегородку, в конурку Михайлы. Фрося, с тем же напряжением, молча сидела в углу и шевелила ногой оборку поношенного своего старенького платья. Покрасневший кончик носа ясно выражал, что до нее уже дошел слух о приезде Дымоглотовой и что она хорошо обдумала встречу с нею.

В указанном нумере гостиницы Щуковича приветствовала довольно суровая и полная барыня, круглая и неповоротливая, как кочан брюквы, с короткими руками и в чепце с лиловыми лентами. Стоя у стола и судорожно тормоша на груди кашемировый платок, она двинулась было вперед и остановилась, как бы совестясь...

— Рекомендую — муж мой! — сказала она, сунувши руку в направлении к мужчине среднего роста и заспанной наружности, который тем временем, однако, довольно спокойно мялся у стены. — Благодарим вас за хлопоты, что вы приняли на себя труды... так сказать... постарались за эту девку! — прибавила приезжая.

— Помилуйте, — подхватил Щукович, садясь в кресло и с жаром обращаясь к ласковым супругам. — Да это был мой долг совести, человеколюбия! — Заспанный муж, крутя усы, крякнул и подступил ближе. Это был чистейший образец отставного бурбона, с вздутыми, толстыми губами, точно пчелы их искусали, с широким красным затылком, прикры-

тым галстуком с пряжкой и медноцветным, рябоватым лицом, на щеках которого к губам уздечкой протягивались тоненькие, рыжеватые бакены.

— Э, милостивый государь! Э, мы вам очень-с благодарны; э, но... — Он немного говорил в нос.

Муж и жена приблизились к столу.

— Что такое? — спросил Щукович.

Приезжая госпожа крякнула и судорожно, без нужды, стала подтягивать под бородою ленты у чепца.

— Э, но, — продолжал супруг, — хоть мы и благодарны вам, но просим вас более не вмешиваться в это дело!

Ноги у Щуковича дрогнули сами собою.

— Как-с не вмешиваться?

— Да так же-с! — заметил, подступая уже почти в упор и крутя усы, супруг. — Мы думаем идти с французом на мировую...

Щукович улыбнулся.

— На мировую? Да разве вы с ним ссорились?

Он думал не на шутку, что его мистифицируют.

— Без каламбуров, без каламбуров! Па-ажалуйста, прошу вас! — заметил еще громче и грознее супруг Дымоглотов. — Мы приехали, чтобы покончить это дело домашними средствами... Понимаете?! Исидор — добрый человек, и его оклеветали... А мы имеем от ее матери полную доверенность во всем!..

Щукович был разгромлен. Он решительно не знал, что ему делать: смеяться ли, плакать ли, или, недолго думая, взять да и хлопнуть прямо в серые, заплывшие и сонные глаза нецеремонного бакенбардиста...

— Да-с, полную доверенность! Не хотите ли покурить? — спокойно добавил супруг Дымоглотов и отправился набивать себе трубку. У жены глаза так и бегали, а руки по-прежнему возились то у чепца, то у кашемировой шали.

— Но бедная девочка? — залепетал Щукович. — Честь ее? Ведь это единственное, единственное достояние этого существа... все, что она только имеет и что может в будущем принести в наследство своим детям...

Дымоглотов опять, плечом вперед, подступил к нему.

— А не угодно ли вам, милостивый государь, — сказал он шепотом и держа кулак перед собою, — убираться с вашими нежностями... Мы-с люди простые-с, военная косточка... мы смотрим на вещи прямо, не умствуя...

Щукович встал, хотел что-то сказать и поклонился.

— Мне точно остается только уйти! — сказал он с улыбкой, видя, на каких людей напал. — Успокойтесь! Защищайте, по неизвестным мне причинам, Исидора! Не он ли и вызвал вас сюда?.. Но знайте, этому делу только два исхода: или девочка останется при своем показании, и тогда француз попадет в острог; если же она покажет, что оболгала его понапрасну и взнесет беду на другого... в последнем случае ее оставят до совершеннолетия под присмотром полиции, а потом сошлют... Как-то тогда, сударыня, зашевелится у вас совесть?!

Сударыня, однако же, пребыла в полном молчании, и спокойны остались торчавшие на ее голове лиловые ленты. А муж, куря трубку, просто указал Щуковичу двери...

Фрося, между тем, продолжала жить у дяди за перегородкой, копаясь в разной рухляди, штопая старое платье, перетирая посуду и изредка порываясь напевать под нос разные песенки. Она уже успокоилась, и свеженькая улыбка не покидала ее прежде убитого и запуганного лица; синенькие глазки смотрели ласково, а косы тщательно заплетались уже и клались вокруг головы толстеньким веночком.

Но не далее как через две недели Щукович уже не узнал ее более. По утрам прежде он учил ее молитвам и простому счету, купил ей ситцу на платье и любовался ее детской копотливостью. Тут вдруг она опять уселась в угол, надулась, стала редко отвечать на все вопросы, перестала заботливо чесаться, более не штопала, выходила уже за ворота, болтала с прохожими, а один раз, как-то после обеда, приоделась и без спросу куда-то ушла тайком, не возвращалась до позднего вечера и пришла тихо за перегородку, но уже не с пустыми руками, а с узелком орехов и в полпьяна. Михайло все это видел. Заметил и Щукович...

— Михайло! Это что?! Где Фрося была? — спросил он.

Михайло злобно покачал головой, вытирая стаканы, глянул в сторону перегородки и прошипел:

— Таскалась тоже в «Венецию».

— Это как?

— Сестру мою, а ее, значит, мать привезли тоже из деревни, с нарочным...

— Ну?

— Мать-то ее сдуру и выманила отсюда тайком, еще и вчера за ней на извозчике приезжала; значит, сбивают, чтоб отказалась от всех своих показаний... Весь вечер уговаривала ее, бесстыжая карга, сама... свое детище-то, на кухне; говорит, даже медом потчивали... Ну, и пошатнулась, видно, девка! Сама уже и хвастает, что мать-то ей и серьги купила, и в театр обещала взять...

— Где она? Где Фрося? — крикнул Щукович, идя за перегородку...

Михайло, перед тем уходивший на кухню, глянул за перегородку, откуда был другой выход в коридор, и ахнул.

— Нету-с... Опять, должно быть, ушла туда же, завидевши, что вы рано воротились домой; да, верно, и вовсе убежала, так как и тряпье свое разбросала...

Вошел Щукович за перегородку. На тюфяке Михайлы лежал кусок дрянного ситца, а в платке лежало несколько горстей орехов. Новенькие козловые, должно быть тоже подаренные, башмаки засунуты были под подушку.

— Ах, ты, пташка, пташка! И за что себя продала! — крикнул Михайло, ударивши себя в грудь. А Фрося, точно, уже совсем переселилась в «Венецию». На ней явилось новенькое зеленое с мушками платье. В кармане ее завелся полтинник, а от волос стало нести розеткой. По вечерам, когда фонари зажигались на главной улице, у ворот «Венеции», окруженная поварами и конюхами, Фрося садилась на лавочку и, смеясь и грызя во весь рот орехи, рассказывала о своем житье-бытье у француза, отпускала иногда бессмысленные, на французский лад, фразы, вроде: «Коман-ву-пор-

те-ву!» или: «Ке-ле-ма-шер, боку-сава!» — и праздная челядь награждала ее взрывами самого дурацкого хохота и навязчивыми грубыми ласками.

«Что тут, однако, делается? — подумал однажды Щукович и решился узнать о ходе дела у самого губернатора. — Здесь что-то темно и загадочно!» Он поехал к губернатору.

Губернатор на первый вопрос с грустною улыбкою подал Щуковичу бумагу, принятую им от Дымоглотовой, следующего содержания: «Ваше превосходительство! Известные всем благодеяния ваши несчастным и обижаемым страдальцам побуждают меня на сей раз прибегнуть к вам. Известный кляузник и крючок, здешний адвокат Щукович, вмешался в дела дочери доверительницы моей, по имени Евфросинии Александровой Индюковой, замарал понапрасну доносом бывшего французского, а ныне русского подданного, известного здешнего парикмахера, Исидора Салэ. Девочка же эта давно замечена нами в порочном и безнравственном поведении и отдана для исправления в швейную при модном магазине двоюродной сестры Исидора, мамзель Пуссен. Она там ленилась, не хотела учиться и бежала к этому Щуковичу, где служит ее дядя, Михайло Индюков. Там она Щуковичу, а при его содействии и самой полиции, дала ложный извет на Исидора, а ныне, при моем вразумлении о пагубе своей души, во всем чистосердечно раскаялась и созналась на бумаге при подписании свидетелями: отставным квартальным надзирателем Бордуновым и купеческими сыновьями Сырейщиковыми и Добросветовыми. А посему, прося ваше превосходительство о прекращении названного дела по жалобе указанной Евфросинии на парикмахера Исидора и о взыскании по законам с Щуковича за непрошенное вмешательство в неподлежащие ему и вымышленные дела, пребываю такая-то подпоручица Дарья Аркадьевна дочь Дымоглотова».

— Ну, что-с? — спросил губернатор.

— Это верх наглости, ваше превосходительство!..

— Что же делать? У нее доверенность... Но, нет, разбить их стачку, разбить! — говорил с сердцем губернатор

и велел своему адъютанту, тому самому, который за танцами одного вечера забыл вовсе о порученном ему деле, принять к этому тотчас, немедленно и самые строжайшие меры...

Адъютант опять всполошился. Ему совестно было перед Щуковичем. Да еще перед тем он сильно проигрался в карты и почему-то усердно стал работать по службе. Кинулся он с Щуковичем к девочке, призвали ее в полицию; но она уперлась на своем: «Обнесла я по злобе мосье Исидора!» — да и баста. Ничего более от нее не узнали. «Кто же... на кого же ты покажешь?..» — допрашивали ее в полиции. «Наш повар Никишка, это он!» — не краснея, сказала Фрося. Позвали Никишку. Но от этого ничего уже не добились. Перепуганный зовом в полицию, он только молчал, глупо смотрел на всех серыми, потухшими от страха и блуждающими глазами и едва шевелил белыми, как мел, губами... Тем история и кончилась.

Щукович, озабоченный кучею других дел, тоже ее бросил.

Мосье Исидор остался в том же магазине и в том же городе.

Фрося, говорят, совершенно утешилась и живет уже на вольной квартире, работая той же мамзель Пуссен поштучно. Недавно я видел ее на извозчике с толстым драгуном. Зато, проезжая наш украинский город, вы можете видеть на главной его улице ряд зеркальных окон, чугунное крыльцо и резные двери прелестнейшего парикмахерского магазина. Раззолоченные вывески, в сажень величиною, цепляются по всем стенам, карнизам и даже по крыльцу магазина. А в окна смотрят кучи блестящих тросточек, цепочек, банок, склянок, запонок, белья, платья, книг и галстуков. Уже в самых дверях, при входе, встречает вас запах лоделаванда и прижженных волос. За дверью же сам хозяин, прелюбезнейший господин с тонкими, нежными чертами лица, очарует вас своею постоянною улыбкой и белокурыми усиками. Под предлогом завивки волос он сбывает вам голландское белье; под предлогом стрижки сбывает романы новейшей парижской фабрикации. И, пересыпая работу свою и своих подмастерьев

анекдотами о своих похождениях, он тут же лепечет о Бонапарте и об английском парламенте, о делах Китая и о турецком займе, вскрикивая: «Voici le dernier numéro de l'Indépendance Belge! Lamartine est hors de Paris! Lamoricière revient... Мальши́к, ишо́ шипси́!» И православный Степка, в кургузом полуфраке и в желто-зеленых крокодиловых брюках, передает его приказ далее, тем же тоном: «Мальшик, ишо шипси!»

На вывеске магазина красуется та же надпись:

Isidor de Paris
Gants-Linges-Frisure.
Perruques.
Salon pour la coupe des cheveux.
Bibliothèque de lecture.

Прохожие любуются золотыми словами вывески, хлыстиками, банками и галстуками. А в кругу искренних приятелей, двух-трех соотечественников-магазинщиков из местной французской колонии, мосье Исидор даже вовсе не церемонится и говорит, весело отзываясь о заведенных с ним разными матерями делах и, выпивши стакан родного шабли, по-русски, как любят говорить вообще подкутившие иностранцы в России: «О! Я такой шилавек, такой шилавек, que lorsque je veux, когда я хочу, чтоб никто не кадиль по моей улице, то никто, personne, personne, и не будить кадить!»

И приятелям его кажется, что действительно, если Исидор захочет, то не только человек, даже самое солнце, освещающее окрестные смиренные поля и луга, не посмеет заглянуть в улицу, где широко раскинулись блестящие вывески магазина бесцеремонного и блаженного французика...

Это, господа, быль!..

1859 г.

ПАСЕЧНИКИ

(РАССКАЗ ЗЕМЛЕМЕРА)

Однажды, среди хлопот по полюбовному размежеванию, провозился я в одной из отдаленнейших частей *** уезда что-то очень долго. Дело шло о поемных лугах и о водяной мельнице, между старухой помещицей и ее соседом однодворцем. Посредники выходили из себя. Наш брат, землемер, в такие минуты оказывается решительно лишним. Ветхие старички иногда еще коротают время, прохаживаясь с астролябией и вехами в руках по пустынным окрестностям, подготовляя очерки спорных луговин где-нибудь под горою, что в Пестушах, или план сельца Колокольчикова, что в Подзозулиной балке. Но мы, пылкие юноши, у которых на ногах еще не видно мозолей от свершенных прогулок по свету, мы просто не знаем, что делать от скуки. Изволь беседовать с отряженными к тебе веховщиками, которые, особенно в теплую погоду, так и смотрят в лес. «Дело понятное! — думал я, проживая в старом флигеле у помещицы. — С такой хозяйкой просто со скуки умрешь!» В предчувствии близкого поражения, необузданная барыня питала ко всему нашему сословию ненависть непримиримую. За хозяйский стол меня не звали; порция наливки в руках буфетчика уменьшилась... А на беду еще посредники и предводительский чиновник уехали, по случаю дворянского заседания, в город. К счастью, я вспомнил об одной соседке, о милой дамочке, с которой встретился зимою на вечере у предводителя, и решился, от нечего делать, завернуть к ней на село и, заметьте, завернуть пешком, потому что об экипаже нечего было и намекать разобиженной полюбовным размежеванием барыне...

Стояла весна.

Сборы были не долги. Село Белобабовка, на реке Груньсухая, лежало каких-нибудь в семи или восьми верстах; пройти их землемеру было так же легко, как иному мужику, ворочаю-

щему жернова и чугунные берковцы, смолотить лишний десяток снопов в день. Я закурил трубку, запасся инструментами, в надежде, если не застану самой помещицы дома, позаняться с ее приказчиками проверкою ее участковых планов; расспросил о дороге и пошел. «Идите, этак, прямо, — говорил мне тоненькою фистулою, ломаясь и важничая, главный повар барыни, Доримедонт, стоя, с трубкою в зубах, на крыльце кухни, — спуститесь под горку; тут вам будет, так сказать, поворотка в бор, там ступайте все прямо, прямо, одна дорога и есть; тут, около дороги, затинка, попросту лесная пасека, и живет на ней пасечник Гордей; окликните его, а он уже вас и доведет! — прибавил убедительно повар, сплевывая в сторону и косясь на мои пятки. — А он и доведет!»

Я спустился под гору, свернул на воротку и не заметил, как охватили меня темные своды бора. На душе моей повеселело; я забыл и старую помещицу, и хлопоты по полюбовному размежеванию, и саму цель своей прогулки в село Белобабовку...

Шаги мои робко раздавались по узкой просеке. В два ряда, по сторонам, стояли такие сосны, что взглянуть на них, так шапка валилась. Вообще, этот бор принадлежал к редким исключениям безлесного *** уезда, составляя вековое достояние множества мелкопоместных владельцев от реки Грунь-тихой вплоть до ее соседки Грунь-сухой. Любо было даже издали глядеть на его ровный, сосна к сосне и вершина к вершине, нетронутый и многолетний остров. Гордо высились даже мелоча, разбежавшиеся от главного клина кудрявыми и веселыми древесными выселками по легким водомоинам и приземистым холмам гладкой, как стрела, степи. Въезжих дорог в этот бор было очень мало. Причиною этому, впрочем, была не столько заботливость владельцев о сохранности его, сколько обширная, болотистая низменность, лежавшая по ту сторону бора, с извилистыми, влажными тропинками, по которым с трудом пробирались окрестные поселяне, искони знаменитые садовники и пчеловоды. Часто, проезжая здесь, вы встретите большой обоз с дровами.

— Откуда, братцы, едете?
— Из-под Трофимцов! — ответят вам.
— А какие дрова?
— Груша да яблоня лесная!
И вот нынешняя участь старинных грунтовых садов и заповедных засек старого украинского юга.

Бор неожиданно сменился кущами черного леса. Надо мною затемнела и сдвинулась сетчатая листва берестняка и кленов. В ее зелено-золотистых просветах с легким свистом шныряли дрозды и те странные степные птички «ракши», которых иногда можно встретить у дороги, на копне сена или на кочке, и при взлете которых кажется, что зеленый веер, брошенный из-за угла, раскрылся и летит по воздуху. Замелькали светлые лужайки. Близость воды была очевидна. В простенке мелких орешников мелькнула верхушка куреня... И чем ближе к пасеке, деревья становились свежей и зеленей. Точно пчелы сманивали лучших красавцев бора. Все деревья кругом стояли, как в праздничных нарядах, распространяя то первое, еще не прискучившее весеннее благоухание, которое так радует живущих вблизи лесных мест. Везде стояли столбы нежных черемух, окинутых медвянодушистым цветом. Везде покачивались стрельчатые лозы, усыпанные пушистыми голубоватыми куколками, и гордо красовались кудрявые дикие яблони, точно одетые в розовые и палевые мантии, с которых при легком ветре сыпалась на кусты и на травы душистая метель крылатых бабочек.

Я обошел маленький ров и вступил на пасеку. В курене не было ни души. Я окликнул пасечника Гордея. Ответа не было; только эхо, звонко отозвавшись в нескольких местах бора, вызвало прежнюю, еще более торжественную тишину...

Будучи не чужд хозяйственных соображений, к которым невольно привыкаешь, живя между нашими помещиками, охотниками потолковать о хозяйстве, я оглянул пасеку, в которой было мало чем меньше сотни ульев, и тут же пожалел, что пасечник, хотя и выбрал такое удобное место для первой перекочевки пчел, по всей очевидности, ходил за этим делом спустя

рукава. Ульи стояли маленькие, кривые, наскоро прикрытые черепками и лубками и почерневшие от дождей и ветра. Другие, пустые, печальною грудой лежали тут же, в стороне, в ожидании близкой поры роенья. Тесные домики крылатых медоносиц тонули в густой траве, которая так вредна для пчел, заводя сырость и насекомых. А между тем, повторяю, лучшего места для пасеки трудно было выбрать. Тут же, внизу площадки, виднелось и маленькое озерко. Пчелы в это время еще не носили меду, а собирали по лугам и деревьям воск для новой «детвы», как говорится, «новили» — заново меблировали восчаные клеточки своих домиков. Недавно еще слабые и через силу преодолевающие легкий весенний ветер, они уже с мятежным шумом вылетали из ульев за душистым цветовым взятком, и пасека издавала приятное, так знакомое пчеловодам гуденье. Между разною утварью кинулся мне в глаза неуклюжий, заиндевевший самоварчик и какая-то запачканная книжка. Посуда и кое-какое платье были разбросаны тут же, по углам. Исключение составлял большой муравленый кувшин с водою, поставленный на полке и заткнутый пучком только что сорванной, свежей клубники. Я опустился в курень, на солому. Смятое, належалое место на ней было так уютно, что, казалось, здесь больше ничего нельзя было и делать, как только лежать и ничего не делать...

Со стороны бора послышались шаги. Кто-то обошел деревья, миновал ульи и стал у куреня, молча, как бы слушая. Несколько минут прошло в тишине...

«Осторожный человек!» — подумал я и приподнялся на соломе. У низенького, треугольного входа в курень показались голова с рыжеватыми усами и рука с наломанными ветками. Это был пасечник Гордей, полумужик и полумещанин, из вольноотпущенных.

Назвав себя, я вышел из куреня, причем худощавый и длинный пасечник обрисовался передо мною во весь рост, в зеленом замасленном картузе, долгополом сюртуке из голубой нанки, какую носят в мелких городках мещане в первую пору счастливых барышей, и в темных с цветочками брюках,

заботливо всунутых в высокие сапоги. И не один пасечник явился передо мною. Рядом с ним на веревке стояли еще две огромные собаки, мохнатые и полуслепые от нависшей клочками сивой, почти красной шерсти, почему постоянно им простригали косые, зеленоватые глаза.

— Не кусаются? — спросил я.

— Даже и не лают! — ответил отрывисто Гордей, бросив в курень ветки и картуз и молча отправившись привязывать собак к дальней сосне, за ульями.

Собаки Гордея, точно, не лаяли. Зато ходили грудью на волка и, кинувшись, без всякого шума, на какую бы то ни было добычу, тут же ее и душили насмерть. В таких собаках особенно нуждаются южные поселенцы нехраброй руки, которым приходится водворяться в степных слободских и приднепровских участках.

— Не можешь ли ты, братец, провести меня на Белобабовку? — спросил я Гордея.

Пасечник молча оглянул меня и стал ближе, как бы из уважения, но в то же время с напряженным любопытством осматривая меня. Погладив, на мой вопрос, голову, он только переступил с ноги на ногу и закинул руки за спину, причем сухощавый стан его несколько сгорбился. Так, сколько заметил я, обыкновенно держатся дворовые люди не первой молодости и резонерского характера, отшедшие, посредством отпускной, на такое житье, где можно сразу успокоиться и вдоволь належаться и выспаться. Гордей принадлежал к числу их. Следы былой, избалованной и исковерканной на дармоедстве жизни проглядывали у него во всем. Впрочем, хотя он сел на пасеку и не прямо от плуга, совершенно ленивым назвать его было нельзя. Встречаясь с ним не один раз впоследствии, я узнал, что он был даже человек старательный и особенно усердно заботился о своем прибытке.

— А кого вам, смею спросить, надо на Белобабовке? — возразил Гордей.

Я рассказал ему свои намерения. Осторожный Гордей, как видно, успокоился (он на Белобабовке снимал участок

бора и опасался назойливых соперников), тут же разговорился и объявил, что ему все белобабовцы чуть не кумовья, что он там бывает почти каждый день, у приказчика недавно крестил сынишку, на церковь пожертвовал новую икону и у помещицы снимает уже второй год на бору, тут же недалеко, еще место для пасеки.

— А что, — спросил я, закурив трубку и заинтересованный Гордеем, — как идет хозяйство белобабовской помещицы?

Гордей подумал и не ответил ни слова.

— А что? Плохо идет? Да ты, брат, не бойся: я человек посторонний и сору из избы не вынесу...

Гордей, улыбнувшись, стал водить рукою по листьям орешника.

— Странное дело, — продолжал я, в то время, как карие, рысьи глазки Гордея так и следили за мною, — ведь вотчина этой барыни чего не захватывает: от Печерековских пустошей и до Пяти-Колодцев — все ее луга да залежи!

— Да! — заметил, как бы в раздумье, Гордей. — Много угодий... только-с, говорится, велика Федора... — и, замолчавши, отвернулся; в подвижном лице его играла каждая жилка...

— Вот оно как! — подхватил я не без любопытства. — А поди ты с нашим братом землемером; ведь мы, отмеривая-то каждый день этакие линии взад и вперед, и Бог знает, чего не заберем в голову!.. И богатство-то, и раздолье-то, и всякое довольство!..

Гордей оживился.

— Да, сударь, всякие бывают земли; вот хоть бы и на долю нашей соседки! Измерил и я немало дорог и бездорожья на свете; цену земельке знаю!

— Так, стало быть, мы с тобой одного болота кулики? — подхватил я, желая еще более подзадорить неразговорчивого собеседника.

— Да-с! — продолжал Гордей. — Таких плодородных земель, как в этих местах, так я еще и не видывал! Это

правда, вот хоть бы и в Белобабовке: рабочих рук, точно, мало, зато земли по тридцати да по сорока десятин на душу; три водяных мельницы об осьми жерновах; лес дубовый, весь строевой, а по речке сплав — только подавай: берут и на колеса, и на сваи, и на доски, а конский табун так еще покойный отец наследницы завел, как был в здешних местах исправником. Нет-с, имение хорошее, хорошее! Нечего жаловаться!

— Да отчего же барыне-то белобабовской тут не живется? Ведь, чай, и теперь в городе?

— Да-с, в городе! Так уже, не живется, видно, да и только! — ответил Гордей, усмехнувшись...

Мы этак немало ходили, беседуя с Гордеем, по пасеке, с площадки которой виднелась вся обширная болотистая низменность, отделявшая бор от возвышенности, за которою, в туманном просвете синеющего далекого леса, очевидно обозначавшем логовище большой реки, чуть виднелась верхушка белобабовской церкви.

В это время заворчали собаки. Между сосен, в кустах орешника, показались два старика, один повыше, другой пониже, оба белые, как черемухи в цвету, в белых шапках и в белых широких кафтанах до земли. Гордей извинился и пошел к ним. Несколько минут он с жаром о чем-то говорил с ними, размахивая руками, и вернулся не в духе. Старики еще постояли, поглядели на меня и в своих белых кафтанах и шапках, колышась, как тени, медленно удалились к поворотке просеки.

— Кто это?

— А, — ответил с неудовольствием и какою-то неприязненностью Гордей, — прах их побери! Тешинские богачи, тоже пасечники; тут на бору близ меня и заведение: отец с сыном; так сюда все и ползут, места нет! Одному сто пятнадцать, а другому восемьдесят лет! Шутка ли? Деньги лопатами загребают, а туда же — попрошайничают: ульи, вишь, понадобились — пчелы роиться стали! У кого что, а у них уже роятся!..

Гордей плюнул; он был, очевидно, рассержен.

— Что же ты, обещал им?

— А с какой стати я буду обещать? Ну их! — ответил Гордей и молча глянул в ту сторону, где между кустов орешника уже едва виднелись белые шапки тешинских пасечников...

Мы походили еще несколько между куренем и соснами.

— Ну, а у тебя как дела идут? — спросил я, останавливаясь у обрыва площадки и невольно продолжая любоваться зелеными топями.

— Ничего! — ответил Гордей. — Идут себе, плетутся!

— То есть как же это?

— Да так же; плохо идут, коли хотите знать, да и все тут!

— Быть не может! Пчелы идут плохо? При этакой-то весне? Расскажи, пожалуйста! Что-то странно это, когда подумаю, что весь ваш край только и хвалится, что вашими да еще волганскими пчеловодами...

Рыжие усы и карие глазки Гордея задвигались. Видно было, что внутри его опять кипело. И немудрено, как я узнал впоследствии: Гордей был, как выражаются о таких людях, «придорожное гореваньице»...

Я выбрал местечко у края площадки, сел на перевернутый улей и занялся вооружением большой пенковой трубки, которая составляла неизменную утеху мою во всех многообразных похождениях «деловой практики» уездного землемера. Гордей начал:

— Скажу вам, сударь, то есть, по чистой по правде, что нет тому на свете большого такого горя, как видеть гонение судьбы-с! А опричь того, еще просто непонятные дела!

Гордей на минуту перемолк и начал опять тихим, каким-то плаксивым и будто размякшим для большей жалости голосом:

— Пришел я, сударь, в эти места из крепостных, как вольную получил. Много на первых-то порах, сгоряча, путей и дороженек я поиспробовал! Глуп был! Кидался и в наем

по камердинерам, и в трактирные, и в мелкое, как есть, торгашество по мостам да на перекрестках в городах. Я из Великороссии, сударь; на Оке, если изволите знать, и родина моя. Понамаялся! Ну, да этому и давно, лет уже с десять и больше будет; ходил и в тонком сукне, и при часах, и в бархатных жилетках; а случалось и так, что спозаранку-то, как народу еще мало на улицах, и милостыню просил. Всего было! Глуп был! Опомнился я, однако, вовремя; осадил меня один, из вольноотпущенных тоже, — старик уже был, бессемейный и совсем, как говорится, прогоревший с первого размаху; говорит: «Кураж куражем, а о спасении души тоже помышляй!» Шла молва в нашей стороне о здешних пасечниках; меня вот так и подманило... Места в лесах, я думал себе, ни по чем, да и сбыт хороший; в городе поблизости, как известно и вашей милости, свечная восковая фабрика, а мед и помещики, и монастыри, и наш брат, здешний поселенец, берут — только подавай! Ну, я и сел на пасеку; да что — дело совсем, выходит, плевое! Эти, старые-то здешние, пчеловоды точно заворожили все места на бору, хоть брось!

— Что ж так, однако? Времена дурные подошли, что ли?

— Нет, сударь, нет! — ответил Гордей мягче и как-то грустно-задумчиво. — На время пожаловаться нельзя, травы родятся по колено: пчела только носи! Маломедкости в здешнем крае и не знают. А не идет у меня, однако, да и только! Как заколдовано, другого и не придумаешь. Да вот, просто, сударь, вам сказать, — продолжал Гордей, присев на траву, — видали ль вы когда, как на жниве иной колос стоит в рост человеческий, а тут же, в серединке-то, завелась худосочина, от земли или так, от семени; не родится на ней хлеба, да и полно! Вот так и у меня! То вдруг гнильцовая зараза ударит перед утренниками, как наступят первые росы, то пасека с пасекою чужою в сечку ударится, вот как бы настоящее сражение происходит, — ажно страшно становится; и переведется иногда в один раз ползавода. То так, видно, кто-нибудь дорогу перейдет, станут вдруг все пчелы,

как сонные, и мрут до той поры, что и на рои ничего не останется. Ходил я и к бабам, и солдат один ворожил: ничего не берет! А вот года с три, так случилась такая оказия. До тысячи колодок было; семерых работников держал; поверите ли, господа съезжаться стали смотреть; губернатор мальчика в ученье отдал! Ну, и перебился я зиму; кормил пчелу лучшим медом и еще прикупал. Привалила, хоть бы и теперь, весна да запалил жар, и зароились мои пчелки — да так, что ульев в городе на сто целковых подрядил. Что же, сударь: в пол-лета это вдруг налетели жуколки такие, «шершни» здесь прозываются, с хоботком да с рожками, стали бить и поедать пчелу; а тут пошли дожди, завелась тля, да такая, что как перевернули ульи, а там даже и воску нет — одна паутина да гниль! Так тут, поверите ли, хоть в воду, как из тысячи-то колодок да осталась вся пасека на тридцати! Вот оно, как идут у меня дела, если вы желаете знать! Теперь и другую, особенную, пасеку развожу второе лето, тут же на бору, — да что?.. Проку нет, вот что! Проку, барышей... нет.

И Гордей, с усилием проговорив последние слова, нагнулся к земле и замолчал. Я также молчал, смиренно потягивая из погасавшей уже и хрипевшей трубки.

В это время за кустами, внизу площадки, послышалось тенькание колокольчика; раздался быстрый и мягкий стук неокованных колес, и из-за холма, в стороне кустов, показался на тележке человек пожилых лет, в полотняной фуражке и старомодном сюртуке домашнего покроя.

— Сысоич, приказчик из Тешина, — шепнул Гордей, поспешно вскакивая с травы...

Не успел он приподняться, как голубая тележонка круто повернула внизу, между ракитниками, и подвезла к обрыву площадки коротенького румяного толстяка, сидевшего среди мешочков и каких-то связок. Тележка, при помощи краснощекого и сутуловатого мальчишки-кучера в долгополом армяке, остановилась, только разбитый колокольчик на дышле долго еще не мог успокоиться и неистово заливался, потому

что косматые и, как видно, приобретенные в разное время лошаденки в дышле были чуть не пол-аршина одна выше другой и долго не могли найти точки равновесия. Сысоич с усилием повернулся между клажи, позвал к себе Гордея и спросил тихо, однако же так, что я слышал: «А кто это?»

Гордей назвал меня и, как видно, тут же, наскоро, выболтал ему всю подноготную о моих намерениях идти на Белобабовку и проверить там запущенные участковые планы помещицы. Слова Гордея погрузили тешинского приказчика в раздумье, причем он несколько раз поднимал на меня красноватые, заплывшие жиром и весьма глуповатые глазки.

— Ну, миленький, вот же что! — заговорил опять шепотом Сысоич. — Сходи, миленький, в курень и захвати кувшинчик с водицею; страх хочется испить! Просто, как будто вот горит что внутри! — И он пощупал живот.

— А куда изволите? — спросил Гордей развязно, косясь на меня и устанавливаясь поближе к тележке, с хозяином которой он был, очевидно, на приятельской ноге или, по крайней мере, хотел это показать...

— А к Семенычу, к винокуру, голубчик! — возразил, зевнув, толстый приказчик. — Вообрази, звал новоспелой отведать; это на каких-то косточках, шельма, настоял! Говорит, как нальешь, так точно масло — не льется наливка, а капает; чуточку только после в нос пошибает!

Гордей на это льстиво замотал головою и пошел в глубину площадки.

— Да уж и медку, мамочка, захвати кстати! — крикнул ему вслед, пожираемый жаждой, толстый Сысоич...

И, не слезая с тележки, Сысоич снял белую фуражку, причем на полном и розовом, как яблоко, темени его не оказалось ни единого волоска, — и, поклонившись мне, произнес:

— Честь имею-с!.. Тешинский управитель из разночинцев, Ардальон Сысоич!

Я также отрекомендовался.

— В наши места изволили пожаловать? — спросил он с деликатною улыбкой.

— Да-с, есть одно дело по соседству по размежеванию; а пока теперь предпринял прогулку на село Дарьи Романовны Стебликовой, если знаете?

— Как не знать, как не знать? — произнес Сысоич и, вздохнув, прибавил: — А вот я никак, простите, в толк не возьму: отчего это теперешние господа совсем не живут в своих вотчинах, то-то они им и не нужны?

Я счел долгом сослаться на приятности нынешней городской жизни, так сманивающей наших деревенских хозяев, и пустился развивать мысль об общественных увеселениях. Но толстый собеседник меня не слушал. Он с усиленным вниманием глядел на площадку и вдруг спросил меня:

— А что, изволили вы говорить с здешним пасечником?

— Говорил, а что?

— Так-с, хороший человек! — заметил приказчик как бы в раздумье и продолжая глядеть в ту сторону, откуда должен был появиться хлопотавший для него Гордей.

— Не пьет, не буянит и всем приятен! — продолжал он. — Только вот беда, дела-то его как-то того, не клеятся! Дела-то его...

Я спросил о причине, Сысоич подмигнул.

— Причина очень простая! — скромно заметил он, как бы готовясь читать самое отрадное, похвальное слово Гордею. — Очень простая причина! Есть здесь в степях, в простонародье, такое слово, еще испокон веку идет между здешними хозяевами, что дело пчельное удается только людям *чистым*, непорочным, так сказать, без всякого изъяну! Это, можно выразиться, оселок человека!.. Присмотритесь-ка: ведь здесь, по этой причине, ногой не пустят на пасеку человека, который бы лишнее слово иногда любил ввернуть в разговоре! Сказано бо есть в народе: «ходи за пчелою, как за твоею душою!» Ну, а у Гордея без изъяну не обойдется; и хороший он человек, и о прибытке заботится, да и вытерпел много на своем веку, а не обойдется! Бывали за ним грешки, и небольшие грешки, а бывали! Есть за ним одна маленькая историйка,

так себе, дельце прошедшее и почти давно позабытое... а дельце нечистое... и я его знаю...

Мистический Ардальон Сысоич замолчал.

В конце площадки, между сосен, показался ликующий Гордей с кувшином воды и крынкой меду. Видно было, что он особенно старался угодить гостю. Напившись и уложив крынку на тележку, Сысоич сказал мне еще два-три слова, лукаво подмигнул на Гордея и тронулся далее. Пасечник пошел с ним рядом. «А что же-с, — заговорил он почтительно, — когда же-с насчет прибавки платы тешинским плотникам? Я уже, сударь, обещал их артельному!» Сысоич на это с улыбкою погрозил ему пальцем, еще раз кивнул мне и поехал далее.

— Очень добрый человек! — произнес отрывисто Гордей, возвращаясь ко мне, причем, однако, в лице у него не было ни кровинки. — Только нечего ему совсем делать у нас при старосте да при конторщике! В здешнем околотке, скажу вам, совсем никаких даже происшествий не бывает; народ самый тихий и работящий! Так вот только, от скуки, все ездит по знакомым! — И, засмеявшись, Гордей запахнулся кафтаном.

На дворе начинало вечереть. Я вспомнил о цели своей прогулки.

— Ты мне, Гордей, сказывал, что другую теперь пасеку разводишь на бору? Не по дороге ли она нам будет? Проведи, братец, на Белобабовку, уже время!

— Да куда же вы, сударь? — заговорил быстро Гордей. — Еще успеете на село; чай, пешком-то устали; да и приказчик тамошний теперь еще в поле; вечером тоже немного наработаете! Лучше посидите еще, да и медку не пожелаете ли? У меня прошлогодний припасен, а то можно и самоварчик взогреть; а завтра холодком, на заре, и пойдете; и пасеку мою другую тогда лучше поглядите. Авось, с легкой руки вашей, и счастье мне привалит!..

«А и в самом деле, пережду я у него! — подумал я. — Торопиться нечего; погода славная, я же и устал!»

— Ну, благодарствуй, Гордей! — сказал я. — Быть по-твоему, остаюсь у тебя! Угощай гостя!

Гордей засуетился; вздул сухой дождевик, род гриба, который постоянно дымился у него на пасеке, с подветренной стороны, отгоняя от ульев комаров и мошек; и скоро на траве у куреня задымился низенький, пузатый самоварчик. Гордей повеселел; суровое и резкое выражение его узких и бледных губ, его сухощавого лица исчезло; острые глазки увлажились; рыжеватые усы заботливо шевелились. Он от души хотел меня угостить; и, несмотря на свое постоянное отвращение к самоварам и самоварникам, которые так не ладят с нашею несложною, степною простотой, я обрадовался, когда налитой стаканчик очутился передо мной...

А между тем стены исполинских сосен, площадка с ульями и островерхим куренем, долина внизу и камыши — все уже подернулось вечерним отблеском. Солнце скатилось к окраине горизонта. И на всем — на островерхом курене и стволах сосен, на голубом кафтане и брошенном поодаль картузе Гордея, на крышках ульев и головах страшилищных собак, на дальних озерах и на концах моих сапог — везде легли желто-пурпурные, перебегающие пятна...

И вот, заслышав близкие сумерки, слетелись первые отряды рабочих пчел. Бодрые и радостные работницы, как бы нехотя, как бы желая еще раз взглянуть на отдаленные луга и перелески, где целый день метались и звонко гомозились они, не опускались еще к темным отверстиям знакомых ульев и, забыв свои песни, медленно плавали вверху деревьев, над нашими головами, и, будто засыпая, золотистыми искорками висели в вечереющих потоках сонного воздуха...

Совсем стемнело.

— А кто тебе, Гордей, обедать готовит? — спросил я, перевертывая последний стакан и развалившись у куреня, на траве.

— Кумушка одна, молодка, готовит, на деревне; тут недалеко и живет!.. — ответил развязно Гордей, суетясь за собиранием посуды.

Стаканы скоро были унесены. Сон меня стал сильно одолевать. Я перебрался в курень, упал на мягкую солому и

скоро заснул. Но в первые минуты мне все слышался голос Гордея. Впоследствии я сообразил, что Гордей в самом деле рассказывал мне о соседях-стариках, тешинских пасечниках, к которым он питал нерасположение, о стопятнадцатилетнем отце и восьмидесятилетнем сыне.

— Вы не поверите, — рассказывал насмешливо Гордей, — что это за сквалыги! Отец стал уж совсем как не человек, ничего не понимает; а скуп, говорят, и деньги зарывает! Продал с год назад меду и зашил два целковых в голенище; а сын-то подметил и вырезал! Вот пришел отец жаловаться к исправнику. Так и так, говорит, уймите сына; шалит, говорит, надо посечь, батюшка, обворовал меня! «Позвать сына! — говорит исправник. — А какой ему год?» — «Восьмидесятый годок пошел, батюшка!» Рассмеялся на это исправник и успокоил старика. Может, это и неправда, а только говорят, и я в городе слышал...

Многое еще говорил Гордей, сидя у двери куреня, склонив голову и обхватив колени руками; но я скоро почувствовал сладкое обаяние неудержимого сна; голос Гордея стал мне казаться голосом комара, который будто возился где-то у меня над ухом; треугольный просвет куреня превратился в зеленоватый шар, убежал прочь и стал колыхаться вдали меж кустами, будто поддразнивая меня. Словом, всякая чепуха полезла в голову...

Когда я опять раскрыл глаза, была уже черная, черная ночь. Я приподнялся. Гордей, раскинувшись навзничь, спал у куреня. И он измаялся. По лесу плыли какие-то глухие, завывающие звуки, точно перекликались в его чаще волки. Собаки пасечника не лаяли, но слышно было, как они иной раз тревожно метались на длинной привязи, точно высматривали кого в кустах. Я посидел еще немного и опять упал, как убитый... Было ясное утро, когда я проснулся. Гордей уже исчез. Он до зари еще снялся и пошел с разными своими снадобьями, в сопровождении собак, на другую свою пасеку, а меня не захотел разбудить. Он, как деловой человек, торопился; время роенья было недалеко, барыши его подмывали...

Вместо Гордея у куреня сидел приземистый, плохенький, грязненький и, как говорится, пришибленный мужичок, в обдерганной шапке и в старой свитке с прорванными локтями. В нем я тотчас узнал савинского *Михрютку*, как его прозывали в окрестностях, — одного из работников, проживавших в наймах у того самого однодворца, о котором я упомянул в начале рассказа.

— А! Михрютка! — закричал я, протирая с полусонья глаза. — Ты здесь?

Михрютка закивал головою и что-то забормотал, причем его подслеповатые глазки изъявляли уже несказанное удовольствие при виде знакомого. Он сидел и рылся в земле. Это было его вечное ремесло. Куда бы его ни послали, он шел без отговорок, на пути заглядывал под каждое бревно, под каждую веточку, собирая грибы, общипывая травы и беспрестанно рассуждая с самим собою вслух. Прозвище Михрютки было ему дано по случаю неказистой и загнанной его фигурки. С боку припека и пятая спица в колеснице во всем, он, однако, был любим всеми. Оно точно: суровый и дубоватый однодворец, хозяин его, держал его, как бы не замечая, и Михрютка, работая на него, как ломовая лошадь, также как будто не выражал к своему хозяину ни особой приязни, ни особого отвращения. Но посторонний глаз мог приметить в этих отношениях тень затаенной симпатии. Хозяин и работник жили, как живут на свете, по выражению народа, «ложка да миска, петля да пуговка, топор да топорище». Они были нужны друг другу. Нужен оказывался, впрочем, Михрютка и не одному угнетенному соседкой однодворцу. Всякой работе его у хозяина было свое время; да и немного было работы, с тех пор, как соседка-помещица вздумала отнять у него поемные луга и мельницу. Он стал подмога и вестовщик всех почти окрестных поселян: одному нес в поле брусок для косы, другому — забытого в хате ребенка, с третьим по целым часам просиживал, толкуя по-своему, отрывистыми и какими-то слезливо-насмешливыми фразами, о том, что: «Вот, точно, Гарасько, возьмут у тебя сына в косари, возьмут!» или: «Нечего, друже, делать; околела

твоя корова, околела, бес ее побери!» И утешал он, и задумывался, как бы приискивая средство помочь горемыке, и двигался во все стороны, как лихорадочный, приговаривая: «Ах ты, беда-беда! Горе, да и только!» Так и теперь Михрютка занес Гордею обедать по пути, Бог ведает, каким образом, из далекой Белобабовки на свои выселки.

— А что, как? Того... ваше благородие... как насчет той пани? Возьмут у нас мельницу, возьмут? — спрашивал он дрожащим голосом, завертывая в дырявый платок с полдесятка набранных под кустами грибов, должно быть, для детей своего хозяина, и выводя меня, по просьбе ушедшего утром Гордея, на тропинку к другой пасеке последнего.

— Ничего, брат, не бойся! — говорил я. — По законам решат дело! Скажи своему Федору Ивановичу, чтобы не опасался и даром не ездил в город! Скажи, по законам все решится! Да прибавь, что дело его правое, посредники давно признали это, и только надо еще, понимаешь, собрать некоторые справки! — Михрютка притих и шел, слушая меня, с замирающим, трепетным восторгом.

— Вот, вот... — начал он, останавливаясь на перекрестке и утирая слезившиеся глаза, — вот оно, как теперь! Вот оно! — И быстро пошел в сторону, размахивая руками.

— Куда же ты? Постой!

Но Михрютка ничего уже не слышал; дырявая свитка его залихватски колыхалась, платок развернулся, и грибы посыпались на траву, а ноги учащали скорее и скорее.

— Куда же ты? — кричал я ему вслед.

Михрютка обернулся. Лицо его сияло, брови двигались, по бороде текли слезы.

— На слободку! Туда!.. Федор Иваныч... Детки его!.. — Михрютка не договорил и скрылся за кустами...

Я пошел далее.

В лесу стало темнеть. Сосны сменились дубом и берестняком. В просвете, между их маковок, скоро кинулся мне в глаза улей-бортовик, высоко подвязанный к вершине исполинской липы. Но вместо гладкой поляны, на которой, по

словам Гордея, он пробивал место для нового пчельника, передо мною предстала дикая, глухая просека, в тени развесистых дубов, с десятками белых, огромных ульев, над которыми жужжали и метались тучи пчел. «Это не то! — подумал я, — сбился с дороги, должно быть!» И в то же время передо мною, из-за кучи зеленого хвороста, наваленного поблизости, очевидно для ограды, поднялся весь белый, как призрак, старик, с густою и широкою бородою. Этот день ознаменовался для меня еще одним знакомством.

Нетрудно было узнать в представшем старике одного из виденных мною вчера пасечников-соседей Гордея; другой старик, помоложе, хотя такой же белый, накинув черную сетку на лицо, стоял поодаль, нагнувшись перед кустом и готовясь собирать в улей новый рой, тогда как разом из двух ближних ульев поднимались другие рои и, то свиваясь, то развиваясь в воздухе, клубом стояли над пасекою. Старик, по завету старины, готовясь переселить молодых медоносиц в новый улей, заботливо обмахивал и освежал его белую, чистую средину веником из первых благовонных трав, обрызгав их медовою сытою с молоком и крещенскою водой. Заботясь о будущем жилище для молодого роя, он совершенно был углублен в работу и не замечал моего прихода. То были образцы старинных украинских пчеловодов, каких уже теперь мало, старцев чистых и благочестивых, сурово-степенных и важных на слова.

— Бог в помощь! — сказал я, подходя к старшему обитателю бора и невольно любуясь живописными и резкими морщинами его лица, которое, среди благоухающего леса и всегда на ветре и свободе, цвело здоровьем и какою-то мудрою веселостью, в то время как глаза его, уже едва глядевшие из-под густонависших, клочковатых бровей, ласково встречали гостя.

— Спасибо! — ответил с улыбкой и поклоном старик, щурясь на меня из-под ладони и едва передвигая ноги.

— Или уже роятся? — спросил я, оглядывая с затаенным наслаждением его пасеку, от которой так и веяло стариной и таинственностью.

— Да, роятся; дал Господь! Вон, какое тепло! Хорошее время! — произнес старик медленно, обращаясь лицом к солнцу и почесывая рукою открытую, загорелую грудь.

— А как тебя звать, старинушка?

— Тарасом! — ответил старик, ласково прищуриваясь на меня.

— Ну, Тарас, я же у тебя и отдохну! — сказал я и вошел в курень, сопровождаемый медленными шагами и поклонами старика.

Какая разница с Гордеем и его обстановкой!

В курене было и бедно, и пусто. Но малиновка лучше не свила бы своего гнезда. Самовара и чашечек, правда, здесь не было, и трава обильно прорастала плоскую крышу куреня, походившего вследствие этого на зеленую, кудрявую голову, выглядывавшую из-за ульев. Зато все нужные средства для леченья и сбереженья пчел стояли тут же, на полках, а в главном углу куреня, на резной липовой подставке, виднелись образа угодников *Савватия и Зосимы*, заветных покровителей пчеловодства. Заговорил я с Тарасом; его речи не были резки и холодны, как речи Гордея, который и стариков-соседей не щадил, и Ардальон Сысоича охаял, и на самих пчел смотрел как-то равнодушно-неприязненно, видя в них одно средство к прибыли...

Не то было с Тарасом. Последний о пчелах говорил не иначе, как с каким-то сияющим, торжественным увлечением, причем широкая, седая борода его так важно покачивалась на груди; не иначе называл их, как непорочная, чистая пчела. Упомянул я о Гордее; он и о Гордее выразился:

— Да, жаль; человек работящий, только не удается ему дело что-то; жаль! — И только.

— Ну, а сын твой, доволен ли ты сыном, дедушка? — спросил я.

— Ничего, доволен! — ответил кротко старик. — Человек он тихий и праведный!

«Наврал!» — подумал я, вспоминая вчерашний рассказ Гордея об исправнике и о вырезанных деньгах. Долго еще

сидел я в курене старого пасечника; с особенным восхищением вслушивался я в тихие речи его, меж тем как ветер, с тихим шелестом пробираясь сквозь соломенные стенки куреня, доносил ко мне медвяный запах трав с ближней луговины.

Провожая меня, Тарас остановился под темным дубом и на вопрос, кто первый завел у них пасеку, степенно-торжественным и однозвучным голосом рассказал мне:

— Ох, годы мои, годы! Как вспомнишь, так просто тяжко становится, что до этой поры не прибрал Господь! Долго живу я, пожалуй, и Потемкина князя помню, как мимо нас в Туречину ездил; а отец-то мой еще дольше жил! Завел покойник пасеку тогда еще, как населялось Тешино, Белобабовка, да и все почти ближние наши слободы... То было хорошее время... — И старик на минуту поник головой. — Зато же и любо было, как караваны, в десятки возов, шли от нас за Киев и в Крым с медом да воском. Поверите ли: у нашего брата, простого казака, на Ворскле да на Донце иной раз бывало по две и по три тысячи колодок пчел! И пчелы не теперешние, выродившиеся, а дикие, от создания света, вылетали из наших затинок. А теперь... и народ выродился, и пчелы выродились, — Тарас, внезапно освещенный пробившимся сквозь листву дуба лучом, опять замолчал. — Да что! Молодые из хозяев не обращают внимания теперь на эту прибыль. Что им она? Много ли даст барышей? Вот наш тешинский, умный такой, приказчик, а вырубил весь свой лес да обстроил конский завод. Был я на месте, как он рубил старый, запущенный липняк, за Грунью. Топор-то как хватил, а двухсотлетняя липа и повалилась; смотрим, а в дупле ее старая борть; и вынули из нее белую, как слезу, глыбу дикого меду, пудов тридцать. Мы так и ахнули! Пчелиная семья давно уже за грехи наши улетела, а хозяйство нам оставила: нате, значит, берите, а мне не нужно, Бог с вами!

Тарас замолчал. Поднявшийся ветер перебирал листочками соседней ясени. Старик, под вдохновением заветных

воспоминаний, стоял передо мною, полузакрытый низенькими порослями дуба, как таинственное лесное видение...

— А вот, хоть бы и отец мой покойный, — начал он, — не нам был чета. Силы неимоверной был! Через три года, под осень, как пчел на зиму в амшенник складывал, к родичам за Полтаву ходил. И ничего; перевалит было за плечо котомку и пойдет отмеривать, по сто верст в неделю делал! И какой чудной еще был; дожил до того, что уже как дитя стал. Напоследок только сидел все на солнце у куреня да грелся... Я только, бывало, смотрю на него. Вот однажды и призывает он меня к себе: «Возьми ты, — говорит, — меня, Тараско, и вынеси на гору, что над большою проезжею дорогой, за селом, где лес!» Бог знает отчего, только забилось у меня сердце, как я это услышал. Взял я его на плечи (посильней, знаете, тогда еще был) и понес. Несу его огородами за околицу. Вынес... «Ну, теперь опусти ты меня, — говорит, — на травку. Посади, — говорит, — последний раз поглядеть на все: и откуда, — говорит, — пришел я, и как день и солнце заходят!» Опустил я его на траву, над горою, а сам чуть живой стою и себя не помню. Сидел он этак долго, да все озирается, да все смотрит и точно усмехается, а ветер волосы перебирает на голове. Страшно мне стало... Погода была, вот хоть бы и теперь, весенняя, теплая; птицы щебетали, по дороге шли косари, песни пели... Да вдруг он обернулся ко мне и говорит не своим голосом: «Ой, что же это? Слепну я, что ли, Тараско?» Протянул перед собою руки, точно шарил, искал чего, поводил-поводил руками, да тут же и отошел... Повесил я голову и как ни судил, а пришлось просить священника; похоронили его на том самом месте, где он желал... И глядит он теперь денно и нощно на столбовую дорогу и на поле и видит, как день начинается, как солнце заходит...

Я простился с Тарасом.

Разговор с Михрюткой, отыскивание Гордея, беседа с Тарасом и новые поиски Гордея — все это отняло у меня немало времени; и когда я нашел опять Гордея, солнце снова

начинало уже опускаться к закату. Я чувствовал себя в каком-то особенно приятном настроении. Закусив пирогами и ухою, которые были принесены утром Михрюткой со слободки, я вступил с Гордеем в подробные расспросы о соседях и не раз улыбался на его едкие, острые выходки против окрестных чудаков. Он вообще был смышленый и даровитый человек. Желая помочь ему докончить к вечеру расчистку лунок для ульев и подготовку забора, я тоже принялся подскабливать траву и обтесывать колышки.

— Ты говоришь, что пришел из дворовых? — спросил я, между прочим, Гордея, вспоминая рассказ Ардальона Сысоича и любопытствуя узнать, что за грешки водились за Гордеем и что могло повредить благодатному успеху его занятий пчелиным делом. Я и сам не раз слышал, что, по степным поверьям, особенно греховные поступки в отношении к женщинам вредят этому...

— Да-с! — ответил Гордей. — Точно так; барин наш скончался, а тут, видите ли, по его духовной, всей дворне и дали отпускные.

— Что же, где же теперь проживает ваша дворня, твои былые товарищи?

— Да по правде вам сказать, при жизни покойного барина дворня-то наша была велика, шестьдесят семь человек, и при этом еще была очень распущена, все шлялась больше без всякого дела, дармоедничала; а тут уже и совсем разбрелась.

Когда в сумерки уже, отведя опять собак на старую пасеку, повел меня Гордей к долине, на Белобабовку, он как будто о чем-то все думал, о чем-то хотел все поговорить со мною. Я исподтишка наблюдал его: голубой кафтан его както особенно козыристо покачивался на нем, а зеленый картуз, свешанный набок, просто отчаянно сидел на его голове. Молча шагал он, взглядывая то вдаль, то на меня, то в землю, то на кусты, и вдруг произнес:

— А ведь я знаю, сударь: ведь вы вчера говорили, должно быть, обо мне с тешинским приказчиком?

— Говорил! А что разве?

— Да так-с, ничего! Он из наших мест и тоже, как и я, сюда приехал! Другого только барина был!

— А, так вот он откуда! Я этого и не знал!

Я замолчал. Он тоже. Так мы вошли в первые кусты долины...

Видно, терпение Гордея наконец лопнуло. Он как-то особенно передернулся, притиснул к носу козырек и обратился ко мне. Лицо его было бледно, узенькие глаза пристально следили за мною...

— Досадно мне, право, сударь, — начал он, — что этот человек выносит сор из избы и везде меня порочит одною вещью!

Гордей, пройдя с форсом несколько шагов, замолчал, как бы выжидая, какое впечатление произведут его слова на меня. Но мне было особенно грустно; я шел молча... Гордей раза два еще взглянул на меня, прошелся, еще порывистее придернул к носу замасленный картуз и возразил:

— А вот, видите ли, сударь, а вот теперь уже мне и понятно: тешинский Сысоич отлично успел на меня вчера наговорить. Ну, да пусть его знобит! Пусть... Эка зверь! Вот душа-то; нет, вот бездумный!..

И когда я сказал, что Сысоич решительно ничего мне такого не говорил, Гордей задумался и сказал:

— Нет, сударь, не обманывайте меня: я сразу заметил, что он уже успел поговорить обо мне. Была со мной, точно, одна история; и хотя она давно уже была, а все еще так вот и стоит передо мною... И я хочу, сударь, вам рассказать ее!

И он начал:

— Был я у барина сперва на селе, мужичонком с косою ходил. Услышал раз барин, как я пою на работе, и взял меня во дворню, в певчие. Так я и жил при нем. Ну, нельзя сказать, чтоб в первую пору опять не манило на деревню. Жила у нас на селе девка умная и красивая. Одна осталась на хозяйстве сиротою, да на каком хозяйстве! Изба новая,

большая, хоть на две семьи, огород чуть не на десятину; а лес — так диких одних яблок да груш из ее участка по три воза продавали! Я и стал за нею приволакиваться. Слюбились мы. Перед петровками все это уладили: приходим к барину, и бух в ноги. А барин, как я уже докладывал, был очень стар, ничего не помнил и все только сидел в кресле, а камердинер ему книжки читал. «Я, — говорит, — голубчики — Бог с вами — ничего не знаю! По мне — Бог вас да благословит; только дело это от старосты зависит, как он решит!» Мы к старосте. А это был преехидный человек. «Нет, — говорит, — какой он мне работник! Женится на Дарье, на село перейдет; а какой он мне пахарь! Мужик нам, батрак нужен, а не дворовый, картежник да лентяй. Бог с ними, с этакими!» Так и отрезал барину. А барин любил и почитал его. Что ты будешь делать! Уж я и мать к нему с поклоном засылал, и сам носил мадеру, и Дарья жене его новый полушубок снесла. Не берет ничего, да и баста! Честности был удивительной! Так мы бились целый год... Вижу, невеста моя совсем изменилась, на себя не походит; все смотрят на нее да головами качают... «Ну, Гордеюшка, — говорит, — что хошь вели, все для тебя сделаю; не пожалею теперь ни себя, ни добра своего!» Сидели мы этак и говорили. Поглядел я на нее, а она вся не своя, дрожит и жар в глазах. «Что ж, — говорю, — Дарья, приходится нам, видно, с тобою разлучиться! Так дольше уже нельзя нам любиться; и ничего между наших душенек не было, только барин узнает, плохо будет мне!» Она, как была, так и ударилась: руки упали, головою бултыхнулась об стену, и ни слова, вся помертвела... Я к ней: «Пошутил я, — говорю, — душа моя, пошутил! Еще не все пропало!» Вот она и говорит: «Ну, Гордей, хорошо же, приходи завтра опять сюда, об эту же пору; увидишь тогда!» — сказала, встала этак и пошла улицею. Пошел и я на барский двор, а сердце так и колотится. Вот, занялось утро, позвали нас к обеду; и только что я хлебнул первую ложку, слышим, бегут. «*Пожар, пожар*!» Выбежали... Дарьина изба вся в полыме, а

искры уже перекидывает на крестьянские хлеба, которые тут, к сторонке, стояли; осенью только что мужики и собрали. Ветер был от села; других дворов не тронуло, а Дарьина изба и весь мирской хлеб сгорели дотла. Да еще та беда: под скирдами прилег соснуть наш лесничий, старичок такой тихий был, только немного из себя тучноват; чуть, бывало, пригреет солнце, он уже и тычется где-нибудь, в холодке приляжет и проспит до вечера. Сгорел также. Схватили девку, ведут к допросу. «Так и так, — говорит старосте, а сама убивается, — неповинна я в душе человеческой, видит Бог, неповинна; а несла золу из печи, да и обронила уголь!» Стали ее судить. А мне так начистоту, шальная, все сказала: «Любила я тебя больно, Гордеюшка, больно любила и хотела выжечь все свое богатство: пускай себе не зарятся! Судомойкою бы пошла во дворню, а доказала бы тебе любовь свою!» «Ах ты дура, дура!» — подумал я. Ну, подите же! Да что! Такова уже, видно, моя участь еще в те поры была!

— Что же ты, женился на ней? — перебил я, невольно заинтересованный его рассказом...

— Где жениться, помилуйте! — заметил иронически Гордей и пристально взглянул на меня. — Ведь на поселение присудили сумасбродницу, за поджог и причинение смерти, по закону присудили, а мне же не идти за нею...

Он продолжал:

— Как теперь это помню: захотелось мне увидеть, как везти ее станут. Выпросил у кучеров барского коня да ночью, до света, и махнул в город. Что же вы думаете? Все наше село уж там! Ведь хлеб и всех погубила, лесничего сожгла, а ничего! Таков уж народец! Староста, было, слово, а они: знаем, мол, кормилец, знаем, что она преступление сделала, знаем; суд ее и карает за это, идет она в Сибирь; да утешение-то ей нужно, кормилец, утешение! И стали с иконами на дороге, и всего-то надавали ей на телегу конвойную, и так это жалобно все говорят да кланяются: голубушка, родненькая, бедненькая ты, девчоночка наша! Так что, вижу, конвойного офицера

даже до слез прошибло; а я, стоючи за углом, так просто чуть головой об стену не бился!

Мы вошли в камыши, между которыми извивалась и терялась вдали узенькая, влажная тропинка.

Солнце между тем давно закатилось; бор едва уже виднелся за озерами, и низменность тонула в тумане. Впрочем, лучи солнца как будто еще носились в сумерках и захватывали кое-где выступившие верхи зеленых кустарников да синеватые полосы водных застоев.

Гордей молчал. Молчал и я...

И вдруг, точно благовест в глухую, предпраздничную ночь, со стороны бора раздалась громкая, в несколько десятков голосов, песня. Быстро перелетела она через кусты и камыши и, пройдясь по долине, сначала замерла и затерялась в отдалении. Но опять и еще громче зазвучали голоса, точно сердились и на жалобы Гордея, и на мое тоскливое раздумье. Свежею и благодатною струею повеяло от них. И не прошло пяти минут, как промеж камышей затопали десятки шагов, и на дорогу высыпала целою деревнею толпа крестьян с граблями и косами. Нарядные бабы и девки, все в цветах и лентах, шли впереди; статные мужики шли сзади; сбоку, вприпрыжку, с целыми ворохами цветов и болотных порослей, бежали босоногие ребятишки...

Толпа, поравнявшись со мною, поклонилась и на время замолкла; но уже на близкой плотине опять раздалась ее песня.

— Чьи это? — спросил я Гордея.

— Белобабовские! С косовицы ранней идут! Вы не поверите, — прибавил он, — травы у мужиков уродило столько, что и не запомнят! Просто благодать! Даже досадно!

В потемках уже не было видно Гордея; мы шли почти ощупью. Но я заметил, что песня и вообще вся картина нежданно выступившей крестьянской толпы сильно подействовала и на него. Может быть, вспомнил он молодость, когда, бодрый и свежий, разгуливал с косою и песней по лугам и сенным раздольям.

Повеяло нежданно сыростью. Между верб сверкнул в потемках пруд; запахло дымом, и на косогоре, тихо вздрогнув, будто развешенные по окраине неба, мелькнули огоньки деревни. Месяц еще не вырезывался. Дом помещицы выступил середи пространного двора, и во всем селе ни одна собака не лаяла... В Белобабовке я пробыл недолго. Несказанно обрадовался я, когда прикатил за мною верхом на саврасом, толстобоком битюге ликующий Михрютка и, задыхаясь от радости, объявил, что дело его хозяина кончено и меня зовут нарезать на участки законные межи.

1855 г.

Святочные вечера

От автора

В зиму 1879 года, во время господствовавшей в Царицыне «ветлянской чумы», в Петербурге была сильная паника по поводу так названной тогда, открытой врачами «Прокофьевской чумы». В обществе ни о чем другом столько не говорили, как о чуме. В одном кружке, собиравшемся у милого, образованного старожила Петербурга, возникла мысль избрать для развлечения себя иную тему разговоров, — а именно, обязательное сообщение каждым из членов кружка, по очереди, фантастических рассказов, вроде тех, которые написал когда-то знаменитый Боккаччо во время бывшей в XIV веке «Флорентийской чумы». Осуществлению этой мысли способствовало то обстоятельство, что в упомянутом гостеприимном кружке собирались любители безгрешных сказок о привидениях, явлениях духов и прочей бесовщине, вроде старинных рассказов: «Вечера на Хопре», «Пан Твардовский», «Вечер на кавказских водах в 1824 году» и др. Общество было, таким образом, с фантастической подкладкой. Автору было поручено составление протоколов предпринятых бесед, из чего и составлены нижеприводимые святочные рассказы.

I

МЕРТВЕЦ-УБИЙЦА

Это случилось в прошлом, XVIII веке, в царствование Екатерины II. В большом великорусском селе скончался скоропостижно зажиточный, одинокий крестьянин, слывший за знахаря и упыря. «Беда, — стали толковать крестьяне, — при жизни поедом всех ел; не даст покоя и после смерти». Его положили в гроб, вынесли на ночь в церковь и выкопали для него яму на кладбище. Похороны ожидались «постные»: не только соседи жутко посматривали на опустевшую избу покойника, даже более храбрый церковный причт почесывался, собираясь его отпевать. А тут еще подошла непогода, затрещал мороз, загудела метель по задворкам и в соседнем дремучем лесу. Первый из причта не выдержал, очевидно струсил, дьякон. Пришел к священнику, стал проситься, накануне похорон, в дальнее село, навестить умирающую тещу. «Как же ты едешь? — уперся поп. — Кто же будет помогать при отпевании? Нешто не знаешь, какая мошна? Родичи, чай, вот как отблагодарят». — «Не могу, отче, ради Господа, отпусти».

Отпустил поп дьякона, остался с одним дьячком. Дьячок прозвонил до зари к заутренней, отпер церковь, вошел туда с попом и зажег свечи. Началась служба в пустой, холодной, старой церкви. Стужа ли замкнула все двери села, покойник ли пугал старух и стариков, только никто из прихожан не явился к заутренней.

Дьячок читает молитвы, напевает, пряча нос в шубейку, а сам, вторя священнику, возглашавшему из алтаря, все по-

сматривает на мертвеца, лежавшего в гробу, под пеленой, среди церкви.

Заря еще не занималась. На дворе была непроглядная тьма. В окна похлестывал уносимый метелью снег, на колокольне что-то с ветром выло, и скрипели петли ставней и наружных дверей. Желтенькие, крохотные свечи чуть теплились у темных, древних образов.

И вдруг дьячку показалось, что убогий, потертый церковный покров шевельнулся на мертвеце. Причетник потер глаза, подумал: «С нами крестная сила!» — и опять стал читать по книге. А глаза так и тянет снова посмотреть на средину темной, холодной церкви.

Не вытерпел дьячок, глянул и видит: у мертвеца шевелится борода, будто он дышит, уставился на царские двери.

— Батюшка! — сказал дьячок с клироса, остановясь читать: — у нас не ладно.

— Что там?

— Мертвец ожил, страшно мне.

— Полно, неразумный, молись о Господе! — ответил поп, продолжая службу.

Дьячок отвернулся, углубился в книгу. Долго ли он так читал, неизвестно. На дворе как будто стало светать.

«Ну, слава тебе, Боже, скоро крикнут петухи», — подумал дьячок в ту минуту, когда священник готовился стать в царских вратах, читая отпуск с заутренней.

Дьячок глянул опять на середину церкви, вскрикнул в ужасе не своим голосом и лишился чувств...

Он ясно перед тем увидал, как потом рассказывал всему селу, что мертвец поднялся на одре, опростал руки из-под могильного покрова, посидел чуточку в гробу и стал вставать — бледный, посинелый, с страшною, трясущеюся бородой. Священник испуганно и безмолвно глядел на него из алтаря. Мертвец, с распростертыми руками, раскрыв рот, шел прямо к попу...

Когда на дворе совсем рассвело и народ, спохватясь долго отсутствующего причта, вошел в церковь, — перед всеми предстала страшная картина.

Дьячок без памяти, с отнявшимся языком, лежал ниц у клироса. В царских вратах лежал навзничь бездыханный, с перегрызенным горлом, священник, а в гробу — неподвижный, бледный мертвец, с окровавленными губами и бородой.

Вопли и плач поднялись в селе. Убивалась попадья, чуть не умерла от горя и дьячиха. Но последнюю отлили водой; у дьячка вернулась речь, а с нею и память. Он все рассказал, как было.

— Упырь, людоед! — решили крестьяне миром. — Это он загрыз батюшку. Не хоронить его на кладбище, а в лесу, и припечатать его не отпускной молитвой, а осиновым колом.

Отвезли знахаря-мертвеца в самую чащу леса, вырыли там другую яму, положили туда упыря и пробили его насквозь в грудь осиновым колом: теперь не будет портить сатана неповинных людей.

Священника похоронили с честью, попадью щедро одарили, а церковь начальство за такой святотатственный казус, до новых распоряжений впредь, запечатало.

Остались прихожане без попа и без церкви. Ездили они, просили. Консистория все собиралась произвести следствие. Благочинный брал посильные приношения, обещал уладить дело, но церковь не отпечатывали. Крестьяне собирались писать прошение, но не знали, куда подать.

Дело случайно дошло до сведения Екатерины. Слушая доклад генерал-прокурора, кн. Вяземского, о разных происшествиях, она обратила внимание на случай с упырем.

— Что же ты думаешь об этом? — спросила императрица докладчика.

— Казус необычный, — ответил генерал-прокурор, — он коренится в суевериях грубой черни.

— Хороши суеверия... перегрызенное горло! Ведь священника-то тоже схоронили. Отложи, князь, это дело вон на тот ломберный стол и позови ко мне Степана Иваныча Шешковского... хоть сегодня же вечером, перед оперой...

Явился к императрице знаменитый сыщик, глава и двигатель тайной экспедиции Шешковский.

— Что благоугодно премудрой монархине? — спросил тайный советник и владимирский кавалер Степан Иванович, согнувшись у двери, с треуголом под мышкой и шпагой на боку.

— А вот, сударь, бумажка, прочти и скажи свое мнение.

Шешковский отошел с бумагой к окну, прочел ее и, подойдя к Екатерине, замер в ожидании ее решения.

— Ну, что? — спросила она, — любопытная история — поп, загрызенный мертвецом?

— Зело любопытная, — ответил сыщик, — и где же, в храме!

— То-то в храме. И консистория, запечатав церковь, предлагает дело предать воле божьей, а прихожанам, освятив храм, поставить нового попа...

— Попущение Господне, за грехи, милосердая монархиня... Как иначе и быть! — произнес, набожно подняв глаза, Шешковский.

— Ну, а я — грешный человек! — думаю, что здесь иное! — сказала императрица и, взяв перо, написала резолюцию на докладе: «Ехать в то село особо назначенному мною следователю и, тайно дознав истину, доложить лично мне».

Екатерина дала Шешковскому прочесть свое решение.

— Кого, ваше величество, изволите командировать? — спросил Степан Иваныч.

— Кому же, государь мой, и ехать, как не тебе? — ответила императрица. — Держи все в секрете, как здесь, так и в губернии, и все мне доподлинно своею особой разузнай.

Шешковский поклонился еще ниже.

— Великая монархиня! Мое ли то дело? С бесами, прости, с колдунами, я еще не ведался и не знаю с ними обихода... ведь они...

— Вот в том-то и дело, батюшка Степан Иваныч, что нынче век Дидерота и Руссо, а не царевны Софии и Никиты Пустосвята... Мне чудится, я предчувствую, убеждена, что здесь все всклепано на неповинных, хоть, по-твоему, может, и существующих бесов и упырей.

Шешковский, с именным повелением Екатерины в кармане, переодевшись беспоместным дворянином, полетел с небольшою поклажей по назначению.

В губернии он оставил чемодан, с запасною форменною одеждой, на постоялом в уездном городке; сам переоделся вновь в скуфейку и рясу странника и пошел по пути к указанному селу. Верст за двадцать до него — то было уж второе лето после события с священником и упырем — его догнал обоз с хлебом.

«Куда едете?» — «В Овиново. А тебя Господь куда несет?» — «В Соловки». — «Далекий путь, спаси тебя Боже, — чай притомился?» — «Уж так-то, православные, ноженьки отбил». — «Ну, садись, подвезем».

Подвезли извозчики до Овинова, а за ним было Свиблово, то самое село, где случилась история в церкви. Везут странника мужики и толкуют о свибловских: всех знают, всех хвалят, мужики добрые, не раз хлебом у них торговали. «Что же, храм Божий есть у них?» — «Нету-ти, закрыли из-за Господней немилости, благочинный скоро обещает открыть, да дорожится». — «Кто же будет попом?» — «Два дьякона ищут, ихний и овиновский». — «Кого же хочет мир?» — «Овиновского, подобрее будет; ихний злюка и с женой живет не в ладах. Вон и его хата, на выгоне, под лесом, выселился за реку — держит огород».

Странник встал у околицы, поблагодарил извозчиков, выждал вечера и зашел к дьякону. Хозяина не было дома,

дьяконица пустила его в избу. Ночью странник расхворался. Лежит на палатях, охает, не может дальше идти. Возвратился дьякон, обругал жену: пускаешь всякую сволочь, еще помрет, придется на свой счет хоронить. Услышал эти речи странник, подозвал дьякона, отдал ему бедную свою кису, просит молиться за него, а неодужает — схоронить по христианскому обряду. Принял дьякон убогую суму богомольца, говорит: ну, лежи, авось еще встанешь. День лежал больной, два слова не выговорит, только охает потихоньку. Забыл о нем дьякон, возвратился раз ночью с огорода и сцепился с женой — ну ругаться и корить друг друга». «Да ты что? — говорит дьяконица. — Ты убийца, злодей». — «Какой я убийца, сякая ты такая! Я слуга Божий, второй на клиросе чин... а поможет благочинный, буду и первым!» — «Убийца, ты перегрыз горло попу... сам признавался...»

Далее странник ничего не мог расслышать. Хозяева вцепились друг в друга и подняли такую свалку, что хоть вон неси святых. К утру все угомонилось, затихло. Странник днем объявил, что ему лучше, поблагодарил за хлеб-соль и пошел далее...

Возвратясь в город, он явился к воеводе, прося о себе доложить. Ему ответили, что его высокородие изволит кушать пунш и принять не может. Странник потребовал непромедлительного приема.

Его ввели к воеводе, восседавшему у самовара за пуншем.

— Кто ты, сякой-такой, и как смел беспокоить меня?

Странник вынул и показал именной указ императрицы.

В тот же день в Свиблово поскакала драгунская команда. К воеводе привезли дьякона, дьяконицу и дьячка.

Дьякон не узнал сперва в ассистенте воеводы гостившего у него странника. Шешковский облекся в форменный кафтан и во все регалии. Дьякон на допросе заперся во всем; долго его не выдавала и дьяконица. Но когда Шешковский назвал

им себя и объявил дьяконице, что, хотя пытка более не практикуется, он, на свой страх и по личному убеждению, имеет нечто употребить, и велел принести это «нечто», то есть изрядную плеть, веревку и хомут, и напомнил ей слышанное странником, — баба все раскрыла: как дьякон, по злобе на попа, вместо поездки к теще, переждал в лесу, проник в церковь, лег в гроб, а мертвеца спрятал в складках пелены под одром, напугал дьячка и задушил, загрыз священника, а мертвецу выпачкал кровью рот и бороду и скрылся.

— Что скажешь на сию улику твоей жены? — спросил Шешковский.

Дьякон молчал.

— А ну, ваше высокородие, — подмигнул Степан Иванович воеводе.

Двери растворились: в соседней комнате к потолку был приправлен хомут и стоял «нарочито внушительного вида» добрый драгун с тройчатой плетью.

Дьякон упал в ноги Шешковскому и во всем покаялся.

Его осудили, наказали через палача в Свиблове и сослали в Сибирь. Церковь опечатали, овиновского дьякона, женив предварительно на дочери загрызенного священника, посвятили в настоятели свибловского прихода. Местного благочинного расстригли и сослали на покаяние в Соловки.

— Ну, что, не я ли тебе говорила? — произнесла Екатерина, встретив Шешковского. — А ты, да и ты — предать воле Божьей, казус от суеверия грубой толпы. Мертвец-убийца! Ну, может ли двигаться, а кольми паче еще злодействовать покойник, мертвец?

— Так, великая монархиня, так, мудрая и милостивая к нам мать! — ответил, низко кланяясь, Шешковский. — Ты всех прозорливее, всех умней.

Он еще что-то говорил. Екатерина стала перебирать очередные бумаги, его не слушая. Грустная и презрительная улыбка играла на ее отуманившемся лице...

II

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

«Еще никто не видел моего лица».
Древняя надпись на статуе Изиды

Настоящий рассказ относится к нынешнему веку, а именно, к 1868 году.

Некто Порошин, молодой человек лет двадцати пяти-шести, черноволосый, сухощавый, бледный и красивый, незадолго до времени, которого касается этот рассказ, кончил курс в Московском университете, где избег тогдашних волнений молодежи вследствие особого склада своей природы. Все его помыслы, стремления и привязанности вращались в особом, заколдованном кругу, который можно бы назвать «идеальным», в обширном значении этого слова. Он читал философов, деистов, но рядом с ними и натуралистов, последних — для сравнения с первыми.

Жадно пробегая в газетах известия о серхъестественных явлениях, призраках, сомнамбулистах и медиумах, он сам, впрочем, не верил в практический сомнамбулизм и медиумизм, особенно в те его проявления, которые трактуются и публично показываются шарлатанами вроде Юма, Бредифа, Следа, братьев Эдди и других фокусников этого пошиба.

Приехав в 1868 г. в Париж для поправления своего вообще расстроенного и слабого здоровья, Порошин посещал лекции разных ученых, но не пропускал и других диковинок, в том числе фантастических вечеров, вроде сеансов Робер-Гудена и ему подобных, где показывались опыты так называемой высшей физики, явления спектров, ясновидения и прочие трансцедентальные затеи, где он наблюдал за тем, как ловкие, умные и вообще всегда весьма милые французские фокусники-шарлатаны морочат уличную, пресыщенную другими удовольствиями толпу.

Однажды Порошин сидел в зале такого физика. На сцене была усыплена какая-то белокурая девица, читавшая запечатанные письма и диктовавшая рецепты больным из публики. Все шло хорошо, как по маслу. Щеголеватый профессор сомнамбулизма, во фраке, в белом галстуке и таких же перчатках, щебетал с кафедры перед спящею ясновидящей, сыпля именами новейших светил реальной философии и путая, по обычаю французов, Шопенгауэра с Гартманом и Штрауса с Фейербахом. Становилось очень скучно. В зале была давка и духота. Лампы тускло освещали море голов. И в то время, когда Порошин уже хотел уезжать, одна из этих голов, в красной восточной феске, шевельнулась среди публики, и из ее уст послышался резкий голос:

— Это шарлатанство, надувательство грубого вида!

Все всполошились, оглянулись. Профессор смутился.

— Грубый обман и ложь! — повторил громко человек с красивым смуглым и умным лицом. — Публика должна протестовать...

— Кто вы? — спросил хозяин вечера. — Так не смущают зрителей! Если вы не верите в опыты ясновидения, зачем сюда пришли? Зачем платили деньги? Можете их получить обратно...

— Шарлатанство! — твердил тот же восточный человек, очевидно, армянин. — Я говорю не против сомнамбулизма, а против таких обманов, какие разыгрываются здесь... Вы усыпили свою соучастницу. Она не спит, а потому такая же обманщица, извините, как вы... Но я верю в ясновидение — я его поклонник и занимаюсь им давно...

В публике, смешанной с подставными, очевидно, наемными зрителями, comperes, поднялся невообразимый шум. Армянин в феске вскочил на стул, показал руками, что хочет говорить.

— Но я верю в могучую, беспредельно-великую силу сомнамбулизма, — смело продолжал армянин ломаным французским языком, когда все затихло, — я сам владею даром усыпления... И вот доказательство...

— Вон его, за дверь! Долой! — кричали подставные клакеры, с красными, вспотевшими лицами.

— Пусть говорит, пусть делает опыты по-своему! — кричали другие из зрителей, толпясь к сцене.

Сконфуженный, с измятым галстуком и распоротой в давке фалдой фрака, взъерошенный маг-профессор со своим помощником возвратился на кафедру. Туда же дали пройти и человеку в феске.

— Я хочу, желаю, требую, чтобы вы сами заснули! — сказал последний, обращая черные, повелительные и умные глаза к профессору. — Садитесь, вот так; сложите ваши руки и спите... слышите ли? Спите, я приказываю!..

Профессор улыбнулся, поморщился, сел, окинул общество растерянным, недовольным взглядом; очевидно, против воли закрыл глаза, зевнул... и, к удивлению всех, заснул. Армянин сложил на груди руки, поглядел также повелительно на помощника профессора, шершавого, коротко остриженного и рыжего малого, очевидно, из отставных военных, поднял руку, устремил к нему протянутые пальцы — помощник также заснул....

Изумление публики было без границ. Все замерли, глядя на таинственную феску.

— La séance est levée! Заседание наше кончено! — сказал армянин, медленно и важно сходя со сцены. — Вы видели! Вот сомнамбулизм!

Поднялась давка и суета. Все хотели его видеть ближе, с ним говорить. Но таинственный незнакомец исчез в толпе, точно провалился сквозь пол.

«Не верится, — подумал Порошин, уходя из залы практической физики, — старые штуки на новый лад! Простодушные, легковерные французы не догадались, дали промах. Очевидно, и армянин был тем же наемным, подставным лицом... Маг-профессор заметил охлаждение к себе посетителей, ну и придумал таким образом подогреть их внимание.

Та же реклама, то же шарлатанство. Да при том и не особенно оригинально... Известна проделка американского журналиста, который, для поднятия подписки на свой журнал, стал печатать в других изданиях самые резкие, наглые на себя нападки от вымышленных лиц: одни печатно выставляли его мошенником и клятвопреступником, другие вором и убийцей, третьи развратником в колоссальных размерах. Он не скупился платить за такие дружеские рекламы, пока все не задумались — да, видно же, любопытный это и недюжинный человек, когда о нем все так кричат! — и стали раскупать его собственную газету».

Прошло с этого вечера несколько месяцев. Порошин забыл о сомнамбулисте-профессоре и об армянине. Раз он шел с товарищем Чубаровым сквозь Луврский двор. Видит, Чубаров раскланялся с каким-то человеком в феске. Порошин узнал армянина.

— Как, ты его знаешь? — спросил он Чубарова.

— Еще бы не знать такой замечательной особы, — ответил с улыбкой Чубаров, — мы с ним жили как-то на водах, в Германии.

— Да чем же он знаменит?

— Помилуй, он вызыватель духов, медиум и чуть не заклинатель змей...

— Нет, вздор! Ты шутишь, — возразил Порошин, — ты не такой, чтоб знался с вызывателями духов и заклинателями змей... Слушай, чему я был очевидцем...

Порошин передал рассказ о случае в зале профессора ясновидения. Чубаров задумался.

— Ты ошибаешься, это не шарлатан и не мог быть в стачке с сомнамбулистами! — сказал он. — У этого армянина, черт бы его побрал, есть действительно кое-какие способы... Но я тебе, Порошин, о них не сообщу...

— Почему?

— Ты за последнее время что-то уж очень похудел, еще стал бледнее, и зрачки вон у тебя несколько расширены, и нервный ты такой... Тебе это опасно, я же испытал.

— Полно, глупости! Расскажи! — пристал Порошин к приятелю. — Не мучь меня, правда, какая бы она ни была, никогда меня не потревожит... Я добиваюсь истины; одна ложь, одни обманы мучат и раздражают меня... Расскажи, открой, в чем это дело? Ты, верно, знаешь и адрес армянина, у него бывал и здесь... Так после вод не встречаются... Он на тебя посмотрел очень сочувственно...

Делать нечего, Чубаров зашел с Порошиным в кафе, на набережной Сены, и это ему сообщил. Оказалось, что армянин, адрес которого Чубаров здесь же передал приятелю, обладал секретом переносить человека во сне через сто лет вперед.

— И ты этому веришь? — спросил с болезненной улыбкой Порошин.

— Еще бы, — нехотя ответил Чубаров, — как не верить, когда я сам, благодаря этому странному человеку, испытал такого рода путешествие...

— И не раскаиваешься?

— Пожалуй, с некоторой стороны, досадно и даже обидно...

— Почему обидно?

— Да потому, что не хотелось, а пришлось проснуться... Во сне было так хорошо...

— Гм! И как он это делает?

— Дает, представь, какие-то пилюли...

— Что в рот, то спасибо? — раздражительно засмеявшись, спросил Порошин. — Экие ловкие эти азиаты! Ну, можно ли так морочить людей? Да еще, пожалуй, и деньги берет?

— Берет, друг мой, и большие...

— Гм, — промычал Порошин, — отсохни моя рука, если я ему дам хоть полушку за такой обидный обман.

Чубаров, однако, был убежден, что Порошин не вытерпит, и боялся особенно за его здоровье, не очень-то подходящее для таких опытов.

Так и случилось.

Порошин в тот же день думал-думал, нанял фиакр и покатил по бульварам на площадь Трона (place du Trône или barrière du Trône), украшенную двумя колоннами, с бюстами старинных французских королей, где, по адресу Чубарова, жил таинственный армянин.

Армянин жил с женой, хорошенькой и молодой женщиной. Он принял гостя не совсем дружелюбно.

— Вы можете перенести меня в будущую жизнь? — спросил Порошин армянина после первых с ним объяснений.

— Да... но только в будущую жизнь — на земле.

— Понятное дело... Где же именно и когда вы мне дадите пожить в будущем?

— Здесь же, в Париже... иначе, разумеется, и быть не может! Вы заснете в моей комнате и очнетесь в ней же, через сто лет, т. е. проснетесь через секунду, когда задремлете и очутитесь во времени, которое настанет для Парижа, для целого света, по прошествии ста лет...

— Чепуха, — в волнении и сердито произнес Порошин, — извините меня, галлюцинации какие-нибудь от наркотических средств. Еще дурно сделается, будет голова трещать, как раскаленный котел, отупеешь на время, руки будут трястись...

— Видно, что вы уже пытались делать такие эксперименты, — сказал, чуть заметно усмехнувшись, армянин.

— Ну, да... был так слаб, увлек один индеец, здесь же, на всемирной выставке, — ответил Порошин.

— Все увидите сами, сами испытаете, — произнес серьезно и как-то задумчиво грустно армянин, — мои средства иные, безвредные, достались от отца, от деда на родине, в Армении. Не всего достиг человек, слабы силы смертных, но кое-что открывается мудрым Востока, достойным умам. Знаете надпись на статуе богини Изиды: «Никто еще не видел моего лица»? Да, это бывает открыто немногим.

— Кому открыто? Не верю... — сказал Порошин, — а уж в Азии еще более, простите, падких к проделкам, ловких фокусников и шарлатанов. Я долго об этом думал... а впрочем, сколько стоит ваш опыт с усыплением?

— По сто франков за день, а если неделя, несколько дешевле — пятьсот франков за неделю! — спокойно и также задумчиво ответил армянин.

— То есть как пятьсот за неделю? За какую неделю?

— Ну, вы проснетесь и, положим, захотите прожить в том веке, то есть в 1968 году XX столетия, ровно семь дней... вот за каждый день и внесете плату!

— Когда внесу?

— Вперед, разумеется...

— Ха-ха-ха! Что вы! — засмеялся Порошин. — Нашли простака, чтоб я этому поверил. С вас еще надо взять деньги за эту шутку... Слышите ли, наесться ваших восточных специй и, в смешном виде, пластом пролежать пред вами час-другой, потешая вашу наблюдательность...

— Не час и не два, ровно неделю, повторяю, вы будете спать, — сказал с достоинством и также спокойно армянин, — и дело вовсе не шуточное, не на смех! Есть немало охотников... и не одни молодые люди, как вы, а солидные ученые, буржуа, и даже владетельные особы обращаются ко мне и к моей жене...

— Какие особы? И почему также к вашей жене?

— Тайна досталась нам от ее родных, пешаверских армян, ее и меня звали с этой тайной в Испанию, Италию и даже в Мексику; испанская королева два раза засыпала при нашем посредстве, а покойный мексиканский император, несчастный Максимилиан, мне даже пожаловал орден незадолго до своей катастрофы...

«Ну, уж я-то не засну ни в каком случае!» — сказал себе с твердостью Порошин, уходя от армянина.

Ему показалось, что жена последнего, провожая его с лестницы, смотрела на него подозрительно и насмешливо, как бы мысля: «Придешь еще, голубчик, придешь».

Так и случилось.

На другой же день Порошин возвратился на площадь Трона, к армянину.

— Вот пятьсот франков, — сказал он, запыхавшись от высокой лестницы и поспешной, тревожной ходьбы, — где ваши снадобья? Я готов...

— Это для меня, — сказал армянин, считая тонкими, белыми и нежными, как у женщины, пальцами принесенное золото, — но ведь нужны деньги и для вас?

— Какие деньги? Это еще для чего?

— Вы же проснетесь в том веке, проживете в то именно время семь дней сряду, вам нужно есть, пить, захотите, пожалуй, и удовольствий.

— Сколько нужно? — спросил, глядя в пол, Порошин.

— Это зависит от вас самих... смотря по вашим наклонностям. Ваших привычек я не знаю.

— Однако же... и мне притом трудно... я там, понимаете, не жил... экая чепуха! Даже смешно...

Порошин, однако, теперь не смеялся. Глаза его были строги и с острым, лихорадочным блеском смотрели куда-то далеко. Побледневшие его губы слегка вздрагивали.

Армянин подумал с минуту.

— Полагаю, — сказал он, — этих денег, то есть пятисот франков, будет достаточно... Я устрою их обмен и вручу вам их перед сном, а проснувшись, вы отдадите мой заработок особо мне или жене...

— Вексель надо? — спросил Порошин.

— О! я вам и так поверю, — ответил армянин, — кроме того, вам нужно... платье...

— Какое платье?

— Да через сто лет, надеюсь, не в этой жакетке и не в этих узких панталонах будут ходить.

— Где же я возьму? Притом, здешние портные вряд ли подозревают будущие моды...

— О! я вам и в этом помогу! У моей жены есть на такой случай запас.

Армянин сходил в комнату жены и вынес оттуда картонную коробку с платьем, замшевый мешочек, какой-то странного вида ящичек и небольшую жаровню.

— Вот наряд, в котором парижане будут ходить через сто лет, — сказал он, — а это тогдашние, то есть будущие, монеты.

Он вынул из картонки шелковый просторный полукафтан, или, скорее, полухалат, яркого, невиданного, восточного цвета, до колен, такие же широкие панталоны, еще более яркий шейный платок и мягкую соломенную, в виде зонтика, шляпу и открыл замшевый мешочек. Из мешочка он высыпал горсть золотых монет с надписью на одной их стороне по-французски: «Равенство, свобода, братство. «Французская республика 1968 г.», а на другой стороне — какие-то восточные письмена, вроде арабской или еврейской азбуки, или даже иероглифов.

— Нелепость! — сказал, отвернувшись, Порошин. — У французов никогда не будет республики... Они по природе монархисты, а вкусом — фетиши... Да и вы рискуете: теперь здесь правит Людовик Бонапарт, его агенты увидят у вас эти монеты, вы еще насидитесь в полиции, вас осудят и вышлют.

— Это уж мое дело, — серьезно и сухо ответил армянин.

Он раздул принесенную с угольями жаровню и взял в руки серебряный, с финифтью, изящного и странного вида ящичек. Из ящичка он вынул несколько зерен. Зерна были черные, блестящие, точно выточенные из агата.

— Эти пилюли, — произнес с важностью и даже благоговением армянин, — вы примите, если на это решились, одну за другою... Вот ровно семь пилюль — вы проглотите их и, проспав здесь семь дней, ровно столько же дней проживете в следующем веке... Понятно ли вам? Но еще одно условие — не мое, а тех, кто оставил нам эти зерна.

— Какое? Говорите скорее, не мучьте, не томите, у меня точно лихорадка...

— За каждый день жизни в том земном веке, то есть через сто лет, вы одним годом менее проживете в этом свете, или веке... Условие — извините — не шуточное, и я вас о том предупреждаю... Подумайте прежде, чем решитесь заснуть.

— Давайте ваши пилюли, я решился! — ответил, покраснев, Порошин. — Не хочу откладывать, давайте теперь же. — Порошин взял пилюли.

Армянин помог гостю переодеться в принесенное «будущее платье», причем услуживал ему с отменною любезностью. Незаметно вошедшая в это время жена армянина полуспустила гардины на окна, переставила некоторую мебель и бросила на уголья жаровни какую-то нежно-пахучую, янтарного цвета, смолу. В комнате мгновенно стал распространяться необъяснимый, томительно-сладкий, опьяняющий запах.

— А что это за надписи на обороте монет? — спросил он хозяина. — С какой стати во Франции будут чеканить, на национальных деньгах, подобные азиатские письмена?

— Это все вы узнаете сами, проглотив последнюю из пилюль, — вежливо-сдержанно ответил восточный маг.

Порошин взял на ладонь поданные зерна, поглядел на них с секунду и быстро проглотил их одно за другим. Армянин указал ему на ключ в двери, стакан и воду в графине, также вежливо откланялся и вышел с женой.

«Посмотрим, — подумал Порошин, замыкая за ними дверь, — и уж если надуют, я не пощажу их, обо всем напечатаю в газетах»...

Он подошел к столу, выпил залпом стакан воды и взглянул на площадь Трона в окно. Наступал вечер. Солнце золотило крыши домов, колонны с бюстами королей, фонтан и ветви старых каштанов.

Непонятная, чарующая нега стала охватывать Порошина. «Нет, не поддамся! Даже вовсе не засну и посмотрю, что будет!» — сказал он себе, принимаясь ходить по мягкому, пестрому ковру небольшой, уютной горенки.

Долго ли так ходил Порошин, улыбаясь предстоящему испытанию и думая о своей решимости наблюдать, этого он впоследствии не помнил. Подойдя к окну, он опять взглянул на площадь и потер глаза. Площадь Трона как бы застлало туманом. Порошин присел на кушетку, склонил голову. «Да что же это со мною?» — мыслил он. — Я как будто дремлю!» Он почувствовал, что, одолеваемый неудержимой наклонностью заснуть, он ложится, протягивает ноги и против воли дремлет, даже засыпает.

«Нет, черт возьми, не засну! Не засну, ни за какие блага в свете!» — сказал себе Порошин, усиливаясь выбиться из сладких, охвативших его грез, усиливаясь не покориться им и встать.

Это ему как бы удалось...

Он вскочил и подошел а окну. Что за чудо. Та же самая place или barrière du Trône, те же колонны с бюстами, фонтан и каштаны, — но как будто и не те. Солнце било косыми, фантастическими, желтовато-розовыми лучами. Пахло опьяняющим запахом лилий, ландышей или акаций. Голова кружилась, как весной в цветущей теплице. Улицы кипели народом. На балконах и в окнах развевались веселые, причудливые флаги, знамена. Очевидно, был какой-то праздник. Осьми- и десятиэтажные дома были снизу доверху увешаны громадными хромолитографическими картинами, в виде вывесок. Звуков подков и колес не было слышно. Странного вида экипажи, одноярусные, двух- и даже трехярусные омнибусы, кареты, красивые с зонтами долгуши, и какие-то паланкины, вроде подвижных беседок, наполненные проезжавшею публикой, двигались среди залитой асфальтом площади — как подумал Порошин — на обитых гуттаперчевыми шинами колесах и по гуттаперчевым рельсам, а главное — без помощи лошадей и пара. «А, с помощью сжатого воздуха! — догадался Порошин. — И какая масса грамотных, охотников до чтения новостей...» Все на крышах омнибусов, в паланкинах и долгушах с громадными листами газет. Едущая публика снизу казалась, с этими газетными листами, в виде двигавшейся громадной нивы

белых грибов... За площадью была видна часть новой городской стены, окружавшей Париж. Простым глазом можно было рассмотреть, что на этой стене ходили, в странных, длинных одеждах, вооруженные воины, а над ближайшей крепостной башней развевалось исполинское красное знамя, с изображением желтого дракона.

«Что за чепуха! Дракон! — подумал Порошин. — И откуда в Париже дракон? Точно во сне, а между тем, я вовсе уже не сплю».

Сгорая любопытством, он осмотрелся, увидел, что и на нем одежда, походившая на одеяние уличной публики, поспешил отомкнуть дверь комнаты и спустился на улицу, так как наступал вечер и солнце готовилось зайти за башню со знаменем.

Очутившись на асфальтовой, в виде узорного паркета, мостовой, Порошин прежде всего убедился, что находится действительно среди тех же ему знакомых парижан: бойкая французская речь, веселые возгласы, шутки, азбука надписей на вывесках — все убеждало, что он в самом деле в Париже. Но как, с кем и о чем ему заговорить? Ведь он из далекого XIX века, ведь люди XX века сразу его распознают или, просто не поняв, сочтут за сумасшедшего, подозрительного, еще арестуют, запрут на все семь дней в тюрьму. Что у него с ними общего? И как эти новые люди встретят его понятия, самые обороты мыслей, речения, слова? «Надо спросить книжную лавку, — решил на площади Порошин, — кабинет для чтения, а еще лучше кафе-ресторан!» Там он лично и без постороннего пособия ознакомится с текущими событиями, с новостями того любопытного, неразгаданного дня... Но какого дня? Он заснул, или, точнее, его стремились усыпить в среду, 15 августа 1868 года. Посмотрим...

— «Нет, — сказал себе Порошин, — не стану ни о чем спрашивать, ни о книжных лавках, ни о кафе-ресторане; сам все найду».

Отыскав поблизости кофейню, Порошин подошел к столику, взял газету с заголовком: «Гений XX века» и стал ее читать.

Чем далее он читал этот «Гений» и другие газеты, тем более рябили в его глазах разные диковинки и чудеса: расписание подземных поездов железных дорог между Англией и Францией; экспедиция из всеславянского торгового порта, Константинополя, в срединное море Африки, искусственно устроенное на месте бывшей песчаной Сахары, куда напустили воду из более возвышенного Средиземного моря.

В одной из газет, в передовой статье, Порошин наткнулся на фразу. «В старые, незапамятные годы после низвержения династии Бонапартов и, как известно, во время правления ныне угасшей династии Гамбеттидов...» Волосы шевельнулись на голове чтеца, и он боязливо оглянулся, не увидел бы его за чтением таких ужасов полицейский сержант.

«Ужели краснобай Гамбетта мог действительно когда-нибудь сменить во Франции династию Наполеонидов? — подумал Порошин. — Но кто же теперь правит французами?» Едва он это помыслил, как ему в глаза попалась новая, более загадочная фраза. Он обратил внимание на заголовок последнего законодательного акта...

«Божьею милостью и по воле правительствующего высокого народа китайского, мы, европейские министры его светозарного величества, императора Китая и Богдыхана Европы, по зрелом обсуждении в местных и общем европейском парламентах, постановили и постановляем...»

«Как? Китайцы? Вот небывальщина! И откуда взялся в Европе Богдыхан? — спрашивал себя Порошин. — Как бы это в точности узнать? Спросить? Но кого? Меня как раз сочтут за безумного, незнающего таких, по-видимому, общеизвестных вещей, как история дня, обратят на меня внимание... Вот что... — обрадовался Порошин, — надо обратиться к учебнику истории прошедшего века или еще проще — купить календарь»...

Порошин подошел к буфету, выпил рюмку какой-то спиртной специи, очень отдававшей шафраном и имбирем, и

закусил тартинкой; последняя тоже обратила на себя его внимание: оказалось, что это был ломтик хлеба с приправой «птичьего гнезда». Буфетчик и слуги были с бритыми головами, длинными, заплетенными косами и в черных шелковых, китайских шапочках. Посетители сидели с опахалами; на головах военных были широкополые шляпы с шариками и павлиньими перьями. Везде отзывалось китайщиной, и это очень шло к французам, как известно, и в былое время, в XIX столетии, бывшим великими охотниками до разных «chinoiseries».

Найдя книжную лавку, Порошин купил и там же стал читать календарь. То, что он узнал из этого чтения, привело его еще в большее изумление.

Оказалось, что китайцы, которых, по исторической статье календаря, в половине XIX века считалось около 300 миллионов, уже в то время начинали смущать политико-экономов страшно быстрым ростом своего народонаселения. К концу же XIX столетия китайцев считалось до 500 миллионов, т. е. половина всего человечества, живущего на земле. Наступил XX век, и в первую четверть этого нового века народонаселение Китая возросло до 700 миллионов. Жители Небесной империи, соперничая со своими соседями, японцами, переняли у Европы все практические познания, в особенности гениальные технические изобретения европейцев в деле войны. Они завели громадную сухопутную армию в 5 миллионов солдат и исполинский паровой флот в сто мониторов и вдвое быстроходных, гигантских паровых крейсеров. Покрыв свою страну сетью железных дорог, которые у них дошли до Западной Сибири и Афганистана, они сперва покорили и поглотили изнеженную Японию, потом завоевали и обратили в свои колонии республику Соединенных Штатов Америки, в чем им помогла новая истребительная междоусобная война Северных и Южных Штатов, которою наполнилось начало XX века, при постыдном соперничестве двух тогдашних президентских династий. Переселив в завоеванную Америку избыток своего народа, теснившегося под

конец, за недостатком земли, на пловучих и свайных постройках их рек и озер, китайцы обратили внимание на Европу. Они послали свой флот в Атлантический океан, где в 1930 г. произошла колоссальная морская битва китайских мониторов с мониторами еще существовавших тогда самостоятельных государств европейского материка — Англии, Франции, Италии и Германии. Дело, по словам календаря, решилось особыми подводными китайскими «минами-пушками», которые подплывали под килевые части европейских мониторов и, стреляя залпами бомб, начиненных динамитом, взрывали и топили эти грозные когда-то суда.

Европа в 1930 году была завоевана Китаем...

Отдельные, во время оно сильные и славные государства — Франция, Англия, Италия и Германия, поглотившие незадолго перед тем ряд второстепенных стран — Испанию, Австрию, Швецию и Данию, были в свой черед поглощены и упразднены китайцами. Победители прекратили их самостоятельное существование и обратили их, как и Америку, в свою колонию. Явилась федеративная Европа, которой Богдыхан, в утешение туземных ученых и публицистов, дал название «Соединенных Штатов Европы», подчиненных китайскому императору. Сам он с тех пор стал именоваться Богдыханом Европы, как некогда английская королева носила титул императрицы Индии.

Порошин с трепетом стал доискиваться в занимательном календаре сведений о судьбах России. Она, к его утешению, уцелела в этой общей ломке вследствие своего дружеского китайцам нейтралитета, который она объявила во время нашествия жителей Небесной империи на Европу, — в отместку Англии за Пальмерстона и его преемников, Франции — за Наполеонидов, Австрии — за ее вечные измены и предательства и Германии — за Бисмарка, «прижимавшего славян к стене...» «Досталось всем сестрам по серьгам!» — радостно подумал Порошин, читая эти откровения прошлого...

Богдыхан, за дружбу к России, дав средство славянам окончательно изгнать турок в Азию («Вон до какого времени

была эта возня!» — подумал Порошин) и образовать на Балканском полуострове отдельную славяно-греческую дунайскую империю, дружественную России, не мешал и русским исполнить их последний, главный долг... Русские, как гласил календарь, благодаря железной дороге, устроенной от Урала до Хивы и нового передового поста китайцев на западе, до Афганистана, разбили англичан в Пешавере, выгнали их из Восточной Индии и устроили третью российскую столицу в Калькутте. Милости Богдыхана к завоеванной Европе были, впрочем, неизреченны. Обложив европейский, покоренный его войсками, материк тяжкою ежегодною данью — в миллиард франков — и обязанностью обрабатывать на своих фабриках исключительно китайское сырье, Богдыхан упразднил все непроизводительные европейские армии и флоты («Вон когда лига мира дождалась исполнения своей грезы об общем разоружении!» — не утерпел подумать Порошин). Заменив эти постоянные войска сухопутною и морскою гражданскою «китайскою жандармерией», китайцы окружили главные столицы и города упраздненных европейских государств новыми китайскими крепостными стенами, снабдив их своими гарнизонами и своими пушками, но за это они предоставили каждому из «Соединенных Штатов Европы» устраиваться, по былой американской системе, на свой особый лад — без права носить и иметь какое бы то ни было оружие. Даже ножи и вилки исчезли из употребления; все в Европе с тех пор ели, как в Китае, только ложками и палочками.

Германия при этом с удовольствием сохранила свой «юнкерский ландтаг», Италия — «папство», Англия — «палату лордов» и «майорат», Франция — сперва «коммуну», а потом «умеренную республику», президентами которой, с 1935 по 1968 год, были деятели с разными громкими именами, между которыми Порошин насчитал пять Гамбетт и двенадцать Ротшильдов. По прекращении «династии Гамбеттидов» (так и выразился календарь) Франция большею частью состояла под местным верховным владычеством президентов-

евреев из банкирского дома Ротшильдов. Перенесясь в 1968 г., Порошин, следовательно, застал французов под управлением Ротшильда XII. Евреи-адмиралы в это время командовали французским флотом в океанах, евреи-фельдмаршалы охраняли, во имя китайского повелителя, французские границы и евреи-министры, с президентом в пейсах и ермолке, встречали правящего Европой Богдыхана, Ца-о-дзы, при недавнем триумфальном посещении последним Парижа, отчего и до сих пор, вторую неделю, парижские улицы и дома были увешаны флагами.

Французская республика, с поры окончательной победы жителей Небесной империи, мирно и дружно ужилась с китайским богдыханством. Прежде у французов империя чередовалась с республикой. Теперь у них разом и рядом, к общему удовольствию, были и та, и другая.

«Вот почему на монетах, данных мне армянином, — догадался Порошин, — с одной стороны вычеканены «Liberté, égalité, fraternité» и надпись «Французская Республика», а с другой стороны — внушительная китайская бамбуковая палка».

Вышел Порошин из книжной лавки при вечернем освещении. Улицы и площади Парижа горели яркими, как дневной свет, электрическими солнцами. Проголодавшись, он зашел в громадный ресторан с надписью «Столица мира — Пекин», где вся прислуга была одета китайцами. Он потребовал себе модных блюд; ему подали жареного фазана и рисовой каши, которые он торопился есть, чтобы не опоздать в театр. Но он заметил, что другие посетители «Пекина», между едой, брали со стола какие-то трубочки и подносили их к ушам. Он осведомился у гарсона, что это. Ему ответили: «Телефон».

— Да в чем же дело, не понимаю? Тогда, в 1868 г., еще не знали этого изобретения.

Ему объяснили, что каждая из трубочек, лежащих на столе, была соединена проволокой с различными театрами — оперой, водевилем, концертною залой и что за небольшую,

особую плату посетитель может, кушая, в то же время следить за любой парижской и даже более отдаленной сценой.

Порошин поднес к уху первую попавшуюся трубочку: ему послышались аплодисменты, которыми публика встречала какую-то актрису в «Comédie Francaise». Он поднес к уху другую трубочку: стали слышны заключительные, нежные рулады концертной арии, исполнявшейся в ту минуту в опере знаменитым кантонским певцом. Уходя из кафе, Порошин поднес к уху третью из трубочек: ему послышалась речь в какой-то аудитории о превосходстве реального элемента в искусстве, а именно — об окончательной замене фотографией всех родов живописи.

Так проспал Порошин в Париже или, как ему несомненно казалось, прожил семь условленных, веселых и беззаботных дней будущего тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

Денег, взятых Порошиным у армянина из XIX века, оказалось вдоволь, потому что все, и в тогдашнем Париже, было сравнительно дешево.

Он посещал всевозможные, особенно модные, увеселения. Все стремились в громадный железный и каменный, на манер древнеримского, Колизей. В моде были звериные травли, бой быков, борьба низших человеческих рас с тиграми и львами, конские скачки с невероятными препятствиями — через пороховые погреба с зажженными факелами, через динамитные батареи — и единоборство петухов и крыс. Все это производилось в названном Колизее. Роль древних гладиаторов-рабов исполняли в борьбе с дикими, пускаемыми на арену зверями нарочно для этой роли привозимые из внутренней Африки жители озера Ниanзе и Танганаки. Когда на арене Колизея лилась звериная или людская кровь, парижские дамы пили шампанское и бросали из лож победителям роскошные букеты, которые во время óно бросались Патти и Дженни Линд.

Порошин от Колизея переходил к бесчисленным кафешантанам, от последних к пирушкам с молодыми людьми,

между которыми приобрел много знакомых. Удивляясь, что он стал способен к этого рода забавам, он нередко входил в споры с простодушными, всем и всегда довольными французами. Узнав, что Порошин русский, парижане были с ним особенно любезны. Он не стеснялся в беседах с ними.

— Да полно, какая же у вас республика, когда вы покорены китайским Богдыханом и в его декретах именуетесь его рабами? Где же ваша свобода? — спрашивал Порошин парижан.

— O, les chinois... ce sont nos meilleurs et bons amis...

— Но какие же вам они друзья, когда вы с прочею Европой им платите такую страшную дань и их знамя веет над стенами некогда славного Парижа?

— Зато мы избавились от царства адвокатов... Нет более адвокатов, — говорили ликующие парижане, — есть только прокуроры и милующий Богдыхан...

Порошин узнал, что правосудие в XX веке очень упростилось. Давно замечая, что спиртные напитки и отчасти хлороформ развязывают язык, тогдашние ученые стали делать остроумные опыты и изобрели особую жидкость, из которой добыли газ, названный спирто-хлороформом или алколо-хлоралом. Напуская этот газ в особую комнату, прокуроры силой вводили туда подозреваемых и подсудимых, и последние, надышавшись предательским испарением, теряли главное из чувств — силу воли, после чего прямо диктовали стенографам все, что делали и говорили, все, что у них было в сокровенных помышлениях. С тех пор упразднились полицейские дознания, предварительные и судебные следствия, очные ставки, перекрестные допросы, доносы и отделения явных и тайных сыщиков.

— Потом, извините, вы всегда кичились свободой и мягкостью ваших нравов, — допытывал французов Порошин, — а у вас вон и теперь существует казнь...

— Нельзя! — отвечали находчивые парижане. — Каждый народ имеет право принимать меры в ограждение своей безопасности от преступников и злодеев!

— Но еще нелепость... Вы кичитесь республикой, равенством, свободой, а у вас, кроме китайского, общего всем вам гнета, есть еще местный, частный гнет... еврейский! Кроме многих прежних династий, вы проходите наконец через династию израильских президентов своей республики, Ротшильдов... Извините, но это — позор! Евреи восседают у вас на троне Генриха IV и Людовика XIV, банкиры, биржевики красуются в креслах Робеспьера и Мирабо... Этого не представляла история даже таких торгашей, как англичане; у них тоже были и есть свои Ротшильды, но те у них не шли и не идут дальше банкирских контор и несгораемых сундуков...

— Это мы сделали поневоле.

— Как поневоле?

— Евреи с началом нынешнего, XX века через свои банкирские конторы завладели всею металлическою монетою в мире, всем золотом и серебром. Производя давление на бирже, они получили неотразимое влияние и на выборные классы великой, но завоеванной китайцами Франции. Зато при первом же президенте из дома Ротшильдов у нас оказался финансовый рай: полное равновесие прихода с расходом в бюджете, устройство всех общественных отправлений на акционерный лад и окончательное введение удобных бумажных денег вместо металлических...

— Но вы говорите, что Ротшильды взяли верх через захват в свои руки всех металлов в мире?

— Да, золото всего мира перешло к ним, они им и доныне владеют, а нам за него предоставили, в виде векселей на себя, очень красиво отпечатанные ассигнации. Это значительно удобнее, их легко носить в кармане. Золото любят у нас носить одни, как вы, иностранцы.

— Вы упомянули также об устройстве всех общественных нужд на акционерный лад.

— Точно так.

— Как это случилось?

— За примером недалеко ходить. Со вступлением в правление Ротшильдов исчезли окончательно в домах лампы, печи и графины.

— Не понимаю, как это? — спросил Порошин. — Разве изменился климат, пропала зима, солнце не заходит с той поры и люди не нуждаются в питье?

— Вы недостаточно поняли меня, — ответил француз, с улыбкой вглядываясь в Порошина, — я говорю только, что печи, графины и лампы окончательно исчезли с мудрым президентством Ротшильдов не только у нас, но, полагаю, и в других цивилизованных городах. А что эти редкости доброй старины действительно исчезли, это вам, вероятно, известно... и вы их теперь увидите разве только в музеях диковинок прошлых времен...

Порошин боялся далее об этом расспрашивать, чтоб не возбудить подозрения на свой счет. Он вскоре лично убедился, что каждый дом и каждая комната в новом Париже получали тепло, свет и воду из общего резервуара этих материалов, устроенного в нескольких километрах за городской стеной.

Он взял духовой фиакр, нарочно съездил и осмотрел это замечательное монументальное здание, доставлявшее особыми проводниками для парижан электрический свет — в их здания и уличные фонари, воду — в кухни, бани, умывальные столы и прямо в прицепленные к столам на гуттаперчевых трубочках стаканы и другие сосуды и тепло — в каждый дом, в каждый обитаемый уголок. Все ограничивалось кранами: повернешь один — в комнате засветит яркая электрическая луна, повернешь другой — наливается сквозь мягкую трубочку в сосуды вода, повернешь третий — в холодной комнате становится, по желанию, тепло и даже жарко.

Проводники этих снадобий управлялись особыми регуляторами, экранами, градусниками и другими измерителями для расчета с акционерным обществом их поставщиков.

Это любопытное «центральное водо-, тепло- и светохранилище» Порошину показывал бойкий и говорливый привратник — портье, хотя француз, но с итальянским

профилем лица, одетый в цветное китайское полукафтанье и с длинною, щегольски заплетенною, до пят косой, по фамилии Бонапарт.

— Вы носите громкую фамилию? — спросил, смутившись, Порошин. — Не происходите ли от былых во власти Наполеонидов? Их династия когда-то здесь правила...

— О, мосье! Вы правы! — грустно ответил, покуривая особую сигаретку с примесью опиума, портье. — Мало ли что было в старину? Нам, скромным и верным слугам Богдыхана, нет дела до прошлого этой счастливой страны... Вы, как иностранец, встретите и гарсонов в отелях из этой же, ныне обедневшей фамилии, и ветошников, и продавцов каштанов и газет. Это все мои дяди и кузены... Благодаря многоженству много у каждого из нас, бедных провинциалов, родных.

— Какому многоженству? Разве во Франции мормонизм?

— Не знаю, мосье, что вы хотите сказать этим мудреным и мне непонятным словом. Только многоженство даровано Франции в правление предпоследнего из мудрых Ротшильдов, ныне правящих нами во имя пресветлого Богдыхана, — даровано в награду за допущение этой гениальной банкирской расы ко всем тайнам нашей государственной казны.

— Но почему же Ротшильды вас наделили именно этой наградой?

— А как же? — ответил с чопорностью ученого знатока самодовольный портье Бонапарт. — У Авраама и прочих праотцев было по несколько жен. Ну, а введя иудейское исповедание в счастливой, процветающей Франции, наши новые правители рекомендовали и этот обычай.

— Так и еврейская вера введена у вас?

— Если хотите, у нас нет теперь уж никакой веры, — спокойно улыбнулся привратник, — китайцы на этот счет особенно покладливы и дали нам полную свободу. Проповеди у нас заменены поучительными воскресными фельетонами министерских газет, а большинство обрядов — нотариальными актами. Прибавилось только нотариусов и их писцов.

— Брак, однако же, очевидно, сохранился, если у вас введено многоженство? — спросил Порошин. — Какой, скажите, у вас брак, гражданский или тоже... китайский, то есть никакой?.. И на какие сроки?

— Брак у нас действительно китайский, то есть примененный, в духе века, к формам юридического поддержания имущества или найма прислуги, квартир, — на год, на месяц и даже, для желающих, на более короткие сроки... О, мосье, китайцы — первые люди в мире.

Порошин не заметил, как шли его минуты, часы и дни. Парижские новые нравы и особенно дамские наряды его повергали в изумление. Парижанки носили неимоверные костюмы, или, скорее, ходили почти вовсе без костюмов. На улицах и в гостях Порошин на них видел еще некое подобие легких, широких, в китайском вкусе, бурнусов, сандалий и шляп. Дома же и на театральных сценах они, вместо одежд, как дикари, имели лишь красивые, убранные дорогими, искусственными каменьями пояса да на ногах, руках и шеях — золотые, серебряные и алюминиевые браслеты, кольца, запястья и ожерелья. Каждая только и делала — купалась, душилась, заплетала волосы, кушала, посещала театры, звериные травли и влюблялась...

Для Порошина, вообще сдержанного и неохотника до пустых развлечений и забав, начался ряд таких эксцентрических похождений, такой душевной и сердечной суеты, что он сам себе не верил, удивляясь, откуда у него берется такая пустота и такой задор.

Кутежи с уличными шалопаями, сидение по целым дням перед бычачьими и петушиными боями в Колизее, ужины с убранными в браслеты и кольца красавицами, посещение местных палат и скачек на искусственных, движимых сжатым воздухом лошадях и прочие развлечения до того замотали и вскружили голову Порошину, что он, и без того слабый здоровьем, окончательно выбился из сил.

Он особенно потом помнил свой последний день, проведенный в 1968 году.

В этот последний, роковой, седьмой день, в последние часы, минуты и секунды перед условным досадным пробуждением Порошин, — как он это ясно вспоминал впоследствии, — бешено и злобно хохоча в глаза какому-то французскому академику, раздражительно-едко повторял:

— Вы все изобрели и все выдумали! Надо вам отдать честь! Вы испытали и несете на себе иго евреев и китайцев, а летать по воздуху все-таки не сумели и не изобрели... Достигли этого, все-таки, русские, русские, русские!..

Озадаченный французский академик только на него поглядывал.

— Притом... что у вас за нравы, извините, и какой цинизм во всем. Хоть бы эти костюмы у ваших женщин... ха-ха! Одни кольца да запястья, как у дикарей...

— Но, позвольте, — вмешался француз, — вы хоть и русский, но разве и у вас не введены такие же моды? Париж и теперь по этой части законодатель. Откуда же вы, что этого не знали и этому удивляетесь?

— Я с крайнего севера, из Колы, — смешавшись, продолжал Порошин, — да не в том дело, хоть бы и у нас вы ввели такую же распущенность! Далее... Вы в конец убили девственность и невинность невесты, уничтожили святую роль матери. Все женщины у вас кокотки, да, кокотки! Знаете это... древнее слово?

— Не слышал.

— У вас во всем невообразимый, разнузданный и дикий произвол страстей.

— Мы зато чужды предрассудков, — возразил с достоинством академик, — у нас везде поклонение природе, реальность.

— Это, пожалуй, забавно, но дико, дико до невозможности! — горячился и кричал на площади Трона Порошин, где происходил этот обмен его мыслей с ученым. — У вас полное падение искусств, поэзии, живописи, музыки! Ваша

живопись заменена китайщиной, безжизненной, сухой, ремесленной, всюду лезущей и все поглощающей фотографией.

— Зато дешево, схоже, как дважды два, с природой и избавляет от пестроты красок.

— Нет, нет и нет! — кричал Порошин. — Фотография — сколок одного, мелкого и ничтожного момента природы; художественная живопись — могучее зеркало природы, в ее полном и идеальном объеме!.. Потом музыка... Бог мой! Что у вас за музыка! Вагнеровщина, доведенная до абсурда... слышали про Вагнера?

— Это что за имя? В древности были Моцарт, Бетховен, Россини, о Вагнере никто не знает...

— Был такой чудак, делавший с музыкой, как с кроликами, опыты сто лет назад. Вы, теперешние французы, развили его идеи и показали в точности, в какие трущобы нас вел этот и ему подобные борцы за музыку будущего... Мелодия у вас исчезла; ее больше нет и следа! Ни песни, ни былого, задушевного, чудного французского романса, ни единой сносной музыкальной картины... Волны бессмысленных тонов и звуков, без страсти и без выражения — хаос!.. Наконец, иду далее... куда вы дели драму, высокую комедию?

— Это что такое? — удивился академик-француз.

— Вы заменили комедию и драму — не стану вам объяснять их значения, если их забыли теперешние парижане! — с грустью сказал Порошин. — Вы заменили все это глупейшим, но реальным водевилем, с провальями и переодеваньями, гнусным сумбуром цинических, будничных, уличных сцен, как заменили былую оперу шансонетными дивертисментами, да притом в такое время, когда и все-то ваши шансонетки сплошь лишены тени мелодии, живого, задушевного мотива, наравне со всею вашею музыкой...

— Мы, реалисты, вас, к сожалению, совершенно не понимаем! — отозвались на площади некоторые слушатели этого спора. — Вы, мосье, точно вышли из какого-то допотопного архива, точно явились с того света, из отдаленной прадедовской старины.

— Да, вы правы! Я жил и дышал иным веком, иною эпохой! Я вас не понимаю и от души сожалею! — произнес с новою запальчивостью Порошин. — Вы презираете все, что не ведет к практической, обыденной, низменной пользе! Вы пренебрегаете идеями великого философского цикла и дали развитие одному — практическим, техническим, не идущим далее земли, наукам и ремеслам. Вы отдали луч солнца за кусок удобрения, песню вольного, поэтического соловья за мычание упитанной для убоя телушки, а Вольтера и Руссо, — вероятно, вы не забыли хоть имен этих светил вашей страны? — променяли на тупицу Либиха и другого тупицу, Вирхова. Надеюсь, этих-то ваших апостолов вы отлично знаете и помните доныне?..

— Зато мы верны природе! — повторил академик-француз, закуривая у столика ресторана кальян с опиумом.

— Зато вас, свободных французов, поколотили и завоевали китайцы и поработили евреи, — с бешенством ответил Порошин...

III

ПРОКАЗЫ ДУХОВ

Это было лет 10 тому назад, рассказывал штабс-капитан Заруцкий. Я, в качестве юнкера, должен был держать экзамен на офицерский чин в тверском училище. Приехав в Тверь, я долго искал квартиру. Мне хотелось нанять одну-две комнаты от жильцов, с мебелью, чаем и со столом, чтоб иметь скромный свой угол, без толкотни и шума гостиницы.

Бродя по городу, я увидел в отдаленной, глухой улице небольшой деревянный двухэтажный домик с билетиками на окнах второго этажа и нанял здесь две комнаты, через сени от хозяев квартиры. Хозяева оказались добродушными старичками, мужем и женой. С первого же дня они окружили меня полным вниманием, заботливо содержали мои комнаты,

одежду, белье, отлично кормили и вообще ухаживали за мной как за родным. Возвращался я домой поздно, спал после учений и всяких служебных занятий как убитый.

Встретя некоторых знакомых в Твери, я свободные вечера проводил у них.

— Где вы наняли квартиру? — спросила меня одна тверская дама на одном из таких вечеров.

Я назвал улицу, дом и квартирных хозяев, Губаревых.

— У Губаревых? — произнесла дама. — И вы не боитесь?

— Чего же мне бояться? Люди отличные, смотрят, как за родным сыном, — ответил я.

— Помилуйте... да эта квартира по месяцам стоит незанята, все белеют в окнах билетики...

— Ну, и что же? Не сходятся ценой, а я не торговался, улица тихая, поросла даже травой; ни пеших, ни проезжих — весь день занимайся, читай, пиши — никто не помешает, не развлечет.

— Как не помешает? Да разве вы не знаете, — сказала с непритворным ужасом дама, — в этом доме и именно в верхнем его этаже давно поселилось привидение, не дающее покоя его жильцам. Оно ходит по ночам без умолку по комнатам, двигает мебелью, выпивает воду, перекладывает с места на место разные предметы...

— Ну, крепко же я спал все эти ночи, что не заметил этого, — сказал я с улыбкой.

— Уверяю вас... клянусь, в городе все это знают и избегают губаревской квартиры...

— Деревянный дом, — спросил я, — желтый, с мезонином? Может быть, не та улица, не тот дом?

— Именно Губаревых... Одни мои знакомые, напуганные, взволнованные, едва убрались.

— Со мной шашка и револьвер, — произнес я, — бояться нечего... Я постараюсь поладить с этим привидением.

Разговор с тверской дамой, однако, произвел на меня впечатление. «Вот провинция, — думал я, — непременно что-нибудь сочинит, наплетет, раздует в гору и сама потом

волнуется собственными страхами! И откуда это взялось? Любопытно все-таки...»

Привидение не выходило у меня из головы. Я не совсем спокойно пришел с вечера, где это слышал, домой; втащился по скрипучей лестнице, позвонил. Хозяйка подала мне свечу, проводила в мои комнаты, осмотрела постель, поставила свежей воды в графине, спичек на столик у изголовья и, пожелав мне, как всегда, спокойной ночи, ушла, забрав для чистки мое платье и сапоги.

Я прошел в туфлях в сени, запер дверь на ключ, разделся и лег, осмотрев предварительно все закоулки в обеих моих комнатах, заглянул под мебель, за печку, в шкап и комод и даже за оконные занавески.

В то время печатался любопытный переводный английский роман в «Русском Вестнике», мною начатый давно. Я взял книгу «Русского Вестника», прочел пять-шесть страниц и, чувствуя дремоту, усталый от дневных занятий, крепко уснул, отложив разогнутую книгу на столик у кровати. Помню, что, засыпая, я все думал: «Эка, наплели! И откуда взяться здесь привидению, призракам? В этаком домишке, и притом в Твери! Добро бы где-нибудь в Шотландии, в замке каком-нибудь, или в Швейцарских мрачных горах... а то на антресолях, у Губаревых... в улице, где выросла трава, пасутся козы и не видать по дням человеческого лица...»

И вдруг — слышу шелест, явственный шелест, у изголовья.

Я проснулся, стал прислушиваться. В полной тишине, впотьмах, слышу, точно кто-либо шарит по столу, переворачивает листы разогнутой книги журнала.

«Мыши!» — подумал я сперва, вспоминая, как стоял, до моего прихода круглый, на одной ножке, столик и как я его взял от стены и поставил у изголовья. «Нет, — сказал я себе, размыслив немного, — мыши не могли взобраться на стол по гладкой ножке, да еще потом взлезть из-под круглой доски наверх. А столик стоял, не касаясь ни ближней мебели, ни моей постели...»

Подождав несколько минут, я опять услышал ясно различаемый шелест переворачивания листов книги, лежавшей на столе.

«Надо изловить, поймать», — подумал я, изловчаясь тихо встать и зажечь спичку.

Приподнявшись на локте, я медленно нащупал на столе спичечницу, взял ее в руки и приготовился черкнуть спичку о края спичечницы. В эту минуту изумленный, потрясенный необычайным явлением мой слух явственно различал, как невидимая чья-то рука мерно переворачивала лист за листом в спокойно лежавшей книге.

«Да, это не мыши, не шутка чья-либо, — подумал я, прислушиваясь к шороху на столе и готовясь увидеть, откуда и кто протянул руку в запертую комнату и трогал ей книгу, — любопытно увидеть эту бледную руку бледного призрака...»

Я нажал спичку, черкнул ей. Спичка вспыхнула, ярко осветив стол, мою подушку и меня, сидевшего в одном белье на постели.

Никого в комнате не было, и ничья рука не касалась книги. А между тем, — я это ясно видел и помню все до мелочей, — в то мгновение, когда спичка вспыхнула, тронутый чьею-то незримою рукой лист перевертывался на моих глазах с одной половины разогнутой книги на другую.

Спичка погасла. Я зажег свечу, обошел с нею опять обе комнаты, отомкнул дверь в сени, заглянул и туда, смотрел снова за печь, в шкап и комод, под мебель и за занавески — никого в комнатах не было, и везде была полная тишина.

Лег я опять и некоторое время не тушил свечи, курил для развлечения себя, осматривал книгу, столик; наконец, еще далее отставил последний от кровати, снял с него все, кроме книги, разогнутой, как прежде, пополам, и стал следить. Листы, пока горела свеча, не перевертывались. Заметив последнюю открытую страницу книги, я задул свечу, укутал голову в одеяло и старался заснуть. Прошло с полчаса, я заснул. Сплю и думаю: «Ну, это мне все казалось;

вероятно, течение воздуха, — упругие, разогнутые листы книги сами собой поднимались и с шелестом ложились на другую сторону книги...»

Меня вдруг опять как варом обдало. Я был разбужен явственным шелестом быстро и будто нетерпеливо перебираемых листов. И в то же время мне почудилось, что в другом углу комнаты, на этажерке, кто-то тронул графин и, будто наливая из него воду, зазвенел им о стакан...

«Не доставало еще этой чертовщины! — мыслил я с досадой, стараясь ничего не слышать и ни на что не обращать внимания. — Не встану, буду терпеть, буду спать».

Сон охватил меня, под новый шелест листов и новое постукиванье гра́фина о стакан, из которого, очевидно, пили.

Утром я проснулся с первым солнечным лучом. Очнувшись и собравшись с мыслями, я прежде всего бросился к книге, посмотрел число, выставленное на верхней замеченной мною странице. Вместо цифры, как теперь помню, 177-й, на верху книги была 219-я страница; невидимая рука перевернула, пока я спал, ровно сорок две страницы, то есть двадцать один лист... Двадцать один раз пальцы привидения прикасались к книге!

Но каково было мое вторичное изумление, когда я подошел к этажерке и взглянул на графин, с вечера наполненный и при мне поставленный хозяйкой: он был пуст... Призрак выпил его до дна...

— Да вы, может быть, не переменяли воду? — спросил я хозяйку, хватаясь за это предположение, как за якорь спасения.

— Именно, сударь, вы правы; извините, я забыла переменить... Вода у нас, впрочем, хорошая; вы, вероятно, сами изволили ее выпить... жажда-с...

Я остолбенел.

— Вот и судите... — заключил Заруцкий, — как это объяснить? Отлично помню, что хозяйка переменяла воду и что я ночью не прикасался к графину. Кто же трогал книгу и выпил воду?

IV

ПРИЗРАКИ

В начале шестидесятых годов, сказала одна из наших собеседниц, в Петербурге умерла старушка, моя родственница, тяжело хворавшая уже несколько времени. Сестра моей родственницы, жившая на другом конце города и уже дня два не видавшая ее, вспомнила о ней в ту минуту, когда ложилась спать. Решив наутро навестить больную сестру, она потушила свечу и уж начала засыпать.

Вдруг видит, при свете теплившейся лампады, что из-за ширмы, стоявшей перед ее кроватью, выглядывает голова ее сестры.

Эту голову, это лицо сестры моя родственница видела совершенно отчетливо и тотчас ее окликнула, удивляясь ее столь позднему, при нездоровье, посещению.

Ответа, однако, не последовало, и голова, высунувшись из-за ширмы, через несколько секунд исчезла...

Полагая, что такой поздний и поспешный заезд вызван каким-нибудь чрезвычайным происшествием в семье больной сестры, моя родственница вскочила с постели, вышла за ширму, но ни там, ни в других комнатах никого не было...

Дама, о которой я говорю, была женщина очень образованная, вовсе не суеверная и отличалась скорее недостатком, чем избытком впечатлительности и воображения.

После первого впечатления от таинственного заезда больной сестры она старалась себе объяснить этот случай сном, предполагая, что сестра ей пригрезилась под влиянием беспокойной, предсонной думы о ней.

Она не разбудила никого, снова легла в постель и спокойно проспала остальную часть ночи.

Но каково же было ее удивление, когда рано утром ее разбудили роковым известием, что ее сестра умерла в ту ночь и, как оказалось, в тот самый час, когда она видела ее лицо, выглянувшее из-за ширмы!..

Другой случай был в Тифлисе и с вашею покорною слугой. Я тогда была девочкой лет шести-семи. Приехала я в Тифлис с матерью, старшею сестрой, слугою и горничной. Мы остановились во втором этаже тамошней известной гостиницы; отвели нам несколько комнат с балконом на улицу. В первую же ночь, проведенную нами на кое-как устроенных постелях, среди раскрытых чемоданов и сундуков, случилось событие, сильно напугавшее меня.

Я спала на одной кровати с сестрой, девушкой лет семнадцати. Помню, что меня разбудил сдержанный, но тревожный разговор горничной с сестрой.

— Ах, барышня, не могу глаз сомкнуть, — говорила горничная, — на балконе ходит что-то страшное, рогатое... Еще с вечера нижние жильцы уверяли, что оно ночью непременно заглядывает в окно...

— Да где ж оно, где? — шептала в ужасе сестра.

— Постойте, слышите? Топчется по балкону ногами... слышите? Вот опять шаги, подходит...

— Да откуда же подходит? Балкон высоко над землей.

— Ай! — вскрикнула моя сестра, упав на подушку. — Рога, рога...

Как я ни была мала и труслива, я подняла голову из-за дрожавшей сестры, взглянула и обмерла: с надворья, в бледных сумерках, ясно обозначилось нечто косматое, с рогами, приникшее к окну и будто смотревшее, что делается в комнате. Я также упала носом в подушку — и ну плакать.

Проснулась матушка, разбудили лакея. Едва нашли ключ, отдали его лакею и тот из соседней комнаты, имевшей также выход на балкон, отпер стеклянную дверь, вышел наружу, осмотрел балкон: там ничего не было.

Но мы, т. е. я с сестрой и горничная, отлично видели привидение — косматое, страшное и с рогами.

Ночь провели без сна. Наутро давай соображать, что бы это было? Слуга ходил к хозяевам, к нижним жильцам, которые перед нами стояли наверху, в наших комнатах, и перешли вниз из-за того же привидения. Он расспрашивал

их, но ничего не добился. Хозяева уверяли, что это пустяки, что нам так показалось. Других свободных комнат не было, и мы поневоле остались в тех же, но приняли меры осторожности. Ключ от балконной двери матушка положила себе под подушку, чтоб иметь его всегда наготове. Осмотрели тщательно балкон, висевший над улицей, — оказалось, что к нему даже не подходила водосточная труба, осмотрели все смежные двери, окна, комнаты и легли спать.

Слуга заперся от коридора гостиницы, мы заперлись от комнаты, где спал слуга. Горничная взлезла на высокую лежанку, за печью, обставилась еще стульями. Поговорив немного, мы погасили свечи и уснули...

И опять слышим топот. Я очнулась первая, взглянула в направлении окон и взвизгнула не своим голосом. Все вскочили, дрожим от ужаса: по балкону снова ходит чудище; длинные, как на рисунках о страшном суде, загнутые над мохнатым лбом, бесовские рога шевелятся за окном, и два глаза пристально смотрят сквозь стекло в комнату.

Слуга также проснулся.

— Барыня, ключ, скорее ключ! — шептал он за дверью.

Мы подали ему ключ.

Он изловчился, быстро отпер дверь — с балкона на крышу дома, бывшую над ним невысоко, спрыгнуло что-то мохнатое, легкое, как ветер...

Утром слуга добился, в чем дело.

Оказалось, что этот страшный тифлисский призрак был козел; он являлся с соседнего двора, сеновал которого был на склоне горы, как раз в уровень с крышей гостиницы. Покушав сена, козел имел обычай вскакивать в слуховое окно сеновала и странствовать по окрестным крышам, крыльцам и балконам. Перед тем в наших комнатах — до нас и нижних жильцов — долго жил какой-то одинокий постоялец. Он имел обычай пить по ночам чай у окна и, заметив спрыгнувшего с крыши на балкон козла, давал ему сухарей и молока. Козел привык к нему и каждую ночь получал свою порцию. А когда этот жилец уехал, козел, продолжая свои

посещения, сперва напугал и заставил втихомолку спуститься вниз жильцов, занимавших наши комнаты, а потом напугал и нас...

В Николаеве стояли в небольшом одноэтажном домике два офицера. Сидели они вечером однажды у окна. Была зима. Светил полный месяц. Беседа приятелей смолкла, они задумались, куря папиросы. Вдруг слышат, с надворья кто-то стукнул в наружную раму... раз, другой и третий. Переглянулись они, ждут. Минуты три спустя опять незримая рука постучала в окно. Один из них выбежал на крыльцо, обошел угол дома — никого нет. Дом был на краю города и выходил на обширный, ярко освещенный луною пустырь. Потолковали приятели и решили, что это им так показалось или что дрожало от движения воздуха стекло старой двойной рамы, хотя ночь была тихая, без малейшего ветра. На вторую ночь повторилась та же история, на третью снова. Это вывело офицеров из терпения. Осмотрев днем окрестные дворы, овраги и площадь, они решились выследить, что это за чудо? Ночью один сел с папироскою у окна, другой, одевшись в шубу, спрятался в тени у соседнего забора. Долго ли сидел он, последний не помнил, только опять раздался стук, явственное дребезжание наружной оконной рамы. Стороживший под забором офицер бросился к дому — из-под оконного притолка выскочила какая-то тень... Ночь на этот раз была несколько мглистая; месяц то и дело прятался в налетавшие облака. Тень кинулась бежать по площади; офицер за нею... далее, далее — вот-вот настигает. Добежали они до какого-то оврага. У оврага стоит запряженный в сани конь. Тень бросилась в сани, офицер ее за полу и тоже в сани. Лошадь помчалась. «Зачем ты нас пугал?» — спрашивает офицер. Тень молчит. «Говори, говори!» — пристал офицер, теребя незнакомого и стараясь вырвать у него вожжи... Но сани нечаянно, или благодаря вознице, раскатились, и офицер вывалился среди пустынного, занесенного снегом взгорья. Он

едва нашел дорогу и возвратился домой к утру, с трудом выбравшись из оврагов, куда его завезла незнакомая, ускользнувшая от него тень.

V

ТАИНСТВЕННАЯ СВЕЧА

Некто Кириллов, будучи командирован в приволжские губернии, ехал туда со своим секретарем. Надо было свернуть с большого почтового тракта на проселок. Кириллов ехал в собственной коляске, по фельдъегерской подорожной и открытому листу. Дело было спешное и не терпящее отлагательств. Проселочный путь оказался очень удобным. Погода была перед тем сухая. Стоял превосходный, весь в зелени и цветах, оглашаемый птичьими свистами, май. Но едва странники проехали верст полтораста, меняя в волостях обывательских лошадей, небо заволокло тучами, стало пасмурно и пошел теплый тихий дождь. Дорога мигом испортилась. До места назначения, небольшого уездного города, оставалось два-три перегона. В предпоследней волости дали Кириллову лошадей нехотя, уговаривая его переждать, пока просохнет. Он на это не мог согласиться. Лошади пристали. Едва сделав с обеда до вечера верст десять-пятнадцать, коляска насилу втащилась в какую-то разбросанную, заросшую садами деревню и остановилась в околице: ни взад, ни вперед.

— Переночевали бы, ваше превосходительство, — сказал обывательский ямщик, — до Терновки еще семь верст, а лошади не довезут.

— Какая это деревня?

— Дубки.

— Государственных крестьян?

— Вольная.

— Расправа есть?

— Есть-то есть, да нету-ти лошадей. Тутошние все гоняют на ночь в луга. А пока за ними сходят, настанет и ночь. Эвоси, и солнышко заходит.

— Где же тут перебыть?

— В постоялом разве... да нет, барин, там кабак — уж не знаю, куда вас и вести. Мужики все в отхожих работах, остались, почитай, одни бабы.

— Да вон же у вас церковь, — отозвался секретарь, — значит, есть священник.

— Есть, — ответил ямщик.

— Ну, вези к батюшке.

Подъехали к дому священника, на обширной, поросшей травой площади. Священник оказался вдовцом, лет пятидесяти, очень серьезным, благообразным и радушным человеком.

Узнав, что гость его важный в столичной иерархии чиновник, он удвоил к нему внимание, предложил странникам чаю, ужин и собственную опочивальню.

Кириллов с секретарем напились чаю и закусили на воздухе, на крыльце попова домика, выходившего окнами против церкви. Дождь перестал, и хотя небо еще было заволочено тучками, или, скорее, туманом, на дворе было тепло и так тихо, что слышался говор отдаленных переулков, где засыпала, с быстро наставшими сумерками, наморившаяся за день деревня. Гости и хозяин засиделись долго у столика, накрытого белой скатертью и уставленного скромным угощением сельского священника.

— Что у вас такая маленькая церковь? — спросил Кириллов. — Точно вросла в землю и даже будто покачнулась.

— Древний храм, очень древний, — отвечал священник, — еще при моем прадеде лажена, а при деде достроена. Мхом поросла, и колокольня точно как бы наклонилась маленько, но еще держится.

— Что же, мало средств, нечем обновить?

— Народ здесь смирный, свободный, как воздух, — ну, и не тем занят. А церковь древняя и строили ее древние, благочестивые люди...

Поговорили еще гости, поблагодарили хозяина за хлеб-соль и, распорядясь насчет дальнейшего с утром пути, ушли спать. Комната, где им предложили ночлег, выходила окнами на площадь. Священник лег в чистой приемной, смежной с этой комнатой.

Боясь простудиться, Кириллов лег, не открыв окна, и потому от духоты долго не мог заснуть.

Постель священника, на которой он расположился спать, была у стены против окон; секретарь лег на диванчик у двери. Свечу погасили и смолкли. Затих по соседству и священник. На дворе еще более стемнело.

Так лежал, ворочаясь и думая о разных разностях, Кириллов час или более того. Обернувшись на постели к окну, он стал всматриваться в очерк церкви, неясно рисовавшейся в сумерках.

Ему показалось, что церковь слабо освещена...

«Вероятно, небо окончательно очистилось и взошел месяц за нашим домом, — подумал Кириллов, — лунные лучи и отражаются в церковных окнах».

Кириллов приподнялся на постели, вгляделся пристальнее. «Нет, это не лунные лучи! — сказал он себе. — Все окна подряд, но освещены только три левые, в главной части церкви, а правые, в приделе, под колокольней, темны — значит, церковь освещена изнутри».

Чем более всматривался Кириллов, тем явственнее стал различать красноватый, мерцающий блеск, отличный от бледных лунных лучей.

«Свеча, — подумал он, — в церкви зажжена свеча! Либо там воры, либо покойник... Но какая неосторожность — ставить на ночь у гроба, в такой ветхой церкви, свечу!»

— Батюшка, а батюшка! — сказал Кириллов, помнивший, что священник шевелился в соседней комнате несколько минут назад. Оклик пришлось повторить.

— А? Что прикажете? — отозвался из-за двери проснувшийся хозяин.

— У вас, батюшка, светится в церкви.

— Извините, там темно, и ключи у меня.

— Да отчего же светится? Не забыли ль погасить какую свечку у образов? Была сегодня вечерня?

— Не было.

— Так не стоит ли там покойник? — спросил Кириллов.

Священник повозился по полу ногами, очевидно, отыскивая башмаки. Через минуту он появился в халате на пороге.

— Где светится? — спросил он, глядя в окно. — Вот странно, в церкви действительно покойник... его вынесли за час до вашего к нам прибытия... но только никто у образов, а тем паче у гроба, не зажигал свечи.

— Угодно ли, пойдем, стоит посмотреть, — сказал Кириллов, любопытствуя узнать, что это за странность.

Священник нехотя достал из-под подушки ключи. Разбудили секретаря. Тот, узнавши в чем дело, в особенности засуетился. «Чудеса, чудеса! — шептал он. — Покойник и светится».

Гости и священник вышли на площадь. Три окна, явственно и без всякого сомнения, были изнутри слабо освещены. Но едва любопытствующие стали подходить к церкви, свет внезапно погас.

— Нам это показалось, — заметил священник, — никакого огня в церкви быть не может. Даром только, сударь, потревожились... помилуйте, у нас очень строго насчет огня.

Кириллов уж повернул к дому. Ему хотелось спать.

— Нет, ваше превосходительство, — засуетился секретарь, — так этого оставлять бы не следовало... осмотрим церковь...

Делать нечего. Священник, гремя ключами, отпер церковную дверь. У секретаря нашлись спички. Зажгли стоявший в приделе, у порога, фонарь и вошли в храм.

Церковь, как все сельские церкви: чистая, уютная. Пахнет ладаном. Посредине, перед алтарем, стоял гроб с

покойником, каким-то молодым, суровым и красивым работником. Непокрытое лицо глядело спокойно, точно умерший заснул.

— Горячка-с... — вскользь сказал священник, идя к алтарю.

Кириллов и секретарь с ним осмотрели алтарь, шкап с ризами, поднимали покров алтаря, покров, накинутый на гроб, все углы главного и входного церковных отделений и даже приподнимали покров над небольшим аналоем, стоявшим у гроба.

Священник тем внимательнее осматривал церковь, что ему казалось всего правдоподобнее, как он потом говорил, искать, не притаился ли где вор.

Еще потолковали, еще осмотрели церковь, подняв выше фонарь, возвратились — и снова легли спать.

Решась более не думать о виденном свете, Кириллов обернулся к стене, но еще мельком взглянул с постели на церковь, и на этот раз ее окна были темны.

Прошло с час или более. Кириллов хорошо помнил, что он спал и, как ему казалось, спали и другие. «Этакая чепуха иной раз пойдет в голову, — думал Кириллов во сне, — да не одному, а всем троим; трое видели свет в запертой церкви и, не пойди туда, сами не осмотри, на всю жизнь осталась бы легенда о заколдованной свече»...

«Ах, я простота! — вдруг пришла мысль опять пробудившемуся Кириллову. — Ну, как я не догадался? Да и священник хорош! Объяснение прямое и весьма несложное... За церковью должен быть тот именно постоялый с кабаком, куда нам не советовали заезжать... Ну, очевидное дело: на постоялом еще не спят, окна его освещены и, просвечивая сквозь окна церкви, ввели нас в такое заблуждение».

С этою мыслью Кириллов опять старался заснуть, соображая, как он утром пристыдит священника, забывшего о таком обстоятельстве.

В это время Кириллову показалось, что его секретарь почему-то не спит. Как уж ему это показалось, он впоследствии не мог и объяснить: сам он лежал лицом к стене, и в комнате была полная тишина.

Он снова медленно, задерживая дыхание, приподнялся на локте и тихо обернул голову в комнату...

Секретарь сидел в одном белье, спустив ноги на пол с дивана, и неподвижно, как бы в оцепенении, смотрел в окна на площадь. На дворе окончательно стемнело, и на этом черном, ночном фоне еще неуловимее и мрачнее рисовалась ветхая, вросшая в землю церковь, с покачнувшеюся набок сквозною деревянною колокольней.

Кириллова обдало, как варом. Волосы шевельнулись на его голове.

Три левых окна церкви были снова, и уж теперь явственнее, освещены изнутри...

— Что вы, Иван Семеныч, — спросил Кириллов секретаря, — не спите?

Тот, не находя слов на коснеющем от волнения языке, только показал рукой на церковь.

— Батюшка, а батюшка! — сказал Кириллов, ступя за порог комнаты, где спал священник. — Вставайте, в церкви опять огонь.

— Быть не может, что вы!

— Вставайте, глядите.

Все трое опять вышли на крыльцо. Церковь была видимо изнутри освещена.

— А постоялый? Кабак по тот бок площади? — спросил Кириллов. — Это его окна просвечивают...

— Постоялый в другом конце села, а за церковью — общественный, всегда запертый, хлебный магазин.

— Кругом обойдем, кругом, ваше превосходительство, — проговорил, наконец, онемевший от волнения и страха секретарь.

Взяли фонарь и, его не зажигая, тихо, без малейшего шороха, обошли кругом церковь. Все здания на площади

были темны; в окнах храма при обходе священника и его гостей ясно мерцал слабый, будто подвижный, огонек, погасший мгновенно, едва они обошли церковь.

— Войдем, снова осмотрим, — прошептал уже не с прежней смелостью Кириллов, — нельзя же так оставить... или это общая нам троим галлюцинация, или в церкви, действительно, то вспыхивая, то угасая, горит незамеченная нами при первом осмотре свеча... очевидно, мешал ее разглядеть свет фонаря.

— Войдем без оного, — произнес робким, дрожавшим голосом секретарь.

— С нами крестная сила! — сказал священник, снова отмыкая дверь.

В церкви было темно. Ни одна свеча перед алтарем и в других ее частях не горела. Покойник лежал также неподвижно. Наверху только, на колокольне, чирикая, возились воробьи да взлетывали галки и голуби, очевидно, чуя близкий рассвет.

— Это там, это оттуда... белый голубь, может быть! — прошептал секретарь.

— Какой белый голубь? — спросил священник.

— Да тот, которого носят бесы на кладбище за неразменный рубль! Иной раз вырвется, бесы погонятся — ни голубя, ни рубля...

— Стыдно, сударь, такое суеверство! — сказал священник, дрожащими руками зажигая в сенях фонарь. — Извольте идти на колокольню... осмотрим, коли ваше желание, всех голубей, галочье и воробьев.

Кириллов предложил принять меры осторожности. Выходную дверь церкви заперли изнутри замком и пошли по витой, узкой внутренней лесенке на колокольню. Птицы, при блеске фонаря, шарахнулись и шумными стаями, цепляясь о звонкие края колоколов и о пыльные стены, стали вылетать с колокольной вышки.

— Ну, где же ваш белый голубь? — спросил священник, когда осмотрели колокольню. — А теперь, для-ради достоверности, исследуем снова и церковь.

Опять с фонарем обошли алтарь, осмотрели шкап и все углы, и поднимали покровы над алтарем и покойником. Нигде ничего, церковь пуста.

— А все сие от безверия, — начал священник, — вот у вас белые голуби, а там, может, и еще какие праздные сплетения...

Он не договорил. Кириллову в эту минуту вздумалось приподнять покров над небольшим аналоем, стоявшим у гроба. Этот аналой они уж в первый приход осматривали.

Кириллов взялся за край покрова, приподнял его и окаменел. Секретарь вскрикнул. У священника из рук чуть не упал фонарь...

Что же они увидели?

Под покровом узкого, невысокого аналоя, съежившись, сидела худенькая, сморщенная, как гриб, седая, повязанная по лицу платком старушонка...

— Ты здесь чего? — спросил, первым опомнившись, священник...

— Зуб, батюшка, зуб совсем одолел! — проговорила старушка, хватаясь за повязанную щеку.

— Ну, так что же, что зуб?

— Люди это сказывали, научили, — отвечала, дрожа, старушонка, — возьми клещи и выдерни у покойника тот самый зуб... и пройдет на веки веков...

— Так ты, Федосеевна, грабить покойника?

— Вот клещи и свечка, — ответила, падая в ноги священнику, Федосеевна, — не погуби, батюшка, совсем одолел зуб...

— Но где же ты была, как в первое время мы приходили?

— На колокольне пряталась. Не погуби, отец Савелий, нет житья от этого самого, то есть кутного, зуба.

— Ну, и выдернула у покойника?

— Крепонек больно... дергала, дергала, а тут страх... а тут, Господи, какой страх! И руки дрожат...

VI

ПРОГУЛКА ДОМОВОГО

Это было года два назад, в конце зимы, сказал Кольчугин, я нанял в Петербурге вечером извозчика от Пяти углов на Васильевский остров. В пути я разговорился с возницей, ввиду того, что его добрый, рослый, вороной конь при въезде на Дворцовый мост уперся и начал делать с санками круги.

— Что с ним? — спросил я извозчика. — Не перевернул бы саней...

— Не бойтесь, ваша милость, — ответил извозчик, беря коня под уздцы и бережно его вводя на мост.

— Испорчен видно?

— Да... нелегкая его возьми!

— Кто же испортил? Видно, мальчишки ваши ездили и не сберегли?

— Бес подшутил! — ответил не в шутку извозчик. — Нечистая сила подшутила.

— Как бес? Какая нечистая сила?

— Видите ли, все норовит влево с моста, на аглицкую набережную.

— Ну? Верно, на квартиру?

— Бес испортил, было наваждение.

— Где?

— На аглицкой этой самой набережной.

Я стал расспрашивать, и извозчик, молодой парень лет двадцати двух, русый, статный и толковый, передал мне следующее:

— Месяц тому назад, в конце масляной недели, я стоял с этим самым конем на набережной, у второго дома за сенатом. Там подъезд банка, коли изволите знать... Вот я стою, нет седоков; забился я в санки под полость и задремал. Было два или три часа по полуночи. Это я хорошо заметил — слышно было, как на крепости били часы. Чувствую,

кто-то толкает меня за плечо; высунул из-под полости голову, вижу: парадный подъезд банка отперт, на крыльце стоит высокий, в богатой шубе, теплой шапке и с красной ленточкой на шее, барин, из себя румяный и седой, а у санок — швейцар с фонарем. «Свободен?» — спросил меня швейцар. «Свободен», — ответил я. Барин сел в сани и сказал: «На Волково кладбище». Привез я его к ограде кладбища; барин вынул бумажник, бросил мне без торгу на полость новую рублевую бумажку и прошел в калитку ограды. «Прикажете ждать?» — спросил я. «Завтра о ту же пору и там же будь у сената». Я уехал, а на следующую ночь опять стоял на набережной у подъезда банка. И опять в два часа ночи засветился подъезд, вышел барин, и швейцар его подсадил в сани. «Куда?» — спрашиваю. «Туда же, на Волково». Привез я и опять получил рубль... И так-то я возил этого барина месяц. Присматривался, куда он уходит на кладбище, — ничего не разобрал... Как только подъедет, дежурный сторож снимет шапку, отворит ему калитку и пропустит; барин войдет за ограду, пройдет малость по дороге к церкви... и вдруг — нет его! Точно провалится между могил, или в глазах так зарябит, будто станут запорошены. «Ну, да ладно! — думаю себе. — Что бы он ни делал там, нам какое дело? Деньги платит». Стал я хозяину давать полные выручки, три рубля не менее за день, а рубль-то прямо этот ночной пошел на свою прибыль. Хозяин мне справил новый полушубок, да и домой матери я переслал больше двадцати пяти целковых на хозяйство. И лошади по нутру пришлось: то, бывало, маешься по закоулкам, ловишь, манишь поздних седоков; а тут, как за полночь, прямо на эту самую набережную, к сенату; лошадь поест овсеца, отдохнет — хлоп... и готов рубль — целковый! И прямо от Волкова, поблизости, на фатеру в Ямскую...

Все бы шло хорошо; ни я барину ни словечка, ни он мне. Да подметили наши ребята, что хозяин уж больно мной доволен, ну, приставать ко мне. «Федька с бабой важной сведался, она балует его, — стали толковать, — угости, с

тебя следует магарыч». — «Отчего же? — говорю. — Пойдем в трактир». Угостил ребят. Выпили с дюжину пива, развязались языки. Давай они допытывать, что и как. Я им и рассказал. А в трактире сидел барин «из стрюцких» — должно, чиновник. Выслушал он мои слова и говорит: «Ты бы, извозчик, осторожнее; это ты возишь домового, или, просто сказать, беса... И ты его денег без креста теперь не бери; сперва перекрестись, а тогда и принимай». — «Да как же узнать беса?» — спрашиваю чиновника. — «А как будешь ехать против месяца, погляди, падает ли от того барина тень? Если есть тень — человек, а без тени — бес...»

Смутил меня этот чиновник. Думаю: постой, сегодня же ночью все выведу на чистую воду. Стал я опять у банка. Вышел с подъезда барин, и я его повез, как всегда; в последнее время его уж и не спрашивал — знал, куда везти...

Выехали мы от сената к синоду, оттуда стали пересекать площадь у Конногвардейского бульвара. С бульвара ярко светил месяц. Я и давай изловчаться, чтоб незаметно оглянуться влево, есть ли от барина тень. И только что я думал оглянуться, он хвать меня за плечо... «Не хотел, — говорит, — по чести меня возить, больше возить не будешь; никогда не узнаешь, кто я такой...» Я так и обмер; думаю: ну, как он мог узнать мои мысли? Я отвечаю: «Ваше благородие, не на вас...» — «На меня, — говорит, — только помни, никогда тебе меня не узнать».

Дрожал я всю дорогу до Волкова от этакого страха. Привез туда; барин опять бросил бумажку. «Прикажете завтра?» — спрашиваю. «Не нужно, — ответил, — больше меня вовеки не будешь возить...»

Ушел он и исчез между могилами, как дым улетел куда-то.

Думаю: шутишь. Выехал я опять на следующую ночь на набережную, простоял до утра — никто с подъезда не выходил. Вижу, дворники метут банковский тротуар; я к ним. «Кто, — спрашиваю, — тут живет?» — «Никого, — отвечают, — нету здесь, кроме швейцара; утром приходят господа на службу, а к обеду расходятся; квартир никому нет». Что за

наваждение? Выехал я на вторую ночь, опять никого. Заехал с Галерной к дворнику, спрашиваю — тот то же самое: видно, говорит, тебе приснилось. Дождавшись утра, вышел швейцар, я его сейчас узнал; спрашиваю — он даже осерчал, чуть не гонит в шею: я тебя, говорит, никогда и не видел, проваливай — какие тут жильцы! Никто отсюда не выходил, и никого ты не возил — все это тебе либо сдуру, либо со сна, а вернее, с пьяна... Постоял я еще ночь, утром поехал на Волково, давай толковать с сторожами; там я приметил рыжего одного, в веснушках, — все отреклись, и рыжий: знать тебя не знаем, никого ты не привозил, и видим тебя впервое — у нас строго заказано: никого в калитку по ночам на кладбище не пускаем... Так это и кончилось, с той поры я не езжу на аглицкую набережную, заработок этот прекратился, одна беда — лошадь сноровилась и все ее тянет туда... Хозяин дуется, ребята прохода не дают; а что это за оказия была с банковским этим самым барином, ума не приложу...

— И это все правда?

— Сущая правда! Вот вам святой крест! — заключил рассказчик.

Так рассказывал извозчик. Я — на всякий случай, рассчитываясь с ним, — заметил номер его бляхи и передал о его сообщении некоторым из знакомых, в том числе одному писателю, собираясь еще раз отыскать этого извозчика и расспросить его подробнее, между прочим съездить с ним на кладбище и расспросить тамошних сторожей. Меня, однако, предупредили. Один из репортеров рассказал часть этой истории в газетной заметке; а через неделю по ее появлении в печати ко мне явился высший член сыскной полиции. Объяснив мне, что слух об извозчике, возившем «банковского беса», обратил на себя внимание полицейского начальства, это лицо просило меня дать средство полиции отыскать упомянутого извозчика. «Но кто же вам сообщил обо мне?» — спросил я полицейского агента. Тот улыбнулся: «Позвольте нам быть на

этот раз всезнающими». Я сообщил агенту номер бляхи извозчика, с одним условием, чтоб мне дали возможность ознакомиться с окончательным разъяснением этого дела. Каково же было мое удивление, когда дня через три меня уведомили, что извозчик найден, но от всего отперся, уверяя, что газета, сообщившая вкратце его рассказ, все на него выдумала. Я поехал по письменному извещению к агенту, производившему это исследование. Был призван извозчик. Последний, разумеется, меня не узнал: он меня видел ночью, притом в шубе и шапке, а теперь я был в сюртуке. На новые расспросы полицейского агента при мне извозчик повторял одно: знать ничего не знаю, ничего такого не говорил, все выдумано на меня...

Признаюсь, я пришел в немалое смущение. Бросалась тень на мое собственное сообщение приятелям. Мне пришло в голову попросить агента дать мне остаться с извозчиком наедине. Он согласился. Я прямо объявил извозчику, что я то лицо, которому он сообщил свой рассказ. Извозчик сильно смешался.

— И не стыдно тебе запираться, врать? — сказал я. — Теперь и я, через тебя, выхожу лгуном.

Извозчик оглянулся по комнате, замигал глазами.

— Ваше благородие, — сказал он, — да как же мне не отпираться? Меня как взяли, сейчас это на ночь в арестантскую, паспорт отобрали, выручку отобрали и еще побили...

— Кто побил?

— Анисимыч и Николай Федосеевич.

— Кто это?

— Вахтера в арестантской.

Меня возмутило это признание. Я позвал полицейского агента, сообщил ему жалобу извозчика и просил его при мне, немедленно, возвратить извозчику паспорт, выручку и уплатить его убытки за три дня ареста, прибавя что-либо и в вознаграждение за побои усердных вахтеров. Все это было исполнено. Извозчик упал агенту в ноги. «Все расскажу, как было», — объявил он и поведал слово в слово все, что передавал сперва мне о том, как он возил на Волково банковского беса...

По указаниям извозчика было произведено дознание как на подъезде банка, так и на Волковском кладбище. Швейцар банка и кладбищенские сторожа остались при прежнем отрицании всей этой истории. Так она и поныне ничем не разъяснена. Но я утверждаю одно: извозчик был слишком простой и добродушный малый, чтобы выдумать свой фантастический рассказ. Он при нашем расставанье прибавил только одно: «Должно быть, — сказал он, — в том месте погребен кто-нибудь без креста, оттого, сердечный, и мается, все ездит на кладбище к остальным покойникам, погребенным, как след, по вере...»

VII

СТАРЫЕ БАШМАКИ

(ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЕГЕНДА)

Дело было в Италии, накануне великого праздника. Бедный архивный чиновник, живший на убогое жалованье, сидел в раздумье — дадут ли ему праздничное пособие. В комнате было холодно; он раздумывал, затопить ли ему камин? Надвинулись сумерки.

В его дверь постучались. Вошел плохо одетый старик, с длинною, белою бородой.

— Я бедный артист, — сказал он, — реставрирую старые картины, при случае; но работы у меня мало, и начинает дрожать рука. Помогите чем-нибудь, и Господь да поможет вам счастливо провести с вашими детьми праздники, — заключил он с кроткою улыбкой серых глаз, в которых еще горел отблеск молодости.

— Я жалею от души, — ответил чиновник, — я такой же бедняк, и у меня нет не только детей, даже собаки. Едва перебиваюсь, платя за эту каморку в четвертом этаже, за дрова, за освещение и за платье, обязанный одеваться, как подобает ка-

зенному архивариусу. А пища! А подписка в пользу товарищей! Идите к богатым; крошки их трапезы ценнее наших хлебов!

— Нет ли у вас хоть пары старых, поношенных башмаков? — произнес старик молящим голосом, протягивая руки.

— Нет! Ровно ничего нет, что я мог бы вам дать.

— Верно, вы не видите? Мои башмаки износились до невозможности, порыжели и пропускают воду, как две ветхих ладьи.

— У меня нет башмаков, — ответил сухо чиновник.

— Простите с миром! — сказал старик, склонив голову на грудь.

Он ушел, влача усталые ноги. Чиновник запер за ним дверь и пожал плечами, как бы кому-то доказывая, что иначе он и не мог поступить. «И в самом деле, — мыслил он, — будь у меня полон кошелек, я справил бы себе новое верхнее платье». То, которое висело под шляпой на стене, во многих местах уже показывало свое внутреннее настроение. Разбитое стекло в окне было заслонено куском пергамента с готическими литерами.

А погода? В такую ли погоду подобало встречать наступавший великий праздник? Шел снег. В его падающих хлопьях, казалось, виднелось лицо и белая борода. «Снег! Он согревает бедняков-поденщиков, очищающих от него улицы; но было бы не худо, если бы, вместе с снегом, время от времени с неба падала бы пара башмаков».

Чтоб высушить собственные измокшие башмаки, чиновник подложил щепок и зажег пару полен, припасенных в камине. Его ноги были давно как два ледяных обрубка. Он протянул их к огню, сложил руки на колени и задумался. В дыме затлевшихся полен ему опять повиделось скорбное и кроткое лицо старого артиста, голос которого, казалось, замерев, остался в этой комнате. «Простите с миром!» — сказал старик. «С миром!» — шептал кто-то спрятанный в одежде, висевшей на стене. Чиновник обернулся и замер...

Кровать, накрытая красным одеялом, с желтыми по нем цветами, заставила его вздрогнуть. Тягой воздуха в камин край

одеяла колыхался. Под этим краем чиновник увидел другую пару своих башмаков, старых и действительно «весьма поношенных», но тщательно высушенных, вычищенных и приготовленных еще с утра под кроватью, в ожидании завтрашнего праздника. Пара же совершенно новых башмаков дымилась, сушась у огня, на ногах чиновника. Ушедший бедняк, очевидно, разглядел те старые, запасные башмаки и позволил себе помечтать о них, как хозяин башмаков, раз в год, обыкновенно мечтал о праздничном пособии, рассчитывая на доброе сердце министра, который, по всей вероятности, не подозревал о его существовании. И что же ответил чиновник старику? «У меня нет башмаков!» Но это ложь. Сказал ли он ее с умыслом или по забывчивости? Ужели с умыслом?

Край одеяла к стороне двери опять колыхнулся, точно старые башмаки, стоявшие под кроватью и также обращенные носками к двери, хотели идти сами собой прямо к старому художнику. Жаль стало чиновнику, что он так отпустил старика. Следовало бы ему отдать лишние башмаки.

«Что ты, что ты? — произнес кто-то внутри его. — Время сырое, а ноги всегда надо иметь сухие. Надевай завтра старые, высушенные башмаки, сохраняй тело в здравии и тепле, для чего иначе было бы и рождаться на свет?»

С этими мыслями чиновник разделся, лег и заснул. Утром он проснулся бодрый, веселый; надел лучшее свое платье, высушенные старые башмаки и пошел к обедне в собор. Башмаки несколько жали ему ноги, поскрипывая, точно новые башмаки первых городских щеголей, несмотря на то, что были «весьма поношены». Утро стояло туманное. Звон колоколов глухо раздавался по улицам. В соборе, на мраморном полу, старые башмаки так опять крякнули и заскрипели, что некоторые из молящихся оглянулись на вошедшего. Он забился за колонны, стал усердно повторять молитвы. И снова он замер... Тихими шагами, чуть шурша стоптанными, развалившимися башмаками, к выходу из собора пробирался нищий старик. В полусвете храма неясно рисовались его сгорбленный, тощий стан, набожно, покорно сложенные руки и белая, длинная борода.

Первым чувством чиновника было броситься к узнанному им артисту. Но обедня еще не кончилась; орган начинал греметь особенно торжественную песнь. При том, можно ли было меняться башмаками на ступенях храма?

Обедня кончилась. Собираясь угостить себя вкусным, праздничным завтраком, чиновник направился к площади фонтанов, куда, как ему казалось, мелькнуло что-то белое... Чиновник быстро шел к площади. В одном месте, в грязи, смешанной со снегом, он разглядел подошву старого, порыжелого башмака. Мальчик, шлепавший по грязи навстречу, поднял и подбросил ногой из лужи другую, кем-то оброненную подошву, у которой торчала еще и половина каблука. «Нет, надо во что бы то ни стало найти старика и ему помочь!» — подумал чиновник. Ища бедного, теперь босого художника, он долго ходил из улицы в улицу, проголодался и решил наконец закусить.

Чиновник вошел в трактир, потребовал супу и дичи, жаренной в масле под пряным соусом, — отменно вкусная роскошь, которую он себе позволял раз в год, — и оглянулся. Полуосвещенная комната, табачный дым, висевший под сводом, и множество мрачных людей, молча или чуть перешептываясь евших вкруг маленьких столов, — все это неприятно подействовало на вошедшего. Крепче закутавшись в платье, чтобы скрыть от назойливых взглядов свои часы, он сел на лавку, вглядываясь в глубину комнаты, где в догоравшем камине дымился огромный котел, а над ним, с шумовкой в руке, виднелся на стуле какой-то старик с босыми ногами.

Принесли миску супа. Чиновник с наслаждением ее съел. Пот выступил на его счастливом лице. А пока он доедал бульон, макая в него мякиш хлеба, старик, сидевший у камина, казалось, строго поглядывал на него. Пламя вспыхнуло под котлом: архивариус в его отблеске узнал, казалось, снова старого художника. Тот продолжал на него смотреть так пристально, что чиновник невольно опустил глаза. Но и сотня других глаз была устремлена на него из разных углов подозрительного подвала. «Пещера воров!» — пронеслось в

его мыслях. Старик поднялся, показав трактирщику из-за плеча пальцем на архивариуса. Трактирщик усмехнулся, прошел в кухню и вынес оттуда порцию заказанного фрикассе.

Дичь оказалась невозможно жесткою. «Боже мой! Но разве это фрикассе! — мысленно вскрикнул чиновник. — Это бифштекс из железа или даже еще хуже — кусок дерева в соусе!» В жизни не ел ничего подобного... И он жевал, жевал, поворачивая языком кусок жареного дерева и чувствуя, как судороги стягивают его челюсти.

Странная мысль пришла ему в голову: ему показалось, что он жует, без надежды когда-нибудь проглотить то, что жует, облитую соусом подошву старого художника, оброненную в грязи, на улице. И его зубы, при этой мысли, мгновенно почувствовали нечто особенно противное, нечто кожано-упорное, с запахом дубильной кислоты и ваксы...

Старик, ступая мягкими, босыми ногами, прошел от камина к выходу; то был вовсе не художник. Кошка трактирщика охотно доела брошенное ей фрикассе, казавшееся чиновнику то железом, то деревом, то подошвой.

Вкус кожи, с запахом ваксы «весьма поношенных башмаков», надолго однако прилип к языку архивариуса. И нередко потом, подавая начальнику архива какой-либо древний пергаментный свиток или глиняный слепок с иероглифов, он задумывался, невольно поглядывая на свои всегда чистые и хорошо наваксенные башмаки.

VIII

БОЖЬИ ДЕТИ

В некотором царстве, в некотором государстве, сказал один из наших собеседников, жил счастливый человек. Он обладал отличным здоровьем, был средних лет, весьма умен, образован, а главное — богат. Свое богатство он нажил собственным трудом, уменьем и бережливостью. Это богатство

вскоре стало громадным. Посторонние и даже близкие к этому человеку люди знали, что все его обширные торговые и заводские дела идут необыкновенно успешно, но и не подозревали обширности его богатства, хотя в шутку между собою и называли его «индийский Набоб».

Набоб был холост и, как большая часть людей, вышедших из ничтожества, без рода и племени. Никто не знал его семьи; никто на его званых обедах и вечерах, которые он изредка давал своему кругу, не слышал от него о его отце и матери, а на шуточные замечания близких: «Вам пора бы в такой роскоши, в таких палатах — завестись хозяйкой» — он отвечал: «Вот еще подожду... не все кончено... дела на всех парах... и какие дела! Успокоюсь — тогда!» — «Не все кончено, — улыбались про себя приятели, — это ловится еще миллиончик! У богача желаниям нет конца, их конец — одна могила!»

Набоб, однако же, задумал увенчать созидаемое им сокровище земных благ. Он затеял себе устроить уединенный, для одного его доступный приют отдохновения от ежедневных, неустанных, сверхчеловеческих трудов на пользу начатой им исполинской наживы.

Это задуманное «тихое пристанище» была загородная, невдали от столицы, где жил Набоб, укромная дача. Решено — сделано. Среди дремучего леса, между гор и скал, в часе езды от шумного торгового города был куплен и расчищен небольшой участок земли, в версте от станции железной дороги. Путники, едущие из столицы на простор провинций, в глушь полей и деревень, не подозревали, что за гребнем елового бора, у одной из подгородних станций, скрывался очаровательный домик столичного Набоба. Здесь было все, чтобы успокоить и понежить усталый дух и тело делового хозяина, чтобы никто его здесь не потревожил и не развлек.

Домик, во вкусе английских охотничьих коттеджей, с резными украшениями и башенками, был выстроен на пригорке, над крошечным озером, в которое впадал вечно гремучий, светлый горный ключ. У подножия был небольшой, наполненный всякими древесными дивами, садик. И все это —

дом, озеро и сад — окружалось высокою, с железными иглами, чугунною решеткой, через которую никто не мог перелезть. Лучшие, старейшие и преданнейшие из городских слуг хозяина были здесь поставлены сторожами, один — в виде привратника, другой — в виде дворецкого, еще несколько — в виде ловчих. Приученные громадные, сытые псы берегли дачу у всех ее ворот и калиток. И все ворота, калитки и подъезды, сверх того, были с особыми, потайными замками и постоянно на запоре.

Красивый, молодцеватый Набоб, отделавшись от городских дел, подписав десятки деловых бумаг и телеграмм и отпустив бухгалтера, кассира, секретаря и кучу просителей, надевал пальто, фуражку, брал зонтик, дорожный мешок, садился в вагон, доезжал до станции, шел оттуда пешком, лесною тропинкой, к даче и входил наконец в свое заповедное пристанище.

Его встречали светлые, уютные комнаты, устланные коврами и уставленные мягкою, роскошною мебелью. Красивые шкапы были полны книг, собрания гравюр. На этажерках и столах лежали со всего света газеты и иллюстрированные издания. Окна были уставлены цветущими растениями. А из окон, залитых солнцем, был вид на озеро, сад и окрестные, то голубые в дальнем тумане, то зеленеющие лесами холмы и скалы. Нужно о чем-либо переговорить с городом — домик, при особых усилиях, был соединен телеграфною проволокой со станцией, и сам хозяин, некогда, в бедности, служивший телеграфистом, мог сноситься депешами с кем надо. Сверх того, из дачного кабинета в городскую квартиру был проведен телефон. Но ни по телеграфу, ни по телефону сюда не обращались. Хозяин раз навсегда отдал городским слугам приказ: не беспокоить его на даче, а всякое спешное дело оставлять до его возврата в город.

Наслаждение Набоба тишиною и прелестью его приюта, в особенности его укромного, никому, кроме него, не доступного сада, было истинное, полное. Он обходил дивные, издалека сюда перенесенные деревья и кусты, осматривал

их, приглядывался к каждой живописно очерченной ветке, к каждому роскошному цветку, обонял их и любовался ими без конца. В кустах и к вершинам дерев были подвязаны искусственные, приноровленные к птичьим породам гнезда. Крылатое царство с весны наполняло затишье сада, привольно здесь выводило детей и, с веселым щебетанием улетая в горы и вольные леса, разносило всюду крылатую славу гордому своим приютом хозяину.

Наступила новая весна. Снега растаяли, горные потоки сбежали в долину. Леса и сады оделись зеленью. Стало тепло, зацвели кусты и травы. Птицы слетелись, суетливо принялись таскать новый хлам и пух в старые, очищенные гнезда.

Был теплый, безоблачный майский вечер. Набоб подъехал с гремящим и свистящим поездом, прошел знакомою тропинкой к домику, сказал два-три ласковых слова дачной прислуге, с осени его не видавшей, бросил на стол дорожный мешок, спросил, все ли благополучно, и ушел в сад, заперев за собою балконную дверь. Он не узнал сада: так все здесь, казалось, с новой весной окрепло, разрослось и еще более похорошело.

Но особенно он стремился взглянуть на один род дорогих и редких лилий, выписанных им откуда-то из-за моря, из Японии или Австралии. Таких лилий в царстве, где жил Набоб, еще никогда не видели и о них не слыхали. Лилии были небесного, голубого цвета, с розовыми каймами, точно разрисованные красками зари, и далеко от них лилось тонкое, чарующее благоухание. Лилии, посаженные у озера, как раз в этот вечер, по расчету хозяина, должны были расцвести.

Набоб прошел несколько тропинок, усыпанных то серым, то оранжевым, то почти красным песком, присел на скамью, отер лицо, хотел вынуть и закурить сигару — и остановился. «Нет, — подумал он, — тот запах лучше; не оскверню его табачным дымом!» И он, потянув носом воздух, стал приглядываться, где его лилии? Рабочие, даже садовник из сада, по его приказанию, были усланы заранее. Солнце скрылось за горой; в вечерней полумгле вырезывался из-за леса полный месяц. Птицы смолкли. Пахло смолистыми почками то-

полей и распускавшейся сирени. Звенел где-то в траве сверчок, но и тот вскоре затих.

«Какая тишина! Какая полная, чудная отрада! — мыслил Набоб. — И я один всему этому владелец, один этим наслаждаюсь... И никто, ничья тень не мешает мне созерцать эти красоты, упиваться этим воздухом, этими ароматами. Я никому не сделал зла; все мои подчиненные, пособники, товарищи и слуги любят меня, а многие из них мною только и живут, молят, чтобы продлилась моя жизнь. Не боюсь я ни предательства, ни измены; я всем нужен, все за меня стоят и меня не променяют ни на кого. А дела-то какие, какие подвиги я совершаю!.. И что мне еще нужно?» Он с минуту подумал, перебирая мысли. «Ничего мне более не надо... я всего достиг, все осуществил... миллионы на миллионы... Да! Вспомнил! — улыбнулся он. — Не видел еще, не обонял моих лилий...»

И вдруг Набоб вздрогнул и замер. Ему померещился как бы шорох по тропинке чьих-то шагов. Как? В его саду, в его приюте, за этой высокою решеткой с острыми иглами — посторонние шаги? Ключ от потайного замка в железной калитке у дворецкого. Кто же перелез через эти иглы, кто мог отомкнуть потайной замок? Набоб стал прислушиваться, приглядываться. Сумерки еще более сгустились, из леса стал более виден месяц. Его бледные лучи освещали верхушки ближней части дерев. Шаги стихли. Внизу, у озера, послышался робкий голос. Да, говорят, точно... шепчутся двое. Затаив дыхание, Набоб тихо, на цыпочках, пробрался ближе к деревьям, присел на другую скамью и стал слушать.

— Ах, дорогая, пусти меня! — шептал детский голос. — Пусти, дай только взглянуть.

— Нельзя, — отвечал другой, как бы более возмужалый голос.

— Да почему же, почему? Что за диво такое цветок?

— Нельзя, повторяю тебе, не таков человек здешний хозяин.

— Да какой же он?

— Это страшный богач и еще более страшный себялюбец! Все для себя и даже то, что для других, также исключительно для себя. Он накопил и копит сокровища и уделяет только тем, кто ему служит и кто помогает ему богатеть, копить еще более богатства.

«Ложь! — хотел крикнуть и удержался Набоб. — Ложь! — мыслил он, дрожа от негодования. — А моя служба и мои жертвы в богадельне для старых людей, а мои пожертвования на приюты, подачки бедным всякого звания?»

— Он жертвует на старых и хилых, — продолжал голос, — из честолюбия, из-за отличий, которыми его награждают; он помогает бедным и сирым из жалкого тщеславия, из-за отчетов, печатаемых во всеобщее сведение. Его грудь увешана крестами, а он не устыдился в переполненной богадельне, при виде кроткой, девяностолетней старушки, вязавшей правнуку чулок в своей келейке, подумать и даже сказать: «Вот живет же, старушонка, не умирает, мешает только другим занять место!» Он-то, которому выстроить сто новых богаделен нипочем!

Негодование Набоба при этих словах вышло из границ. Он хотел броситься к смелому болтуну. «Как? Слуги не досмотрели, впустили наглого клеветника! Или дерзкие воры, может быть, грабители, убийцы, подобрали ключ? Надо пустить собак... дать знать по телефону, телеграфировать полиции...» Опять раздались тихие, точно золотые, голоса.

— Но цветок, цветок? — лепетал детский голос. — Не сорвать, позволь хоть дотронуться, понюхать...

— Боже тебя упаси его коснуться! — ответил другой голос. — Не только сорвать, дотронуться... черствый и злой, да, злой себялюбец, если это узнает, если проведает, что здесь у него, в его сокровенном владении, была чья-либо посторонняя нога, он прогонит дворецкого, привратника и ловчих. Сам исполнительный, неутомимый с детства работник, он все это сделает, будто бы из чувства справедливости; те будут плакать, и он, черствый, заплачет! Сердце у него, как и эта ограда, железное...

— Ах, Серафима! Милая! Но меня манят эти цветы, и он за меня, маленькую, не сделает зла слугам.

— Это сильный и бессердечный человек, и ты, крошка, херувимчик, поймешь его черствость, если я тебе скажу, что он знает, как сотнями, тысячами мрут в бедности, в сырых подвалах, голодные дети городских нищих и фабричных, знает и копит свои миллионы. В приюте, где он почетным членом, все переполнено... сотни голодных матерей там, в приемной и у крыльца, стоят, с прижатыми к груди безграмотными прошениями, жалобно глядят на попечителей — а те важно, молча проходят...

— Дети, Серафима, ты говоришь, маленькие, умирающие дети? И он не жалеет умирающих?

— Да, но есть, которые, как и та, с чулком, старушка, живут и не умирают. О! Я их видела в таком подвале; угол, едва повернуться. На тюфяке, на досках, за лоскутом ветхой простыни, спит после тяжкой работы мать, у груди — новорожденный, красивый, как и ты, натерпевшаяся крошка, и тоже девочка, неимоверно худая от голода, а в ногах... лет трех мальчик... Боже! Многих видела я, но такого никогда... Мальчик — калека, без ног, без рук, то есть вместо них какие-то плетки, как веточки, а голова, с водянкою в мозгу, большая, с кроткими, будто вечно плачущими глазами. Неизлечимо больное дитя осуждено постоянно сидеть в том углу, в той темноте; сидит, и все его движение, вся жизнь — качание с боку на бок его худенького тела и его большой, больной головы... И сколько таких! Другим детям — весна, цветы, воздух, солнце, этим — только душные, сырые подвалы; прочим детям святки, рождественские и крещенские вечера, этим — вечное страдание и вечная тьма... Этот каменный, красивый человек не женится из себялюбия и чтоб не иметь детей, которых не любит...

— Но если ему все сказать, если попросить этого богача, — прервал со слезами голос девочки, — он смягчится, поможет бедным калекам-детям! Его теперь нет дома... Пойдем к нему, когда он приедет.

— Поможет? — сурово и властно возразил голос старшей. — Нет, такой не смягчится! Он недавно, быть может, и в шутку, но подумал и сказал своему секретарю на докладе о подобных калеках: «Эх, милый мой, таким детям нужны не новые койки, их не вылечат: им лучшее лекарство — стрихнин или цианистый калий...»

— Что это?

— Сильный яд... Не расцвели его лилии и не расцветут: для них нужно иное солнце, иная теплота... Его сердце — могила, лед...

Набоб еще более вознегодовал при этих словах. «Что же это? Кто так шпионит, следит за мной? Это не воры, не грабители, хуже... это убийцы моей чести, славы»

И он подвинулся, тихо развел ветви и остолбенел. Месяц поднялся выше, светил ярко.

В его лучах, на тропинке у озера, обрисовались: лет шестнадцати стройная, невиданной красоты девушка, со светлыми, распущенными косами; а рядом с нею кудрявая, черноволосая, лет семи, девочка; и обе в белом и схожие друг на друга, как сестры.

Набоб миновал кусты, вышел на поляну; девушек у озера уже не было. Он бросился к калитке в конце сада: она была заперта. Он быстро обошел весь сад, заглядывал под деревья и кусты — сад был пуст. Были позваны дворецкий, огородник и привратник: все клялись, что никого не видели и в сад не впускали. Замки были заперты и цепные собаки спущены, но молчали. Набоб отослал слуг, упал на постель и долго не мог сомкнуть глаз. Месяц наискось светил в широкие окна его кабинета, на бронзы, ковры, зеркала, на портреты великих дельцов мира, коим он поклонялся, и на газеты, где его самого так хвалили и славили.

«Эти девушки, очевидно, здешние, свои... с ближней станции, — мыслил он, — дочери смотрителя или телеграфиста; там из зависти сплетничают на мой счет между собой и горожанами. Мало ли чего не плетут... Но такое знание не только дел, чуть не мыслей! О! Я выведаю, разузнаю,

найду и пристыжу болтунью... А какая она красавица! Что за голос, чисто ангельский, а сердце...» И успокоенное воображение стало рисовать Набобу его новый подвиг. Он мысленно бросил золотом, все разузнал и нашел девушку Серафиму. Это, подсказывали ему мысли, была старшая дочь бедного стрелочника, отставного гвардейского солдата, крестница и воспитанница знатной княгини, навещавшая отца в праздники; Набоб вспомнил, что в тот день был действительно праздник. Садовник, сослуживец стрелочника, рассказал девушкам о лилиях и, не ожидая в тот день хозяина, так как лилиям не приходила еще пора цвести, дал им ключ от железной калитки. Прочие слуги, очевидно, от страха, скрыли проступок товарища. Набоб их благодарит. Он навещает в новый праздник отца девушек, видит ее и решает дело невиданное и неслыханное: такой умной, красивой и доброй девушке он предлагает свое сердце и руку...

Набоб очнулся. Чудный сон улетел, а из глубины померкшей комнаты на него смотрит то кроткое личико чистенькой, богомольной старушки, вяжущей в девяносто лет внуку чулок, перед неугасимою, как ее тихая жизнь, бедною лампадкой, то худые плечи и большая голова безнадежно больного, двигавшегося с боку на бок, жалкого калеки. Еще длилась ночь. Все погружалось в сон и тишину. В кабинете Набоба раздался резкий, несколько раз повторенный звонок телефона. На него ответил звонок из городской квартиры. Был разбужен дежурный в конторе, затем поднят на ноги и позван к телефону секретарь.

— Сколько келий в нашей богадельне? — спросил Набоб по телефону.

— Пятьдесят.

— А сколько кандидаток?

— Не понимаю-с... чьих? По чьей рекомендации?

— Никаких рекомендаций... Сколько желающих, нуждающихся? Есть у вас список?

— Но теперь, извините, три часа ночи...

— Не отойду от телефона... справку сию секунду.

Молчание. Через три минуты ответ:

— Заявлено сверх устава сто двадцать прошений.

— Сто двадцать беспомощных старух?

— Так точно. Но не при всех бумагах — нужны свидетельства врачей.

— Вздор. Завтра к моему возврату приготовить смету и чек на открытие новых полутораста помещений с полным содержанием.

— Но это потребует нового здания и расхода чуть не в двести тысяч.

— Не ваше дело, хоть полмиллиона. Чтоб все бумаги были готовы.

Перед рассветом — опять звонок. Секретарь, писавший в конторе, снова у телефона.

— Сколько коек в детском приюте?

— В каком?

— Во всех, где служу.

— Сто семьдесят.

— На сколько прошений отказано?

— Извините, пятый час... но я сию минуту...

Прошло четверть часа. Набоб нетерпеливо, громко звонит.

— Трудно определить, — отвечает секретарь, — я считаю, считаю... нет числа.

— Готовьте новую бумагу. Позвать утром архитектора и подрядчиков и составить смету на пять новых приютов.

— На пять? По сколько коек?

— По сто, на пятьсот детей.

— Но это потребует... здания... несколько зданий... и постоянного, большого расхода...

— Не ваше дело... я подпишу, в виде аванса, чек на миллион.

Секретарь, в почтительном ужасе, молчит.

— Еще не все, — говорит Набоб, — позовите нотариуса, подготовьте дарственную. Я уступаю эту свою дачу, где теперь нахожусь, под пристанище для неизлечимо больных детей.

— Извините, — робко произносит секретарь, — вы тревожитесь, не спите, такое позднее время. Все ли у вас благополучно?.. И как ваше здоровье?

— Не беспокойтесь, милый, здесь у меня все благополучно. О, я совершенно здоров и буду назад с первым поездом.

Набоб, сделав эти распоряжения, прилег и крепко заснул. Спал он недолго, но сладко... Начиналась румяная заря, когда он очнулся, увидел, что не раздет, все припомнил и бросился на балкон.

Чудный утренний воздух был полон необычного, чарующего благоухания. Это благоухание волшебною, широкою волной лилось по всему саду. Набоб понял, что под новым солнцем, при новой, его собственной, сердечной теплоте, у озера расцвели его заморские лилии... Он спустился с пригорка и обмер.

У куста благоухавших лилий стояли две вечерние гостьи, старшая и младшая. Младшей удалось увидеть и понюхать так ее манивший чудный цветок. Набоб протянул руки от счастья и вскрикнул. Гостьи его не видели.

Над их плечами развернулись голубые, с розовыми каймами, крылья, и обе гостьи, эти божьи дети, как понял Набоб, зашумев в воздухе, стройно и властно поднялись над озером, садом, холмами и исчезли в синем небе.

IX

СЧАСТЛИВЫЙ МЕРТВЕЦ

Это было лет тридцать назад. В одной из наших южных губерний проживал весьма даровитый, ретивый и всеми любимый исправник. Тогда исправники служили по выборам из местных дворян-помещиков. Назовем его Подкованцев. Он был из бедных, мелкопоместных дворян, поместья не имел, а владел небольшим домом и огородом на краю уездного города,

где жил. Его жена — болезненная, кроткая женщина, расстроила вконец свое здоровье, ухаживая за кучею детей. Муж и жена мечтали об одном: купить с аукциона родовое небольшое имение, которое вот-вот должно было продаваться с публичных торгов за долг в казну родных исправника. Жена, после смерти бабки, получила небольшой капиталец; но его далеко не хватало на выкуп этого имения. Подкованцевы ожидали наступления срока торгов и придумывали, откуда бы взять недостающую сумму для покупки имения; оно было еще южнее, в лесистой местности, у низовьев Днепра. Исправник, как все это знали, взяток не брал. Откупщик, имевший к нему множество дел, решил подъехать, без ведома мужа, с предложением крупной благодарности его жене.

В том году в губернии, о которой идет речь, появилась смелая и ловко организованная шайка разбойников. В губернском правлении считали ее в количестве до восьмидесяти человек и не знали, что делать, чтобы ее переловить. Были сведения, что шайка делится на особые кучки; что ее члены в обычное время мирно проживают в разных местах губернии, в виде крестьян, шинкарей, мелких торговцев, псаломщиков, сгонщиков скота и нищих, и собираются в ватаги, когда задумывается и решается какое-либо особенно выгодное и ловкое предприятие. Главою всей шайки этих грабителей, конокрадов и разбойников больших и проселочных дорог считался некий Березовский. Кто он был? Никто этого не знал и в действительности его не видел. След шайки, по некоторым, особенно смелым, грабежам со взломом и всякими насилиями, показался в уезде, где служил Подкованцев.

Исправник думал-думал и, глядя на жену, незадолго перед тем как-то особенно повеселевшую, сказал ей: «Еду к губернатору, попрошу особых полномочий, выговорю себе вперед, на случай успеха, хорошее вознаграждение и изловлю Березовского; если казна расщедрится, да и купцы, не раз ограбленные, сложатся, то заполучим добрый куш... пожалуй, купим и имение». — «Да, не мешает, — ответила жена, — еще не хватает... на торгах могут наддать цену...»

Сказано — сделано. Подкованцев съездил к начальству. Его знали за искусного и умного деятеля; дали ему нужные полномочия и различные указания, и он стал работать. Были пойманы человек пять-шесть из шайки, потом еще двое. Один из пойманных выдал главную нить. Были указаны притоны, места сборов. Исправник обомлел от восторга. В ближайшую ночь — это было летом — он, верстах в двадцати, надеялся наконец живьем захватить самого Березовского... Дело шло о выдаче сообщником начальника шайки на любовном свидании у какой-то вдовы-казачки. Едва стемнело, исправник уложил в карманы по пистолету, наскоро простился с женою, сказав: «Ну, теперь жди с победой! Со щитом или на щите! Имение наше!» — и укатил.

Прошел час, другой; уездный городишко стих; предместье, где был двор исправника, погрузилось в сон. Подкованцева уложила детей, отпустила прислугу ужинать и, замирая от волнения, села с картами раскладывать пасьянс. Прислуга долго не возвращалась. «Как барина нет, вечно перепьются — засидятся в кухне!» — подумала она, прислушиваясь к запоздалым подводам, еще тянувшимся со скрипом из-под моста в город, мимо их ворот. Она даже подошла к окну и, приложив лицо к оконной раме, взглянула в темноту. Сторож был, очевидно, в исправности, ворота на запоре. Вдруг ей послышался стук в ворота. «Неужели подъехал уже муж? Как она не слышала колокольчика?» Опять легкий стук. Видно, сторож заснул. Подкованцева бросилась в девичью, хотела оттуда крикнуть на кухню, в зале послышались шаги. Исправничиха стремглав кинулась туда. Перед нею стояли два незнакомых мужчины. Извиняясь за поздний заезд, они представились хозяйке. Это были два смиренных помещика соседнего уезда. По их словам, они имели экстренное дело к исправнику. «Мужа нет, — сказала хозяйка». — «Мы знаем, — ответили гости, — но дело спешное; не позволите ли подождать?» — Исправничиха подумала: «Лучше пусть посторонние перебудут здесь, чем так тревожиться одной» — и пригласила приезжих садиться. Явилась между тем служанка. Она подала чай. «Нализалась! —

подумала, глядя на ее пошатывание, хозяйка. — Ну, после поговорим!» Вечер кончился в разговорах. Беседовали о местных и столичных новостях. Один из гостей уходил осведомляться о своем экипаже, о лошадях. Еще поговорили. Был уже второй час ночи. У Подкованцевой давно слипались глаза, и она украдкой позевывала. «Не хотите ли у нас переночевать?» — сказала она, поглядывая, куда опять запропастилась горничная. Гости встали, прощаясь. Из передней выглянуло третье лицо — слуга гостей. «Видите ли, сударыня, — сказал один из гостей, увидев своего слугу, — вы не беспокойтесь, не тревожьтесь, — продолжал он, подойдя к руке хозяйки, — благодарим за внимание, но оставаться у вас на ночлег мы не можем, переночуем в другом месте... а дело-то вот в чем... Я — *Березовский...*»

Можете себе представить изумление и испуг Подкованцевой? Барыня чуть не упала в обморок. Ее поддержали. «Успокойтесь, — сказал ей Березовский, — жизнь ваша и вашей семьи в безопасности; вы исполните только беспрекословно наше желание. Ваша дворня опоена сонными каплями; не кричите, не поднимайте шума... Вот вам свеча, держите ее и ведите нас в вашу спальню. Там, под кроватью, у вас шкатулка, а в шкатулке четырнадцать тысяч; десять из них — ваше наследство от бабки, а четыре... кажется, вам их дал откупщик Себыкин в надежде через вас уговорить вашего мужа погасить дело о насильственной смерти еврея-шинкаря. Вы могли бы смело взять эти деньги; еврея... по ошибке... придушил не Себыкин, а мы... за один донос. Пожалуйте, идем... да держите свечу; она падает у вас...» Подкованцева, чуть жива от ужаса, провела грабителей в спальню, где мирно почивали ее дети, и выдала заветную шкатулку. Березовский весьма вежливо поблагодарил, еще раз попросил не тревожиться попусту, беречь себя, и ночные гости, выехав со двора, умчались. Подкованцева, рыдая, упала перед киотом.

Грабители проскакали верст семь, своротили с большой дороги в овраг, проехали оврагом версты две и направились

к уединенной корчме, стоявшей на перекрестке двух проселков, у леса. Корчмарь-еврей впустил их в чистую жилую избу. Грабители зажгли свечу, заперли и стали считать и делить деньги. Вдруг на большой дороге раздался заливистый, знакомый им звон колокольчика... Березовский прислушался и мигом погасил огонь. Прошло несколько минут. Колокольчик стал затихать; путники по большой дороге, очевидно, проехали далее. Но едва грабители хотели вновь зажечь свечу и кончить дележ, у корчмы раздался стук колес и храп остановленных лошадей. Долго стучались приезжие. Шинкарь прикинулся спящим, наконец отпер ворота. В избу вошел высокий, молодцеватый Подкованцев. Подъехав с подвязанным колокольчиком, он вынул спички и зажег стоявшую на столе свечу. Гости также притворились спящими. На вопрос: «Кто это?», струсивший еврей ответил: «Проезжие помещики». — «Знаешь их?» — «Почем знать!» — «Буди их». — Еврей стал толкать гостей. Те встали. Начался спрос: кто вы, откуда, куда едете? Те вломились в амбицию, жалуясь на беспокойство и уверяя, что спали давно. «А зачем же вы вдруг погасили свечу, едва заслышали мой колокольчик? Я исправник!» — «Знаем, — сказали гости, — что же вам нужно?» — «Ваши паспорта, господа». Один из гостей вынул дворянское свидетельство. «Здесь прописано имя и фамилия помещика NN, — произнес исправник, — а я его лично знаю, вы самозванец, и потому, господа, шутки в сторону, прямо отвечайте, кто вы? Изба окружена сотскими; оставь нас, уйди!» — обратился Подкованцев к корчмарю. Тот вышел. Исправник сказал: «Отвечайте, кто из вас Березовский? Признавайтесь, вам спасения нет». Он вынул пистолеты и стал у дверей. Оба грабителя были щуплые, худощавые, невзрачные на вид. Подкованцев мог кулаком положить обоих на месте. Березовский взглянул на товарища, назвал себя и стал торговаться. Сошлись на четырех тысячах — сумма, которой именно недоставало исправнику до восемнадцати тысяч на выкуп родовой деревеньки. Получив и со вздохом пересчитав

деньги, он отпустил мнимых помещиков и, когда те уехали, сказал сотским: «Ну, ребята, можете расходиться, и здесь не удалось», — и направился домой.

Он радостно объявил жене: «Поздравь, сейчас накрыл Березовского, вот и деньги — теперь наше дело в шляпе». — «Как? — вскрикнула жена. — Так и шкатулку отбил?» — «Какую? Никакой шкатулки у них не было!» Та рассказала, в чем дело. Едва Подкованцев сознался ей, какую дурацкую штуку с ним сыграл ловкий разбойник, исправничиха вскрикнула не своим голосом и грохнулась на пол... Муж бросился приводить ее в чувство; она была недвижима. Позвали уездного врача — горького пьяницу; тот повозился над нею, давал ей нюхать спирт, тер ей руки и ноги, подносил свечу к глазам, зеркало к губам и, наконец, объявил, что она умерла, вероятно, от разрыва сердца, которым, по его мнению, она страдала.

Подкованцеву обмыли, одели, положили на стол, и растерянный, измученный муж подумал: «Ну, мертвой не оживить; надо думать о живых, о детях!» — велел запрягать лучшую свою тройку и снова бросился искать Березовского. Один из сотских, бывших у корчмы, догадался, что оттуда мог быть выпущен, пожалуй, по ошибке сам Березовский, решил его выследить и, загнав лошадь, возвратился к обеду и объявил, что след заподозренного им Березовского направился к местечку А**, лежавшему невдалеке, у Днепра. Туда и понесся рассвирепевший исправник.

Подкованцеву, между тем, вынесли в церковь на соседнее кладбище. Забулдыга псаломщик, дьяконский сын, изгнанный за пьянство и буйство из бурсы, был позван читать над покойницею псалтырь. Не стану томить вас подробностями... Подкованцева оказалась в летаргическом обмороке — все слышала, чувствовала, но не могла очнуться, не могла встать. Ночью в церкви, среди чтения псалтыря, ей померещился стук в церковное окно. Чтец остановился, поднял оконницу. «Что тебе?» — спросил он. «Пан пришлет, ранком, за казною; где ты ее зарыл?» — «Кому нужно?» —

спросил чтец. «Рыжего прислали: он и отроет». — «А я?» — «Велено тебе читать, а он будто за картошкой на огород... говори же скорее». — «Под вербою, в грядке луку зарыл», — ответил псаломщик. «Под какою?» — «У самой речки... Да ты скажи Рыжему, чтоб меня переменил; есть хочется и выпить бы». — «Ну, скажу; ты, однако, не уходи, коли не пришлют другого». Прошел час. Псаломщик, очевидно, не вынес голода и жажды, погасил свечу и, ворча сквозь зубы, ушел и замкнул за собою церковную дверь.

Подкованцева вылезла из гроба и, не помня себя от волнения, бросилась к городу. На дороге ее обогнал какой-то поселянин, на повозке, с мешками. Она его окликнула и доехала с ним к приятельнице, подруге по пансиону, жене аптекаря. Там она, через силу, рассказала второпях, в чем дело. Аптекарша позвала мужа. Подкованцева была едва жива и все твердила: «Скорее, скорее, берите заступ, молю вас, ройте!» Аптекарь, честный, сердобольный немец, дал ей успокоительных капель, уложил ее в постель и поспешил, по указанию, на огород дьякона, где, под указанной вербой, при помощи полицейских, и была найдена в целости шкатулка Подкованцевой.

Березовский, как после оказалось, выпущенный из корчмы, где с товарищем начал было делить деньги, решился, впредь до более спокойного часа, спрятать шкатулку в самом городе, через псаломщика, состоявшего в шайке грабителей в качестве укрывателя награбленных вещей, а Рыжий, через которого он с пути прислал новую отмену своего приказа, был городской лавочник, исполнявший при шайке обязанность рассыльного и вестового. Шкатулку аптекарь успел выкопать ранее, чем Рыжий и его пособники, ждавшие, пока стихнет возня во дворе дьякона, успели ее перенести в иное место.

В ту же ночь были арестованы: псаломщик — в кабаке, Рыжий — в квартире, при своей лавочке, а Березовский — на другой день, в местечке А**. Подкованцев убедился, что тарантас грабителей не въезжал в местечко, но что туда

въехал, на возу с арбузами и дынями, человек, похожий на Березовского, в крестьянской свите и поярковой шляпе, очевидно, успев уже где-то сбыть и свой тарантас, и лошадей, и одежду помещика. «Где тут хорошая шинкарка?» — лихо спросил исправник, тоже переодетый, первого встречного обывателя местечка. Тот указал ему дальний двор. Оставя лошадей у околицы и зная сибаритские обычаи грабителя, Подкованцев вошел молодцем в шинок, пошутил со смазливой, румяною бабой-шинкаркой, потребовал корчик перцовки, выпил его, бросил на прилавок серебряный талер, и, утирая усы, козырем посмотрел на хозяйку. «Ну, ночка была! — сказал он. — Заработали! А где сват?» Шинкарка налила еще корчик водки. «Где сват? Пока вернется, пеки яичницу, жарь гуся! — произнес гость. — Надо справить магарычи...» Шинкарка молча выглянула в окно на Днепр. «Знаю, купается, шельма — чистун!» — сказал гость и, бросив другой талер на прилавок, вышел на реку. Там он тотчас узнал в воде, среди пархатых местных купальщиков, серые, наигранные глаза и острую мордочку Березовского. Последний также в подошедшем рослом, запыленном мещанине узнал своего врага — исправника и, будто продолжая купаться, пока его преследователь раздевался, шибко поплыл на другой бок Днепра, в кусты... Но к берегу от околицы уже подъезжала тройка исправника с понятыми. Подкованцев поймал Березовского в воде за ногу, когда тот уже был готов ускользнуть в зеленые, безбрежные плавни за рекой.

К зиме Подкованцев купил задуманную деревню. Поймав Березовского, он все рассказал губернатору; деньги, поднесенные его жене, как потом уверяли, возвратил через начальство откупщику, а купцы, в благодарность за избавление от Березовского, сложились и предложили Подкованцеву, под вексель, недостающие для покупки деньги. Они по векселю, разумеется, не думали с него требовать долга. То были, говорят, иные времена и нравы; во всяком случае — фабула о бескорыстном полицейском чине в то время была возможна... Перед выходом в отставку, когда имение

куплено уже было и семья Подкованцева там проживала, он сам навестил Березовского в губернской тюрьме. Свидание происходило при смотрителе острога. «Скажи, братец, как это ты пронюхал, что я уехал тебя искать, — спросил Подкованцев разбойника, — а главное, как ты узнал, что у меня в шкатулке такая-то именно сумма?» — «Никто сам по себе ничего! — ответил со вздохом Березовский, оправляя на себе кандалы. — Все в пособниках!» — «Да кто же тебе помогал у меня-то? В моем-то исправницком доме?» — «Бабы, ваше благородие, все они; я перед тем две ночи ночевал у вас же, во дворе, одну в саду, а другую в такой это коморочке, около детской». — «И нож был с тобою?» — спросил исправник. «А уже как же это нам, мужчинам, без бритвы-то?» — усмехнулся недавний душегуб.

X

РАЗБОЙНИК ГАРКУША

(ИЗ УКРАИНСКИХ ЛЕГЕНД)

Слава Гаркуши, по малорусским преданиям, началась с 1777 г. Этот год остался надолго памятен малороссам. В продолжение 10 лет, начиная с этого года, Гаркуша был страшилищем Малороссии. Предание так рисует портрет его. Это был широкоплечий, мускулистый, среднего роста мужчина; лицо загорелое, грубое; глаза черные; волосы на голове и на усах такие же. Когда он был чем-нибудь рассержен, лицо его становилось багровым, глаза бросали молнии, все мускулы были в движении. Гаркуша, по преданиям, никого не умерщвлял, разве в крайности. Один из старожилов передает следующий рассказ о смерти Гаркуши, слышанный им от дряхлого бандуриста, лично знавшего Гаркушу. Однажды преследовали его где-то по Днепру. Видя невозможность спастись от преследователей сухим путем, он решается

почти на явную смерть: отрубает толстую веревку, которою была привязана так называемая душегубка, садится в нее и плывет. Другой лодки не было. Преследовавшие послали отыскать ее поблизости на реке. Между тем беглец счастливо переплывает большую половину Днепра. Уже он близко подле берега. Вдруг подул сильный ветер; Гаркуша покачнулся и — исчез в синих волнах днепровских. Старожил приводит следующие анекдоты об этом разбойнике. Заседатель ...ского земского суда ехал верхом в город из одной деревни, владетель которой праздновал тогда свои именины и потому звал к себе в гости всех знатных лиц околотка. Была ночь — и ночь темная. Тучи покрывали все небо. Этому страннику оставалось не более трех верст. Он своротил вправо с большой дороги и поехал по маленькой тропинке, ведущей через лес, желая этим сократить путь. Уж он благополучно пересек лес, уж он проезжал городские луга; в это самое время навстречу ему попадаются два человека, одетые в русское платье. Желая выказать себя им, а может быть, и просто по невольному побуждению, родившемуся в голове его от излишнего употребления крепких напитков, он, именем земской полиции, спросил их, кто они. Ему отвечали: «Хиба не бачите?» — «Покажите мне ваши виды, мне — заседателю нижнего земского суда сего уезда!» — закричал он. «Яких вам треба?» — «Да тех, которые вы имеете». — «Стривай, зараз!» Один из них свистнул, в минуту явилось человек десять гайдамаков. «Берите, лишень, его та ведите в ту балку», — сказал Гаркуша. Заседатель был приведен в назначенное место. Там совершена была над ним, без жалости, известного рода экзекуция. Потом Гаркуша давал ему различного рода наставления и, отходя от него, прибавил: «Та гляди мини, не смотри, куды ми пидем, а не то очей в тебе не стане!» Не мудрено, что ...ская земская полиция долго помнила этот случай. Предание говорит, что наставления Гаркуши переходили от одного заседателя к другому по наследству. Однажды Гаркуша, с двумя молодцами из своей ватаги, приехал в казенное селение, к одной вдове, и

приказал подать себе поужинать. Она ему говорила, что у нее ничего нет: «Заседатель був тут позавчора, та все, що було, описав, та позабирав за недоимку, а я вже ему в прошлую недилю заплатыла пивторы копы». — «Жалко, що я не могу его теперычка промуштроваты. Ачь, яки бисив сыну! Та вин вже не минеть моих рук!...» Старушка приготовила своим гостям ужин. Гаркуша, за радушный прием, оставил вдове, в приданое трем ее дочерям, может быть, и не последним красавицам в Малороссии, — трудно поверить — тысячу рублей. «Кажи, — прибавил Гаркуша, прощаясь со старухой, — кажи усякому, що си гроши дав тоби Гаркуша; а хто зосмилыцця у тебе их отняти, то тому я, не на живит, а на смерть, вси руки повывертаю». Гаркуша любил разъезжать по городам и селениям в генеральском мундире. В таком случае за ним всегда следовала большая свита. Однажды он приехал в таком виде в Конотоп, уездный город Черниговской губернии, и прямо на двор к городничему.

Известный библиограф и исследователь Малороссии А. М. Лазаревский на мой вопрос о Гаркуше в 1854 г. сообщил мне следующее.

Гаркуша большею частью действовал в пределах настоящей Черниговской губернии.

Фамилия городничего, о котором упоминается в статье «Украинского Альманаха», — Базилевич. Гаркуша, между прочим, велел одному из своих хлопцев дать несколько ударов нагайкою жене Базилевича за то, что она не соблюдала постов по средам и пятницам.

В одну погоню за шайкою Гаркуши, на Гнилище, около Конотопа, конотопцы догнали одного разбойника, но не решились живым взять, а убили его из ружья, и убил именно казак Зимивец из ружья, которое было заряжено серебряным гудзиком (пуговицею), которую нарочно для этого конотопский протопоп отрезал от ризы. Простые пули, по мнению народа, не брали разбойников Гаркушиных.

Будучи уже разбойником, Гаркуша женился, в Роменском уезде, на помещичьей девке, и здесь-то исправник едва не схватил его.

Пойман же Гаркуша в г. Ромнах «бублейницею» (женщиною, торгующею бубликами). Это происходило таким образом. Гаркуша покупал целую коробку бубликов; торговка, узнав его, схитрила: под предлогом, что у нее нет сдачи, она пригласила его войти к себе во двор; между тем оповестила народ и полицию, и Гаркуша был схвачен.

В допросе Гаркуша показал себя выходцем из Черноморья.

Все дело о его разбоях хранится в роменском уездном суде. Впрочем, часть этого дела, именно о нападении на дом Базилевича, находится в конотопском уездном суде.

Большею частью Гаркуша жил в м. Смелом, где его не задерживали, за что он щедрою рукою сыпал деньги.

Сохранилось предание, что Гаркуша строптивым помещикам шил красные сапоги, т. е. приказывал сдирать с ног кожу. Но вряд ли это справедливо: Гаркуша только в нужде употреблял насилие.

В харьковской губернии запорожцы часто пошаливали[1], грабили помещиков и противляющихся тиранили и даже умерщвляли; но все это проказили так называемые «гайдамаки, харцызы», являвшиеся в разных местах и потом скрывшиеся оттуда. Потом явилась сильная партия, в короткое время составившаяся и нахлынувшая откуда-то в Харьковскую губернию. Обращаясь в тамошних местах, она наводила ужас на всех помещиков. Случалось так, что разбойники наезжали к иному помещику, забирали все, что могли, и уезжали, не ударив даже никого. Под заграбленные вещи брали у помещика фуры и волов, а после нескольких дней, в одно утро, все фуры и волы оказывались близ помещичьего

---

[1] «*Современник*» 1841 г. XXV т., стр. 1—89, XXVI, стр. 1—86, статья Г Ф. Квитки-Основьяненко «*Предание о Гаркуше*».

двора, вместе с деньгами и запискою, в которой говорилось, что уплачивается за столько-то дней работы волами. В одном селении жили два помещика. К одному из них, о котором говорили очень дурно, нагрянули разбойники. Управившись там по своему желанию, возвращались мимо другого. Увидев его среди двора, с небольшим числом людей, приготовившегося к обороне, разбойники говорили ему: «Не бойся ничего. Ты добрый пан. Мы тебя не тронем; иди в дом и успокой свою панью и деточек». И в самом деле, ехали мимо, не сделав ему вреда, тогда как соседа его обирали дочиста и сверх того производили ему чувствительное наставление... Только с открытием наместничеств введен здесь порядок; но благодетельные меры правительства не всеми понимались, да и сами исполнители не по всем частям были еще готовы. А потому действия по некоторым предметам шли слабо, как это нередко случается при введении нового устройства. Притом же суеверный простой народ распускал ужасные нелепости об этой шайке. Надобно сказать, что Гаркуша именно и явился перед самым преобразованием черниговского наместничества. Собрав небольшую шайку, он ходил с нею открыто, проповедывал какие-то странные идеи. Его очень скоро схватили и упрятали в Сибирь. Позднее действовавшая здесь шайка распускала слухи, будто бы этот самый Гаркуша вырвался из Сибири и атаманствовал над ними. В самом деле, они при действиях своих всегда кричали: «Батько Гаркуша так приказал». Власти собирали толпы мужиков, вооружали их и намеревались выступать против разбойников. Тут шайка совершенно исчезала, а проявлялась очень скоро в другом уезде, подалее от прежних действий. Надобно, однако, заметить, не слышно, чтобы эти разбойники кого убивали, тиранили или поджигали где; они только грабили, а у иного и оставляли даже кое-что для прожития. Случалось, что иная шайка как-то необыкновенно долго гостила в ином уезде; о местопребывании ее, при всех усиленных стараниях, не получалось сведений. Казалось, ее нет нигде, а является везде. Может быть, и выдумывали, но только уверяли, что

атаман их, называющийся Гаркушей, являлся в разных видах. Вечером, при холодной, ненастной погоде, случайно, к кому-либо из помещиков въедет бывало военный чиновник, купец с товарами или важный гражданский чиновник и просит укрыть его на ночь в предостережение от разбойников. Ему дают убежище, а ночью, когда в доме все беспечно спали, странник впускал товарищей и в благодарность за гостеприимство грабил добродушных хозяев. Рассказывают, что по какому-то случаю был схвачен один из разбойнической шайки. Говорят, что будто сам Гаркуша поддался с умыслом, чтобы высмотреть действия городничихи. Какое бы ему, казалось, до того дело? Как ни идет управление, ему нет ни пользы, ни вреда, но так говорят. Верно только то, что городничиха приказала схваченного разбойника содержать под строгим присмотром. Не представляя его к суду, морила голодом, выспрашивала ни о чем более, как только о месте, где хранятся награбленные им сокровища. Уже она располагала приступить к пытке, как арестант ушел. «Мы его берегли до сего часу крепко, — говорили потом сторожа, — не давали ему и есть; а ему кто-то со стороны приносил всего. Мы никак не додумались, кто ему это приносил? А не раз заставали, что он доедает поросятину, да еще и горилку пьет. Мы станем его бранить и приказывать, чтобы он ничего не ел, а он в ответ песни поет. Вот так и было до сего часа. Как приказали нам вести его, мы и хотели связать ему руки, а он и говорит: “На что вы свяжете меня?” А мы говорим: “Чтобы ты часом не ушел”. А он говорит: “Я и так не уйду”. А мы спрашиваем: “іо?” (неужто?) А он говорит: “Ей Богу”. А мы говорим: “А ну, побожись больше”. Он и побожился, и таки крепко. Вот мы и повели его. Только что вышли на улицу, смотрим — он не то думает: поворотил в другую сторону. Мы ему говорим: “Иди за нами”. А он поет, рукою махнул и идет своею дорогою. Мы ему кричим: “Брехун! Сбрехал; побожился, а сам уходишь”. А он все-таки идет и не оглядывается. Глядим, уже далеченько отошел; мы стоим и советуемся: что

нам делать? А вот этот Климко и говорит: "Побежим, да поймаем его". А мы говорим: "Побежим". Глядим, примечаем, а он все далее, все далее... Как же совсем скрылся, тут мы принялись ругать его».

Вскоре затем доставлено к городничему письмо от Гаркуши, коим он благодарит жену его за хлеб-соль и угощение, оказанное товарищу его, и что он вскоре посетит его сам, с семьею своею, и лично покажет свое расположение к ней. «Причем, — так писал он, и городничий имел дух показывать это письмо многим и Квитке также, — покажу, братику, и тебе любовь свою за твое мудрое управление городом».

Гаркуша, по словам Квитки-Основьяненка, никого не убивал и не губил. Он и не грабил «благонажитого». Одним словом, Гаркуша ни одному человеку безвинно не причинил даже испуга, не только зла. Вся цель Гаркуши была — исправить людей и истребить злоупотребления. По удостоверению Квитки, Гаркуша обучался в киевской академии и учился хорошо. Он в классе философии был из отличных; об этом можно удостовериться из академических списков. На диспутах он побеждал своих противников. И с такими сведениями, познаниями и понятиями, не верилось, чтобы он вдавался в разбойничество, душегубство и, еще более, подлый грабеж, для своей пользы. Современники Гаркуши говорили о нем, будто бы он, будучи одарен чистым, здравым рассудком, видя вещи, как они есть, сострадая к угнетаемым, не видя благородного употребления даров, случайно полученных людьми, сперва негодовал, скорбел и почувствовал в себе призвание пресечь зло, искоренить злоупотребления, дать способы добродетельному действовать по чувствам своим, а у сильного отнять возможность угнетать слабого. Он принялся действовать, но — по молодости и неопытности — без обдуманного плана. Его не поняли, схватили, судили и сослали было на житье в Сибирь. Если бы он мог быть там полезен, он бы остался; но видя, что ему там нечего делать, он нашел средство возвратиться сюда и начал действовать для пользы общей. Гаркуша любил повторять латинскую по-

словицу: homini, quem nescis, nequaquam male dicendum est (не знавши человека, не должно говорить о нем худо). Он был, по словам Квитки, «лет сорока с небольшим; лицо имел смуглое, загорелое, запекшееся на солнечном жару; волосы на голове подстриженные, по обыкновению тогдашних малороссиян, усы — широкие, густые, черные; глаза — быстро глядящие и проницательные». Одевался он в малороссийское платье, скромное, т. е. темного сукна и без блестящих выкладок; рукава верхней черкески не закидывал назад, но надевал на руки. Один только обыкновенный нож на цепочке за поясом, и никакого больше оружия, ни сабли при боку, ни пистолетов за поясом, по обычаю дорожных — ничего этого не было. По словам Квитки, история с приездом Гаркуши к городничему происходила таким образом. В передней послышался шум: «Приехали, приехали!» Колокольчики гремят у крыльца, ямщики кричат на усталых лошадей, слуги из дома выходят со свечами на крыльцо; за ними поспешает городничий, застегивается, торопится, прицепляет шпагу, служанка догоняет его с треугольною шляпою, он схватывает ее и, вытянувшись, стоит на крыльце, держа в руках рапорт. Карета венской работы, с чемоданами и ящиками, останавливается у крыльца. Восемь почтовых лошадей, измученные, все в мыле, шатаются от усталости. Человек весь запыленный, подобия в лице не видно, быстро вскакивает с козел, ловко отпирает дверцы у кареты и откидывает подножку. Из кареты выскакивает бывший уже офицер и становится принимать генерала. Другой слуга, также вершков десяти, как и первый, встает лениво с запяток (видно, спал всю дорогу), протирает глаза, весь в пыли, зевает и, с удивлением непроснувшегося, рассматривает всех и все, разбирая, куда они приехали. Судья вполголоса закричал городничему: «К подножке! Идите к подножке!.. Так должно встретить...» Из кареты показался генерал: на пышном плаще блестящая звезда; на голове, сверх колпака, шелковая стеганая шапочка; щека подвязана белым платком. Лицо чистое, белое, румяное; заметны морщины, как у человека лет за шестьдесят.

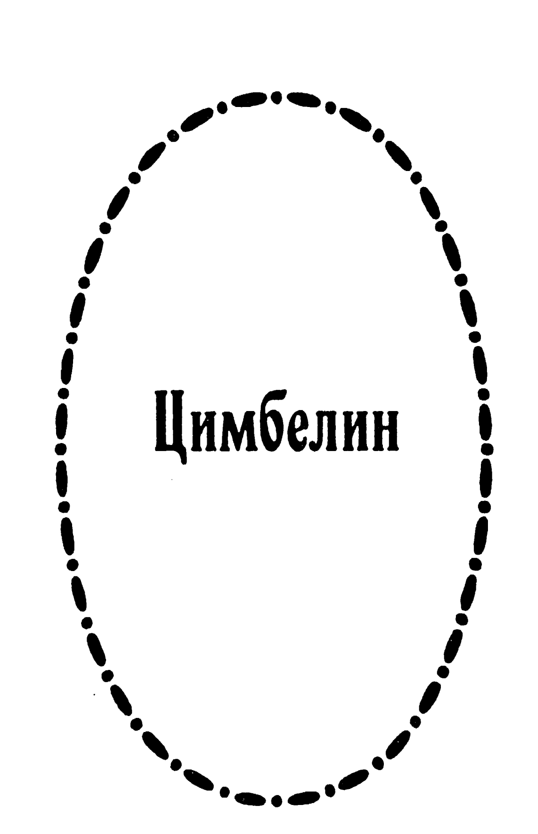
Из-под колпака висели развитые пукли седых волос. Он вылезал медленно, потому что одна нога была окутана и обвязана; он с трудом двигал ей.

Разговор не прерывался. Генерал в подробности рассказывал о военных действиях в недавно конченную войну с турками, чертил на столе планы сражений, штурмов; адъютант без запинки подсказывал имена храбрейших штаб- и обер-офицеров, коих генерал не мог же всех припомнить. Городничий слушал, городничиха слушала, и оба удивлялись, не понимая дела ни на волос. Разговор коснулся и до Гаркуши. Городничиха тут рассыпалась в рассказах. Что знала, слышала, все высказала генералу и заключила описанием мер, какие она предприняла, чтобы схватить проклятого харцыза. Подали ужин. Генерал кушал хорошо. Немного мешала ему больная, раненая щека, — но ничего. После ужина генерал просил хозяйку успокоиться, а сам расположился с хозяином покурить, «пока до чего дело дойдет». Так примолвил он, снимая платок, коим завязана была его щека. Городничиха вошла в спальню, кликала девок — никто нейдет. Она в девичью — нет ни одной. Она прошла в переднюю, чтобы послать за ними слугу, — ни одного человека нет в передней. Она вышла на крыльцо, звала девок, слуг — никто не отзывается. Рассердилась, воротилась, еще дожидала — нет никого! Что могла, сбросила с себя, села на кровать — никто нейдет... Она прилегла, вздремнула; потом, утомясь чрез весь день, заснула крепко. Генерал продолжал пересказывать разные приключения из жизни своей. Вдруг вступили в комнату четыре человека страшного вида, в казачьих платьях. «Управились со всеми, батьку!» — сказал один из них грубым голосом и малороссийским наречием, обращаясь к генералу. Кончив трубку, Гаркуша с прежним равнодушием встал и сказал: «Пойдем же к пани городничихе. Веди! Ты муж, дорогу должен знать. Хлопцы, хлопцы за мною». И затем прибавил мужу: «Войди один и объяви, что Гаркуша здесь». Городничий, дрожа, взошел в спальню жены и робким голосом насилу проговорил: «Душечка! Гаркуша здесь!..» Го-

родничиха как ни спала крепко, но это известие и во сне поразило ее. Она мигом вскочила и вскричала: «Здесь? Наконец поймали!» — «Нет, голубочка, черта два меня поймают. Я сам явился. Вот и хорошо, что ты одетая спала; нам меньше забот». Потом взяв ее за руку, сказал: «Сядь, голубочка, подле меня, — и посадил ее. — Пана городничего я задобрил, он не приревнует вас ко мне. Ну, поговорим же любенько. Узнала ли ты меня, пани городничиха?» Городничиха, дрожа всем телом, отвечала: «У... у... узнала...» Квитка кончает: «Одним словом, Гаркуша увидел, что зло сильно владычествует между людьми, что из блаженной жизни, данной в удел каждому, враги добра, не страшась преследования закона, превратили ее в мучительное истязание, услаждаясь стенаниями ближних, забыли мыслить о возмездии, — и вот Гаркуша, одушевленный на истребление зла, изшел на дело. Он не убивает, но, узнав о лихоимстве судей, корыстолюбии их, несправедливом управлении, является, выставляет перед ними пороки, злоупотребления, неправды их, стремится еще навести их на истинный путь убеждениями, увещаниями, угрозами — и грозит воздать некающимся по делам их. Говорят, Гаркуша — грабитель. Вот с какою целью отнимает он у иного достояние. Услышав о купце, собравшем, или, правильнее сказать, содравшем, из чего только мог, великое богатство и не обращающем его на общую пользу, или проведав о зловредном ростовщике, пользующемся слабостью ближнего и разорившем его непомерными процентами и лихвенными начетами, Гаркуша являлся у таких, отбирал неправедно ими нажитое и брал к себе, но не для себя. Объезжая сам и имея великое число во всем здешнем крае верных людей, узнавал бедные семейства, худо устроившие дела свои; небольших помещиков и других, впавших в несчастное положение, он снабжал из денег, отнятых у тех, которые не умели из них сделать общеполезного употребления, наставлял, как устроить дела свои — и, слыша от них благодарность, сам имел душевное наслаждение, видя из прежде бедных — цветущих состоянием. А сколько Гаркуша

истребил, переловил шаек гайдамак, настоящих харцызов, набежавших сюда из вольницы запорожской, разбойничавших во всем крае и разглашавших, что они из шайки Гаркуши! Нет, он, не любя и малейшей неправды, не терпел такого зла и отбирал у настоящих разбойников охоту набегать сюда на промыслы. Одним словом, Гаркуша искоренял зло, преследовал пороки людей. Гаркуша был совершенно окружен военною командою; непривыкших к битве, но все-таки нападавших на него почти шутя отбивал.

Часть разбойников была убита; прочие все взяты. Когда заковывали Гаркушу и Товпыгу особо, Гаркуша сказал: "Как ни жалка смерть моего Довбни, но завидую ему: он избежал посмеяния от злой городничихи, а мне эта участь предстоит!" — и, скрежеща зубами, тряс цепями в ярости. По снятии допросов Гаркуша был заключен в тюрьму, и караул приставлен уже не из обывателей, а из военной команды, поймавшей его. Когда объявили Гаркуше решительный о нем судебный приговор, он, поклонясь присутствующим, сказал: "Справедливо. При всем учении моем, я ложно понял вещи, а пред законом и в том уже преступник, что принялся действовать самовластно. Участь мою, еще прежде вас, истина нарекла устами юности"».



Цимбелин

Посвящается П. А. Плетневу

От переводчика

Цимбелин, — по выражению Газлитта, — *одна из самых приятных и интересных романических драм Шекспира.*

Эту драму всегда сравнивали, по стилю и стихам, с «Зимнею Сказкой», с которой она почти в одно время автором и написана. Стивенс полагает, что «Зимняя Сказка» явилась в свет в апреле 1601 года; Мэлон, Чалмерс и Дрэк относят появление «Цимбелина» к 1605 году; Гервинус полагает, что эта драма была написана около 1609 года. Во всяком случае, теперь уже совершенно доказано, что «Цимбелин» явился вслед за «Зимнею Сказкою» — между «Лиром» и «Макбетом». Шекспиру тогда уже совершилось сорок лет от роду.

Гервинус замечает, что в содержании «Цимбелина» заключаются собственно три отдельные, целые происшествия, или части. К первой части он относит войну из-за платежа дани между Британией и Римом; эту сторону своей драмы Шекспир заимствовал из хроники Голиншеда. Цимбелин, по словам Голиншеда, царствовал в Британии во времена Августа-Цезаря и имел, действительно, двух сыновей, Гвидерия и Арвирага. Ко второй части, ко второму происшествию драмы, Гервинус относит судьбу сыновей Цимбелина. Источ-

ников этого факта никто не знает; он, по всей вероятности, создан фантазиею великого поэта. У Шекспира выведено замечательное лицо Белларня, вельможи и полководца, впавшего невинным образом в опалу и изгнанного из Британии. Белларий похищает двух сыновей Цимбелина, воспитывает их в лесу и вместе с ними оказывает королю великие услуги во время его битвы с римлянами. К третьему и интереснейшему действию, или происшествию, драмы Гервинус относит роман Постума и королевской дочери Имоджены. Эта часть заимствована Шекспиром из небольшой *Новеллы Боккаччио* (11, 9) и из английского ей подражания, именно из поэмы «Westvard fon Smelts», которая, по Стивенсу, была издана в 1603 году. Шекспир в иных местах обработал свою драму по итальянскому образцу, в других же руководствовался английскою поэмою. В «Новелле» Боккаччио рассказывается, как один муж побился об заклад с каким-то авантюристом, что верность его жены непоколебима. Отверженный искатель приключений решается обмануть честного супруга, уверяет его в мнимом преступлении его жены, и тот, в припадке исступленного негодования, приказывает своему слуге убить преступницу. Слуга, разжалобленный просьбами госпожи, спасает ее от погибели и доносит мужу, что он исполнил его приказание. Жена скрывается, переодетая в мужское платье, и вступает в чужих краях в услужение к знатному вельможе; после долгих странствий она встречается (во всех трех пьесах — у Боккаччио, Шекспира и неизвестного переделывателя Боккачио — вследствие различных обстоятельств) с обманутым супругом, разуверяет его в своем преступлении и соединяется с ним для безмятежного счастия и любви. Этот романический эпизод, обработанный когда-то и во французской комедии, Шекспир припаял к своей драме тем, что честною, любящею и постигнутою злосчастными испытаниями судьбы супругою сделал дочь короля Британии, а ее обманутым мужем — приемыша и пажа ее доброго и мягкосердого отца.

«Цимбелин» — великое произведение новейшей драмы. Читатель найдет в нем бездну самых разнообразных наслаждений. Над изучением этой интересной и поэтической истории человеческого сердца, во всех его оттенках и положениях, можно провести многие годы; от Цимбелина, кажется, трудно оторваться на минуту, как мы не можем оторваться от поэтической, цветущей долины Юга, или от того сновидения, которое нас нежданно посещает уже на заре, совсем поутру, когда розовый, молодой день зовет к деятельности и бодрым трудам, а серебряные гармонические впечатления трепещут еще в горячем воображении и, словно фантастические, сказочные, певучие мошки, реют перед смыкающимся взором: теплее закутываемся мы под одеяло, теснее забиваем голову в горячие подушки и снова, сквозь сладкую дремоту, молим симпатические видения не покидать нас и чаровать до бесконечности...

Но не посчастливилось «Цимбелину» ни у европейских переводчиков, ни у критиков, а вследствие этого, не посчастливилось ему и у *нашей публики*. Редко кто из наших литературных дилетантов знает эту поэтическую драму. Западные критики, за исключением, впрочем, германцев, говорят о ней, большею частью, сбивчиво и двусмысленно. Мы полагаем, что нашим читателям интересно будет проследить эти мнения.

Мезон, автор книги «Treastise on Ornamental Cardening», первый начал достойным образом судить о Шекспире, но, за раннею кончиною, успел разобрать только характеры Ричарда III и Макбета. Вслед за ним явилось сочинение немца Шлегеля «Драматические чтения». Шлегель, между другими первостепенными пьесами Шекспира, разобрал и «Цимбелина». Он говорит: «Это одно из самых зрелых созданий великого поэта. По всей вероятности, "Цимбелин", широкая и привольная, романтическая легенда, занимала и тревожила автора еще в ранней молодости. Ни в одной пьесе Шекспира не господствует такого разнообразия разговора, светского тона, трагического выражения страсти,

роскоши образов, нежности любви, наивной естественности и тут же, рядом с изящным колоритом, таких простонародных выражений и мыслей. По нашему мнению, эта пьеса должна иметь огромный успех на сцене; она чарует нашу мысль и сердце потому, что в ней соединено все: и поэтическая легенда, и сказка, и трагедия, и комедия; вся драма насквозь пропитана благоуханным и свежим колоритом». Джонсон первый стал язвить великий гений Шекспира. Попе, до него, говорил: «Никто из писателей не заслуживает так названия “оригинальный”, как Шекспир: само искусство Гомера проходило через египетские водопроводы и озера, подвергалось влиянию “образцов”. О Шекспире же можно сказать, что он не столько подражатель природы, сколько орудие ее. Шекспир создает героев действительных, а не принадлежащих миру философии и метафизики». Но Джонсон с презрением глядел на эти слова Попе. Джонсон был в мире литературном так называемым падшим гением, вечным кандидатом на бессмертного, непризнанным властелином поэзии. Он писал грубою и бледною прозою и во всю жизнь не возбудил к себе симпатии читателей. В тяжелом рассуждении к изданию Шекспира он старается высокопарными фигурами и звонкими эпитетами помрачить достоинства поэта. Он хвалит в нем только грубое и осязаемое, только то, что, по выражению Газлитта, можно измерить двухфутовою линейкою или сосчитать на десяти пальцах. Вот что он говорит о «Цимбелине» — и это место, по обычаю английских книг, напечатано в парижских и лондонских компактных изданиях Шекспира перед текстом «Цимбелина»: «Эта драма сияет немногими верными мыслями, несколькими естественными разговорами и приятными сценами; но вся она исполнена страшных невероятностей. Всяк заметит, до чего ложно ее изобретение, до чего неестественны ее происшествия, странно смешение имен и совершенно различных исторических эпох и до чего она исполнена невозможных явлений жизни».

Вслед за Джонсоном появилось не менее сбивчивое рассуждение о «Цимбелине» Ульрици; но этот критик далеко не заходил и ограничился замечаниями, что эта пьеса просто «Комедия интриги», или, иначе, «Комедия судьбы» (Intriguen-Komödie und Schicksal-Komödie).

Более всех верные и глубокие суждения о «Цимбелине» представили Газлитт и Гервинус. На них мы и кончим наш обзор критиков «Цимбелина», потому что кропотливый Дрэк, автор знаменитого сочинения «Шекспир и его время», мало сказал о нем особенного и оригинального, рядом с этими великими литературными судьями.

В средине 1838 года в Лондоне вышло в свет третье издание книги «Характеры Шекспировских пьес» («Characters of Shakespeares plays»), сочинения Вильяма Газлитта (Hazlitt). В нем мы находим следующие мнения о «Цимбелине».

«"Цимбелин" может назваться *драматическим романом*, в котором все самые разительные части повести представлены в виде разговора и все обстоятельства объясняются говорящими, по мере как представляется к тому случай. Действие не вдруг сосредоточивается, а постепенно, но занимательность возрастает и становится как бы воздушнее, утонченнее от перспективы, введенной в пьесу вымышленными переменами сцены и продолжительностью занимаемого ей времени. Чтение этой пьесы походит на путешествие, которого цель неверна и в котором недоумение поддерживается и возвышается длинными промежутками, отделяющими одно действие от другого. Хотя происшествия рассеяны по обширному пространству и относятся к множеству характеров, но цепь, соединяющая различные интересы повести, нигде вполне не разрывается. Самые отдельные и, по-видимому, случайные обстоятельства придуманы таким образом, что приводят в конце к совершенному развитию главного приключения. Легкость и свобода, с какими это исполнено, удивительны. Ход завязки усиливается в последнем действии; повесть подвигается вперед с необыкновенною быстротой;

различные ее ветви приводятся к одному центру от самых отдаленных точек; главные характеры сводятся и размещаются в самых критических положениях, и судьба почти каждого лица драмы зависит от разрешения одного обстоятельства — от ответа Якимо на вопрос Имоджены о получении кольца от Постума».

«*Патетическое* в Цимбелине не носит характера поразительного, или, в обыкновенном смысле, трагического, но чрезвычайно *мило* и *приятно*. Какая-то нежная грусть сквозит во всей пьесе. Герой этой пьесы — Постум; но величайшая ее прелесть заключается в *характере Имоджены*... Отличительная черта *героинь Шекспира* та, что они живут только своею привязанностью к другим. Их можно назвать чистыми созданиями чувства. Мы так же мало думаем о красоте и особенности их лиц, физиономии, как и они сами, потому что мы проникаем в тайны их сердец, и это для нас гораздо интереснее. Мы принимаем такое живое участие в их делах, что не можем останавливать своих взоров на их наружности, разве только украдкою и изредка... Никогда и никто не уловил так хорошо, как Шекспир, истинного совершенства женского характера — чувства слабости, опирающегося на чувство любви; никогда и никто не описал так хорошо, как Шекспир, их природной нежности, чуждой всякой принужденности. Циббер замечает, что во время Шекспира женщинам не позволялось играть женские роли; вследствие этой необходимости надобно было оставлять в тени их наружность и развивать одну внутреннюю сторону их личности».

«Характер Клотена, — продолжает Газлитт, — высокомерного глупца и отверженного поклонника Имоджены, хотя не очень интересен сам по себе и теперь уж обветшалый, написан с *большим юмором* и знанием души... Замечательнее всего то, что Клотен, несмотря на свою жалкую роль в любви, важничает и петушится и, несмотря на всю пошлость своего вида и обращения, старается придавать какую-то *остроту* и франтовство своим замечаниям. Здесь мы находим

подтверждение той вековой истины, что изысканность так же часто происходит от недостатка истинных чувств, как и от недостатка ума! К Шекспиру можно применить слова древнего критика: "О, Менандр и Природа! Кто из вас списывал друг друга?"»

«Характеры Беллария, Гвидерия и Арвирага и сказочные сцены, окружающие их, составляют прекрасные рельефы к интригам и хитростям города, из которого они изгнаны. Описания горной их жизни исполнены дикости и простоты. Они занимаются охотою, а не разведением скота, и это чрезвычайно гармонирует с духом приключений и неизвестностью, господствующею в остальных частях повести, также со сценами, в которых они впоследствии должны действовать. Как искусно юношеская пылкость и нетерпеливое желание принцев выйти из неизвестности представлены в противоположности с холодною, расчетливою и благоразумною покорностью судьбе более опытного их советника! Как прекрасно друг против друга размещены наука и невежество, уединение и общество! Один Арденский лес в пьесе "Как вам угодно!" (What you will, or Twelfth Night) может сравниться с *горными сценами* в "Цимбелине". Но какая разница между созерцательным спокойствием одной картины и смелою решительностью другой! Шекспир не только открывает нам души своих действующих лиц, но даже отражает в тоне и красках описываемых сцен чувства их вымышленных обитателей!»

Гервинус несравненно глубже и строже проследил характеры «Цимбелина».

Прежде всего он сравнивает эту драму с «Лиром». Как действие «Лира», так и действие «Цимбелина» происходит в языческие времена древнего британского народонаселения. Разница только та, что мы вращаемся здесь не в темном веке, предшествовавшем христианской эре, а в светлом периоде первых годов царствования императора Августа, где

римская цивилизация уже сильно повеяла на Британию своим благотворным дыханием. Леонат (имя, заимствованное Шекспиром из одного рассказа Сиднея, послужившего ему источником эпизода о Глостере в «Лире») хвалит в Италии, перед римлянами, своих соотечественников и говорит, что теперь они уж превзошли старинных британцев, так ловко разбитых Цезарем. Как в «Лире» отец проклинал Корделию, в «Цимбелине» такой же престарелый отец проклинает Имоджену. В «Лире» преобладают страсти дикие, исступленные и необъятные; хитрость и лживость там играют, у дочерей Лира и у Эдмунда, второстепенные роли рядом с кровавым честолюбием героев драмы. В «Цимбелине» эти страсти слабее и бледнее: здесь все уж сглажено цивилизациею юго-востока Европы.

После нескольких отдельных замечаний Гервинус переходит к разбору каждого характера драмы.

Он рассказывает содержание «Цимбелина», большею частью, подлинными выражениями Шекспира. Начиная с эпизода о Белларии и о похищенных им сыновьях короля, он чрезвычайно красноречиво представляет воспитание старым и опытным вельможею юных наследников короны Британии, в пещере, под таинственными дебрями горного Валлиса. Царственные дети, вскормленные плодами своих рук, окрепшие на охоте за горными сернами и ежеминутно вдохновляемые рассказами седовласого воина о славных битвах, гордо подъемлют свои головы, со слезами на глазах молят Небо о деятельности общественной и, сами того не зная, спасают свой будущий престол в битве против римлян. Начертив этих ратоборцев доброго начала, начала светлого в сердце человеческом, Гервинус переходит к мрачной стороне драмы; здесь выступает на сцену испорченный мир того времени. Вторая жена Цимбелина и его пасынок изображены во всей их дикой и страшной живописности. Среди этих двух сторон, среди представителей добра и зла — являются два чрезвычайно идеальных и высоко поэтических образа: приемыш короля, Постум, и дочь короля, Имод-

жена. Снова, почти подлинными словами Шекспира, рассказывается судьба двух этих характеров. Гервинус в тайном браке Имоджены и Постума видит сходство с браком Ромео и Юлии, Отелло и Дездемоны, особенно первых двух, которые также росли вместе и с детства считались между собою женихом и невестою. Гервинус изумляется, до какого совершенства Шекспир выяснил в своем творении типический образ Имоджены. Она, по его мнению, одно «из любезнейших и художественных женских лиц», созданных великим поэтом. Ее явление распространяет теплоту, блеск и радость на всю драму. Естественнее и проще Порции и Изабеллы, она еще идеальнее их. Она — сумма всех качеств женственной природы человека. Ни в одном создании поэзии нет такого второго очаровательного образа. Рядом с Гамлетом она — самый развитый и самый оконченный характер изо всех характеров Шекспира. Автор исчерпал в ней все волшебные черты женщины, от убранства ее мирной спальни до пения, подобного пению гостя Эдема, и до поварской стряпни, вырезывающей кружки кореньев такими фигурками, что сам повар больной Юноны позавидовал бы этому искусству... По мнению Гервинуса, главная черта этой природы — духовная свежесть и здоровье. Богатая чувствами, Имоджена никогда не впадает в сентиментальность; богатая воображением, она никогда не предается пошлой мечтательности, так же точно, как ни одна мысль болезненной и грубой страсти не вспадает на ее трезвый ум... Рассказывая историю вероломного обмана Якимо, Гервинус замечает, что Постум, поверив мнимому преступлению Имоджены, разражается грозным дифирамбом против женщин и здесь очень сходствует с Отелло, даже до такой степени, что, например, и в «Отелло» главную роль играет платок, потерянный Дездемоною, и в «Цимбелине» — Пизанио посылает своему господину платок, омоченный в мнимой крови Имоджены, которую он должен был убить.

Разобрав эти характеры, Гервинус, по непременному обычаю германских ученых, говорит, что нужно, наконец,

отыскать «Stand und Gesichtspunkt» всей идеи «Цимбелина», и действительно находит этот «Stand und Gesichtspunkt». Он открывает, что главная исходная точка драмы заключается в противоположности двух начал: добра и зла, или, точнее — верной (true) и изменчивой, лживой (false) *природы человека*. Под конец пьесы, как и вообще во всех тогдашних рыцарских романах, верность и честность, испытанные множеством приключений, торжествуют и возвращаются под сень покоя и счастия. Верность, как одна из главных добродетелей, воспевалась в эпических народных поэмах и песнях любви, в «Одиссее» и «Гудруне», в «Илиаде» и «Нибелунгах». В героические и рыцарские времена ничто так не ставилось в похвалу и великие дарования, в славу и почести, как верность, которая одна умела спасать от погибели добрых друзей, покинутых слуг и беззащитных жен. Отсюда же происходят рассказы о клятвах дружбы древнегреческих юношей, саги о верных вассалах германских героических поэм и песни о честности Пенелопы и Гудруны. В «Лире» верность престарелого Кента веет дружбою Ахилла и Патрокла в «Илиаде». Но история Имоджены и Постума несколько новее, романичнее и скорее походит на легенды о верности рыцарской эпохи. Самое имя Фиделио, *верный*, которое принимает Имоджена, блуждая в лесах горного Валлиса в мужском платье, подтверждает главный вывод Гервинуса. Неопровержимое же доказательство несколько темно изложенной мысли немецкого ученого представляет характер Пизанио, слуги Постума, который, с начала до конца драмы, до такой степени честен и верен своему господину, что даже лжет и обманывает с единственною целью — остаться безукоризненно честным, и является самым отчаянным плутом в то время, как он, по всей справедливости, вернейший из людей.

Самого Цимбелина, давшего свое имя этой драме, Гервинус называет лицом, служащим для общей связи, для канвы происшествий, и говорит, что Шекспир сделал его слабым, бесхарактерным и бледным потому, что для общего

колорита своего яркого и блестящего создания нуждался еще в лице, составленном из чуть приметных линий далекой перспективы.

В низведении языческих богов на землю к спящему Постуму Гервинус видит желание Шекспира представить личность мифологического рока, Фатума, который выше людей, но иногда действует и в самой их среде и научает смертного почтению воли судьбы. Юпитер говорит: «Падение часто служит средством более счастливого возвышения»; «Судьба осторожно направляет к пристани корабль, руль которого разбит бурями» и, наконец: «Небеса подвергают горьким испытаниям тех, к кому они благоволят, для того, чтоб после несчастий их дары были еще вкуснее и слаще».

1850 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Цимбелин, король Британии, женатый на второй жене.
Клотен, сын королевы от первого брака.
Леонат Постум, джентльмен, муж Имоджены.
Белларий, изгнанный сановник, принявший в ссылке имя *Моргана*.
Гвидерий и Арвираг, сыновья Цимбелина, слывут под именами *Полидора* и *Кадвала*, сыновьями Беллария.
Филарио, друг Постума } итальянцы
Якимо, друг Постума }
Француз, дворянин, друг Филарио.
Кай Люций, командир римских войск.
Римский капитан.
Два британских капитана.
Пизанио, слуга Постума.
Корнелий, врач королевы.
Два дворянина.
Два тюремщика.
Королева, супруга Цимбелина.
Имоджена, дочь Цимбелина от первого брака.
Елена, фрейлина Имоджены.

Лорды, придворные люди, римские сенаторы, трибуны, привидения, гадатель, голландский дворянин, испанский дворянин, музыканты, офицеры, капитаны, солдаты, вестники и слуги.

Действие происходит частью в Британии, частью в Италии[1].

---

[1] Время действия приблизительно относится к шестому году после Р.Хр. В этот год от Римской Империи отпали народы Далмации и Паннонии, что составляет нынешнюю Венгрию, на правом берегу Дуная.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Британия. Сад перед дворцом Цимбелина.

Входят двое граждан.

Первый гражданин

Ты нынче здесь не встретишь человека,
Который не грустил бы; наши души
Не слушают созвездий; как придворный,
Они следят за взором короля[1].

Второй гражданин

Что так?

Первый гражданин

Наследница, дочь короля,
С которой тот хотел помолвить сына
Своей второй жены (он на вдове
Женат), сама себе избрала мужа

---

[1] Это место вызвало множество комментариев. Лучший из них принадлежит *Л. Тику*, который так объясняет мысль Шекспира: «Наша кровь более не покоряется влиянию атмосферы и планет, как это ей приписывали астрономы; она, подобно лицам придворных, обуславливается состоянием духа великого монарха». Это место напоминает следующее двустишие Расина, в пьесе «Британик»:

«Mais ceux qui de la cour ont un plus long usage
Sur les yeux de Cesar composent leur visage».

Достойного, но бедного; они
Вступили в брак; супруг за это в ссылке,
Жена под стражей; все у нас печально,
Хотя король, я думаю, один
Поистине грустит...

Второй гражданин

Один король?

Первый гражданин

Грустит и тот, который потерял
Жену, грустит, пожалуй, королева,
Которая желала этой свадьбы...
Но уж зато придворные, хотя бы
Они свой взор по взору короля
Все смастерили, в глубине души
В восторге от того, что их печалит.

Второй гражданин

Что за причина!?

Первый гражданин

Тот, кто потерял
Принцессу, существо гораздо хуже
Всего, что можно рассказать худого
О нем; но тот, кто муж ей и за это
В изгнании, — такое совершенство,
Что, если б в целом свете поискать
Подобного ему, мы не нашли бы
Такого, с кем бы он сравнился! В мире,
По-моему, нет больше человека,
Который бы, с подобною душой,
Владел еще наружной красотой!..

Второй гражданин

Уж это слишком!

Первый гражданин

Сэр, я в похвалах
Не перешел границ его достоинств:
Я сжал их, не раскрыл, как должно.

Второй гражданин

Откуда он и как его зовут?

Первый гражданин

Его происхождения не знаю...
Отец его, Сицилий, против римлян
Соединил свой лавр с Кассибеланом;
Но именем своим обязан он
Тенанцию, которому с успехом
И славою достойной он служил:
За это он и прозван Леонатом![1]
Два сына — речь у нас идет о третьем —
Его два сына храбро пали в смутах
Тогдашних войн, с мечом в руке; отец их,
Уже старик, мечтавший о потомстве,
Скончался от печали; вслед за ним
Его жена, беременная сыном,
Который нас так занял, умерла,
Едва родился он... Король ребенка
Взял под свою защиту, дал ему
Прозвание Постума — Леоната,
В пажи определил и воспитал его.
Открыл ему богатства всех познаний,
Которые тот мог принять по летам,

---

[1] *Тенанций* был отец Цимбелина и племянник Кассибелана; Кассибелан прогнал римлян при первом их вторжении в Британию, но, побежденный Ю. Цезарем, должен был платить ежегодную дань Риму. Шекспир следует в своей драме хронике Голиншеда, по которой Тенанций отказался, наконец, от этой дани и завещал своему сыну, Цимбелину, воевать за нее с императором Августом. *Прим. Мэлона.*

И мальчик их легко и беззаботно
Впивал, как мы в себя впиваем воздух;
Его весна уже дала плоды.
Он при дворе — в любви, а это редкость!
Для юношей он был пример, для зрелых —
То зеркало, в которое мы смотрим
Для оживленья нашей красоты...
Для стариков — ребенком, путеводцем
Для госпожи своей, из-за которой
Теперь он изгнан, — качества его
Нам говорят, как много почитала
Она его достоинства, а выбор
Ее показывает нам, какой
Он человек!

Второй гражданин

Рассказ ваш заставляет
Меня его отныне уважать.
Но я прошу вас объяснить мне, точно ль
Она единственная дочь монарха?

Первый гражданин

Единственная! — Были у него
Два сына (если это любопытно
Для вас, так слушайте): ребенок старший
Был трех годов, а младший был в пеленках,
Когда из детской бедных унесли —
И до сих пор никто следов малюток
Открыть не мог.

Второй гражданин

Давно ль случилось это?

Первый гражданин

Да лет уж двадцать...

Второй гражданин

Дети короля
Похищены! Такой дурной присмотр
И лень такая в поисках... Возможно ль!
Не отыскать и легкого следа!

Первый гражданин

Как это вам ни странно, впрочем, будет,
Вы над такой оплошностью не смейтесь:
Все это правда, сэр!

Второй гражданин

Я верю вам.

Первый гражданин

Но замолчим: сюда идет принцесса,
А с нею королева и Постум.

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Там же.

Входят Королева, Постум и Имоджена.

Королева

Нет, верьте, дочь моя, в моей душе
Вы не найдете злобных дум: я в этом
Не похожу на наших мачех! Вы
В моем плену, но ваш тюремщик сам
Отдаст вам ключ от ваших кандалов!
Едва же мне удастся гнев монарха
Смирить, я стану вашим адвокатом,
Постум... Теперь еще огонь досады
Бушует в нем; поэтому не худо

Вы сделаете, если покоритесь
Его веленью, с тем святым терпеньем,
Которое внушит вам мудрость ваша.

Постум

Как вашему величеству угодно...
Я нынче же уеду.

Королева

Вам известна
Опасность! Я вкруг сада обойду,
Сочувствуя всем мукам разделенных
Сердец, хотя король мне повелел
Не допускать вас к тайным разговорам!
(Удаляется.)

Имоджена

О, ловкое потворство! Как лукаво
Ласкает этот змей в тот самый миг,
Когда кусает!.. Милый мой супруг,
Я опасаюсь гнева короля,
Но, сохраняя все к нему почтенье,
Скажу, что гнев его передо мной
Бессилен!.. Уезжай скорей, а я
Останусь целью глаз сердитых...
Ничто мне жизни столько не согреет,
Как мысль о том, что в мире есть алмаз,
С которым я сольюся вновь!

Постум

Царица!
Любовь моя! Не плачь так много, если
Не хочешь, чтоб чувствительность моя
Переступила грань людской печали;
Я буду век вернейшим из мужей,
Какой когда-нибудь клялся в любви!

Остановлюсь я в Риме, у Филарьо:
Он дружен был с моим отцом покойным,
Я ж с ним знаком пока по переписке;
Пиши туда ко мне, моя царица —
Твои слова я стану пить глазами,
Хотя бы их чернила были желчью!..

Королева возвращается.

Королева

Спешите, умоляю вас: король
Придет сюда — и мне тогда, я знаю,
Достанется за вас!
(в сторону)
Его прогулку
Направлю я теперь сюда же! Он,
Поссорившись со мной, всегда охотно
Мое коварство покупает: щедро
Он платит мне за все мои обиды!
(Уходит.)

Постум

Когда бы мы прощались так же долго,
Как долго жить с тобой нам остается,
Разлука нам была бы тяжела:
Прощай!

Имоджена

Нет, погоди еще немного!
Когда б ты ехал для одной прогулки —
И тут прощанье это было б кратко!
Смотри сюда, мой милый: вот колечко
Покойной матери моей; возьми,
Носи его, мое родное сердце,
До той поры, пока, с моей кончиной,
Другой жены себе ты не возьмешь!

Постум

Как?.. Что?.. Другой!.. Властительные боги,
Молю вас, дайте мне лишь ту, с которой
Вступил я в брак, и пусть оковы смерти
Меня навек отделят от другой!
(надевает кольцо)
Останься здесь, пока во мне есть чувство!
Тебе ж, моя бесценная краса, —
Носи же это для меня, как цепи
Любви: я эти цепи налагаю
На милую невольницу!
(Надевает браслет на руку Имоджены.)

Имоджена

О, боги!
Когда-то мы увидимся опять?

Входят Цимбелин и лорды.

Постум

Беда!.. Король!!.

Цимбелин

Прочь с глаз моих, негодный!
И если мой приказ ты вновь нарушишь
И недостойной личностью своей
Вновь осквернишь мой двор, ты без пощады
Погибнешь. Прочь! твой вид мне яд смертельный!

Постум

Да сохранят вас боги и мольбы
Всех добрых вашего двора! Прощайте!
(Уходит.)

Имоджена

Подобной муки нет и в самой смерти!

Цимбелин

О! беззаконное созданье! Ты —
Которой долг напоминает мне юность —
Ты надо мной скопляешь бремя лет!

Имоджена

Сэр, умоляю вас, не убивайте
Себя досадою; ваш гнев нисколько
Меня не трогает: другие муки
Во мне и страх, и горе заглушают!

Цимбелин

Как!.. Все исчезло, кротость и покорство?

Имоджена

Мои мечты отчаянье убило,
Поэтому и кротость умерла!

Цимбелин

Ты вышла бы за сына королевы...

Имоджена

Блаженна я, что за него не вышла!
Отвергнув ястреба, я предпочла
Орла!

Цимбелин

Ты вышла замуж за пажа,
На трон отца ты бедность посадила!..

Имоджена

Нет! Я скорей его во блеске новом
Превознесла!..

Цимбелин

О, грешная душа!

Имоджена

В моей любви вы сами виноваты;
Вы с ним меня от детства воспитали:
А он таков, что всякая из женщин
Готова им гордиться!.. За любовь
Мою он мне пожертвовал немало!

Цимбелин

Что!?. Не с ума ли ты сошла?

Имоджена

Так точно!
Да вразумит меня Творец!.. О, если б
Отец мой был овчарником убогим,
А Леонат мой — сыном кузнеца!..

Королева возвращается.

Цимбелин

Негодница... Я вновь застал их вместе...
(Королеве)
Вы поступили против нашей воли:
Прочь с глаз ее и запереть покрепче!

Королева

Прошу вас, потерпите. Дочь моя
Родная, покоритесь. Государь,
Оставьте нас вдвоем и успокойтесь,
Насколько вас научит мудрость ваша.

Цимбелин

Нет, пусть она теряет каждый день
По капле крови! Пусть она погибнет
На старости от этого безумства!

Уходят. Входит Пизанио.

Королева

Фи, полноте! Вот ваш слуга, миледи.
Ну, сэр, что нового?

Пизанио

Милорд, ваш сын,
Дрался с моим несчастным господином.

Королева

А!.. Я надеюсь, нет большой беды?

Пизанио

Беда могла случиться; только, к счастью,
Мой господин играл, а не дрался,
И был далек от гнева: их разняли
Свидетели нежданной этой ссоры.

Королева

Я очень рада, сэр!..

Имоджена

Ваш сын — приятель
С моим отцом; отец мой за него
Стоит!.. На изгнанного меч поднять!
О, храбрый рыцарь! Я желала б их
Обоих встретить в Африке[1]: с иголкой
Я стала бы за ними и колола б
Того, кто б первый вздумал отступать!..
Зачем же ты покинул господина?

Пизанио

Он мне велел идти: он не хотел,
Чтоб я его до моря провожал.

---

[1] Здесь Шекспир намекает на африканских женщин: большие охотницы до поединков мужей, они часто служат секундантами.

Вот в этом расписанье он означил
Все то, чему я должен покоряться,
Когда нуждаться будете во мне.

Королева

Он

(указывая на Пизанио)

был у вас усерднейшим слугой
И, верно, так останется навеки!

Пизанио

Благодарю вас, светлая миледи.

Королева

(Имоджене)

Прошу вас, погуляем здесь немного!..

Имоджена

(Пизанио)

Я погодя с тобой поговорю:
Мне нужно, чтоб в последний раз ты видел
Милорда в гавани. Ступай покуда!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Площадь.

Входят Клотен и двое придворных.

Первый придворный

Сэр! Я вам посоветовал бы переменить рубашку; запальчивость движений сделала то, что вы дымитесь, словно какая жертва. Где воздух выдыхается, там он и вдыхается. Но воздух внешний не так здоров, как тот, который вы выдыхаете.

Клотен

Если б мою рубашку окатили кровью, то для того, чтоб ее скинуть... А что, я его ранил?

Второй придворный

(в сторону)

Нет, почтенный, и это решено точно так же, как ты не ранил и его терпения.

Первый придворный

Вы спрашиваете, влепили ли вы ему рану?! Да если он не ранен, клянусь вам, что его тело не что иное, как сквозной скелет: он столбовая дорога для шпаги, если вы его не искололи!

Второй придворный

(в сторону)

Его шпага, должно быть, по уши в долгах: она пробиралась околицами!

Клотен

Смельчак не мог против меня устоять!

Второй придворный

(в сторону)

Да, не мог: он дал тягу прямо на тебя!

Первый придворный

Устоять против вас! У вас и без того тьма-тьмущая земель; а он вздумал увеличивать вашу собственность и уступил вам еще малую толику землицы!

Второй придворный

(в сторону)

Именно! ровно столько вершков, сколько у вас за душою океанов, молокососы!

Клотен

О, если б нас не разнимали!

Второй придворный

(В сторону)

Мне также желательно было бы, чтоб ты, наконец, смерил, как велик глупец, когда его растянуть по земле.

Клотен

И она могла полюбить этого скомороха, могла отвергнуть меня!

Второй придворный

(В сторону)

Если грешно делать праведный выбор, то она виновата.

Первый придворный

Сэр! Я вам всегда говорил, что ее красота не вяжется с ее умом: она смазлива на вид, но в ее голове я не заметил большого блеска.

Второй придворный

(В сторону)

Ее ум никогда не светит на глупцов, чтоб не повредить им своею яркостью.

Клотен

Пойдем в мою комнату! А все-таки мне хотелось бы, чтоб это кончилось хоть крохотным несчастьицем!..

Второй придворный

(В сторону)

А я до этого вовсе не охотник... Разве уж растянулся бы осел... да это еще не несчастье!

Клотен

Хотите ли вы с нами идти?

Первый придворный

Я иду за вами, принц.

Клотен

Нет, идем вместе.

Второй придворный

Охотно, милорд.

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Комната во дворце Цимбелина.

Входят Имоджена и Пизанио.

Имоджена

О, если б ты стал в гавани утесом,
Опрашивая все в ней корабли!
И если он ко мне писал, а я
Его письма не получу — утрата
Сравнится лишь с потерей манифеста,
Который нам прощенье подает.
Что он сказал, прощаяся с тобою?

Пизанио

Он мне сказал: «Царица! Имоджена!»

Имоджена

Потом махнул платком?

Пизанио

Махнул, и тут же
Его поцеловал!..

Имоджена

Немая ткань!
Как я тебе завидую!.. И только?

Пизанио

Нет, леди: он на палубе стоял
До той поры, пока его мой глаз

И уши отличали от других,
И все махал перчатками и шляпой,
Как будто бурное волненье мыслей
Хотело выразить, что сердцем в гавань
Стремился он, хоть уносился вдаль.

Имоджена

Ты должен был за ним следить, покуда
Он с виду стал бы менее, чем голубь.

Пизанио

Я так и сделал!

Имоджена

Я же порвала бы
Все нервы глаз моих, следя за ним,
До той поры, пока б величиной
Сравнялся он с концом моей иголки,
И я следила бы за ним, пока
В эфире он исчез, как мошка... После ж
Я отвернулась бы и стала б плакать...
Ах, добрый мой Пизанио, когда-то
Услышим мы о нем?

Пизанио

Наверно
Он к нам напишет с первым кораблем.

Имоджена

Мы с ним простилися, а сколько сладких
Речей ему хотела я сказать?!
Я не успела выразить ему,
Как буду я о нем порою думать,
Как буду я о нем мечтать; он клятв
Мне не дал в том, что римские красотки
Не омрачат его любви и чести.

Я не успела взять с него обета
Молиться в те часы, как я молюсь, —
С восходом солнца, в полдень и в тиши
Полночной... Я хотела на прощанье
Ему вручить сладчайший поцелуй
Меж двух прелестных слов, как вдруг явился
Отец мой и, подобно урагану,
В зародыше цветочек наш убил!

Входит придворная дама.

Придворная дама

Миледи, королева просит вас.

Имоджена

(Пизанио)

Скорее же исполни то, о чем
Тебя просила я.

Пизанио

Исполню, леди.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Рим. Комната в доме Филарио.

Входят Филарио, Якимо, Француз, Голландец и Испанец.

Якимо

Поверьте мне, дон Филарио, я видел его в Британии. Тогда он был в большом почете, и все тревожно ожидали, что он наконец достигнет тех почестей, которые впоследствии ему оказали по сану. Однако ж, я на него тогда глядел без удивления и сделал бы это даже в то время, когда бы, рядом с ним, вздумали выставить каталог всех его доблестей и меня принудили поверять его, статья за статьею!

Филарио

Вы говорите об эпохе, в которую он не успел еще развить, как это сделал теперь, всех своих внутренних и внешних даров.

Француз

Я видел его во Франции[1]; у нас перебывало немало господчиков, которые, подобно ему, умели глядеть на солнце спокойным взором.

Якимо

Главная статья в том, что наш друг женился на дочери короля; его ценят не по достоинствам его природы, а по достоинствам его супруги. Отсюда, нет сомнения, происходят и все эти преувеличенные похвалы.

Француз

Потом его изгнание...

Якимо

Именно! Сюда же относятся и одобрения тех, которые жалеют о плачевной разлуке сердец и держат сторону его жены; они его чудовищно превозносят, а все для того, чтоб подкрепить ее решимость, которая без этого пала бы от самой ничтожной батареи, так как принцесса выбрала бедняка, не украшаемого ни одним высоким качеством. Однако послушайте: как это случилось, что он поселился у вас? Какими путями устроилось это знакомство?

Филарио

Его отец был мне товарищем по войне, и я не раз был одолжен ему не менее как жизнью.

Входит Постум.

---

[1] Здесь имя Франции употреблено вместо имени «Галлия».

Вот идет британец. Примите его, как следует благородным людям, с вашим воспитанием, принимать всякого почетного иностранца. Прошу вас всех покороче познакомиться с этим джентльменом. Представляю вам его как моего лучшего друга. Что же касается до его достоинств, то, вместо того, чтоб их высчитывать по пальцам в его присутствии, я предоставляю это высказать будущему!

Француз

Сэр, мы, кажется, были знакомы в Орлеане?

Постум

Да, и с той поры я у вас вечно в долгу за ваше внимание, и сколько ни плачу, все еще я ваш неоплатный должник.

Француз

Сэр, вы чересчур уж дорого цените мою слабую услугу. Я рад от души, что примирил вас с моим земляком: жаль было бы, если бы вы сошлись с теми жестокими намерениями, какие тогда были у вас обоих, и притом из-за такого пустого, ничтожного дела.

Постум

Простите, сэр! Я был тогда молодым странником; я избегал следовать тем мнениям, которые слышал, и не хотел в своих поступках ходить на помочах чужой опытности. Но и теперь, когда мой ум уже созрел, — если только не оскорбительно сказать, что он созрел, — мне кажется, что моя ссора была не совсем из-за пустой причины.

Француз

Все-таки, мне кажется, не стоило в этом деле прибегать к посредству шпаг, особенно людям, из которых, без всякого сомнения, один непременно уложил бы другого, а то, пожалуй, и оба пали бы на месте.

Якимо

Можем ли мы, не нарушая приличия, спросить о причине этой ссоры?

Француз

Почему же нет?.. Дело происходило публично и, вследствие этого, я думаю, может быть рассказано без всяких прикрас... Оно, если хотите, немножко похоже на наше состязание в прошедший вечер, когда каждый из нас щеголял похвалами красавицам своей земли; этот господин тогда утверждал — и слова свои готов был поддержать кровавою расплатой, — что его предмет страсти прелестнее, добродетельнее, умнее, степеннее и постояннее самой лучшей из женщин Франции.

Якимо

Без сомнения, этой дамы ныне уж нет в живых, или мнение этого джентльмена, касательно ее красоты, несколько попритихло.

Постум

Эта дама по-прежнему полна добродетелей, и я все так же думаю о ней.

Якимо

Но вы, конечно, не станете ее так превозносить над нашими итальянскими красавицами.

Постум

Если б меня вздумали подзадоривать так, как это делали во Франции, я и тут бы не убавил ее достоинств. Объявляю вам, что я вместе и обожатель ее, и верный защитник.

Якимо

Говорить: «столько же прекрасна» или «столько же добра (употребляю ближайшее сравнение), как наши итальянки», значило бы приписывать чересчур уж много прелести и до-

броты какой угодно британской леди!.. Если она превосходит только тех женщин, которых я знавал, так точно, как вот этот ваш алмаз превосходит своею яркостью алмазы, которые мне случалось видеть, то из этого выходит покамест только то, что она лучше «многих» женщин, потому что ни я, без сомнения, не видел драгоценнейшего из алмазов нашего мира, ни вы не видели достойнейшей из женщин...

Постум

Я ее хвалю настолько, насколько ценю ее; то же я делаю и в отношении этого камня.

Якимо

Как, однако, вы изволите ценить его?

Постум

Дороже всего, что составляет наслаждение нашего мира.

Якимо

Значит, или ваша несравненная дама отправилась на тот свет, или она стала дешевле этой безделушки.

Постум

Вы ошибаетесь: последнюю можно продать или подарить, если у кого довольно богатства, чтоб купить ее, или довольно заслуг, чтоб получить подобный подарок; первая же вовсе не предмет для продажи и может быть подарена одними богами...

Якимо

Которые вам ее и подарили?

Постум

Да, и которая, по милости их, останется навек моею!

Якимо

Вы имеете полное право считать ее вашею по имени; но, вы знаете, чужие птицы иногда садятся на пруды соседей... коль-

цо ваше могут также украсть; следовательно, выходит, что из двух бесценных сокровищ — одно слабо, а другое подлежит случайностям... Ловкий и искусный в этих делах куртизан не откажется попытаться приобрести от вас то и другое.

Постум

Во всей вашей Италии не найдется такого искусного куртизана, который бы мог восторжествовать над честью моей милой, если именно о потере или сохранении чести вы думали тогда, как назвали ее подверженною случайностям! Я нимало не сомневаюсь в том, что у вас здесь порядочное количество воров; несмотря на то, я не боюсь и за свой перстень.

Филарио

Остановимся на этом, господа.

Постум

Сэр, с большим удовольствием. Этот достойный синьор — я ему очень благодарен — не хочет видеть во мне иностранца; мы с ним сблизились с первого раза.

Якимо

После пяти подобных разговоров я проложил бы дорогу и к вашей прекрасной возлюбленной, заставил бы ее отступить и сдаться, если б я только имел к ней доступ или случай услужить ей.

Постум

Нет, нет.

Якимо

Я решился бы в таких обстоятельствах держать половину своего имущества против вашего перстня, и это, по моему мнению, было бы еще очень много. Но я держу свой заклад скорее против вашей слепой уверенности, чем против ее чести; и потому, чтоб удалить от вас всякое оскорбление, я готов произвести свой опыт над какой угодно женщиной в свете.

Постум

Ваша смелая самонадеянность обманывает вас, и я не сомневаюсь, что, при опыте своем, вы получите то, что вам следует по заслугам.

Якимо

Что же это?

Постум

Формальный отказ! Хотя, впрочем, ваш опыт, как вы его изволите именовать, стоит большего, именно — наказания.

Филарио

Довольно, господа: спор этот произошел очень быстро; пусть же он и умрет так, как родился! Прошу вас, ознакомьтесь покороче.

Якимо

Я готов отвечать всем моим имуществом и имуществом моего соседа, чтоб только доказать вам то, о чем я говорил.

Постум

Какую даму избрали бы вы для вашего испытания?

Якимо

Вашу, верность которой, по вашим словам, так неподкупна. Я держу десять тысяч дукатов против вашего кольца, с условием, что вы отрекомендуете меня при дворе, где ваша дама сердца, и не далее, как после счастья второго свидания, я привезу оттуда ее честь, которую вы считаете в такой безопасности.

Постум

Я буду держать золото против вашего золота; кольцо для меня дорого столько же, как и мой палец: оно — часть его!

Якимо

Вы любите, поэтому вы и благоразумны. Но хоть бы вы платили по миллиону за каждую драхму женского тела, то и тогда бы не спасли его от порчи... Впрочем, я вижу в вас частицу суеверия, которое заставляет вас бояться.

Постум

Это только привычка вашего языка... Надеюсь, что убеждения ваши несколько честнее!

Якимо

Я отвечаю за мои речи и готов, клянусь вам, подтвердить то, что сказал.

Постум

Вы решились бы?!.. В таком случае я оставляю свой алмаз до вашего возвращения: мы заключим между собою формальный договор. Добродетели моей милой превосходят беспредельность ваших гнусных мыслей. Я вызываю вас на это пари: вот вам мое кольцо!

Филарио

Я желал бы, чтоб это пари не существовало никогда!

Якимо

О! клянусь богами, оно совершено!.. Если я не привезу вам достаточных доказательств тому, что я был принят благосклонно вашей милой, мои десять тысяч дукатов принадлежат вам точно так же, как и мой алмаз. Если ж я возвращусь оттуда, оставив верность ее, как вы надеетесь, неприкосновенною, — она, ваш алмаз, этот алмаз и мое золото — все ваше! Вы только обязаны снабдить меня рекомендательными письмами, чтоб я свободно получил к ней доступ.

Постум

Я принимаю эти условия. Составим статьи нашего контракта. Только в их пределах вы и будете отвечать. Если вы

совершите свою атаку против нее и доставите мне верное доказательство, что победили ее любовь ко мне, я более вам не враг: она недостойна наших споров!.. Если ж окажется противное, то за ваше гнусное хвастовство и за ваше легкомыслие вы мне ответите со шпагою в руках.

Якимо

Вашу руку! идем! Мы скрепим свой договор законным порядком, и я немедленно полечу в Британию, чтоб это дело не застыло! Итак, пойдем за золотом и засвидетельствуем наш обоюдный договор.

Постум

Согласен!..

Постум и Якимо уходят.

Француз

И вы думаете, что это состоится?

Филарио

Синьор Якимо не отступит от этого! Прошу вас, пойдемте за ними.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Британия. Комната во дворце Цимбелина.

Входят Королева, придворные дамы и Корнелий.

Королева

Пока роса еще не улетела,
Вы наберите мне таких цветов...
Спешите: у кого из вас их список?

1-я придворная дама

Миледи, у меня.

Королева

Итак, скорей!

Дамы уходят.

Ну, доктор, принесли ль вы нужных зелий?

Корнелий

(Передает ей маленькую коробочку.)

Все тут, как вам хотелося, миледи,
Но, если вас я этим не обижу,
По совести, позвольте вас спросить,
Зачем вы составлять мне поручали
Отравы, от которых умирают
Тяжелою и медленною смертью?..

Королева

Я удивляюсь, доктор, как ты мог
Меня спросить об этом? Не твоя ли
Была я ученица столько лет?
Не ты ль меня учил приготовлять
Духи, перегонять, хранить лекарства?
Сам государь меня хвалил за это...
Что ж тут за диво, если я хочу,
Успев так много — вы ж меня, вдобавок,
Колдуньей все считаете, — в иных
Предметах разъяснить свои сомненья?
Я испытаю силу этих ядов
Не над людьми, над тварями, которых,
По-нашему, мы можем умерщвлять...
Но, чтоб поверить силе их, мне нужно
Еще узнать состав противоядий:
Тогда-то я вполне обогащусь
Их грозными и дивными дарами!

Корнелий

Миледи! эти опыты незримо
Ожесточают сердце человека:
Один уж вид их ядовит и гнусен!

Королева

О, доктор! в этом будьте вы спокойны!

Входит Пизанио.

(В сторону)
Вот он, наглец коварный! Первый опыт
Я совершу над ним: он жарко предан
Постуму, господину своему;
Он сына моего терпеть не может!..
(Громко)
Ну, что, Пизанио? Любезный доктор,
Ты мне пока не нужен! До свиданья!

Корнелий

(В сторону)
Я понял вас, миледи!.. Вы злодейства
Не совершите!..

Королева

(Пизанио)
Выслушай меня!

(Она говорит с ним шепотом.)

Корнелий

(В сторону)
Я не люблю ее... пускай она
Воображает, что ее составы —
Смертельный яд... Я разгадал ее
И не поверю никому, кто б с ней
Сравнился в зле таких опасных ядов!

То, чем она владеет, усыпляет
И одуряет на известный срок
Наш дух и чувства; первую попытку
Она произведет, как я уверен,
Над кошкою, за кошкой над собакой,
А там пойдет и выше! Только нет
Опасности в обманчивой кончине,
Которой поражают эти травы:
От них на время замирает дух,
Чтоб после вновь ожить и посвежеть.
Она обманется наружным видом,
А я останусь прав, хотя солгу...

Королева

Ступайте, доктор, я вас позову!

Корнелий

Иду.

(Уходит.)

Королева

Ты говоришь, она все плачет?
Со временем бедняжка перестанет,
И там, где ныне царствует безумство,
Окрепшее сознанье воцарится...
Трудись! Едва ты мне доставишь весть,
Что мой Клотен принцессу победил,
Я тут же объявлю, что ты бесспорно
Велик, как твой достойный господин,
И более, пожалуй, потому,
Что счастие его лежит без жизни
И угасает молодое имя.
Он отступить теперь уже не может,
Не может и вперед ступить ни шагу:
Переменять же для него места —
Одно и то же, что менять невзгоды,

День трудовой днем новым заменяя.
Нельзя надеяться на помощь вещи
Упавшей и которую поднять —
Нет у него услужливых друзей...

Королева роняет ящичек.
Пизанио поднимает его.

Ты поднял то, о чем ты и не мыслишь.
Дарю его тебе я за труды.
Я эту вещь сама приготовляла
И ею пять уж раз спасла от смерти
Супруга своего: нет в мире средства
Сильнее этого! Возьми его,
Прошу тебя... Пусть это будет знаком
Почтенья моего к тебе! Скажи —
Но только от себя — своей принцессе,
Как затруднительна ее судьба...
Размысли, как ты выиграешь этим!
Ты госпожи своей не потеряешь
И на придачу сына моего
Приобретешь! Тебя он не забудет.
Я ж короля склоню исполнить все,
Что ты ни пожелаешь, и сама
Тебе вдобавок заплачу достойно!
Иди ж, зови моих придворных дам
И обо всем, как следует, подумай!

Пизанио уходит.

Хитрец и неподкупный негодяй!
Не соблазнить тебя... Агент Постума
И сторож той, которая должна
Невинною к супругу возвратиться!
Едва ты примешь то, что я тебе
Дала, у госпожи твоей не станет
Ни одного защитника ее
Красот!.. Когда ж через тебя она

Не переменит мненья своего,
Она у нас то самое увидит!

Входят Пизанио и придворные дамы.

Да! да! Прекрасно сделано, прекрасно!
Подснежники, коронки белых буквиц
И маргаритки — все ко мне снесите!
Пизанио! Прощай и не забудь
Моих советов!

Пизанио

Не забуду, леди!

Королева и придворные дамы уходят

Как!?. Я обязан изменить Постуму?
Нет! Я скорей повешусь: и это
Одно, что я для вас способен сделать!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Там же. Другая комната.

Входит Имоджена.

Имоджена

Безжалостный и злой, коварный дух
Свирепой мачехи! Безмозглый рыцарь
Вдовы печальной, муж которой изгнан!..
О, этот муж! Венец моих страданий!
Как много я терплю из-за него!
О, если б я была, подобно братьям,
Похищена, счастливица!.. Как страшно
Мучительны томленья на престоле!
Блажен бедняк, исполненный лишь скромных

Надежд, которым любо при удачах! —
Кто б это был?!

Входят Пизанио и Якимо.

Пизанио

Миледи, джентльмен,
Из Рима! Он приехал к нам с письмом
От мужа вашего.

Якимо

(Вкрадчиво)
Что же так, миледи,
Вы побледнели вдруг?.. Ваш Леонат
Здоров и шлет вам нежные поклоны!
(Вручает ей письмо.)

Имоджена

Благодарю вас, добрый сэр: вы кстати
Приехали...

Якимо

(В сторону)
О! как она богата
Наружной красотой!.. Владей она
Такою же прелестною душою —
Она единственный арабский феникс[1],
И мой заклад проигран! Друг, смелей! —
Вооружи меня, огонь отваги,
От головы до ног, чтоб, как Парфянин,
Сразился я средь своего побега
И бросился б вперед!..

---

[1] Выражение «Arabian bird» — арабская птица, по объяснению германских комментаторов, значит: диво, чудо, феникс. Так это слово перевел и Л.Тик.

Имоджена

(Читает)

«Это человек высоких качеств. Дружбе его я бесконечно обязан. Прими его по достоинству, так, как ты предана *Леонату*».

Я до сих пор
Читаю громко! Сердце глубоко
Согрето остальным и принимает
Все это с благодарностью. Нет слов,
Чтоб выразить вам, добрый сэр, как много
Я рада вам, и постараюсь это
Всем доказать, чем только я могу!

Якимо

(Восторженно)

Благодарю вас, дивная принцесса!
Как?!.. Неужель так безрассудны люди?
Природа нас глазами наделила,
Чтоб созерцать лазурь небес, картины
Земель и вод, чтоб созерцать лучи
Блестящих звезд и пестрые каменья
Кремнистых берегов, и мы не можем,
При помощи подобного орудья,
От красоты уродства отличить?..

Имоджена

Что вас повергло в это изумленье?

Якимо

Глаза не виноваты!.. И мартышка
Из пары самок предпочла бы ту,
Которая смазливее другой;
Не виноват ничуть здесь и рассудок:
В таком решенье даже идиоты
Не ошибаются!.. Тем меньше страсть
Желаний здесь виною: гнусность, рядом

С высокою, достойной красотой,
До тошноты все извратит желанья
И к пище в нас влеченья не родит!

Имоджена

В чем дело, сэр?!.

Якимо

Приевшаяся жадность,
Бездонная, прожорливая бочка.
Чуть уплетет ягненка, уж опять
Ползет, готова есть...

Имоджена

Любезный сэр,
Что вас тревожит? Вы больны с дороги?

Якимо

Благодарю вас, леди, я здоров...
(к Пизанио)
Прошу вас, сэр, сыщите моего
Слугу: я на дворе его оставил;
Он очень прост и здесь всего боится...

Пизанио

Сэр, я за ним хотел уже идти.
(Уходит.)

Имоджена

Здоров ли мой супруг? Милорд, скажите!

Якимо

Здоров, миледи!

Имоджена

Веселится ль он?
Я думаю, что веселится...

Якимо

Да!
Он страшно весел!.. Ни один приезжий
Так не игрив и не беспечен в Риме:
Его у нас «Кутилою-Британцем»
Зовут...

Имоджена

(В волнении)

На родине он был всегда
Наклонен к грусти и порой не знал
Сам, почему он грустен...

Якимо

Я ж ни разу
Его не видел пасмурным!.. У нас
Один француз, достойнейший мосье,
С ним подружился: малый этот дома
Прелестную землячку полюбил,
И день, и ночь по ней вздыхает в Риме.
Кутила же Британец — то есть ваш
Супруг — над ним хохочет от души.
О, говорит он, как мне не смеяться,
Когда подумаю, что человек,
Наученный историей, преданьем
И опытом своей прошедшей жизни
В том, что такое женщина и чем
Не быть ей и нельзя, стремится жизнь
До времени убить в постыдном рабстве!

Имоджена

И это говорил мой муж?

Якимо

Так точно —
Ваш муж — и хохоча до слез! Забавней
Нет ничего, как он начнет порою

Смеяться над французом! Но, клянусь,
У нас еще не так смеются...

Имоджена

Верно,
Не он?

Якимо

Не он, но все-таки за милость
Небес он мог бы быть поблагодарней!
Как странно это в отношенье к вам,
Которую считаю обладаньем
Постума, но не по его заслугам,
К вам я питаю вместе с удивленьем
И жалости немало...

Имоджена

Что же вы
Жалеете, милорд?

Якимо

Я от души
Жалею двух существ.

Имоджена

И я одно
Из них, милорд? Вы на меня глядите?
Какое же, достойное участья,
Вы усмотрели горе у меня?

Якимо

Плачевное невежество!.. Бежать
От света солнца в смрадную темницу!

Имоджена

Прошу вас, сэр, яснее отвечайте
На мой вопрос! Что жалко вам во мне?

Якимо

То, что другие, думал я сказать,
У вас похитили... А впрочем, это
Относится к суду богов, и я
Обязан замолчать!

Имоджена

Вы, как заметно,
Узнали нечто именно такое,
Что до меня касается. Прошу вас —
Сомнение в несчастье часто хуже,
Чем самая уверенность в несчастье;
Затем, что или нет уже лекарства
Для раны, или, вовремя увидя
Ее, мы можем ей помочь — скажите,
Что вместе вас и шпорит, и уздечкой
Придерживает?

Якимо

Если бы я мог
Коснуться поцелуем этих щек,
Коснуться этих рук, прикосновенье,
Одно прикосновение к которым
Влечет все чувства к исступленным клятвам,
Когда б я мог смотреть весь век в глаза,
Которые пленяют дикий пламень
Моих очей — и тут же (будь я проклят!)
Коснулся б губ публичных, словно грязь
Ступеней лестницы капитолийской,
Пожал бы загрубелые от вечных
Измен, как от работы черной, руки,
И наконец, взглянул бы я в глаза
Нечистые и мутные, как копоть
Гнилого сала, я бы заслужил,
Чтоб все мученья ада на меня
Обрушились за это святотатство!..

Имоджена

Милорд! Я опасаюсь, он забыл
Британию...

Якимо

Он позабыл себя!..
Не по своей охоте, поневоле
Открыл я вам измену Леоната:
Да! ваши прелести виной тому,
Что мой язык испуганная совесть
Заставила все это разболтать.

Имоджена

Я не хочу, милорд, вас дольше слушать!

Якимо

Бесценное созданье!.. Ваше горе
Меня таким участьем наполняет,
Что сердцу больно! Леди, красота
Которой, породненная с венцом
Империи, могла б удвоить славу
Монарха — променять на грязных тварей
И покупать их ласки на дукаты
Из вашей же казны, моя миледи!..
Такие зачумленные созданья,
Что самый яд легко им отравить!..
Месть! месть ему! иль вас не королева
Произвела на свет, и вы отпали
От царственного корня!

Имоджена

Мне отмстить?
Но как же мне отмстить? Хотя бы это
И верно было, все же не удастся
Моим ушам над сердцем подсмеяться,
Как мне отмстить, хотя б все это было
И верно?..

Якимо

Вас он заставляет жить
На одиноком ложе, мирной жрицей
Дианы, сам же весело гарцует
Среди разнообразных наслаждений,
К досаде вашей и на ваши деньги!
Нет, месть ему! Я весь к услугам вашим!
Я более, чем этот ренегат,
Достоин сердца вашего и вечно
Поклонником безмолвным и покорным
Для вас клянуся быть!..

Имоджена

Сюда, скорей,
Пизанио!

Якимо

Позвольте мой обет
Запечатлеть на ваших алых губках!

Имоджена

Назад! Да будут прокляты те уши,
Которые словам твоим внимали!
Когда б ты был достойный человек,
Ты б эту сказку рассказал для блага,
А не для той постыдной, гнусной цели,
Которой ищешь ты! Ты человека
Чернишь, который столько же далек
От слов твоих, как ты далек от чести,
И соблазняешь женщину, с презрением
Отвергшую тебя, негодный демон!
Пизанио! сюда! Пускай узнает
Король, отец мой, о твоем бесстыдстве:
И если он одобрит иностранца,
Озорника, который при его

Дворе так нагло, так бесстыдно-дерзко
Ведет себя, — о доблестях двора
Он не заботится и дочь свою
Не ставит ни во что! Сюда, скорей,
Пизанио!

Якимо

(Задумчиво)
Счастливец Леонат!..
Вот что сказать теперь я должен... Честь
Твоей жены заслуживает веры
Твоей, как добродетели твои
Заслуживают веры Имоджены!
Благословенны будьте вы навеки...
Жена достойнейшего из людей,
Прославивших заслугами отчизну,
И госпожа, которой стоят только
Достойнейшие из людей! Простите
Меня!.. Я говорил все это с тем,
Чтоб испытать, как глубоко по правде
Пустила корни ваша верность! Ныне ж
Я опишу вам снова Леоната:
Как высоко он нравствен в самом деле!
Он, как волшебник, общество чарует,
И половина всех сердец ему
Покорна!..

Имоджена

Так я с вами примиряюсь!..

Якимо

В кругу людей он словно гость эфира.
Неуязвимой чести он исполнен,
Как ни один из смертных! Но, простите,
Высокая принцесса, если я
Осмелился вас ложью испытать!

Вы этим снова честно доказали
Тот ум, который вам избрал супруга,
Свободного от всех ошибок! Дружба
К нему меня на это побудила!
Но вы, по милости богов, совсем
Почти не женщина, вы неподкупны!
Простите, умоляю вас.

Имоджена

Милорд,
Все хорошо теперь. Располагайте
Моим влияньем при дворе.

Якимо

Миледи,
Благодарю; я вовсе и забыл
Вас небольшою просьбой потревожить:
Она важна уж тем, что ваш супруг
В ней не чужой... И я, и все мои
Достойные друзья в ней принимают
Участие.

Имоджена

Скажите, что же это?

Якимо

Двенадцать человек из наших римлян,
И в том числе ваш муж, в крыле у нас
Заветное перо — сложились вместе
Купить подарок нашему владыке[1].
Я, исполнитель этого, купил
Подарок наш во Франции: посуда
Довольно редкая и вся в каменьях

---

[1] Императору Августу-Цезарю.

Богатых и отделанных на диво...
Подарок дорогой, и я желал бы,
Как иностранец, понадежней место
Ему найти: не можете ли вы
Принять его под свой покров?

Имоджена

Охотно!
Ручаюсь честью вам за безопасность
Его... Когда мой муж в нем принимает
Участие подобное, я в спальню
К себе велю его перенести.

Якимо

Подарок этот в сундуке хранится,
Под стражею моих людей; я только
На эту ночь велю перенести
Его в покои ваши, так как завтра
Я должен в путь уж ехать.

Имоджена

Как, милорд?

Якимо

Простите, это так; иль я промедлю
Свой путь в ущерб обещанному слову.
Из Галлии морями я спешил
Нарочно, для того, чтоб вашу светлость,
Как обещал, увидеть.

Имоджена

От души
Благодарю вас за старанье это.
Но для чего вам рано так спешить?

Якимо

Так нужно, леди! Потому, когда
Угодно вам писать со мной к милорду,
Прошу вас в эту ж ночь все приготовить.
Я опоздал и так — а это важно
Для доставленья нашего подарка.

Имоджена

Я напишу! Пришлите ваш сундук.
Я сохраню его и вам, как должно,
Его доставлю. До свиданья, лорд!

Уходит.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Двор перед палатами Цимбелина.

Входят Клотен и двое придворных.

Клотен

Бывал ли когда-нибудь человек в таком скверном положении? В тот самый миг, как одним взмахом я уже касался цели, шар мой дал тягу! Я побился об заклад на сто фунтов, а тут еще подвернулся этот плюгавый орангутанг и придирается к моей бранчивости!.. Точно я у него брал напрокат загвоздки моих ругательств и не могу ими сорить в услаждение души моей!

Первый придворный

Что он выиграл в этом деле? Вы разбили ему череп вашим шаром!

Второй придворный

(В сторону)

Если б у него в запасе было столько же остроумия, как у того, кто прогвоздил ему череп, так это остроумие все выцедилось бы при такой удобной оказии!

Клотен

Когда джентльмен расположен ругнуть кого-нибудь, никто из присутствующих не смеет коротать его брани. А?..

Второй придворный

Не смеет, милорд!

(В сторону)

Точно так же, как и ты не смеешь пилить им ушей.

Клотен

Гнусная собака! Мне дать ему удовлетворение? Иное дело, если б он был одного со мною звания!

Второй придворный

(Про себя)

То есть такой же глупец, как ты сам.

Клотен

Черт с ним! Ничто в мире так меня не огорчает, как это. Язва его побери! Я желал бы лучше быть не из столь знатного рода. Я сын королевы, и они не смеют со мной драться!.. Всякая сволочь дерется, сколько ее душеньке угодно[1], а я обязан ходить взад и вперед, словно петух горемычный, которому не с кем спариться!..

Второй придворный

(В сторону)

Ты потому и петух, что распетушился.

Клотен

Что ты скажешь на это?

Второй придворный

Не след вашей светлости связываться со всеми, кого только вы обидели.

---

[1] «Every Jack» slave hath his belly full of figthting». Слово в слово значит: «всякий мазурик Яшка (по-нашему, Ванька) имеет брюхо, полное ударов, синяков».

Клотен

Знаю. Но разве я не могу оскорбить тех, кто ниже меня родом?

Второй придворный

Это можно вам одному.

Клотен

Я и сам того мнения.

Первый придворный

Слышали ли вы об иностранце, который ночью сегодня приехал ко двору?

Клотен

Из-за моря! И я этого не знаю?

Второй придворный

(В сторону)

Он сам заморское чучело, и не знает этого.

Первый придворный

Приезжий — итальянец и, как многие думают, один из друзей Леоната.

Клотен

Леоната? Этот должен быть одной с ним масти, кто бы он ни был! Кто вам говорил об этом иностранце?

Первый придворный

Один из пажей вашей светлости.

Клотен

Хорошо ли будет, если я отправлюсь поглядеть на него? не унижу ли я себя?

Первый придворный

Милорд! Вам не подобает унизиться.

Клотен

Да! я тоже думаю, что это не так-то легко сделать!

Второй придворный

(Про себя)

Ты такой глупец и так низок по уму, что уж тебя никакое твое дело не унизит.

Клотен

Пойдемте. Мне хочется взглянуть на этого итальянца... Авось, то, что я проиграл на шарах днем, ворочу с него к ночи! Вперед, идемте.

Второй придворный

Слушаю, ваша светлость.

Клотен и первый придворный уходят.

Второй придворный

(Один)

И родила ж подобного глупца
Коварная, как сам нечистый, мать!
Ум этой женщины, как буря, грозен,
А сын ее из двадцати на память
Не вычтет двух, так, чтоб в остатке было
Восьмнадцать! Милая моя принцесса!
Бедняжка Имоджена, как ты много
Страдаешь! Твой отец под башмаком
Лукавой мачехи; она, что день,
То новые злодейства замышляет...
Вздыхатель твой тебе ужасней ссылки
Супруга твоего, ужасней акта
Развода вашего! Да сохранит
Господь неколебимо стены чести
Твоей, да укрепит он этот храм,

Твой чудный ум, чтоб дождалась ты счастья,
Чтоб дождалась ты мужа и престола!..
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Спальня. В углу ее стоит сундук Якимо.

Имоджена читает в постели. При ней Елена придворная дама.

Имоджена

Кто здесь? Елена, это ты?

Елена

Я, леди.

Имоджена

Который час?

Елена

Уж скоро полночь, леди.

Имоджена

Поэтому, я три часа читала...
Глаза совсем устали... На, загни
Страницу там, где я остановилась, —
И отправляйся спать. Не уноси
Лампады: пусть она горит. Когда же
Часа в четыре ты проснуться можешь,
Прошу тебя, буди меня... Ко сну
Вот так и клонит...

Елена удаляется.

Боги! в ваши руки
Я отдаюсь!.. От искушений ночи
И от наветов демонских молю
Хранить меня!
(Засыпает.)

Якимо вылезает из сундука.

Якимо

Сверчок поет, и труженик усталый
Врачуется покоем...[1] Наш Тарквиний
Так точно мял упругие циновки,
Скользя впотьмах, пока кровавой раной
Не разбудил невинности. Как чудно
Украсила ты ложе, Цитерея![2]
Лилея свежая! Как ты белее
Своих одежд!.. О, если бы я мог
Тебя коснуться, раз поцеловать,
Один лишь раз!.. Бесценные рубины,
Как поцелуй ваш должен быть приятен!
Ее дыханье нежным ароматом
Наполнило всю комнату... Огонь
Свечи, и тот склоняется над нею,
Стараясь заглянуть под шелк ресниц,
Стараяся увидеть эти звезды,
Покрытые навесом этих ставень,
Лазурь и белизну в огне небесных
Лучей!.. А план мой!.. Комнату скорей
Означить: запишу все по порядку!
Такие и такие-то картины;
Вот тут окно; такая-то завеса
Над ложем; здесь обои и фигуры
Такие и такие-то: сюжет
Последних исторический!.. Когда б

---

[1] Этот знаменитый шекспировский монолог: «The crickets sing...» вызвал много комментариев. Мы воспользовались ими при передаче оригинала на русский язык, так сказать, вложили их в общий колорит текста, и потому не приводим их здесь.

[2] Cyterea (Cytera) — остров у берегов Лаконии; на этом острове из пены морских волн родилась Венера (Афродита). Поэтому Венеру и женщин, уподобляемых ей, иногда зовут именем *Цитеры и Цитереи.*

На ней самой мне отыскать примету:
Она скорей, чем десять тысяч прочих
Заметок, подтвердила б мой обман...
О, сон! ты, обезьяна, смерти крепче
Сомкни ее: пускай ее душа
В безмолвную гробницу превратится!
Сюда!

(Снимает с нее браслет.)

Тебя легко распутать так же,
Как узел Гордиев распутать трудно!..
Ты мой! и мне свидетель грозный будешь!
Подобно тайной совести, могучий,
Рассердишь ты супруга Имоджены.
На левой груди у нее пятно:
Пять крапинок, точь-в-точь, пять алых капель
В коронке белой буквицы! улика,
Которой лучше не найти законам!
Довольно! Для чего писать о том,
Что в память я вложил, запечатлев?
Она читала сказку о Терее:
Загнула лист в том самом месте, где
Сдается Филомела...[1] Но довольно!
Скорей в сундук, замкнем его пружину...
Быстрей, быстрей, полночные драконы![2]
Пусть ворону заря раскроет очи:
Я весь дрожу... Хотя небесный дух

---

[1] *Сказка о Терее и Филомеле.* Терей был царем Фракии. От жены Прогнии, дочери афинского царя Пандиона III, у него был сын Итис. Терей однажды соблазнился красотою Филомелы и поцеловал ее. Чтоб она не выдала его преступления, он отрезал ей язык и запер ее в башню. Филомела объявила знаками об этом Прогнии и вместе с нею накормила Терея мясом его сына, Итиса. Вследствие этого боги превратили Терея в коршуна; Филомела же и Прогния превратились в соловья и ласточку и день и ночь преследовали и клевали Терея.

[2] Ночь в древности представляли в виде женщины, сидящей в колеснице; колесницу мчали по небу драконы — символы чуткости.

Передо мной, мне здесь страшнее ада!

Бьют на башне часы.

Раз, два, три! Время! время!..
(Снова прячется в сундук.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Передняя возле комнаты Имоджены.

Входят Клотен и придворные.

Первый придворный

Ваша светлость при проигрыше терпеливее и хладнокровнее всякого, кто только хоть раз в жизни катал шары.

Клотен

Проигрыш хоть кого охолодит.

Первый придворный

Но не все люди терпеливы, по примеру благородного духа вашей светлости. Вы горячи и отважны только при выигрыше.

Клотен

Выигрыш хоть кого ободрит! Если б я выиграл эту глупенькую Имоджену, я не обобрался бы золота! Как будто уж утро? Не так ли?

Первый придворный

Уже день, милорд.

Клотен

О, если бы пришла эта музыка! Мне советовали забавлять ее по утрам музыкою... Говорят, что это — пробирательная вещица!

Входят музыканты.

Ну-с, настраивайте ваши инструменты. Если вам удастся пронять ее вашими звуками — хорошо! Тогда и мы пустим в ход наш язык! Если же это не поможет, пусть делает что хочет, я от нее не отступлюсь. Прежде всего превосходную, хорошо слаженную вещицу! Потом удивительно сладкую арию, с аккомпанементом чудно богатых слов... Затем оставим ее пораздумать!

Музыканты играют.

Песня

Чу! птичка ранняя поет,
И Феб в лучах летит.
В коронках роз, у алых вод,
Он лошадей поит.
Анютины глазки пред солнцем спешат
Открыть свои крошки глаза...
Луга в благовонных уборах блестят!
Вставай, моя роскошь-краса.
Скорее вставай![1]

Теперь идите: если это сделает эффект, я назову вашу музыку совершеннейшею в мире; если же нет, значит, в ее ушах есть повреждение, которого не излечить ни волосяным, ни кишечным струнам, ни голосам искуснейших кастратов[2].

Второй придворный

Король идет!

Клотен

Я очень кстати так долго засиделся здесь. Из этого выходит то, что я встал довольно рано... Он должен по-оте-

[1] «Mary buds». Слово в слово «Машенькины глазки», то же, что русские цветы *«Анютины глазки»*.

[2] Здесь намек на ту эпоху в музыкальном мире, когда дисканты кастратов заменяли дисканты и меццо-сопрано женщин.

чески принять мою любовную услугу. Доброго утра вашему величеству и моей достойнейшей матушке!

Цимбелин

Вы сторожите дверь суровой дочки
Моей? Она еще не выходила?

Клотен

Я осаждал ее музыкой; да она, кажется, не хочет жаловать меня своим вниманием.

Цимбелин

Свежо изгнанье милого ее!
Она его еще не позабыла...
Но час придет, черты воспоминаний
О нем сотрутся, и принцесса — ваша!

Королева

Одолжены вы много королю!
Он не проронит ничего, что б вас
Могло у дочери его возвысить.
Старайтесь же и вы ей угождать,
Дружитесь с каждой верною минутой!
Отказы пусть умножат в вас заботы,
Чтоб все, что вы ни предлагали ей,
Казалося сердечным вдохновеньем!
Во всем ей покоряйтесь, исключая
Приказа удалиться: тут вы будьте
Бездушны...

Клотен

Как?! Бездушен? Никогда!..

Входит Вестник.

Вестник

Послы из Рима, сэр, явились к вам,
Один из них Кай Люций!

Цимбелин

Человек
Достойный, несмотря на то, что нынче
С намереньем недобрым он пришел!
Но виноват не он! Его мы встретим
По доблестям пославшего его...
Мы в памяти своей возобновим
То, что для нас благого сделал он!
Мой милый сын! Поздравь же с добрым утром
Свою любезную и поспеши
К нам с королевой: ты нам будешь нужен
При римлянах! Пойдемте, королева. .

Уходят Цимбелин, королева, придворные и вестник.

Клотен

Я с ней поговорю, когда она
Проснулась; если ж нет, лежи и спи!
Эй! с позволенья вашего...
(Стучится в двери.)
Я знаю,
При ней всегда есть женская прислуга.
Что, если мы ей поласкаем ручки?
Дукаты купят доступ ко всему!
Да, с ними можно хоть собак Дианы
Заставить искуситься и пригнать
Оленя прямо под руки ловца!
Дукаты убивают добродетель!
Чего не сделать им и не разделать?
Итак, одну из дам ее мне нужно
Взять в адвокаты; сам же я пока
Немного понимаю в этих штуках!..
Эй! с позволенья вашего.
(Стучится.)

Входит придворная дама.

Придворная дама

Кто здесь
Стучится?

Клотен

Дворянин!

Придворная дама

Не больше?..

Клотен

Да,
И сын дворянки!

Придворная дама

Это все, чем могут
Похвастать те, которые, подобно
Вам, лорд, своим портным немало платят!
Что ж, ваша светлость, нужно вам, скажите?

Клотен

Особу вашей госпожи! Она
Готова?..

Придворная дама

Да, не выходит из спальни.

Клотен

Вот золото: продайте вашу мне
Любовь.

Придворная дама

Как! имя доброе мое?
Что вижу в вас я доброго? Принцесса.

Входит Имоджена.

Клотен

Прелестная сестрица, добрый день!
Позвольте вашу дорогую ручку...

Имоджена

Сэр, добрый день: вы трудитесь безмерно
И получаете одни тревоги!
Все, чем я вас могу благодарить,
Есть то, что я бедна на благодарность,
И потому должна ее беречь...

Клотен

Клянусь, я вас люблю и без того!

Имоджена

Когда б вы мне открыли это просто,
Я при своем осталась бы; когда б
Вы с клятвами мне это рассказали,
Я вас по-прежнему вознаградила б
Тем, что не стала бы на вас глядеть.

Клотен

Все это не ответ, моя царица!

Имоджена

Когда б в моем молчании согласья
Вы не прочли, я слова б не сказала.
Молю вас, дайте мне покой и верьте,
На ваши лучшие услуги вам
Одна невежливость ответом будет!
Всяк человек с таким умом, как вы,
Увидит здесь отказ и удалится...

Клотен

Грешно вас в сумасшествии покинуть!
Не брошу вас.

Имоджена

Глупец — не сумасшедший.

Клотен

Что ж, я — глупец?

Имоджена

Я это говорю
По глупости своей: уймитесь только —
И я умнее буду! Это нас
Обоих вылечит. Мне очень жаль,
Что вы меня заставили забыть
Долг женщины в подобных выраженьях.
Узнайте ж наконец, что я открыто
И от души вам это говорю,
Что я ничуть не занимаюсь вами
И до того чуждаюсь снисхожденья,
Что — виновата — ненавижу вас!
Жаль, что не вы почувствовали это,
Жаль, что пришлось мне этим похвалиться.

Клотен

Вы согрешили против послушанья,
Которым вы одолжены отцу!
Неравный брак ваш с этим жалким нищим
Дитятью милостыни и питомцем
Холодных блюд и крох двора, — не брак!
Коль дозволяют низкому породой
(А кто его ничтожней?) закреплять
Святыми узами чужое сердце
(Их цель — плодить детей для попрошайства!),
То как же вас не удержал отец
От уз подобных? Вам не подобает,
Сквернить отцов престол рабом наемным,
Слугою низким, пастухом свиней...
Ему и это имя — честь большая.

Имоджена

Негодный человек! Да если б ты
Юпитеровым сыном был и тем же
При этом всем остался, чем ты есть,
Ты не годился б в конюхи Постуму.
И если уж ценить заслуги ваши,
Ты был бы свыше чести награжден,
Когда бы стал слугою палача
В его стране, и всем таким отличьем
Ты опротивел бы тогда на свете!

Клотен

Чума его убей!

Имоджена

Нет для него
Несчастья большего, как то, что ты
О нем болтаешь: худшая одежда
Его, едва она его коснулась,
По-моему, дороже всех твоих
Волос, хотя б от каждого из них
Ты родился!.. Пизанио, послушай!

Входит Пизанио.

Клотен

Его одежда!?.. Дьявол побери!

Имоджена

(К Пизанио)
Иди скорей, сыщи мне Доротею,
Мою прислужницу.

Клотен

(Кричит)
Его одежда!!..

Имоджена

Глупец меня пугает и тиранит,
Как бес! Поди, скажи моей служанке,
Чтобы она браслет мой отыскала:
Он как-то соскользнул с моей руки!
Его мне господин твой подарил.
За весь доход любого короля
В Европе не отдам того браслета[1].
Мне кажется, сегодня поутру
Я видела его: наверно ж ночью
Висел он на руке моей — еще
Его я целовала!.. Без сомненья,
Он не пошел передавать Постуму,
Что я другого здесь поцеловала!

Пизанио

Нет, он пропасть не мог!

Имоджена

Конечно, так.
Иди ж и поищи!..

Пизанио уходит.

Клотен

Меня вы сильно
Обидели! Как? худшая одежда!!..

Имоджена

Да, сэр, я так сказала! Если ж вы

---

[1] Здесь у Шекспира снова анахронизм. Во времена Августа Цезаря еще не существовало общего названия для материка европейских государств. В тогдашнем образованном мире было только одно название для нашей части света: *Рим!* Остальное были земли варваров, из числа которых не исключалась и Британия.

Со мной процесс желаете затеять,
Сзывайте в суд свидетелей.

Клотен

На это
Пожалуюсь я вашему отцу.

Имоджена

И вашей матушке: она моя
Защитница и, верно, для меня
Не пожалеет замысла дурного!
Сэр, оставляю вас во власть несчастной
Досады вашей!

(Уходит.)

Клотен

О, я отомщу!
Как?! Худшая одежда! Хорошо!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Рим. Комната в доме Филарио.

Входят Постум и Филарио.

Постум

Не бойся, друг, я должен убедиться,
Что нас король простит, как убежден,
Что честь ее непобедима.

Филарио

Чем же
Ты думаешь его уговорить?

Постум

Ничем: всего от времени я жду!
Дрожу теперь от сильного мороза,
В надежде, что настанут дни теплее.
И в этой-то мерцающей надежде —
Все, чем тебе по силам заплатить
Могу я за любовь твою! Погибни
Она, и неоплатным должником
Сойду я в гроб.

Филарио

Ты истинной приязнью
И дружбой мне переплатил за все,
Что мог тебе я сделать. Твой король
Теперь уже об Августе услышал:
Кай Люций точно выполнит свой долг;
Я убежден, что Цимбелин и дань
Заплатит нам, и недоимки вышлет;
Без этого он вновь увидит римлян,
Воспоминанье о которых, верно,
Еще свежо в преданиях у вас.

Постум

Я думаю (хотя я не бывал
Политиком с рожденья и не буду),
Я думаю, войны не миновать,
И вы скорей услышите, что галлы
К Британии бесстрашной подступили,
Чем хоть частицу дани мы заплатим!
Мои соотчичи теперь искусней
В войне, чем в те поры, как Юлий Цезарь
Трунил над их неловкостью и тут же
Досадою их мужество почтил...
Их дисциплина, смешанная ныне
С отвагою, всем судиям покажет,
Что наш народ не отстает от века.

Входит Якимо.

Филарио

Взгляни!.. Якимо!..

Постум

Верно, по земле
Стремили вас быстрейшие олени,
А по водам все ветры паруса
У вас лобзали, чтоб корабль скорее
Летел?!

Филарио

Добро пожаловать, мой друг

Постум

Надеюсь, краткость вашего ответа
Так сократила ваше возвращенье?

Якимо

Супруга ваша, сэр, прелестней всех,
Кого я только знаю!..

Постум

А затем,
Надеюсь, и честней?!

Якимо

Вот письма к вам!

Постум

Ну что же, содержанье их приятно?

Якимо

Я думаю...

Филарио

Кай Люций при дворе
Британском был, когда ты кончил путь свой?

Якимо

Нет, не был, но его там ожидали.

Постум

(Прочтя письма)
Все до сих пор прекрасно. Камень мой
По-прежнему ль хорош иль уж поблек
И недостоин вашего наряда?

Якимо

Когда б его лишился я, потеря
Моя равнялась бы цене его
На золото! Я путь длиннее вдвое
Готов свершить, лишь только б мне упиться
Еще такой блаженной, быстрой ночью,
Какую я в Британии вкусил!..
Кольцо мое!

Постум

Нет, камни тяжелы
И так легко не прыгают!

Якимо

Нимало,
Когда супруга ваша на подъем
Способна так!

Постум

Не издевайтесь, сэр,
Над вашею потерею: надеюсь,

Вы понимаете, что мы друзьями
Теперь уже не можем оставаться!

Якимо

Но, добрый сэр, мы будем дружны с вами.
Условия мы наши соблюдем.
Когда б я не узнал супруги вашей
И так домой вернулся, наше дело
Пошло бы, может быть, гораздо дальше;
Теперь же я открыто говорю,
Что выиграл и честь ее, и перстень,
И тем я не обидел ни ее,
Ни вас, затем, что действовал с согласья
Обоих вас!

Постум

Когда вы доказать
Мне можете, что ложа Имоджены
Касались вы, вот вам моя рука:
Я проиграл мой перстень! Если ж нет,
За низкое суждение о чести
Принцессы наши шпаги порешат,
Кому из них лишиться господина,
Иль победить, а может быть, и обе
Они улягутся, пока их первый
Прохожий не найдет.

Якимо

Сэр, то, что я
Открою вам, так близко к чистой правде,
Что нехотя поверите вы мне.
Я силу речи подтвердил бы клятвой,
Когда б не знал, что от нее меня
Вы разрешите, чуть мои слова
Вы не найдете средства опровергнуть!

Постум

Извольте говорить.

Якимо

Во-первых, спальня
(Клянусь, я в ней не спал! но, вновь клянусь,
Там было все бессонницы достойно) —
В обоях шелковых и в серебре;
История свиданья Клеопатры
С ее любезным, Цидн[1] из берегов
Выходит, от безмерной ли гордыни,
Или от тяжести судов: творенье
Богатое и чудное такое,
Что мастерство в нем борется с ценой!
И удивлялся я, как дивно точно
Оно исполнено и как в нем все
Кипит правдивой жизнью!..

Постум

Это верно;
Но вы могли об этом от меня
Иль от других узнать!

Якимо

Мои признанья
Подробности иные подтвердят.

Постум

Так и должны вы поступить — не то
Вы повредите много вашей чести!

---

[1] «Cydnus» — ныне река Кара-Су. Эта река протекала в древнем Тарсе и впадала в Средиземное море. На ней указывают место, где утонули Александр Македонский и в 1190 году император Фридрих Первый.

Якимо

Камин на юге спальни, на камине
Статуя целомудренной Дианы —
В купальне... Я не видывал фигур
С таким красноречивым выраженьем!
Скульптор здесь был второй живой природой!..
Он превзошел природу: позабыл
Одно дыханье только и движенье!

Постум

И это вещь, которую вы также
Могли узнать случайно, понаслышке:
О ней у нас рассказывают много!

Якимо

Амуры золотые потолок
Рельефом осеняют... Про таган
Я позабыл сказать: два купидона,
Из серебра, с него глядят лукаво,
Поджав по ножке каждый и премило
На факелы свои облокотясь!..[1]

Постум

Вы это все заметили, и славы
Достойна ваша память... Но припомнив
Мне все, что есть в покое Имоджены,
Вы тем еще заклада далеко
Не искупили!

Якимо

Так бледнейте ж, если
Бледнеть вы можете.
(Вынимает браслет)

---

[1] Слово «brands» значит «головешка и мечи»; это слово Гете переводит словом «факелы».

Позвольте мне
Проветрить эту штучку: посмотрите...
Теперь ее мы спрячем вновь: она
Должна совокупиться с вашим перстнем;
Я их возьму обоих!

Постум

Зевс! Позволь
Получше поглядеть мне: неужели
Я этот самый отдал ей браслет?

Якимо

Сэр, этот самый, верьте мне: она
Его с руки своей сняла... Как нынче
Я это вижу: чудное движенье
Принцессы кажется красивей дара
Ее и самый дар обогащает;
Она его дала мне и сказала,
Что «некогда» она им дорожила!..

Постум

Она его сняла затем, быть может,
Чтоб мне его послать?

Якимо

Она об этом
Вам пишет, сэр?! Не так ли, посмотрите!..

Постум

О! нет, нет, нет!! Все это справедливо.
На — вот, возьми его скорей!
(Отдает ему перстень)
Теперь
Моим глазам он хуже василиска:
Меня убьет его коварный образ!..
Нет чести там, где царствует краса;
Нет правды там, где только вероятность;

Нет истинных даров любви, где есть
Другой мужчина... Женские обеты
Нимало женщин тем не покоряют,
Кому они клянутся, точно так же,
Как неверна их добродетель: это
Почти ничто! Безмерная измена!

Филарио

Сэр, успокойтесь и возьмите снова
Свой перстень; он не выигран еще,
Она его, быть может, потеряла...
Кто знает? Может быть, одна из слуг
Принцессы продалася и его
Украла!..

Якимо

Я Юпитером клянусь —
С ее руки...

Постум

Вы слышите, Якимо,
Клянется мне, Юпитером клянется?!
Все это правда! Нет, возьми кольцо...
Все это правда! Я теперь уверен,
Она его не потеряла. Слуги
Ее мне честью поклялись: не им
Продаться и украсть для иностранца!
Он соблазнил ее; все это — признак
Ее бесчестья! Дорого ж она
Себе купила прозвище продажной!
Вот, на, возьми барыш твой, и пускай
С тобой все демоны исподней вместе
Его разделят!

Филарио

Успокойтесь, сэр!
Тут нет еще такого подтвержденья,

Которое могло б поколебать
Того, кто убежден.

Постум

Ни слова больше!
Он соблазнил ее!

Якимо

Когда других
Вы ищете улик, так вот что: ниже
Ее груди, объятия достойной,
Есть пятнышко; ему, по чистой правде,
Гордиться можно этим сладким местом!
Клянуся жизнью, я поцеловал
Его — и голоден я стал вторично,
И, сытый, вновь хотел я целовать!
Вы... пятнышко... припомните?!

Постум

О да!
И в этом я пятно другое вижу,
Такое ж необъятное, как ад,
Хотя бы ад его лишь и вмещал!

Якимо

Хотите ль вы еще меня послушать?

Постум

Избавь меня от алгебры своей!
Вовек не сосчитать ее проступков:
Скажи лишь «раз» — и — «миллион»!..

Якимо

Клянусь...

Постум

Нет, не клянись! Едва ж ты поклянешься,
Что этого не видел, ты солжешь!
И я тебя убил бы, если б ты
Отрекся, что рогов мне не приставил!

Якимо

Я ничего не стану отрицать!

Постум

О, если б здесь была ты, Имоджена,
Я разорвал тебя бы на куски...
Пойду туда и все покончу!
(Уходит.)

Филарио

Он выбился из-под цепей терпенья!
Вы выиграли. Поспешим за ним
И отвратим его от гнева; он
Зарежется...

Якимо

От всей моей души.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Там же. Другая комната.
Входит Постум.

Постум

Ужель родиться без пособья жен
Нельзя? Тогда и все мы незаконны.

Достойный муж, которого отцом
Я почитал, в отлучке был в ту пору,
Когда я зарождался; фабрикант
Фальшивый дни мои чеканил. Мать
Слыла Дианой, как теперь моя жена...
О, мщенье, мщенье, мщенье! Имоджена
Всегда была со мною холодна,
Меня в страстях обуздывать старалась
И это делала с такой румяной
Стыдливостью, что сам старик Сатурн
При этом виде ею бы пленился!
И я считал ее белее снега,
Нетронутого солнечным лучом!
О! дьяволы! Какой-нибудь желтяк,
Якимо, в час один — не так ли? меньше,
Гораздо меньше, слова, может быть,
Не вымолвил и, как германский вепрь,
На желудях расплывшийся, вздохнул
И ринулся — и встретил только ту
Застенчивость, которую найти
Он думал и которую она
Ему сама, без битвы, уступила...
О, если бы все женское в себе
Я разыскал!.. Нет в человеке шага
Ко злу, который бы, как я уверен,
Не заключал в себе частицы бабьей!..
Солгал ли кто, заметьте, это все
От женщин; лесть от них же происходит;
Обман — от них же; грубые желанья
И страсти — все рождается от них!
Гордыня, месть, изменчивость, кичливость,
Разборчивость, кокетство, клевета,
Что только называется пороком,
Что только знает ад — все это частью
Иль целиком от женщин происходит;
Скорее целиком, затем, что в самом

Пороке нет у женщин постоянства,
И каждый грех у них через минуту
Уже старик и заменен другим,
Который несколько его моложе.
Я против них начну писать, я стану
Их презирать и проклинать; чтоб лучше
Им отомстить, молить богов я буду,
Да исполняется их воля всюду...
И самый ад их лучше не казнит![1]

(Уходит.)

---

[1] Этот монолог весьма схож по духу с сатирою Ювенала «Женщины».

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Британия. Посольская комната во дворце Цимбелина.

Входят в одну дверь Цимбелин, королева, Клотен и придворные; в другую — Кай Люций со свитой.

Цимбелин

Итак, чего желает Август Цезарь
От нас? Скажи.

Люций

В те дни, как Юлий Цезарь,
Воспоминанье о котором живо
В умах людей и даст надолго пищу
Ушам и языкам их, покорил
Британию, — Кассибелан, твой дядя,
Прославленный за доблести свои
Хвалами Цезаря, сам за себя
И за свое потомство обязался
Выплачивать дань Риму ежегодно —
Пять тысяч фунтов стерлингов, но ты
С недавних пор от дани отказался.

Королева

И так всегда отныне это будет,
Чтоб поумерить ваше изумленье.

Клотен

Немало Цезарей увидит свет,

Пока второй такой найдется Юлий!
Британия — отдельный, целый мир...
Мы за носы свои вам не заплатим!

Королева

Тогда ограбить нас помог вам случай,
И он же нас за все вознаградит!
Припомни, государь, венчанных предков
Своих, твой остров, сильный от природы!
Он, словно крепость грозного Нептуна,
Со всех сторон укрыт и заслонен
Горами неприступными, пучиной
И мелями, грозой эскадры вражьей,
Морская бездна засосет сюда —
По самые верхушки длинных флагов!
Здесь тень победы Цезарь одержал;
Но он не здесь похвастался: «Пришел,
Увидел, победил!..»[1] И со стыдом,
Которым он впервые был растерзан,
Два раза отраженный, убежал
От наших берегов... Его суда,
Ничтожные и жалкие игрушки,
Как скорлупа яичная, болтались
На наших, полных ужаса, морях —
И без труда о скалы разбивались...
Кассибелам, обрадованный этим,
В сиянье славы, вдруг возмнил себя
Владетелем (о, лицемер, фортуна!)
Меча, с которым к нам явился Цезарь,
Огнями радостными город Люду[2]

---

[1] Этими словами, в 48-м году до Р. Хр., Цезарь известил одного своего друга в Риме о победе над Фарнаком, сыном знаменитого Митридата; слова «veni, vidi, vici!» были эмблемою завоевания могучего Босфорского царства.

[2] «Lund's town» — древнее название *Лондона*.

Убрал, и все британцы стали полны
Воинственной отваги!

Клотен

Э! проваливай! Никакой дани тут не будут платить: наше королевство сильнее, чем оно было в те дни, и, как я говорю, теперь уже нет в заводе былых Цезарей... У иных из вас, пожалуй, такие же орлиные носы; но уж зато ни у кого не имеется таких мощных рук!..

Цимбелин

Сын, дай кончить твоей матери.

Клотен

Немало между нами отыщется таких молодчиков, которые способны притиснуть вас не слабее Кассибелана. Я себя сюда не причисляю, однако же и у меня есть так называемые руки!.. Какая дань? За что нам ее вносить? Вот если бы Цезарь мог одеялом заслонить солнце или положить себе в карман луну, тогда мы за свет ему уплатим, а иначе никакой уплаты не будет, — ясно и коротко...

Цимбелин

Припомнить надо, мы когда-то сами
Свободны были; но кровавый Рим
Нас обложил постыдно-рабской данью!
Гордыня Цезаря, которой волны
Так страшно вздулися, что перешли
Границы мира, против всяких прав
На нас надела это иго; свергнуть
Его опять отважному народу
Идет, а наш считается не трусом!
Поэтому мы Цезарю ответим,
Что предок наш, Мульмуций, был создатель
Законов наших! Цезарь их порядком
Своим мечом отважным истерзал,
Но мы «освободить и обновить»

Попробуем их силою своею.
И, несмотря на то, что Рим при этом
Рассердится, свершим благое дело....
Мульмуций был среди британцев первый,
Который осенил свое чело
Венцом — и принял имя короля![1]

Люций

С прискорбием тебе я, Цимбелин,
Обязан объявить, что Август Цезарь —
Отныне враг твой, Цезарь, пред которым
В услугах больше королей покорных,
Чем у тебя гвардейских офицеров.
Внимай же мне. Войну и разоренье,
Во имя Цезаря, я объявлю
Тебе; несокрушимой, злобной мести
Ты должен ожидать! Сказавши это,
Я от себя тебя благодарю.

Цимбелин

Я рад тебе, любезный Кай! Твой Цезарь
Нас в рыцари возвел; в его глазах
Я половину юности провел.
Он даровал мне честь, и он же хочет
Ее отнять у Цимбелина; это
Нас доведет до крайностей! Милорд,
Я знаю, что паннонцы и далматы
Уж подняли оружье против Рима;
Не зная этого, британцы наши
Остались бы, пожалуй, хладнокровны...
Но Цезарь их такими не найдет!

---

[1] *Мульмуций, Цимбелин, Лир, Макбет* и другие имена королей древней Британии, упоминаемые в хронике Голиншеда, принадлежат к именам, в существовании которых ныне уже не сомневаются знаменитейшие историки.

Люций

Все порешится ладом!

Клотен

Его величество очень рад вам. Проживите-ка у нас еще денек, два, а то и поболее! Если вы впоследствии явитесь к нам под другими условиями, вы найдете нас опоясанными соленоводным поясом. Удастся вам выбить нас из него, он ваш; если же вы падете в предприятии, тем аппетитнее, за ваше здоровье, закусят наши вороны; вот вам и все тут!

Люций

Точно так.

Цимбелин

Я знаю волю Августа! Теперь
И он вполне мою узнает волю.
Мне остается только повторить:
«Добро пожаловать!..»

Все уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Там же; другая комната.

Входит Пизанио.

Пизанио

Как! О неверности?! Зачем же ты
Не пишешь мне; какой урод ее
Оклеветал? О, лорд, о, Леонат!..
Какой заразой страшной поразили
Твой слух? Какой коварный итальянец,
С отравою в руках и на кинжале,
Над легковерным слухом подсмеялся?

Она — изменница! Нет! Наказанье
Гнетет ее за верность! Как богиня,
Как ни одна из женщин, переносит
Она нападки, страшные для всякой
Невинности... О, господин! Твой дух
Теперь перед принцессой так же низок,
Как низок был ты состояньем! Как?!
Мне умертвить ее?! Из-за любви,
Из-за покорности, из-за обетов,
Которые тебе я произнес!
Мне и *ее!!!* Мне кровь ее пролить?!..
Когда все это — добрая услуга,
Вовек тебе я не хочу служить!
Что ж я такое, если он во мне
Нашел подобную бесчеловечность.
Когда он предписал мне эту низость?

(Читает.)

«Исполни все. Я к ней писал письмо.
По этому письму она тебе
Отдаст приказ, который сам направит
Тебя на случай это совершить».
Проклятая бумага! Как чернила
Твои, черна ты! Мертвое тряпье!
Как можешь ты невинно так глядеть,
Когда ты — злой сообщник в этом деле?

Входит Имоджена.

Вот и она! Я притворюсь, как будто
Приказа я еще не прочитал![1]

Имоджена

Ну что, Пизанио?

[1] По объяснению Стивенса, это значит, что Пизанио совсем решается отказаться от убийства Имоджены; по объяснению немецких комментаторов, Пизанио только колеблется и хочет выиграть время.

Пизанио

Вот вам посланье
От моего, миледи, господина.

Имоджена

От господина твоего? Как так?!
А мне уж он не господин?.. Постум?..
О, много бы узнал тот астроном[1],
Который изучил бы так планеты,
Как изучила я заветный почерк:
Он будущее мог бы открывать!
Вы, боги светлые, устройте так,
Чтобы письмо его дышало страстью,
Чтобы оно сказало мне, что он
Здоров и весел... только не вполне:
Пускай его крушит разлука наша...
Печаль порой целительна бывает,
Вот как теперь! Его любовь окрепнет!
Итак, пусть весел он, но не вполне.
О, добрый воск! позволь...

(Распечатывает письмо.)

Блаженны пчелы,
Которые могли слепить такой
Замок для таинства обетов брачных!
Любовники и люди в кабале
Неодинаково творят молитвы...
Преступников ведешь ты в кандалы,
За то теперь скрепляешь ты дощечку
Малютки-купидона![2] Дайте ж, боги,

---

[1] Шекспир здесь употребил слово «Astronomer» вместо «Astrologer».

[2] В Риме и других странах древнего мира граждане переписывались друг с другом с помощью записных книжек, сделанных из дерева, натертого воском, так что на их поверхности можно было писать спичкою и потом стирать написанное. Впоследствии эти книжки делались из золота, слоновой кости и кипариса, украшенного арабесками.

Мне добрых новостей.

(Читает.)

«Правосудие и гнев твоего отца, когда бы он захватил меня в своих владениях, не в силах нанести мне такой жестокости, которой бы ты, о драгоценнейшее из творений божьих, не залечила своим взором. Знай, что я в Камбрии, в Мильфордской гавани. Следуй тому, что тебе, в этом случае, посоветует твоя собственная любовь. За этим, желая тебе всякого счастия, остаюсь, верный своим клятвам и возрастающий в любви к тебе,

Леонат Постум».

О! дайте мне крылатого коня!
Пизанио, ты слышишь? Он теперь
В Мильфордской гавани... Читай, скажи мне,
Как далеко отсюда это место?
И, если для безделок по неделям
Ползут в Мильфорд, так почему ж нельзя
Мне день один Постуму посвятить?
Итак, ты, верно, друг, подобно мне,
Желаешь поскорей его увидеть;
Желаешь — только менее — не так,
Как я, желаешь непременно, только
Слабей, — о да, не так, как Имоджена!
Затем, что я желаю бесконечно,
Да, бесконечно! Говори ж скорей...
Слова любви так наполняют сердце,
Что груди тесно! Говори, как близок
От нас Мильфорд блаженный? По дороге ж
Поведай мне, за что Валлис так счастлив,
За что такой он гаванью владеет?
Но прежде расскажи, как нам отсюда
Укрыться, как нам оправдать несходство
Во времени, между побегом нашим
И возвращением; нет, лучше прежде —
Как убежать нам? Что об оправданье
Тут рассуждать до совершенья дела?..

Об этом мы поговорим и после!
Прошу, мой друг, скажи, как много мы
Десятков миль проехать можем в час?

Пизанио

Десятка миль меж двух восходов солнца
Вам будет вдоволь, даже слишком много.

Имоджена

Не может быть! Преступник, да и тот
На эшафот так тихо не пойдет!
Слыхала я о скачках... Там порою
Бывают лошади быстрей песчинок,
Которые вращаются в часах...
Но это пустяки! Ступай, вели
Моей служанке, чтоб она больною
Сказалась и к отцу бы отпросилась;
Найди скорей дорожное мне платье,
Похуже, рубище простой крестьянки.

Пизанио

Одумайтесь, миледи.

Имоджена

Я гляжу,
Пизанио, вперед, а не назад,
Не вправо и не влево; предо мною
Кругом туман, и я не в состоянье
Пронзить его глазами... Не забудь же,
Прошу тебя, исполнить все, что надо.
Мне больше не о чем болтать с тобою:
В один Мильфорд теперь мой путь лежит!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Валлис. Гористая страна. Пещера.

Входят Белларий, Гвидерий и Арвираг.

Белларий

В такой прекрасный день не усидишь
Под душной кровлею! Нагнитесь, дети...[1]
Наш вход вас учит, как должны мы чтить
Богов: он к утренней молитве
Склоняет вас! Чертоги горожан
Так высоки, что через них гиганты
Проходят в шляпах и не отдают
Поклонов появленью света солнца!
Привет тебе, пленительное небо!
Мы, горные жильцы, с тобой не так
Кичливы, как живущие в палатах!

Гвидерий

Привет тебе!

Арвираг

Привет тебе, о небо!

Белларий

Теперь за нашу горную охоту!
Скорее на утесы (ваши ноги
Так юны!). Я ж останусь здесь, в долине;
И если вы меня с вершины скал
Увидите с ворону ростом,

---

[1] По мнению Л.Тика, Белларий говорит здесь: «sleep boys» — «вы спите разве, мои дети?» Но Стивенс и Мэлон вернее ставят здесь слова: «stoop boys» — «нагнитесь, дети!», потому что это прямо относится к следующей за этим мысли.

Что место нас растит и умаляет,
Припомните, что говорил я вам
О принцах, о дворах и о капризах
Войны! Услуга не тогда услуга,
Когда ее свершили, а тогда,
Когда ее признали: эта мысль
Изо всего, что видим мы, для нас
Большую пользу извлечет! И часто
Жук в скорлупе счастливее орла!..
О, эта жизнь достойнее во многом,
Чем лесть и происки рабов; богаче,
Чем праздное безделие и лень;
Пышней, чем франтовство в шелках заемных!
Пусть эта пышность кланяться велит
Тому, кто верит в долг: поклоны эти
Не сокращают счета должников...
Нет, мы не так живем!

Гвидерий

Вы говорите
По опыту: мы ж, бедняки без крыльев.
Не улетали из виду гнезда
И не знавали воздуха вне дома!
Такая жизнь и хороша, быть может,
Когда покой счастливейший удел...
Она сладка вам потому, что вы
Другую жизнь, горчее, испытали;
Она подходит к вашим дряхлым летам:
Но уж для нас она — глухой вертеп
Невежества, прогулка по кровати,
Как для страдальца-должника темница,
В которой он переступить не смеет
Границ.

Арвираг

О чем мы будем говорить,
Когда состаримся, как вы, когда
Начнет шуметь декабрьский дождь и ветер?
Как станем мы часы морозов грозных
В пещере душной сокращать беседой?
Мы ничего не видели, мы, словно
Лесные звери: как лиса на ловле,
Коварны мы; как волк перед добычей,
Бесстрашны мы, и все лишь для того,
Чтоб затравить бегущее от нас...
И нашу клеть мы оглашаем хором,
Как птички заточенные, привольно
Мы воспеваем наше заточенье!

Белларий

Какие речи?!.. Да знакомо ль вам,
По опыту, коварство городов?
Интриги общества, с которым трудно
Расстаться, но еще трудней ужиться?..
Всползти к его вершине — значит пасть!
Вершина этой цели так скользка,
Что страх один слететь с нее тяжеле
Падения с нее! Труды войны —
Труды, где мы во имя славы ищем
Опасностей и гибнем на пути!
За подвиги порой нас награждают
Надгробием позорной клеветы;
Всю эту повесть свет во мне прочтет:
Иссечен весь я римскими мечами
И некогда по славе был из первых;
Сам Цимбелин любил меня и, чуть
За тему разговора брал солдата,
От уст его не удалялся я!
Тогда я был, как дуб, который клонит

К земле свои тяжелые плоды...
Но как-то ночью буря ль, воровство ли —
Как знаете, зовите — мой покров,
Созревший до листочка, оборвали —
И в наготе я брошен непогоде!

Гвидерий

Коварное несчастье!

Белларий

Мой проступок,
Как я сказал вам, тем лишь и проступок,
Что два злодея черной клеветой
Осилили мою святую честь
И поклялись однажды Цимбелину,
Что я был в тайной переписке с Римом.
За это сослан я, и двадцать лет
Скала и этот хлев мне — целый свет!
Здесь я живу в покое, здесь, клянусь вам,
В молитвах чтил я больше небеса,
Чем в продолженье всей протекшей жизни,
Но эта речь ловцам нейдет! За дело!..
Кто прежде всех убьет оленя, тот
Да будет властелин наш за обедом!
Другие два должны ему служить!
Нам нечего отравы опасаться,
Которая преступным угрожает,
Я вас в долине догоню.

Гвидерий и Арвираг уходят.

Белларий

(Один)
Как трудно
Укрыть природный пламень! Эти дети

Не знают, что отец им — Цимбелин.
И Цимбелин о жизни их не знает...
Они меня считают за отца...
А между тем, взращенные в пещере,
Где надобно сгибаться день и ночь,
Они в мечтах касаются вершин
Дворцов; природа учит их в простых
И низких веществах являть высокий
И гордый дух, что далеко искусству
Других не удается! Полидор,
Наследник Цимбелина и короны
Британии, Гвидерием был назван
По воле короля-отца! О, Зевс!..
Когда сажуся я на свой треножник
И говорю о подвигах своих,
Его огонь стремится в мой рассказ!
Едва промолвлю я: «Так пал мой враг,
Так придавил я грудь ему пятою!» —
Уж царственная кровь течет к его
Щекам, он весь дымится, расплавляет
Младые члены и отважной позой
Слова моих речей живописует!..
Кадвал — меньшой (когда-то Арвираг)
Своим лицом вливает дух и жизнь
В мои рассказы, больше выражая
Движеньями, чем может сам понять!..

Слышны крики.

А!.. Молодцы уж подняли добычу!..
О, Цимбелин! Господь да совесть знают,
Как ты меня неправедно сослал!
Я двух детей, двух первенцев твоих,
По третьему и по второму году,
Увез тогда. О, Эрифила! ты
Вскормила их, они тебя зовут
Своею матерью и каждый день

Твоей могиле воздают почтенье![1]
Меня, Беллария, который был
Морганом некогда, они считают
Своим отцом!.. Да, ловля началась.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Местность вблизи Мильфордской гавани.

Входят Имоджена и Пизанио.

Имоджена

Когда сошли с коней мы, ты сказал,
Что место наше близко, под рукою.
И мать моя впервые не желала
Меня увидеть жадно так, как я
Теперь желаю; человек! Пизанио!
Где мой Постум? Что в мыслях у тебя,
И почему совсем ты помертвел?
Зачем такие тягостные вздохи?..
Кто б так себя разрисовал, как ты,
Того без пояснений все признали б
Портретом ужаса; прими же вид
Поменьше страшный; иначе безумство
Убьет мое сознание! В чем дело?
К чему ты лист мне этот подаешь
С такою неподатливою миной?..[2]
Когда в нем вести летние, ты должен

---

[1] *Эрифила* — жена Беллария, бывшая прежде фрейлиною Цимбелина.

[2] Здесь у Шекспира каламбур. Слово «tender» значит «подавать и нежить», а слова «untender look» — «ненежная, отталкивающая мина, взор»

Передо мной смеяться; если же вести
В нем зимние, так ты не изменяй
Физиономии своей! Рука
Супруга моего! Страна отрав,
Италия опутала Постума,
И он в беде? Откройся ж, человек!
Язык твой облегчит, быть может, горе,
Которое убьет меня при чтенье!

Пизанио

Читайте, умоляю вас, и вы
Увидите, что я — несчастный смертный,
Игралище озлобленной судьбы.

Имоджена

(Читает)

«Твоя госпожа, Пизанио, разыграла роль потерянной женщины; гнусные доказательства этому лежат передо мною. Я не говорю о пустых предположениях, я говорю об уликах грозных, как моя печаль, и верных, как близкое свершение моей мести. Эту часть, Пизанио, ты должен сделать за меня, если только твоя верность не отравлена еще ее изменой. Отними у нее жизнь собственными своими руками; случай к этому я тебе доставлю в Мильфордской гавани: туда она прибудет по моему письму. И если ты струсишь, не убьешь ее и не докажешь мне, что ты исполнил все, как надо, ты — сообщник ее и, наравне с нею, преступен передо мной!»

Пизанио

К чему и меч мне вынимать?.. Письмо
Ее пронзило! Это — клевета,
Которой жало всех мечей острей
И ядовитее всех нильских змей!
Ее слова летят на крыльях ветров,
Разносят ложь во все концы земли!
Сановников, князей, и королев,

Девиц, и жен, и таинства могил —
Все отравляет жало клеветы!
Что с вами, леди?

Имоджена

Неверна ему!..
Что ж значит быть ему неверной?
Лежать без сна и тосковать о нем?
Рыдать ежеминутно, и едва
Природу сон осилит, прерывать
Его тяжелой грезой о Постуме
И с криком вскакивать?.. Не это ль значит
Неверной быть?

Пизанио

О, добрая миледи!

Имоджена

Я неверна? Твоя, Якимо, совесть
Свидетель в том... Ты обвинял его
В разврате — и казался мне злодеем!
Теперь, по-моему, ты милосердней!..
Сорока итальянская, дитя
Румян, ее окрасивших, коварно
Так спутала его... и я — тряпье
Негодное, и вышла я из моды!
И так как я довольно дорога,
Чтоб на стене меня повесить, надо
Меня изрезать в мелкие куски!
Мужские клятвы — смертный яд для женщин!
О, мой супруг! Твое паденье в злобу
И добрые деянья обратило!
Мы жнем не там, где сеем: эти клятвы
Рассыпаны приманкою для нас!

Пизанио

Послушайте, добрейшая миледи...

Имоджена

Честнейших из людей, во дни бродяги
Энея, за обманщиков считали,
Рыдания Синона[1] много вздохов
И слез заставили считать притворством,
От верного несчастья отвратили
Людское состраданье! Так и ты,
Постум, всех честных ложью заразил!
Добрейшие и верные, с твоим
Паденьем, обратилися в лжецов!
Что ж, друг, будь честен: исполняй веленье
Хозяина! Когда его ты встретишь,
Уверь его в покорстве Имоджены!
(Подает ему меч.)
Смотри, сама я вынимаю меч:
Возьми его, пронзи им чистый храм
Моей любви, пронзи им это сердце!
Не бойся, в нем все пусто, кроме скорби;
Там нет уж господина твоего,

---

[1] *Эней и Синон.* Aeneas — троянский князь, сын Венеры и Анхиза, супруг Креузы, дочери Приама. Он отличился во время осады Трои, особенно в ночь взятия этого города, в 1270 г. до Р. Хр. Он убежал, держа на плечах престарелого отца, с богами-пенатами, и водворился, после многочисленных странствований, составивших предмет Виргилиевой поэмы, в Италии. Шекспир замечает, что в его времена было столько честных бродяг, рядом с бродягами-плутами, что всех считали за обманщиков. Sinon — грек, известный своим вероломством. В то время, как его соотечественники уже бросили неприступную Трою, он передался троянцам, объявив им, что его бросили земляки его, и обманом ввез в стены Трои гигантского коня, в котором заранее спрятались вооруженные греки. О последствиях его лживых жалоб на земляков знают все читавшие II песню Энеиды. Метафорически Синона зовут иногда сыном Сизифа.

Который был сокровищем его!
Свершай же свой приказ, рази! Ты, верно,
В поступках честных более отважен,
Теперь же ты как будто трусишь...

Пизанио

(Отталкивает меч.)

Прочь,
Негодное оружие! Тобой
Не наложу я на руки проклятия!

Имоджена

О! я должна погибнуть! И когда
Твоя рука меня не умертвит,
Ты не слуга Постума Леоната!
Самоубийство боги запретили,
И руки слабые дрожат!.. Скорей,
Вот сердце!.. Перед ним какой-то щит?
Стой, стой, ему не нужно обороны,
Пусть, как ножны, оно открыто будет!
Что это? Письма верного Постума,
Вы обратились нынче в ересь... Прочь,
Прочь, развратители моей любви!
Наперсниками сердца вам отныне
Нельзя уж быть! Мои святые чувства
Коварными обманщиками стали...
Тяжка измена жертве вероломства,
Но для того, кто изменил, она
Еще тяжеле! Так и ты, Постум,
Родивший в Имоджене непокорство
Перед отцом, заставивший ее
Презреть искательства высоких принцев,
Увидишь в этом после не простое
Событие, а редкую любовь!..
И грустно мне, когда я размышляю,
Что некогда ты охладеешь к той,

Которая тебя теперь голубит,
И что тебя убьет воспоминанье
Об Имоджене! Поскорей, прошу
Тебя! Барашек молит мясника;
Где нож твой? Ты ужасно медлишь с волей
Хозяина, тогда как я так жадно
Желаю этого...

Пизанио

С тех пор, миледи,
Как получил я это приказанье,
На миг один я не смыкал очей.

Имоджена

Исполни это и ступай в постель.

Пизанио

Нет! Прежде от бессонницы ослепнут
Мои глаза!

Имоджена

К чему ж ты это начал?
К чему скакал ты столько миль с фальшивым
Предлогом? И к чему нам это место,
Мое старанье и твое старанье,
Труды коней, удобный час, смятенье
Двора в мое отсутствие, двора,
В который я, быть может, не вернусь?
К чему зашел ты в эту даль и, выбрав
Себе засаду, не стреляешь в дичь,
Которая стоит перед тобою?

Пизанио

Я время выиграть хотел затем лишь,
Чтобы спастись от этой злой разделки;
Я вот что вздумал: добрая миледи,
Извольте выслушать меня с терпеньем.

Имоджена

О! истощи язык свой: говори!
Я слышала, меня бесчестной звали,
И этим так мне уши истерзали,
Что ран не излечить... Ну, говори...

Пизанио

Я думаю, миледи, вы домой
Не захотите больше возвратиться...

Имоджена

Конечно, потому что ты меня
Привел сюда затем, чтоб умертвить.

Пизанио

Нет, не затем! Когда б мой ум равнялся
Правдивости моей, моя догадка
Наверно увенчалась бы успехом...
Мой господин обманут! Негодяй
Какой-нибудь, искусный в этом деле,
Обоих вас обидел так коварно.

Имоджена

О, вероятно, римская красотка!

Пизанио

Нет, жизнью вам клянусь! Я дам ему
Известие, что вы погибли, тут же
Пошлю ему какой-нибудь кровавый
Значок: он так мне приказал, я должен,
Исполнить это! Двор вас не отыщет,
И этим все, как должно, объяснится.

Имоджена

Но, добрый друг, что делать мне теперь?
Куда мне скрыться? Как мне жить? Какое

Найду я утешенье в жизни, если
Погибну я для мужа моего?

Пизанио

А если ко двору вы возвратитесь?..

Имоджена

Ни ко двору, ни к моему отцу!
Не стану больше я бороться с этим
Ничтожным и негодным грубияном,
Клотеном: он, с его исканьем страстным,
Ужаснее осады для меня!

Пизанио

Когда не ко двору, вы не должны
Скрываться и в Британии...

Имоджена

Так где же?!
Ужель в одной Британии сияет
Свет солнца? День и ночь ужель в одной
Британии ты встретишь? Если наша
Британия частица мира, это
Не значит, чтоб у ней одной все было!
Она в большом пруде — гнездо лебяжье...
Опомнись, друг, подумай, люди есть
И не в одном британском государстве!

Пизанио

Я очень рад, что о другом вы месте
Припомнили. Посланник римский, Люций,
В Мильфорде завтра должен быть. И если
Вы примете такой же мрачный вид,
Как ваш удел, и если вам удастся
Запрятать то, что без покрова может
Подвергнуться опасности, вас ждет

Дорога, полная прелестных видов!
Вы, может быть, приблизитесь к жилищу
Постума и, хотя его дела
От вас сокрыты будут, ежечасно
Молва о нем трубить вам будет в уши
И передаст вам все его поступки!

Имоджена

О, где же средства к этому? Пускай
Моей стыдливости грозит опасность,
Лишь не грозила б смерть ей, — и на все
Отважусь я.

Пизанио

Прекрасно! Вот в чем дело:
Вы позабыть должны свой пол, привычку
Повелевать должны сменить покорством;
Боязнь и деликатность слабых женщин,
Красу, или, вернее, их прелестный
Двойник — должны вы заменить шутливой
Отвагою, охотницей трунить
И щебетать без умолку, проворной
И дерзостной, как ласточка; должны вы
Забыть сокровище прелестных щечек,
Предать их — о, какое злое сердце!
Увы! нет силы этому помочь, —
Предать их ненавистным и открытым
Прикосновеньям поцелуев солнца[1],
И позабыть нелегкое искусство
Убора локонов, из-за которых
Питает зависть к вам сама Юнона!

---

[1] В подлиннике говорится: «Common-kissing Titan» — «всецелующий Титан, солнце», как в Гамлете «Good-kissing carrion» — «прелестно целующая гетера».

Имоджена

О, поскорей! Я цель твою предвижу
И становлюсь уже почти мужчиной!

Пизанио

Во-первых, станьте им: предвидя это,
Я вам припас в моем мешке походном
Кафтан и брюки, шляпу, все, что нужно!
Извольте это надевать, насколько
Сумеете, старайтесь подражать
Приемам юноши, который был бы
Не старше вас, и к Люцию явитесь,
С желанием служить ему, скажите
Ему о том, к чему способны вы;
Поймет вполне он, если слух его
Устроен так, что любит музыкальность...
Он, без сомненья, встретит вас радушно,
Затем, что он благочестив и честен,
А это много значит! Средства ж к жизни
В чужом краю — мое уж дело: ими
Я вас теперь и после не замедлю
Снабжать!

Имоджена

В тебе одном мне боги дали
Все утешение! Пойдем, немало
Придется нам еще подумать. Время,
Нам данное, мы превратим в добро:
Солдатом я примусь за это дело
И с царской храбростью покончу все!
Идем, прошу тебя.

Пизанио

Прекрасно, леди!
Но с вами я скорей расстаться должен,
Чтобы моя отлучка подозрений

Не возбудила в том, что я — причина
Побега вашего, моя принцесса!
Вот скляночка; ее мне королева
Дала; бесценно то, что в ней сокрыто!
Морская ль качка, боли ль живота
На суше поразят вас, вы примите
Одну лишь драхму этого, и все
Исчезнет. В тень же поскорее,
И одевайтесь вы мужчиной: боги
Да ниспошлют вам лучшее!..

Имоджена

Аминь!
Благодарю тебя! благодарю!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Комната во дворце Цимбелина.

Входят Цимбелин, королева, Клотен, Люций и лорды.

Цимбелин

Счастливый путь! Теперь прощайте, лорд!

Люций

Благодарю вас, лорд. Мой император
Мне пишет, чтобы я спешил отсюда.
Жаль, очень жаль, что я обязан вас
Его врагом смертельным объявить.

Цимбелин

Сэр! Мой народ не хочет покоряться
Его ярму, а нам не подобает
Пред ним самодержавьем поступаться!

Люций

Так, сэр. Затем прошу вас, дайте мне
Конвой до гавани Мильфордской. Леди,
И вы, желаю вам всех благ небесных!

Цимбелин

Милорды, вы отправитесь конвоем.
Не забывайте должного почтенья
К послу! Теперь прощай, достойный Люций.

Люций

(Клотену)

Лорд, вашу руку...

Клотен

Вот она, мой друг!
Но с этих пор она — твой неприятель.

Люций

Судьба решит, кто победит из нас.
Прощайте.

Цимбелин

Проводите же, милорды,
Вы доблестного Люция до самых
Границ Северна... Добрый путь, Кай Люций.

Люций и лорды уходят.

Королева

Он удалился в гневе; мы — причина
Всему, и это делает нам честь.

Клотен

Дела недурны!

(Охорашиваясь)

Храбрые британцы
Желали сами этого!

Цимбелин

Кай Люций

Писал отсюда к Цезарю о том,
Что между нас случилося; по этой
Причине мы должны скорей готовить
Орудия и всадников: войска,
Которые по Галлии стоят,
Он соберет незримо и нагрянет
На Англию.

Королева

Теперь дремать нельзя...
Начнем работать быстро и отважно!

Цимбелин

Мы это все предвидели и ныне
Уже готовы... Но, моя царица,
Где наша дочь? Она не выходила
При римлянах и нам не воздала
Обычных поздравлений с утром; в ней
Гораздо больше зла, чем доброты:
Мы это замечали! Позовите
Ее сюда; мы к ней уж слишком мало
Оказывали строгости...

Дежурный уходит.

Королева

Монарх!
Со времени изгнания Постума
Она жила в большом уединенье;
От этого, милорд, ее излечит
Одно лишь время. Умоляю вас,
Не будьте с ней в речах своих жестоки:
Она так сильно чувствует упреки,
Что строгие слова — смертельный яд
Для нежности ее.

Слуга возвращается.

Цимбелин

Ну, где ж она?
Чем можно извинить ее упорство?

Слуга

Ее покои заперты, милорд!
И как мы перед ними ни кричали,
Из них ответа не было.

Королева

Милорд,
Когда я к ней в последний раз ходила,
Она передо мною извинилась
В своем уединении, говорила,
Что к этому принудила ее
Болезнь и что за ней она не может
Платить вам ежедневно должной чести!
Она тогда поведала мне это,
Но, за придворной суетой, невольно
Мне изменила память.

Цимбелин

Как?! Все двери
У Имоджены заперты? Ее
С недавних пор никто не видел?.. Небо,
Молю тебя, пусть будет ложью то,
Чего я так боюсь!..

(Уходит.)

Королева

Клотен! ступай
За королем!

Клотен

Пизанио, слуги
Ее старинного, я также больше
Двух дней уже не видел.

Королева

Ну, ступай же,
Сыщи его!

Клотен уходит

Пизанио?.. Не тот ли,
Который так стоит за Леоната?
Мое лекарство у него! О, если б
Он проглотил его и потому
Отсутствовал! Он думает, что это —
Бесценное сокровище!.. Но где
Принцесса скрылась? Не тоска ль ее
Взяла? Иль, окрыленная любовным
Огнем, она к Постуму улетела?
Бесчестие иль смерть ее постигли,
В обоих случаях конец недурен...
Наследница престола умерла —
Ко мне корона царства перешла

Клотен возвращается.

Ну, что теперь, мой сын?

Клотен

Она бежала,
В том нет сомнения! Скорей идите,
Утешьте короля: он вне себя,
Никто к нему приблизиться не смеет

Королева

Все хорошо!.. О, если б эта ночь
Лишиться дня могла ему помочь!

(Уходит.)

Клотен

(Один)

Ах!.. Я люблю ее и ненавижу!
Она так царственна, так хороша...
У ней одной чудес природы больше,
Чем в каждой леди, чем у многих леди!

Чем вообще у всех на свете леди!
В ней собрано все лучшее из каждой
Красавицы, и потому она,
Как сумма всех красавиц, выше всех их!..
Поэтому-то я ее люблю!
Но с той поры, как злость ко мне и страсть
К уроду Леонату омрачили
Весь ум ее, испортили все то,
Что было у нее так дивно-нежно, —
Я ненавижу Имоджену, я
Готов ей отомстить без размышлений.
Когда глупцы решаются...

Входит Пизанио.

Кто здесь?
Как! Это ты, голубчик, строишь шашни?
Поди сюда... Так вот, кто наша сваха!
Злодей, где госпожа твоя? Ответствуй
На первом слове: иначе в мгновенье
Ты полетишь к чертям!

Пизанио

О, добрый лорд!..

Клотен

Где госпожа твоя? Не то Зевесом
Клянусь, тебя я больше не спрошу.
Немой злодей! Я тайну эту вырву
Из сердца твоего иль вырву сердце,
Чтоб отыскать ее! Она с Постумом,
В котором драхмы доблестей не выжмешь
Из кучи низостей?

Пизанио

Увы, милорд!
Как быть ей с ним? Давно ль она исчезла,
А он в Италии...

Клотен

Так где ж она?
Скорей к концу, без дальних запирательств:
Открой мне все... Что сделалось с принцессой?

Пизанио

Достойный лорд!

Клотен

Достойный негодяй!
Скажи мне сразу, где твоя принцесса,
На первом слове, без «достойных лордов»,
Скажи, не то молчание твое
Тебе смертельным будет приговором!

Пизанио

Здесь, сэр, в письме, история всего,
Что знаю я о бегстве Имоджены...
(Отдает ему письмо.)

Клотен

Давай сюда! Я погонюсь за ней
Вплоть до ступеней Августова трона!

Пизанио

(В сторону)
Одно из двух: иль это, или гибель[1],
Она довольно далеко; письмо же
Его запутает и ей не страшно...

Клотен

(Читая письмо)
Гм!!

---

[1] Джонсон влагает эти слова в уста Клотена, но они не согласуются с общим духом этой сцены.

Пизанио

Напишу к нему, что умерла
Она... О, Имоджена! Будь спокойна
В пути и к нам спокойно возвратись!

Клотен

А что, дружище, в письме-то подлога нет?

Пизанио

Конечно!

Клотен

Я знаю, это почерк Постума. Голубчик! Если ты не имеешь поползновения быть мошенником, если ты хочешь мне служить верою и правдою, исполнять с достойным рвением все поручения, которые только я возложу на тебя, то есть если ты будешь делать точно и неизменно всевозможные низости, которые я буду тебе заказывать, я тебя, любезнейший, стану считать честным малым; ты не будешь нуждаться в моей помощи и в моем голосе для твоей карьеры.

Пизанио

Согласен, мой добрый лорд...

Клотен

Ну, хочешь мне служить? Подумай: если ты с таким примерным терпеньем и постоянством угождал нагой фортуне этого убогого Постума, тебе легко из благодарности стать что ни на есть прилежным слугою моей фортуны! Говори, хочешь быть моим слугою?

Пизанио

Хочу, сэр.

Клотен

Давай же руку. Вот тебе мой кошелек. Имеется ли у тебя что-нибудь из платья твоего последнего господина?

Пизанио

Есть, милорд, у меня на дому то самое платье, в котором он был во время прощания с миледи Имодженой.

Клотен

Первая работа, какую ты сделаешь мне, вот в чем должна состоять: принеси, дружище, заветное платье сюда. Пусть это будет твоею первою услугой. Ступай.

Пизанио

Слушаю, милорд.

(Уходит.)

Клотен

Встретить тебя в Мильфордской гавани... Ах! Я и позабыл расспросить его об одной важнейшей вещице — как бы это вспомнить?.. Именно! Там я доконаю тебя, негодный Постум! Если бы это платье принесли скорее... Когда-то она проговорилась мне — и горечь этого до сих пор отзывается в моем сердце, — что худшая одежда Постума наполняет ее большим восторгом, чем моя джентльменская особа, со всеми приправами моих доблестей... В этой-то самой одежде на моей спине я прежде всего убью его, и убью перед ее собственными глазами; она увидит всю мою отважность и лопнет с отчаяния... Когда он растянется у моих ног и я, надругавшись над его трупом, насыщу мою страсть, в насмешку ей в том же платье, я прогоню ее пинками домой. Она веселилась, отвергнув меня, а я наслажусь моим мщеньем...

Пизанио возвращается с платьем.

Это то самое платье?

Пизанио

Точно так, мой благородный лорд.

Клотен

Сколько времени прошло с тех пор, как она дала тягу в Мильфорд?

Пизанио

Она теперь уже там...

Клотен

Отнеси же этот наряд в мою спальню, и да будет тебе известно, что это мой второй тебе приказ! Третий состоит в том, что ты должен быть нем в отношении моих планов. Смотри же, исполни все, как надо, и вернейшее повышение будет тебе наградою! Месть моя теперь прогуливается в Мильфорде! О, когда б у меня были крылья, полетел бы я вслед за нею!.. Ступай и будь честен!

(Уходит.)

Пизанио

(Один)

Ты дал мне приказание погибнуть!
Затем, чтоб верным быть тебе, чего
Я не осмелюсь сделать, значит быть
Лжецом перед честнейшим из людей!
Ступай в Мильфорд, ты там уж не отыщешь
Той, за которой гонишься! Сойдите,
Благословенья неба, на нее!..
Пусть медленность скрестит Клотену ноги
И да убьет его среди дороги!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Долина перед пещерою Беллария.

Входит Имоджена в мужском платье.

Имоджена

Печальна жизнь людей! Я утомилась,
Две ночи мне земля была постелью.....

Я заболела б, если б не моя
Решительность!.. Когда Мильфорд с горы
Мне указал Пизанио, он казался
Вблизи... О, Зевс! Неужели жилища
Бегут от бедняков, едва они
В них захотят укрыться от ненастья?
Меня два нищих нынче уверяли,
Что я не заблужусь; народец этот
Солгал, а между тем, страдает сам
И знает, что такое суд и пытка!..
Нет чуда, если нынче богачи
Без меры лгут; солгать от нищеты
Не так ужасно, как солгать от жиру:
Ложь богачей грешнее лжи убогих!
Мой милый муж! Ты ныне также лжец...
Едва тебя я вспомнила, мой голод
Исчез невидимо, а перед этим
Я от него едва могла стоять!
Что тут такое?.. Горная тропинка!
Уж не жилище ль это дикаря?
Нет, лучше мне не кликать никого...
Мне страшно отозваться... Голод, прежде
Чем умертвить природу, придает
Ей храбрости... Довольство и покой
Разводят трусов; крепость же и сила —
Мать крепостей...[1] Эй! Кто тут? Если тварь
Из общества людей — так говори!
Когда ж дикарь — «возьми или подай!»
Эй! Нет ответа... Ну, так я войду!..
Но прежде выну меч, и если враг мой,
Подобно мне, его боится, он

---

[1] Здесь наивная, резонерствующая красавица острит: слово «hardness» значит «крепость, сила», а слово «hardiness» — «крепость, форт, цитадель».

Не взглянет на него... О небо, дай мне
Таких врагов!

(Входит в пещеру.)

Из леса выходят Белларий, Гвидерий и Арвираг

Белларий

Ты, Полидор, был лучший из ловцов,
Поэтому ты — царь трапезы нашей!
А мы с Кадвалом разыграем роль
Слуги и повара: таков у нас
Был уговор. Искусство и работа
Без цели портятся и загнивают!
Пойдем; желудки наши все приправят...
Усталость спит на камнях, лень же часто
Суровыми находит и подушки!
Да будет мир с тобой, наш скромный домик,
Ты сам свой сторож!

Гвидерий

Я устал ужасно...

Арвираг

Я ж духом слаб, но голод мой силен!

Гвидерий

В пещере есть холодная похлебка:
Закусим-ка слегка, пока зажарим
То, что убили мы.

Белларий

(Смотря в пещеру)

Стой, не входи!..
Когда бы нашей пищи он не ел,
Я принял бы его за фею!..

Гвидерий

Что там?

Белларий

Клянусь Зевесом, это дух! А если
Не он, так уж как раз земное диво!
Как будто божество, а между тем,
Не старше мальчика...

Входит Имоджена.

Имоджена

О, будьте так
Добры, не обижайте сиротинку!
Я кликал прежде, чем сюда вошел;
Хотел спросить или купить того,
Что взял я здесь... Свидетель Бог! Я крошки
У вас не утащил бы, если б даже
Вы золотом усыпали пещеру!
Вот деньги за обед: я на столе,
Покушавши, оставить их хотел,
Чтоб на пути молиться за хозяев.

Гвидерий

Как! деньги, милый мальчик?

Арвираг

Серебро
И золото, скорее, грязью станут...
Их почитают только те, которым
Навоз ценней всего...

Имоджена

Я вижу, вы
Разгневались. Но знайте, если б смерти
Вы за вину не предали меня,
И без вины скончался б я сегодня!

Белларий

Куда же ты идешь теперь?

Имоджена

В Мильфорд.

Белларий

А как тебя зовут?

Имоджена

Фидельо, сэр!
Один мой родственник поехал в Рим
И должен отправляться из Мильфорда;
Я шел теперь к нему, но сильный голод
Меня подсек, и я свершил проступок.

Белларий

Прошу тебя, мой несравненный мальчик,
Не принимай нас за зверей, не меряй
По нашему жилищу наших чувств!
Будь добрым гостем!.. Ночь не за горами....
Ты на дорогу должен хорошенько
Покушать... Погоди ж и закуси:
Ты этим нас обяжешь много! Дети,
Просите гостя.

Гвидерий

Если б ты, малютка,
Был женщиной, я страшно б за тобой
Ухаживал, тебе служить желал бы
И честно бы купил твою любовь!

Арвираг

Я ж утешаюсь тем, что он мужчина;
Люблю его, как брата, и встречаю,
Как друга, после тягостной разлуки.

Добро пожаловать! Будь весел! Ты
Среди друзей своих...

Имоджена

(В сторону)

Среди друзей!..
О, если б между братьев! Если б в них
Отец мой сыновей своих увидел!
Тогда б упала я в цене, и вес мой
Сравнялся бы с тобою, Леонат!

Белларий

Он грустен.

Гвидерий

Если б мне его утешить!

Арвираг

И я готов, что ни случилось бы,
Каких бы это страхов и забот
Ни стоило!

Белларий

Послушайте-ка, дети.

(Шепчутся втроем.)

Имоджена

Властители земли, дворцы которых
Не более пещеры этой, слуги
Которых вечно сами же они
И к добродетелям которых совесть
Сама везде печати приложила.
Так что они в дарах толпы кичливой
Нужды не знают, вряд ли этих двух
Способны превзойти!.. Простите, боги!
С тех пор, как Леонат мой стал неверен,

Я изменяю пол свой для того,
Чтоб быть в их обществе.

Белларий

(Вслух)

Так точно, дети.
Пойдемте, приготовим нашу дичь.
Иди и ты, прекрасный мальчик: трудно
Голодному рассказывать; когда ж
Мы кончим ужин свой, тебя мы скромно
Попросим нам твою поведать повесть,
Насколько ты захочешь говорить.

Гвидерий

Войди, прошу тебя.

Арвираг

Ты нам любезней,
Чем ночь сове, а жаворонку утро.

Имоджена

Благодарю вас всех.

Арвираг

Итак, войди же!
(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Рим. Форум.

Входят два сенатора и трибуны.

Первый сенатор

Вот все, что объявил нам император:
Солдаты наши в действии теперь,

В стране паннонцев и далматов; войско,
Что в Галлии стоит, не столько сильно,
Чтоб с ним идти войною на восставших
Британцев: мы должны для этой цели
Патрициев поднять!.. Он повелел
Проконсулом быть Люцию, а вам,
Трибуны, поручил скорей окончить
Набор. Да здравствует великий Цезарь!

Трибун

И Люций будет командиром войска?

Второй сенатор

Так точно.

Трибун

Люций в Галлии теперь?..

Первый сенатор

С тем самым войском, о котором я
Сказал, что ваш набор его пополнит!
Слова приказа все распределяют:
Число набора и последний срок
Похода...

Трибуны

Мы исполним все, как должно!

(Удаляются.)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лес близ пещеры.

Входит Клотен.

Клотен

Я приблизился к месту, где они должны встретиться, если Пизанио верно начертил мне его план. Как ко мне пристало его платье! Отчего же не прийтись мне по мерке и его возлюбленной, которая сотворена тем же, кто сотворил портных? По молве, всякая женщина приходится по мерке тому, кто подладится под меру ее вкуса! Разыграем же наше дельце. Я должен признаться — потому что это вовсе не тщеславие, если человек и его зеркало войдут в тесные сношения, я хотел сказать, в своей собственной комнате, — признаться, что формы тела у меня так же изящны, как и у него: я не старше его и в то же время сильнее, я не уступлю ему в богатстве и, рядом с этим, много счастливее его в выгодах положения общественного; я выше его по происхождению, искуснее в светском обращении и в единоборстве; и эта легкомысленная голова любит его в мой ущерб! Таковы-то все вы, о смертные человеки! Постум, твоя голова теперь торчит на плечах, а через час она слетит оттуда; твоя одежда разлетится в клочки перед ее лицом; по свершении же всего этого ее погонят домой, к ее отцу, который, пожалуй, немного и посердится на меня за этот строгий по-

ступок, но моя матушка справляется с его заносчивостью и все поправит в мою пользу. Конь мой привязан надежно. Меч, вылезай на кровавое дело! Фортуна, дай мне их в мои руки! По описанию, это, вероятно, место их встречи; простяк не мог меня обмануть...

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Перед пещерою.

Выходят из пещеры Белларий, Гвидерий, Арвираг и Имоджена.

Белларий

(Имоджене)

Вы нездоровы; подождите здесь,
В пещере; мы зайдем к вам после ловли.

Арвираг

(Имоджене)

Брат, подожди... Ведь мы с тобою братья?

Имоджена

Все люди братьями должны считаться,
Но персть земная перед перстью часто
Гордится, позабыв, что обе — персть. Я болен.

Гвидерий

(Отцу и братьям)

Охотьтесь вы, а я останусь с ним.

Имоджена

Я нездоров, но не в такой уж силе,
Не так, как гражданин женоподобный,
Который не успеет заболеть,
Как уж дрожит и трусит умереть...
Поэтому прошу меня оставить

И приниматься за дневной ваш труд:
Расстроить дорогой обычай — значит
Расстроить все! Я болен; но, оставшись
Со мной, вы тем не в силах мне помочь!
Общественность — не утешенье тем,
Кто чужд общественности; неопасна
Болезнь моя с тех пор, как я о ней
Могу судить. Итак, прошу вас, вверьте
Меня пещере вашей; я могу
Украсть лишь одного себя; но если
Скончаюсь я, так это воровство
Невелико!

Гвидерий

Тебя я обожаю —
И это я не раз уж говорил —
Сильней и жарче, чем любил бы я
Отца родного!

Белларий

Что такое? как?!

Арвираг

Когда грешно так выражаться, я
Себя к поступку брата приобщаю!
Не знаю, почему я так люблю
Фиделио!.. Вы сами говорили,
Что в рассужденьях страсти нет рассудка...
Когда б стоял у двери страшный гроб
И у меня спросили бы, кто должен
Скончаться, я ответил бы: отец,
А не прекрасный юноша!

Белларий

(В сторону)

О, диво
Природы! голос царственного духа!

О, детище достойного величья!
Трусливость — мать трусливости, а низость
Рождает низость, у природы есть
Мякина и мука, краса и гадость...
Я не отец им! Кто же этот мальчик?
Он удивляет их, они его
Сильней меня отныне любят.
(Громко)
Дети,
Уже девятый час.

Арвираг

Прощайте, брат.

Имоджена

Желаю вам успеха на охоте.

Арвираг

А я желаю вам здоровья. Сэр,
Идемте! в путь!..

Имоджена

(В сторону)
Добрейшие созданья!
О, боги! Сколько лжи мне насказали!
Льстецы меня уверили, что все,
Чего нет в городах, ужасно дико...
Но, опыт, ты их речи опроверг!
Победные моря рождают гадов,
А речки производят вкусных рыб!..
Я очень болен: сердце нездорово...
Пизанио, теперь я испытаю
Твое лекарство!

Гвидерий

Он мне ничего
Не захотел раскрыть; он говорил:

«Я благороден, но постигнут горем,
Я удручен бесчестием, но честен!»

Арвираг

Он то же мне поведал, но прибавил,
Что я впоследствии узнаю больше.

Белларий

В поля, в поля: мы вас пока оставим;
Идите же в пещеру, ждите нас.

Арвираг

Мы ненадолго вас покинем.

Белларий

Будьте ж
Здоровы, умоляю вас; вы нашей
Хозяюшкой останетесь.

Имоджена

Здоров ли,
Иль нездоров я буду: я ваш друг!

Белларий

И так всегда да будет!

Имоджена уходит.

Этот мальчик
Мне кажется отродием богов,
Хоть и томится тяжкой он бедою.

Арвираг

Как горный дух, он нежно распевает.

Гвидерий

А как его стряпня щеголевата!
Коренья он фигурками изрезал

И заварил такой бульон, что, право,
Когда б сама Юнона заболела,
Богиню он как раз бы излечил!

Арвираг

Как часто он с улыбкой вздох мешает!
Ну, точно, словно вздох о том грустит,
Что он не может быть ее улыбкой!..
Улыбка же над вздохом все трунит,
Что из такой святыни он летит,
И хочет породниться с буйным ветром,
Которого не любят так матросы.

Гвидерий

Мне кажется, что горе и терпенье
В нем возросли и заплелись корнями.

Арвираг

Расти ж, терпение! А ты, загнивший
Старик, несчастие, убей свой плод —
И юный виноград да зацветет!

Белларий

Давно уж день. Идем вперед. Кто здесь?

Входит Клотен.

Клотен

Не в силах я настигнуть беглецов.
Мошенник надо мною подсмеялся!
Я утомлен ужасно.

Белларий

(В сторону)
Беглецов?
Не мы ли? Я его отчасти знаю...
Когда бы нам в ловушку не попасть!

Я много лет его уже не видел,
Но, кажется, теперь его узнал..

(Громко)

Законы нас не пощадят; бежим!

Гвидерий

Но он один!.. Ступайте лучше с братом
И посмотрите, нет ли здесь конвоя?
Вперед, прошу вас! Я же с ним останусь.

Белларий и Арвираг уходят.

Клотен

Стой!.. Кто вы, что бежите от меня?
Должно быть, негодяи горцы?.. Я
Наслышался о вас... Эй, кто ты, трус?

Гвидерий

Я в жизнь свою не делал вещи низкой;
На имя «трус» всегда я отвечал
Ударом.

Клотен

Ты — разбойник, ты — преступник,
Ты — негодяй! Сдавайся, гнусный вор!

Гвидерий

Кому? Тебе? Да кто же ты такой?
Или твой меч длиннее моего?
Иль сердце у тебя побольше?.. Речи
Твои, я сознаюся, велики;
А я кинжала не ношу во рту...
Скажи ж, кто ты такой? Кому мне сдаться?

Клотен

Ах, низкий ты злодей! И по одежде
Меня ты не узнал?

Гвидерий

Так точно, друг,
И твоего портного я не знаю;
Портной тебе был дедом: он родил
Твою одежду, а она, как видно,
Тебя произвела.

Клотен

Слуга неверный!
Не мой портной одежду эту сшил.

Гвидерий

Так прочь поди и поклонись тому,
Кто подарил тебе одежду эту.
Ты глуп! Тебя не в силах я прибить.

Клотен

Негодный вор! Узнай, кто я такой,
И трепещи!

Гвидерий

Что ж у тебя за имя?..

Клотен

Я... я... Клотен, мерзавец!

Гвидерий

Будь вдвойне
Клотен мерзавец — этого не струшу...
Паук, змея, скорее б испугался!

Клотен

Так знай же — тем тебя я доконаю —
Я — королевы сын!

Гвидерий

Как жаль, бедняга,
Что вышел ты не в мать и не в отца!

Клотен

Что же не трепещешь ты?

Гвидерий

Я только умных
Боюсь, а дуракам смеюсь в лицо.

Клотен

Умри ж! Когда же собственной рукою
Убью тебя, я погонюсь за теми,
Что убежали, и на воротах
Могучей Люды головы злодеев
Воткну... Сдавайся, непокорный горец!

Уходят, сражаясь.

Входят Белларий и Арвираг.

Белларий

В окрестности я никого не видел.

Арвираг

Нет ни души! Вы, верно, в нем ошиблись!

Белларий

Не знаю, как сказать. Уж много лет
Прошло с тех пор, как я его не видел;
Но от годов черты его лица
Ничуть не стали лучше: тот же голос
Порывистый и та ж охриплость речи...
Я убежден, что это был Клотен!

Арвираг

Мы их оставили на этом месте...
Когда бы брат Клотена не обидел!
Вы говорили, что Клотен горяч...

Белларий

Он мало так развит для человека,
Я думаю, что вряд ли в толк возьмет,
Что значит ярый ужас; только сила
Ума дает уразуметь опасность...
Но посмотри, твой брат!

Входит Гвидерий с головою Клотена.

Гвидерий

Хвастун был глуп:
Порожний кошелек, без крошки денег;
Сам Геркулес не мог бы из него
Частицы мозгу выжать: он был пуст!
Когда бы я не поступил, как надо,
Глупец мою бы голову понес,
Как я несу его...

Белларий

Ах! Что ты сделал?!

Гвидерий

Он звал меня изменником, злодеем,
Клялся, что собственной рукой убьет
Всех нас и наши головы снесет
Долой с тех плеч, где, милостью богов,
Они красуются, и на воротах
Могучей Люды их воткнет.

Белларий

Мы все
Погибли!

Гвидерий

Что же нам, отец достойный,
Еще терять возможно, кроме жизни,
Которую отнять он поклялся?
Законы нас с тобой не защитят;
Зачем же нам бесславно покоряться,
Чтоб нас судил и был нам палачом
Кусок говядины, из-за угроз закона?
Нашли ли вы кого-нибудь в лесу?

Белларий

Мы ни души вокруг не отыскали;
Но я наверно знаю, он не мог
Явиться без конвоя! Ежечасно
Он изменял свой нрав, переходя
От злого к худшему; но ни безумство,
Ни бешенство его так далеко —
И одного притом — не завлекли бы!..
Поэтому, быть может, при дворе
Узнали, что живут в лесу, в пещере,
Похожие на нас ловцы; что эти
Ловцы со временем составить могут
Мятежную толпу; услышав это,
Он, по привычке, вышел из себя,
Дал клятву, что прогонит нас из леса,
И, вероятно, бросился один —
По храбрости ль своей, иль потому,
Что так ему дозволили; и должно
Бояться, как бы у такого тела
Хвост не был бы опасней головы!..

Арвираг

Пускай идет беда, по воле неба,
Мой брат был прав, его я не виню.

Белларий

Сегодня я охотиться не думал:
Фиделио, бедняжка, захворал,
Болезнь его меня тревожит сильно!

Гвидерий

Его ж мечом, которым он махал
Над головой моей, я ловко снял
С безумца голову; пойду, заброшу
Ее в залив, что за утесом нашим;
Пускай она плывет себе морями
И каждой рыбе говорит, что это —
Остаток храбреца! Мне все равно...
(Уходит.)

Белларий

Боюсь, чтобы не отомстили нам!
Желал бы я, чтоб милый Полидор
Не сделал этого! хотя отвага
К его лицу пристала так...

Арвираг

О, если б
Я это сделал и подвергся мести
Один! Я Полидору братски предан,
А между тем завидую ужасно,
Что он меня ограбил в этом деле...
Желал бы я, чтоб месть, какую только
Возможно силе встретить, к нам явилась
И на ответ меня с ним позвала!

Белларий

Ну, дело сделано: мы нынче больше
Охотиться не будем и без цели
Опасностей не станем накликать.
Прошу тебя, ступай скорей в пещеру

И помоги Фиделио в стряпне.
Я ж подожду прихода Полидора
И позову его обедать с нами.

Арвираг

Фиделио, бедняжка, мой больной!
От всей души к тебе я поспешу:
Чтоб возвратить тебе румянец прежний,
Я сотне храбрецов таких готов
Посбавить крови и еще начну
Хвалиться кротостью моей!..

(Уходит.)

Белларий

Богиня,
Бессмертная природа! Как твой образ
Отпечатлен на царственных птенцах!
Их нрав нежнее ветерка, который
Лепечет вкруг фиалки, не сгибая
Ее головки сладостно-душистой;
И, между тем, чуть царственная кровь
Зажжется, этот нрав и дик, и бурен,
Как ветер, от которого сосна
Нагорная свою вершину клонит
И падает в долину... Чудеса!
Незримое чутье без всякой книги
Их царственным приемам научает:
Без руководства в них вселяет честь,
Без постороннего примера — знанье
Приличий светских; наконец, отвага
Растет в них пышно и дает плоды,
Как будто кто отвагу эту сеял!
Но больше странно то, зачем Клотен
Сюда пришел и что пророчит нам
Его конец печальный?

Возвращается Гвидерий.

Гвидерий

Где мой брат?
Башку врага пустил я по теченью,
А труп его залогом к возвращенью
У нас останется!

Слышны торжественные звуки печальной гармонии.

Белларий

Мой инструмент
Заветный! Полидор, ты слышишь, он
Играет! Для чего Кадвал привел
Его в движение? Послушай!

Гвидерий

Разве
Он дома?

Белларий

Он сейчас туда вошел.

Гвидерий

Что ж он задумал? С той поры, как наша
Бедняжка-матушка скончалась, я
Не слышал музыки его. Событьям
Торжественным торжественные знаки
Предшествуют. Что ж это предвещает?
Восторг из пустяков и грусть из шутки —
Забава обезьян и плач мальчишек!
Уж не с ума ль сошел Кадвал?

Возвращается Арвираг, неся на руках Имоджену в летаргическом сне.

Белларий

Взгляни,
Вот он идет и на руках несет
Причину наших строгих порицаний.

Арвираг

Скончалась птичка, о которой так
Мы убивались! Лучше б я мгновенно
С шестнадцати на шестьдесят годов
Перескочил и быстрые шаги
Сменил клюкой, чем это все мне видеть!

Гвидерий

О, сладкая, прелестная лилея!
Ты на стебле была милее вдвое,
Чем на руках у брата моего.

Белларий

О, горе, о, печаль! Кто может бездну
Твою измерить? Кто отыщет берег,
Который бы для тягостных забот
Представить мог надежнейшую пристань?
Блаженное дитя! Юпитер знает,
Какой бы из тебя развился муж
Впоследствии! Тебя во гроб вогнали
Мучения довременной печали...
Бесценный мальчик! Как его нашли вы?

Арвираг

Без жизни, как теперь: с улыбкой, словно
Его во сне пощекотала мушка,
А не стрела смертельная; от этой
Причины и смеялся он, склонившись
На изголовье правою щекой...

Гвидерий

Где?

Арвираг

На полу — и так сложивши руки!..
Мне показалось, что малютка спит!

И снял я с ног подкованную обувь,
Которой тяжесть чересчур уж громко
Моим шагам пугливым отвечала!..

Гвидерий

Да, он заснул! а ежели скончался,
Так он могилу обратит в постель:
И феи чудные к нему на гроб
Слетаться станут, и его не тронет
Могильный червь!..

Арвираг

Душистыми цветами
Всю жизнь свою, пока сияет лето,
Я стану гроб Фидельо убирать:
Не будет он нуждаться ни в веснянках,
Цветочках бледных, как его лицо;
Ни в гиацинтах, голубых, как жилки
Его руки; ни в листьях алых роз,
Которых аромат (не в порицанье
Будь это сказано) гораздо хуже
Его дыханья; это все наносит
Ему щегленок милосердным клювом,
И слабый клюв щегленка пристыдит
Наследников, которые в довольстве
Без монументов оставляют гробы
Своих отцов!.. Когда ж цветы пройдут,
Его могилке зимнюю одежду
Пушистый мох заменит у меня!

Гвидерий

Прошу тебя, довольно, не играй
Женоподобными словами в деле
Высокой важности! Пойдем схороним
Его: к чему откладывать наш долг
Из-за ненужных возгласов... К могиле!

Арвираг

Но где, скажи, его нам положить?

Гвидерий

Близ нашей матушки, близ Эрифилы.

Арвираг

Охотно, Полидор; притом, хотя
С летами огрубел наш нежный голос,
Мы пропоем ему над гробом песню,
Как некогда над матушкой мы пели;
Пусть будет та же песнь и те ж слова —
Лишь имя Эрифилы нам заменит
Фиделио!

Гвидерий

Кадвал, я не могу
С тобою петь; я буду плакать
И повторять одни твои слова:
Рыданием расстроенная песня
Тяжка, как лицемерная молитва!

Арвираг

Изволь, мы нашу песнь проговорим.

Белларий

Я вижу, грусть тяжелую врачует
Печаль, которая еще тяжеле!..
Наш храбрый враг забыт... А между тем,
Он, кажется, был знатен и богат!
Да, дети, он явился к нам, враждуя;
Но вспомните, он пострадал за это!..
Хотя бессилие и сила, вместе
Истлев, становятся все тем же прахом,
Благоговение, сей ангел мира,
Различие творит в местах величья

И низости... Бедняк пришлец, как видно,
Был знатен; он явился к нам врагом,
И вы его за то лишили жизни;
Теперь же вы его должны по сану
Похоронить.

Гвидерий

Прошу вас, принесите
Его сюда. Безмолвный труп Терсита
Аяксу не уступит, если оба
Они скончались[1].

Арвираг

Вы за ним идите,
А мы проговорим покуда песню
Свою: начни же, брат!

Белларий уходит.

Гвидерий

Нет, погоди,
Кадвал: его чело сперва к востоку
Положим; батюшка на то причины
Имеет![2]

---

[1] Thersites и Ajax. Терсит — урод, насмешник и плут. Его убил Ахиллес ударом кулака за его насмешки над теми из греков, которые плакали у изголовья умирающей Пентезилеи. Аякс, сын князя Саламинского, знаменит своею борьбою с Гектором. Сраженный Улиссом в борьбе за оружие Ахиллеса, он убил, вместо врага своего, невинного бычка и, увидев свою ошибку, с досады закололся.

[2] Великий автор «Цимбелина», сознавая, в какую эпоху действуют у него герои этой драмы, в лице язычника Беллария создал человека, который, как и все общество, современное империи Августа, был готов к принятию Божественного учения Христа. Самый поступок Беллария, забвение неправедного своего изгнания и тщательное воспитание детей Цимбелина, потом все речи его и, наконец, заступничество за британского короля и спасение его от меча римлян — уже чисто христианские идеи и христианские поступки.

Арвираг

В самом деле.

Гвидерий

Подойди же
И помоги мне приподнять.

Арвираг

Ну, с богом...

Надгробная песня.

Гвидерий

Не бойся солнечного зноя,
Не бойся зимних холодов,
Ты низошел под сень покоя,
Ты принял дань земных трудов!
Краса и юность — все сгниет,
Всех гробовщик переживет!

Арвираг

Не бойся лютости кичливых,
Нам не страшна тиранов злость!
Не заводи одежд красивых:
Тебе равны и дуб, и трость!
Искусство, мудрости венец,
Как ты, истлеют, наконец.

Гвидерий

Не бойся молнии падучей!

Арвираг

Не бойся ужасов грозы!

Гвидерий

Не бойся зависти ползучей!

Арвираг

Не жди ни счастья, ни слезы!..

Оба

Весна души, любовь — умрет,
Всех гробовщик переживет!

Гвидерий

Тебя не тронут чары!

Арвираг

Колдун не околдует!

Гвидерий

Мертвец не поцелует!

Арвираг

Минуют зла удары!

Оба

Забвенье и покой
Да будут над тобой!..

Белларий возвращается с телом Клотена.

Гвидерий

Мы нашу песню кончили; кладите
Его сюда.

Белларий

Вот несколько цветов;
Я к ночи соберу вам больше: травы,
Покрытые холодною росой,
Всего скорей идут для украшений
Могил!.. На груди их цветов насыпьте:
Вы были те ж цветы, теперь же вы

Завяли; так завянет, наконец,
И из цветов нагробный ваш венец!..
Уйдем отсюда, станем на колени:
Земля дала их миру, и она же
Их заберет назад... Для них прошло
И счастье добродетели, и зло!

Уходят Белларий, Гвидерий и Арвираг

Имоджена

(Просыпаясь)

Так точно, сэр, в Мильфорд!..
.А где ж дорога?
Благодарю!.. Все через лес? Прошу вас,
Скажите, как отсюда далеко?
Святые боги! Неужель шесть миль?
Всю ночь я шла без отдыха. По правде,
Мне лучше лечь и отдохнуть немного...
Нет, стой! товарища не нужно мне!

(Увидя труп)

О, боги и богини! Здесь цветы —
Подобие земного наслаждения,
И рядом с ними — труп, эмблема горя!
Но, я надеюсь, это — грезы сна!
Мне виделось, что я была в пещере
Хозяйкою и поваром двух честных
Созданий; нет, все это невозможно;
Стрела-ничто вонзилася в ничто;
Все это мозг из воздуха настроил!..
Правдивые глаза у нас нередко,
Подобно нашему рассудку, слепы!
Клянусь, я вся от ужаса дрожу;
И если ныне в небесах осталась
Хоть капля милосердия, не больше
Зрачка малиновки, святые боги,
Пошлите мне частицу милосердья!

А сон еще все тут; когда же я
Проснусь, он вне меня блуждает, словно
Во мне самой: не в мыслях, в самых чувствах!
Безглавый человек. В плаще Постума!
Я узнаю черты его ноги...
Его рука! Меркурия ступня!
Стан Марса и осанка Геркулеса!
Но где же лик Юпитера?.. Убийство
На небесах свершилось! Нет его!..
Пизанио! Проклятия безумной
Гекубы, устремленные на греков,
С моими вместе, пусть тебя замучат!
Ты, с беззаконным демоном, Клотеном,
Убил милорда... Чтенье и письмо
Все с этих пор исполнено измены!
Пизанио проклятый — эти письма
Коварные — Пизанио проклятый!
У лучшего на свете корабля
Срубили мачту главную! Постум,
Где голова твоя? Увы! где это?
Где, где она? Пизанио мог и в сердце
Тебя пронзить, а голову твою
Тебе оставить... Как случилось это?
Пизанио с Клотеном, зло и похоть,
Мне это горе завещали в нем...
О, это ясно, ясно! Отдавая
Мне свой состав, он уверял меня,
Что от него могу я излечиться;
А не нашла ли я его смертельным
Для чувств? О, это самый лучший довод!
Пизанио с Клотеном здесь виной...
Позволь же мне окрасить бледность щек
В твоей крови, чтоб мы еще ужасней
Казались тем, кто нас в трущобе этой
Случайно встретит!.. О, милорд, милорд!

Входят Люций, Капитан и другие римские офицеры; за ними Гадатель.

Капитан

По приказанью вашему, войска,
Которые в Бургундии стояли,
Пройдя пролив, явилися в Мильфорде
И ожидают вас на кораблях;
Они готовы.

Люций

Что из Рима пишут?

Капитан

Сенат созвал патрициев и римских
Соседей; храбрость этих новобранцев
Нам обещает многие услуги;
Они сюда стремятся под начальством
Якима, брата старого Сиенны.

Люций

Когда их ждете вы?

Капитан

С попутным ветром.

Люций

Такая быстрота немало светлых
Надежд влагает в нас. Велите всем
Войскам произвести парадный смотр;
Пускай следят за этим капитаны...
(Гадателю)
Ну, сэр, что снилось вам в последний раз
О предприятиях этого похода?..

Гадатель

Прошедшей ночью боги мне послали
Видение; молитвой и постом
Уразумел я тайное виденье!
Мне снилося: Юпитерова птица,
Орел Италии, оставил Юг
И, полетев сюда, на дикий Запад,
В сиянии небесном потонул...
Когда мой дух не ослеплен грехами,
Все это предвещает нам успех.

Люций

Почаще так дремли и никогда
Не ошибайся! Стой... Что здесь за пень,
Без головы? Развалины гласят,
Что здание когда-то было славно...
Как! паж! Он умер или только дремлет?
Скорее, умер: жизнь не ляжет спать,
Как здесь, с умершим на одну кровать.
Взгляните мальчику в лицо.

Капитан

Он жив!

Люций

Так пусть же он о мертвеце расскажет.
Эй, юноша! поведай нам свою
Судьбу; она, мне кажется, достойна
Вопроса: расскажи, кого избрал
Ты для себя кровавым изголовьем?
Кто мастерство природы благородной,
Красивый этот образ изменил?
Чем ты участвуешь в крушенье этом?
И как оно произошло? Кто ж он?..
Кто ты?..

Имоджена

Я, сэр, ничто; когда же это
Не так, я сам желаю быть ничем!
Мой господин был истинно отважный
Британец и достойный человек:
Его убили горцы; нет на свете
Еще таких господ; я обойду
Весь божий мир от запада к востоку,
Крича, моля о службе, встречу много
Достойных властелинов, буду всем
Служить по правде, только никогда
Я не найду подобного владыки!

Люций

Увы, мой добрый мальчик! Ты меня
Своими воплями растрогал так же,
Как твой хозяин кровью; добрый друг,
Поведай нам его прозванье.

Имоджена

Ричард
Дю-Шан.

(В сторону)

Я лгу, но ложь моя безвредна,
И если боги слышали ее,
Они меня простят, как я надеюсь!
Что говорите вы?

Люций

Как звать тебя?

Имоджена

Фиделио[1].

---

[1] Это имя происходит от слова «Fides» — «честность, верность, добрая совесть».

Люций

Ты милое прозванье
Собою оправдал, твое старанье,
Твой долг и имя у тебя рифмуют!..
Святая верность и святое имя!
Не хочешь ли ко мне ты перейти?
Не говорю, чтоб господин твой новый
Был столько же хорош; но верь, тебя
Не менее любить он станет. Если б
Сам император римский написал
Мне о тебе, чрез консула, порука
Его не так меня бы убедила,
Как сам ты, друг, с достоинством твоим.
Идти же к нам.

Имоджена

С охотою, но прежде —
И пусть богам угодно будет это —
Я господина моего от мух
Запрятать постараюся, чуть только
Сумеют вырыть гроб вот эти ногти,
Потом его могилу я усыплю
Листочками и дикими цветами;
Прочту над нею сотни две молитв,
Какие только знаю; стану плакать,
Вздыхать, прощусь с его бесценной службой,
И уж тогда за вами я пойду,
Когда меня принять вы захотите...

Люций

Да, добрый юноша, не господина,
Отца родного встретишь ты во мне.
Друзья мои! обязанности наши
Малютка нам припомнил: поскорей
Отыщем луг красивых маргариток
И выроем концами наших пик

И палашей походную могилу.
Пойдем! ты нас заставил полюбить
Его и как солдата схоронить.
Утри ж свои хорошенькие глазки:
Вслед за бедой судьба дарит нам ласки!

Уходит.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Комната во дворце Цимбелина.

Входят Цимбелин, придворные и Пизанио.

Цимбелин

Идите и узнайте, лучше ль ей?..
Она в горячке с той поры, как скрылся
Несчастный сын ее; она в безумстве,
И жизнь ее в опасности! О, боги!
Как разом вы измучили меня!
Исчезла ты, бедняжка Имоджена,
Ты, лучшая моя отрада в жизни!
Жена моя на безнадежном ложе;
Мне угрожает страшная война,
А сын ее, который нам так нужен
В годину бедствий, скрылся без следа!
Я поражен, я потерял надежды
Отрадные... Но ты, сообщник зла,
Ты, верно, знаешь, где она укрылась,
И хочешь нас уверить, что не знаешь:
Твое признанье страшные мученья
Исторгнут!

Пизанио

Жизнь моя в руках у вас;
Что ж до моей высокой госпожи
Касается, я ровно ничего

Не знаю, где она, куда укрылась
И возвратится ль к вам когда-нибудь!
Я вашему величеству, поверьте,
Мой государь, всей правдою служил!

1-й лорд

Добрейший государь, в тот день, как наша
Принцесса скрылась, он был при дворе:
Ручаюсь вам, он неподкупно верен
И вечно долг свой честно исполнял!
Что ж до Клотена — все старанья наши
Употребили мы, и он на днях
Найдется, без сомненья!..

Цимбелин

(Пизанио)

Время бурно!..
На этот случай мы тебе пропустим!
Но подозренья наши не умрут.

1-й лорд

Великий государь, отряды римлян
Из Галлии сошли на берега
Британии! На подкрепленье им
Сенат прислал патрициев свободных.

Цимбелин

Теперь нуждаюсь я в совете сына
И королевы! Я теряюсь в бездне!..

1-й лорд

Добрейший государь, приготовленья
Твои не только то, о чем ты слышал,
Способны встретить: приходи громады
Обширнее, ты и для них готов!
Нам только стоит дать движенье силам,
Которые так долго ждут его...

Цимбелин

Благодарю вас! поспешим отсюда
И встретим бурю так, как к нам она
Является. Не римские угрозы
Опасны нам: меня терзает горе
Домашнее. Пойдем.

Уходят.

Пизанио

Ни одного
Письма не получал я от Постума
С тех пор, как написал ему о мнимой
Кончине Имоджены. Это странно!
О ней я также слухов не имею,
В то время, как она дала обет
Почаще мне писать, и о Клотене
Я ничего не знаю!.. Это все
Меня терзает! Но да будет воля
Богов! Я лжив и в то же время честен!
Неверен я для верности святой!
Пусть близкая война увидит силу
Моей любви к отечеству; король
Узнает преданность мою, не то
Погибну я в безжалостном сраженьи!
Сомнение с годами пропадет —
И к пристани корабль мой приплывет!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Перед пещерою.

Входят Белларий, Гвидерий и Арвираг.

Гвидерий

Смятение вокруг нас.

Белларий

Пойдем отсюда!

Арвираг

Что за отрада в жизни, если мы
Ее от дел и предприятий прячем?

Гвидерий

Что за надежды в этом укрыванье?
Нас, как британцев, римляне убьют
Или, приняв за варваров мятежных,
Сперва заставят нас себе служить,
А после умертвят без сожаленья.

Белларий

Повыше, в горы, сыновья мои!
Там защитимся мы; за короля же
Нам с вами нет возможности стоять.
Не знают нас в отрядах Цимбелина,
Поэтому, едва мы к ним придем,
Нас спросят, где до сей поры мы жили?
И так у нас исторгнется признанье
О том, что мы свершили, и ответом
На нашу речь нам злая гибель будет!..

Гвидерий

Все это, сэр, пустое опасенье!
В такое время вам не принесет
Оно нисколько пользы и нимало
Не убедит нас с братом.

Арвираг

Невозможно,
Чтоб, слыша близость римских скакунов
И видя грозный пламень их биваков,

Чтобы, заняв свои глаза и уши
Предметами серьезными, как ныне,
Они решились узнавать о нас
И тратить время в розысках о том,
Откуда мы явилися!

Белларий

В отрядах
Меня как раз узнают!.. Вы со мной
Лишилися в горах образованья
И безопасности разумной жизни!
И нет надежды вам достигнуть счастья,
Которое вам льстило в колыбели!
Вас летний зной сжигает и томит,
И, как рабы, дрожите вы от стужи!..

Гвидерий

Так лучше умереть, чем жить, как мы
Живем! Прошу вас, поспешим к отрядам:
Нас с братом там почти никто не знает!
Вас тоже позабыли, да притом
И устарели вы, и вас, конечно,
Пытать не станут...

Арвираг

Я туда иду,
Клянуся в том сиянием денницы!
Что я за вещь, когда до сей поры
Не видел я, как умирают люди?
И видел кровь одних трусливых зайцев,
Орленков, коз и молодых оленей?
Когда езжал я на таком коне,
Которого ездок не знал с рожденья
Железных шпор у каблуков своих?
Мне совестно глядеть на пламя солнца,
Вкушать его блаженное сиянье,

Затем, что я так долго остаюсь
Невеждою несчастным.

Гвидерий

Небесами
Клянусь, и я иду за братом; если
Угодно вам меня благословить
И отпустить, я позабочусь лучше
О днях своих; когда ж вы не решитесь
Благословить меня, пусть римский меч
Ослушника безумного накажет!

Арвираг

Я то же повторяю, сэр... Аминь!

Белларий

С тех пор, как вы так мало дорожите
Своими днями, я не смею больше
Беречь свою угаснувшую жизнь!
И вслед за вами я пускаюсь, дети,
Но если вы за родину падете,
Я лягу так же, дети, и найду
Себе постель на поле бранной славы!
Вперед, вперед!
(В сторону)
Нескоро мчится время:
Их кровь пролиться жаждет и кипит,
В желаньях принцев вижу их стремленье
Всем объяснить свое происхожденье!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Поле между британским и римским лагерями.

Входит Постум с окровавленным платком, полученным от Пизанио.

Постум

Я сберегу тебя, платок кровавый;
По моему желанью ты окрашен!..
Что, если б каждый муж мне подражал?
Как многие, из-за пустой ошибки,
Убили бы своих прелестных жен,
Которые самих их превосходят?
Пизанио! Не все, что нам велят,
Обязан исполнять слуга достойный.
Он должен слушать честных лишь приказов!
О, боги! если б вы меня казнили
За все мои проступки, никогда
Я не свершил бы этого убийства:
Спасли бы вы тогда для покаянья
Возвышенную сердцем Имоджену!
Один бы я, несчастный и вполне
Достойный вашей мести, был наказан!..
Иных из нас, за малые грехи,
Вы по любви уносите отсюда,
Чтоб мы не впали в большие проступки,
Другим же попускаете грехи
Сменять грехами худшими: злодеев

Боятся все, а им того и нужно!..
Но Имоджена — ваше достоянье;
Творите, как угодно вам, меня ж
Прошу благословить на послушанье!
Меж римскими войсками я пришел
Сюда сражаться с царством Имоджены.
Но нет, пока довольно и того,
Что я твою, Британия, царицу
Убил: тебе я ран не нанесу!..
Поэтому, властительное небо,
Мой честный план дослушай терпеливо:
Я вновь сниму одежды пришлецов,
Переоденусь пахарем британским
И так пойду сражаться против тех,
Которые пришли сюда войною!
И за тебя паду я, Имоджена,
Затем, что каждый вздох мой за тебя —
Не жизнь, а смерть! Никто меня не знает!
Не возбудя ни зависти, ни слез,
Предстану я перед лицом кончины...
И да узнают люди, что во мне
Достоинств больше, чем в моих одеждах.
Сойди в меня, отвага Леонатов!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Там же.

Входят с одной стороны — Люций, Якимо и римское войско; с другой — британское войско; Леонат Постум следует за ним простым солдатом. Все проходят через сцену Тревога. Входят, сражаясь на поединке, Якимо и Постум; Постум побеждает, обезоруживает Якимо и уходит.

Якимо

О! Тяжесть преступления убила

В моей душе все мужество! Я честь
Невинной женщины, принцессы этой
Страны, постыдной ложью омрачил,
И самый воздух мстительного края
Во мне все силы ослабляет!.. Раб,
Чернорабочий жизни, опрокинул
И победил меня в моем искусстве!
Сан рыцаря и почести мои —
Теперь лишь признак гнусного паденья!
Когда твои, Британия, вельможи
Настолько ж лучше этого раба,
Насколько он патрициев моей
Отчизны превосходит, — все вы боги,
А мы и для людей душой убоги!

(Уходит.)

Сражение продолжается. Британцы бегут; Цимбелин взят в плен; в помощь ему вбегают Белларий, Гвидерий и Арвираг.

Белларий

Стой! стой! За нами выгода сраженья:
Ущелье под защитою; ничто
Не выбьет нас оттуда, кроме низкой
Трусливости!

Гвидерий и Арвираг

Сражайтесь!.. Подождите!..

Входит Постум и помогает британцам; они освобождают Цимбелина и уходят. Вслед за ними входят Люций, Якимо и Имоджена.

Люций

Прочь, мальчик, от отрядов и спасайся:
Друзья друзей в смущенье убивают,
И шум такой, как будто у войны
Повязка на глазах.

Якимо

К ним подоспела
Подмога свежая!..

Люций

Престранный день!
Мы вовремя должны войска усилить,
Не то придется нам скорей бежать!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Другая часть поля битвы.

Входят Постум и британский придворный.

Придворный

Так ты пришел оттуда, где сражались?

Постум

Так, сэр; а вы, мне кажется, оттуда,
Где все бежали?

Придворный

Точно так!

Постум

Я вас
Винить не смею: все б мы потеряли,
Когда б за нас не стали небеса!
Король был схвачен в плен, ряды смешались,
Войска расстроились, и только тыл
Британцев виден был; толпы бежали
По узкому ущелью... Враг веселый,

В крови язык купая, ликовал,
Что перед ним голов гораздо больше,
Чем у него мечей; одних разил
До смерти, до других едва касался,
А третьи сами падали от страха!..
И узкое ущелье заградилось
Кровавыми телами, у которых
Весь тыл изранен был, и вечный стыд
С кончиной поджидал спасенных трусов!

Придворный

Где ж это чудное ущелье?

Постум

Возле
Скалы, вблизи которой мы сражались:
Оно в окопах и покрыто мхом;
Его себе припас на всякий случай
Один маститый воин, честный муж,
Я в том ручаюсь; подвигом подобным
Дни долгие, как борода его
Седая, заслужил он у отчизны...
К ущелью он дорогу проложил,
А с ним еще два юноши там были,
Птенцы, которым бы скорее шло
Плясать в селе, чем лезть в такую сечу.
Да, лица их красивей были масок,
Красивее всего, что прикрывает
Стыдливость и красу... Он закричал:
«В Британии лишь зайцы гибнут в бегстве,
А не солдаты; в ад стремятся те,
Которые бегут от битвы! Стойте!
Не то мы обратимся в грозных римлян
И воздадим вам, как скотам, все то,
Чего вы скотски так теперь бежите!
Взгляните погрозней назад — и вы

Уж спасены! Постойте же, постойте!»
Три этих, как три тысячи бойцов
(Затем, что во главе отряда трое
Героев более, чем весь отряд,
Который ничего не хочет делать),
Три этих со словами «стойте, стойте!»
И с выгодою местности, а больше
Чаруя всех достоинством своим
(Которое могло бы обратить
В копье и самое веретено),
Зажгли опять поблеклые ланиты
И пробудили стыд и пыл отваги!
Одни, которые из подражанья
В негодных трусов обратились (грех,
Великий грех тому, кто на войне
Подаст пример к предательскому бегству!),
Старалися взглянуть на путь, который
Они свершили, и, подобно львам,
Кидалися на вражеские копья...
Тогда-то римляне остановились,
Смешались, оробели, отступили
И побежали, как цыплята, те,
Которые орлами налетали
И превратилися в рабов любимицы
Победы!.. Наши трусы, как куски
Провизии в дороге, пригодились
Для поддержанья сил во время нужды!
О, как, найдя отворенную дверь
К сердцам неохраненным, поражали
Они врагов, рубили мертвецов,
Рубили тех, которые кончались,
Рубили наконец своих друзей,
Волною предыдущей унесенных!..
На каждого врага по десяти
Британцев приходилось в этом бегстве,
Теперь же всяк из наших убивал

По двадцати врагов, и те, которым
Хотелося скорее умереть,
Чем в бой идти, нежданно обратились
В смертельнейших клопов[1] кровавой почвы.

Придворный

Да, оборот престранный! Как!.. Ущелье,
Два мальчика и старый человек...

Постум

Но вы словам моим не удивляйтесь,
Хоть рождены вы только для того,
Чтобы дивиться действиям других,
А не своим!.. Хотите ли на это
Порифмовать со мною, так, для шутки?
Вот вам: «старик, два мальчика и горы
Нас сберегли, врагов загнали в норы!»

Придворный

Ах, не сердитесь!

Постум

(Комически скандирует.)
Не к чему сердиться.
Я с трусами всегда готов дружиться!
Пусть только трус не позабудет роли,
Он убежит от самой нежной доли!
Вы рифмами язык мой заразили...

Придворный

Прощайте! вас, как видно, рассердили.
(Убегает.)

---

[1] «Mortal bugs» — клопы, которые зарождаются иногда на полях сражений.

Постум

И снова убежал. Каков придворный?
О, благородный рыцарь, быть в бою
И спрашивать, что нового там было!
Как многие теперь всю честь свою
За безопасность тела променяли б!
Пустились вспять и все-таки погибли...
Я сам, моей печалью закаленный,
Не мог найти кончины, где она
Стонала; не попал к ней под удары,
Где так она удары рассыпала...
Зачем ты, смерть, чудовище уродства,
Скрываешься коварно в ярких кубках,
В пуховых ложах и в словах сладчайших?
К чему тебе еще покорных слуг,
Когда мы для тебя свои мечи
В сраженьях обнажаем! Так, прекрасно:
Я отыщу тебя! Любимцем римлян
Я стану вновь; я больше не британец,
Пойду за тем, которых поражал...
(Скидывает оружие.)
От сей поры я больше не сражаюсь,
Отдамся в руки первому рабу,
Который только плеч моих коснется!
Здесь римляне великие убийства
Произвели; к великому ответу
Потребуют врагов своих британцы!
Меня же смерть лишь в силах искупить,
Я приходил ко всем ее просить;
Убьет ли бой меня или измена,
Я за тебя паду, о Имоджена!

Входят два британских капитана и воины.

1-й капитан

Хвала великому Юпитеру! Люций взят в плен, старика и его сыновей считают за ангелов.

2-й капитан

Там был еще четвертый человек, в простой одежде; он им помогал.

1-й капитан

Так говорят; но никого из них
Не могут отыскать. Постой! Кто это?

Постум

Я римлянин!.. И здесь бы не бродил,
Когда б вослед за мною шли другие.

2-й капитан

Связать его! Собака! Ни один
Из земляков твоих не возвратится
Рассказывать, как вас вороны наши
Клевали!.. Он ответил свысока,
Как будто знатный. К королю злодея!

Входят Цимбелин со свитой, Белларий, Гвидерий, Арвираг, Пизанио и римские пленники. Капитаны представляют Постума Цимбелину, который отдает его тюремщику; после этого все уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Тюрьма.

Входят Постум и два тюремщика.

1-й тюремщик

Теперь вас не украдут: вы в цепях;
Паситесь, если пастбище найдете!

2-й тюремщик

Или когда найдете аппетит!

Оба уходят

Постум

Добро пожаловать, моя тюрьма!
Я убежден, ты — верный путь к свободе!
Счастливей я подагрика, который
Скорей желает вечно так стонать,
Чем излечиться смертью, этим верным
Из всех врачей; она — волшебный ключ,
Который растерзает наши цепи!
О, совесть! ты закована сильней
И рук, и ног моих... Святые боги!
Пошлите мне оружье покаянья,
Чтобы разбить мне цепи и навек
Свободным быть! Довольно ли того,
Что я тоскую так? Земные дети
Земных отцов рыданьями смягчают:
Но милости не больше ль у богов?
Раскаяться я должен! И тем лучше
Я это сделаю в моих цепях,
Желанных, ненасильственных цепях!
Когда платеж свободу возвращает,
Всего меня берите, без остатка,
Я знаю, вы добрее злых людей,
Которые у должников порою
Берут всего лишь третью, иль шестую,
Или десятую частицу долга,
А прочим позволяют им опять
Разжиться; но не этого мне нужно.
За жизнь моей бесценной Имоджены
Возьмите жизнь мою; хотя она
Не столько дорога, но все же жизнь!
Вы отчеканили ее! На свете
Притом не всякую монету весят
И принимают деньги, если только
На них условный штемпель сохранен!..
Возьмите же меня, я — ваш чекан;

Внемлите мне, властительные силы;
Когда хотите вы свести расчет,
Возьмите жизнь мою и уничтожьте
Холодные оковы!.. Имоджена!..
Поговорим с тобой в молчанье ночи...
(Засыпает.)

Торжественная музыка. Являются видения: Сицилий Леонат, отец Постума, старик в одежде воина; он ведет за руку свою жену, мать Постума. За ними, после новой музыки, следуют два брата Постума, в ранах, от которых они пали в сражении. Все они окружают сонного Постума.

Сицилий

Владыка грома, пощади
Малюток смертных, мух;
С Юноной, с Марсом ты воюй,
Они твой страстный дух
И шашни сторожат!
Прав бедный сын мой, хоть его
Лица я не видал:
Скончался я, как в узах он
Законов жизни ждал!
Ты, говорят, слывешь отцом
Сироток-бедняков:
Сними ж с него ты, как отец,
Ярмо земных оков!

Мать

Меня Люцина[1] не спасла:
Я умерла в родах;
Врачу я сына отдала,
Он на чужих руках,
Бедняжка, закричал!

---

[1] *Lucina* — богиня родильниц и новорожденных детей. Ее иногда смешивают с Дианою и Юноною и считают дочерью последней.

Сицилий

Он от природы был красой,
Как предки, наделен;
И, как наследник наш, у всех
Хвалой превознесен.

1-й брат

Когда ж для мужа он созрел,
Среди родной земли
Никто не смел сравниться с ним;
Британцы не могли
Глаз Имоджены победить.
Он был достойней всех!

Мать

Зачем ты брак ему послал,
Лишив его всего —
Отчизны, почестей отцов
И радости его
Супруги молодой?..

Сицилий

Как мог ты снесть, что римский плут,
Якимо, очернил
Постыдной ревностью покой
Его душевных сил
И смех презренья на него,
И шутки устремил?..

2-й брат

Вот для чего мы все пришли
Из области теней!
Сражаясь храбро, мы легли
За честь земли своей;
Да процветают короли
Средь нас, своих детей!

1-й брат

Постум отважен и правдив
У Цимбелина был;
За что же ты, король богов,
Надолго отложил
Его награду и бедой
Блаженство заменил?

Сицилий

Открой кристальное окно!
Взгляни на бедный край,
На племя храброе твое
Обид не проливай!

Мать

Юпитер! сын мой прав, его
Ты больше не терзай!

Сицилий

Явись из мраморных дворцов
Не то мы улетим
И на тебя в совет богов
Донос свой подадим!

2-й брат

О, Зевс! дай помощь нам; не то —
Тебе мы отомстим!

Юпитер спускается в громе и молнии, сидя на орле; он бросает огненную стрелу; тени падают на колени.

Юпитер

Вы, духи жалкие подземных стран,
Не оскорбляйте слуха моего!
Как смели вы, трепещущие тени,
Владыку гроба обвинить? Стрела
Моя с небес летит и укрощает
Мятежных смертных!.. Прочь отсюда, тени

Элизия, останьтесь на своих,
Вовек невянущих цветочных ложах!
Не занимайтесь смертными делами:
Не вам о них заботиться, а нам —
Вы это знаете! Кого мы любим,
Тому и шлем мы наши испытанья;
Мы замедляем наш священный дар
Затем, чтоб он был слаще! Успокойтесь!
Наш добрый дух незримо вознесет
Низверженного бедствием Постума;
Его удел готовится, и опыт
Слова мои на деле подтвердит!
Его рожденье встретила звезда
Юпитера, и в нашем светлом храме
Вступил он в брак! Вставайте, удалитесь!
Он будет властелином Имоджены,
Счастливее от прошлых, тяжких бед!
На грудь ему вы положите эту
Дощечку. Здесь, по милости своей,
Мы изложили счастие Постума!
Итак, домой! и более не смейте
Нетерпеливых жалоб расточать,
Пока еще молчит мой гнев опальный.
Орел! лети в чертог небес кристальный!
(Улетает в тучи.)

Сицилий

Он в громе к нам сошел; его дыханье
Наполнило весь воздух серным дымом;
Орел могучий опустился к нам,
Как будто нас хотел он уничтожить...
Его полет красивей был роскошных
Земель эдема!.. Царственная птица
Свое крыло бессмертное трепала
И чистила могучий клюв, как будто
Доволен был ее маститый бог!

Все

Благодарим тебя, Юпитер дивный!

Сицилий

Закрылся снова мраморный чертог,
Вошел в свои покои светлый бог...
Пойдем и мы! Чтобы снискать спасенье,
Скорей его исполним повеленье!

Все тени исчезают.

Постум

(Просыпаясь)

О, сон, ты был мне дедом! Ты отца
Родил Постуму, создал мне двух братьев
И мать; но, горе! их уж больше нет!
Они исчезли так же, как явились, —
И я проснулся! Горе беднякам,
Которые от случая зависят
И бредят так, как бредил я теперь:
Они проснутся и мечты желанной
Не обретут! Но нет, я ошибаюсь:
Иные не мечтают ни о чем
И ничего не стоят, между тем,
Они по горло плавают в блаженстве!
Таков и я: не знаю сам, за что
Досталось мне блистательное счастье?
Какие феи посетили землю?..
А!.. Книжка!.. Вот уж редкое изделье:
Когда б оно не подражало свету,
В котором платья благородней тех,
Кого они скрывают! Небеса!
Пускай она все то, что обещает,
Расскажет мне!

(Читает.)

«Когда львенок, сам того не зная, и без поисков, найдет струю нежного воздуха и будет объят ей, и когда облом-

ленные у величавого кедра ветви, после многолетнего смертного сна, оживут, прирастут к старому пню и снова покроются свежими отростками, — тогда настанет конец бедствиям Постума; Британия будет счастлива и процветет в мире и довольстве».

О, это снова сон или слова
Безумных уст: рассудок их не скажет!
Здесь что-нибудь из двух: или ничто,
Иль речь без смысла, иль слова такие,
Которых ум не в силах разъяснить!
Но что бы ни было, а в этом деле
Подобие моей судьбы, и я
Пророческие строки сохраню
Хоть из одной сердечной симпатии!

Входят тюремщики.

Тюремщик

Ступайте-ка, сэр, готовы ли вы к смерти?

Постум

Скорее пережарен: я уже давно готов.

Тюремщик

Речь идет о вешанье, сэр, если вы готовы для этого, так вы отлично сжарены.

Постум

Так! и если зрители найдут меня довольно вкусным, то блюдо покроет счет.

Тюремщик

Тяжеленек счет для вас, сэр; но да утешит вас то, что вы больше уже не будете расплачиваться, не будете трусить трактирных расчетов, от которых часто уходишь не совсем весело, хоть они и способны производить веселье; вы при-

ходите слабые от жажды покушать, а уходите, качаясь от того, что через край хлебнули; сердитесь на то, что много заплатили, да тут же сердитесь и на то, что много забрали; и кошелек, и череп пусты; череп немного тяжелее потому, что был уже слишком пуст, а кошелек полегче оттого, что был чересчур уже тяжел; о! вы теперь поквитаетесь со всеми этими противоречиями! О, милосердие веревки, ценою в пенни!.. Она в один миг кончает тысячные расчеты: вы не найдете более верного дебета и кредита; с нею разом квитается и прошедшее, и настоящее, и будущее. Ваша шея, сэр, вместе и перо, и книга, и счеты: итог подводится немедленно!

Постум

Мне гораздо веселее умирать, чем тебе жить.

Тюремщик

В самом деле, сэр: кто спит, тот не чувствует зубной боли; но если бы кто-нибудь шел заснуть вашим сном и висельнику приходилось бы помочь ему ложиться, я думаю, он охотно поменялся бы местами со своим сторожем, потому что, посмотрите-ка, сэр, вы еще не знаете, какою дорогою вам идти!

Постум

О, творец, очень хорошо знаю!..

Тюремщик

Тогда в голове у вашей смерти есть глаза, а я еще не видел, чтобы ее так рисовали, вы должны или идти по направлению, которое вам укажут обязавшиеся на это, или взять на себя то, чего, я знаю, вы не можете взять; или же пуститься на поиски, подвергаясь собственной гибели, и тогда, если вы успеете придти к концу вашего путешествия, я думаю, вы никогда уже не воротитесь рассказывать кому-нибудь об этом.

Постум

Говорю тебе, дружище, что никто не станет нуждаться в глазах, чтобы рассмотреть дорогу, по которой я теперь пойду, разве уже те, которые станут жмуриться и не захотят ее испробовать...

Тюремщик

Что за мудреная штука была бы, если бы человек имел совершенное употребление глаз для того, чтобы рассмотреть путь слепоты! Я убежден, что виселица — путь к жмуркам.

Входит вестник.

Вестник

Снять с него оковы! Ведите пленника к королю.

Постум

Ты принес добрую новость! Меня позвали затем, чтобы, наконец, освободить...

Тюремщик

Тогда я готов быть повешенным.

Постум

И ты станешь свободнее тюремного сторожа: для мертвых замков не существует.

Постум и вестник уходят.

Тюремщик

Если бы человек вздумал жениться на виселице, то она родила бы ему других маленьких висельниц; по-моему, только бы они и бежали к ней с такою охотою. Да, по совести, есть бездельники побольше его, и тем всегда хочется пожить, а он еще римлянин! Многие, впрочем, из этих господ умирают против своей воли; так, к несчастью, было бы и со мною, если бы я был одним из них! Как бы мне хотелось,

чтоб все мы стали одной души — и притом души доброй! О, тогда вымерли бы и тюремщики, и виселицы!.. Я говорю против своих настоящих выгод... Но — в желании моем есть своего рода выгода!.. *(Уходит)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Палатка Цимбелина.

Входят Цимбелин, Белларий, Гвидерий, Арвираг, Пизанио, придворные, офицеры и свита.

Цимбелин

По воле неба вы спасли престол:
Скорей же станьте близ меня! Прискорбно
Моей душе, что мы не отыскали
Того убогого, но так богато
Отважного бойца; он пристыдил
Своим лохмотьем пышное оружье;
Он выставлял свою нагую грудь
Гораздо дальше лат позолоченных...
Мы осчастливим всякого, кто нам
Его отыщет, если наша милость
Доставить может счастье.

Белларий

Никогда
Не видел я такой отваги царской
В таком вполне ничтожном существе
И подвигов высоких в человеке,
Который всем одно лишь обещал:
Убожество и горе.

Цимбелин

Ничего
О нем не слышно?

Пизанио

Мы его искали
Между живых и мертвых, но следов
Его найти мы не могли.

Цимбелин

Итак,
К несчастью моему, в его награде
Прямой наследник я! Передаю
Награду эту вам — душа, рассудок
И грудь Британии!
(Белларию, Гвидерию и Арвирагу)
Клянусь, чрез вас
Она живет. Но наступило время
И вас спросить, откуда вы?.. Скажите.

Белларий

Мы родом, сэр, из Камбрии; притом
Мы джентльмены; а хвалиться больше —
Несправедливо будет и нескромно;
Я вам скажу, что мы, вдобавок, честны!

Цимбелин

Склоните же колени!

Белларий, Гвидерий и Арвираг становятся на колени; Цимбелин посвящает их в рыцари.

Поднимитесь,
Сиятельные рыцари! Я вас
В сопутников престола назначаю,
И почести, которые по сану
Вы заслужили, обещаю вам!

Входят Корнелий и придворные дамы.

Цимбелин

(Продолжает)

На лицах ваших грусть... Что так печально
Приветствуете вы победу нашу?
Вы с виду словно римляне какие,
А не орлы британского двора!

Корнелий

Да здравствует великий государь!..
Пришлось смутить твою святую радость:
Скажу тебе, что наша королева
Скончалась!..

Цимбелин

Лекарю такая весть
Всех менее идет! Но нам известно,
Что жизнь продлить всегда лекарства могут,
Хоть смерть берет порой и лекарей!
Скажите, как она скончалась?

Корнелий

Страшен,
Безумен был ее конец, как жизнь
Несчастной: жизнь ее была для света
Мучением, в мучениях она
И умерла! Я вам, когда угодно,
Всю исповедь ее перескажу;
И если ошибусь я, эти дамы
Пускай меня на слове перебьют;
Они со мною, проливая слезы,
Стояли там, когда она кончалась...

Цимбелин

Прошу тебя, скажи.

Корнелий

Во-первых, нам
Она созналася, что не любила
Вас никогда; что не о вас самих
Заботилась, а о величье вашем!..
Что обвенчалась с королевским саном,
Была супругой вашего престола
И не могла терпеть особы вашей!

Цимбелин

Она одна могла все это знать,
И если бы, не умирая, мне
О том сказала, я бы не поверил
Ее устам!.. Извольте продолжать!..

Корнелий

Она созналась нам, что ваша дочь,
Которую всегда с такой любовью
Она перед отцом ее ласкала,
В глазах ее казалась скорпионом!
Что жизнь ее, когда бы не побег
Предупредил ее расчеты злые,
Она хотела тайно отравить!

Цимбелин

Какой же тонкий, хитрый неприятель!
Кто может в сердце женщины читать?
Что дальше?

Корнелий

Дальше, сэр, гораздо хуже:
Она созналась нам, что и для вас
Она состав смертельный припасала;
Что ваша жизнь от этого состава
Слабела бы и сохла каждый миг

И медленно, по дюйму, пропадала б!
А между прочим, ласками, слезами
И поцелуями она хотела
Вас обмануть и, вовремя склонив
Послушаться себя, предполагала
Наследником короны объявить
Клотена! Но его побег разрушил
Ее расчет коварный, и она
С отчаянья стыдливость потеряла;
В отмщенье небесам и человеку
Открыла всем свои предположенья;
И, наконец, жалея, что не все
Из замыслов ее созреть успели,
В отчаянье безумном умерла!..

Цимбелин

(Женщинам)

И это все вы слышали, миледи?

Дамы

Так точно, государь!

Цимбелин

Моих очей
Я не виню: она была прекрасна!
Моих ушей я также не виню:
Они внимали лести королевы!
Я не виню и сердца моего:
Оно ее считало тем, чем только
Она казалась нам; подозревать
Ее в то время было б слишком низко!
О, дочь моя! Ты можешь всем сказать,
Что я впадал в бесстыдное безумство.
Твое несчастье это подтвердит!
Исправьте ж, небеса, мою ошибку!..

Входят Люций, Якимо, Гадатель и другие римские пленники, под стражею — позади них Постум и Имоджена.

Теперь ты, Кай, не дань с нас собирать
Пришел: британцы свергли ваше иго,
Хотя немало храбрых потеряли!..
Их родственники просят нас скорей
Смирить их души страждущие казнью
Спасенных пленников, и мы на это
Согласны: рассмотри свою судьбу!

Люций

Подумайте об участи сражений:
Вы случаю обязаны победой.
Достался бы нам он, остудив свой пыл,
Мы никогда с мечом не угрожали б
Своим военнопленным! Но да будет
Исполнено веление богов,
И выкупом нам станет наша жизнь:
С душою римской римлянин мученья
Перенесет; на нас взирает Август!
Так мало я забочусь о себе...
И об одном лишь попрошу милорда:
(Указывая на Имоджену)
Позвольте мне за этого пажа,
Британца родом, вам представить выкуп:
Никто слугой подобным не владел;
Он ласков, нежен, добр, трудолюбив,
Внимателен и верен, и опрятен;
Позвольте ж добродетелям его
С моей мольбой теперь соединиться;
Я знаю, ваша светлость не отвергнет
Моей мольбы: он не нанес вреда
Британии, хотя служил у римлян!
Спаси его, великий государь,
И не щади за это нашей крови!

Цимбелин

Я где-то видел этого пажа;
Его черты мне кажутся знакомы.
О, мальчик! взор твой чудный приобрел
Мою любовь: ты мой с минуты этой!
Не знаю как, не знаю почему,
Но мне тебе все хочется сказать:
Живи, мой мальчик! Никогда не думай
Благодарить монарха своего;
Живи, проси себе у Цимбелина
Какой лишь хочешь милости; пускай
Она идет лишь к нашей доброте
И к сану твоему: ты все получишь!
Получишь все, хотя бы ты просил
Свободы главного из этих пленных!..[1]

Имоджена

Благодарю вас, светлый государь.

Люций

Я не прошу тебя молить о жизни
Моей, прекрасный мальчик; но уверен,
Что ты о ней попросишь короля.

Имоджена

Ах, нет, увы! другая под рукою
У нас забота: смерть не так горька,
Как то, что вижу я! И ваша жизнь
Сама пускай хлопочет о спасенье!

---

[1] Эта тирада, как и вообще все разговоры переодетой Имоджены с ее братьями, в лесу, показывают, что Шекспир слишком глубоко был предан идеям своего века и верил в мнения о сродстве душ и о влияниях одного человека на другого посредством магнетического влечения.

Люций

Как? паж меня оставил, презирает
И ненавидит? Быстротечна радость,
Которая от верности мальчишек
И девочек зависит!.. Он смущен!

Цимбелин

Чего же хочешь ты, мой милый мальчик?
Все более и более тебя
Люблю я: думай же и ты о просьбе
Все более и более!.. Ты знаешь
Того, в кого теперь впился ты взором?
Скажи, желаешь ты его спасти?
Он родственник тебе? он твой приятель?

Имоджена

(Смотрит на Якимо)
Он римлянин и мне родной такой же,
Как я родной монарху моему...
Нет, я рожден вассалом Цимбелина
И потому к нему гораздо ближе!

Цимбелин

Что ж на него ты зорко так глядишь?

Имоджена

Я вам один поведаю об этом,
Когда угодно вам меня услышать.

Цимбелин

От всей души: располагай моим
Вниманием! Как звать тебя, мой милый?

Имоджена

Фиделио!

Цимбелин

Отныне, добрый мальчик,
Ты паж мой, а король — твой господин!
Ступай за мной и говори свободно.

Цимбелин и Имоджена разговаривают в стороне.

Белларий

Уж не воскрес ли этот чудный мальчик?

Арвираг

Песчинки так не схожи меж собой!
Да, это тот румяный, нежный крошка,
Который был Фидельо и скончался;
Что думаете вы?

Гвидерий

Покойник ожил!..

Белларий

Молчите; станем дальше наблюдать;
На нас не посмотрел он; берегитесь;
На свете разные бывают сходства:
Когда бы это был наш милый мальчик,
Он уж давно завел бы с нами речь!

Гвидерий

Мы сами видели, как он скончался.

Белларий

Потише, станем далее глядеть.

Пизанио

(В сторону)
О, это госпожа моя!.. Она
Жива!.. Катись теперь, как хочешь, время,

Хорошее и злое — все неси!

Цимбелин и Имоджена приближаются к авансцене.

Цимбелин

(Имоджене)

Стань возле нас, по правой стороне,
Произноси свои вопросы громко.

(Якимо)

Приблизьтесь, сэр, свободно отвечайте
На то, о чем вас просит этот паж:
А иначе, клянусь величьем нашим
И красотой его — святою честью,
Мучения ужасные исторгнут
Всю истину у непокорной лжи!
Извольте говорить!..

Имоджена

Мне нужно знать,
Откуда вы достали этот перстень?

Постум

(В сторону)

Зачем ему все это?

Цимбелин

Говорите,
Откуда вы достали ваш алмаз?

Якимо

Под страхом пытки вы мне запретите
Поведать то, что, если рассказать,
Вас будет пыткой страшною терзать!

Цимбелин

Меня?!..

Якимо

Я очень рад, что принуждают
Меня поведать то, что укрывать
Такая мука! Перстень я похитил
Злодейством: он принадлежал Постуму,
Которого изгнал ты и который —
Да будет речь моя тебе тяжеле,
Чем сердцу моему, — достойней всех,
Кто только жил меж небом и землею!
Но говорить ли далее мне, сэр?..

Цимбелин

Поведай все, что только близко к делу!

Якимо

Да... неземное чудо, дочь твоя!..
Из сердца кровь сочится и коварный
Рассудок, при одном воспоминанье
О ней, болит: мне дурно... дай мне кончить...

Цимбелин

Как! дочь моя? Что ж ты о ней расскажешь?
Возобнови свои больные силы:
Живи, пока природа жить позволит,
Не умирай, не высказав всего!
Приди в себя, бедняк, и говори!

Якимо

Однажды (горе тем колоколам,
Которые пробили час коварный),
Случилось это в Риме (проклят будь
Наш дом), обедая (о, если б в яд
Тогда все наши блюда обратились,
Хотя бы те, что предо мной стояли!),
Достойный Леонат (что я сказал?!

Он слишком был достоин между злыми
И лучше всех, кто только ни был добр
И доблестен меж нами!), сидя грустно,
Внимал, как мы наперерыв хвалили
Любовниц наших римских, красоты
Которых даже тот, кто лучше всех
Умел блеснуть словечком, не нашелся б
Превознести достойной похвалой:
По формам перед ними был калекой
Бессмертный бюст Венеры, а Минерва
Не так стройна и несколько горбата;
Они стыдили чудеса природы
И все, что только качеством своим
Нас делает поклонниками женщин,
В себе соединяли... все, что ловит
На удочку беспечных женихов
И красотой глаза нам поражает!

Цимбелин

На углях раскаленных я стою:
Скорее к делу!..

Якимо

Разом все скажу я,
Чтоб ты не мучился от нетерпенья!
Постум (любя, как благородный лорд,
И царственной любезною счастливый)
Взялся за речь; не унижая тех,
Кого хвалили мы (как добродетель,
Он был спокоен!), начал он чертить
Портрет своей любезной и, окончив
Его вполне, он влил в него дыханье
И мысли: тут увидели мы все,
Что наше хвастовство трещало чуть ли
Не о красе кухарок; речь его
Нас обратила в бессловесных кукол!

Цимбелин

Скорей, скорее к делу!

Якимо

Моя жена
Чиста, как ангел, — так он начал спор!
Он говорил, что и сама Диана
Во сне нечистые мечтанья видит,
Она же с ними вовсе незнакома!
При этом я (несчастный!) стал смеяться
Над похвалой Постума и держал
Заклад на кучу денег против перстня,
Который он тогда носил на пальце,
Что перстень тот куплю ее позором!
Он, верный муж, не сомневаясь в чести
Своей жены, как я не сомневаюсь
В ней, после всех моих попыток, перстень
Поставил на заклад и так же точно
Мог поступить, хотя б тот перстень был
Карбункулом из колесницы Феба
И мог со всей ценой ее сравниться.
Тогда в Британию помчался я,
В намеренье исполнить это дело!
Вы, может быть, припомните, милорд,
Как при дворе у вас я находился.
Здесь ваша дочь невинностью своей
Заставила меня увидеть бездну
Между грехом распутства и любовью!
Я потерял надежду, но желаний
Я не терял: мой итальянский мозг
Работать стал в наивности британской
Немножко подло, но для нашей цели
Довольно выгодно; короче, я
В труде успел и возвратился в Рим
С большим запасом лживых доказательств,

Которые свели с ума Постума,
Изранив веру бедного в невинность
Его жены бессовестною ложью...
Я описал ему покой принцессы,
Обои, потолки, камин, ковры;
Я показал ему браслет (о, хитрость!
Как ты легко достала мне его!),
Я подтвердил слова мои приметой
На теле Имоджены сокровенной,
И он поверил, что замок ее
Невинности разбит и что она
Мне отдалась... И мнится мне, что вижу
Вновь Леоната я...

Постум

(Выступая вперед)
Он перед тобой,
Предатель итальянский! О! какой же
Глупец я легковерный, вор, убийца,
Собрание всего, что было, есть
И будет в мире из грехов злодейских!..
О, дайте мне нелицемерный суд!
Ты, мой властитель, дай мне казнь и пытку!
Я все злодейства заслужил собой,
Я хуже всех их!.. Да, я — Леонат!
Я дочь твою убил! Нет, лжец коварный!
Я лгу: я совершил свое злодейство
Через другого, худшего еще,
Чем я; посягнул на святотатство:
Она была Дианы чистой храмом,
Нет, добродетель вся она была!
Заплюйте же скорее, закидайте
Каменьями и грязью вы меня!
Собаками злодея затравите!
Пусть каждого разбойника зовут
От этих пор Постумом Леонатом...

И пусть земля изведает грехи
Еще ужасней моего злодейства.
О, Имоджена, королева, жизнь,
Жена моя! бедняжка Имоджена!
О, Имоджена! Имоджена!

Имоджена

Тише,
Милорд, прошу...

Постум

Так ты комедию
Из этого желаешь разыграть?
Негодный паж: ты здесь окончишь роль!
(Ударяет ее мечом; она падает.)

Пизанио

Милорды! помогите, помогите!
Ведь это ваша и моя принцесса!..
Постум, Постум, теперь ты лишь убил
Бедняжку! Помогите, помогите!
О, честная миледи, Имоджена!

Цимбелин

Неужели весь мир перевернулся?

Постум

Как отуманились мои глаза?!

Пизанио

Очнитеся, принцесса!

Цимбелин

Если это
Все правда, небеса хотят, чтоб я
От радости и счастия скончался!

Пизанио

Что, лучше ль вам теперь, моя принцесса?

Имоджена

(Приходя в себя)

О! удалися с глаз моих! Ты яду
Мне дал! Поди, опасный человек!
Не смей дышать в том месте, где есть принцы!

Цимбелин

Как?.. Голос Имоджены!

Пизанио

Пусть, миледи,
Убьет меня небесная гроза,
Когда тот порошок, который вам
Я дал в лесу, я не считал бесценным
Лекарством. Эту вещь я получил
От королевы!

Цимбелин

Новая проделка?!.

Имоджена

Он отравил меня, милорд!

Корнелий

О боги!
Я позабыл еще одно признанье
Покойницы: оно вас оправдает!
«О! если, — так сказала королева, —
Пизанио дал принцессе тот состав,
Который я лекарством назвала,
Он услужил своей принцессе так же,
Как я, положим, услужила б крысе».

Цимбелин

Что там еще, Корнелий?

Корнелий

Королева,
Милорд, меня просила очень часто
Составить ей отрав для изученья
Их свойств, как говорила мне она,
Над смертью злых созданий, кошек, крыс —
Всего, что только в свете не жалеют!
Боясь, чтоб план ее пошел не дальше,
Я для нее составил вещество,
Которое на время только жизнь
Лишает сил, но вскоре весь процесс
Природы вновь свершает отправления...
Вы не его ли приняли?

Имоджена

Быть может,
Я умерла от этого состава...

Белларий

Вот, дети, в чем была ошибка наша!

Гвидерий

О, это наш Фиделио, наверно!

Имоджена

(Постуму)
Зачем свою ты верную супругу
Покинул здесь! Вообрази, что ты
Стоишь над бездной: сбрось меня туда!
(Обнимает его.)

Постум

Виси на мне, моя душа, как плод
На веточке, пока она иссохнет!

Цимбелин

Что ж это, плоть моя, мое дитя?
Я зрителем немым при этом буду?..
Ты говорить со мной совсем не хочешь?

Имоджена

(Опускаясь на колени.)
Милорд, прошу у вас благословенья.

Белларий

(Гвидерию и Арвирагу)
Теперь я вас нисколько не виню,
Что юношу вы этого любили:
У вас к тому свои причины были!

Цимбелин

О, пусть мои родительские слезы
Святой водою каплют на тебя:
Увы, скончалась мачеха твоя!..

Имоджена

Мне очень жаль ее, мой государь!

Цимбелин

Она была исполнена грехов:
По милости ее, так странно все мы
Сошлися здесь... Но сын ее исчез,
И мы не знаем, как и почему?..

Пизанио

Милорд! мой страх прошел, я все открою...

Клотен, едва принцесса удалилась,
Пришел ко мне с мечом в руке и с пеной
У рта; он начал клясться предо мной,
Что если я ему не объявлю,
Куда ушла принцесса, я погибну
В одно мгновение!.. Тогда при мне
Как раз нашлось последнее письмо
Постума; это-то письмо умчало
Его за ней на поиски в Мильфорд,
Куда, как зверь и в платье Леоната,
Которое он вырвал у меня,
Клотен с позорным планом поспешил...
Что с ним случилось после, я не знаю!

Гвидерий

Позвольте мне окончить ваш рассказ.
Я умертвил его!

Цимбелин

Спаси вас небо!
Я не хотел бы добрые дела
Наказывать жестоким приговором:
Скажи, что ты солгал, мой храбрый мальчик!

Гвидерий

Я сделал так, как я вам объявил!

Цимбелин

Клотен был принц!

Гвидерий

Он наглым принцем был!
Его проделки недостойны принца.
Он вздумал вызывать меня таким
Задорным языком, что я пошел бы
Хоть на моря, когда б они ревели,

Как он: я голову ему отсек!..
И очень рад, что нынче перед вами
Он не стоит, как я, и обо мне
Такой же речи вам не говорит!..

Цимбелин

Жаль мне тебя; твой собственный язык
Тебе изрек смертельный приговор;
Законам ты обязан покориться:
И нынче же умрешь!

Имоджена

Безглавый труп
Я приняла за милого супруга!

Цимбелин

Связать убийцу, прочь его отсюда!

Белларий

Стой, государь; убитый недостоин
Убийцы; твой преступник одного
С тобою рода: он перед тобой
Свершил гораздо более заслуг,
Чем целый полк Клотенов совершил бы.
(Страже)
Освободите царственные руки:
Не для цепей они сотворены!

Цимбелин

Зачем, старик-солдат, желаешь ты,
Не получив еще вознагражденья
За подвиг свой, подвергнуться опале
И гневу короля? Как может он
Быть одного со мной происхожденья?

Арвираг

В своих словах зашел он далеко.

Цимбелин

(Белларию)

За это ты погибнешь без пощады!

Белларий

Все трое мы погибнем! Но сперва
Я докажу, что двое между нас —
То самое, о чем я вам поведал.
Я должен, дети, гибельную тайну
Открыть: она опасна для меня,
Но вас она, наверно, осчастливит!

Арвираг

Опасность ваша и для нас — опасность!

Гвидерий

А счастье наше — счастье и для вас!

Белларий

Позвольте же: я стану говорить.
Великий государь, скажите, был ли
У вас вельможа именем Белларий?

Цимбелин

Что в нем тебе?!. Он сосланный изменник!

Белларий

Он так же стар, как тот, кто перед вами
Стоит теперь, он сослан — это правда;
Но я не знаю, был ли он изменник?..

Цимбелин

Схватить его! Вселенная не может
Его спасти!

Белларий

Не горячитесь так!
Сначала заплатите мне за то,
Что ваши дети выкормлены мною,
И конфискуйте после все, едва
Я получу свое вознагражденье.

Цимбелин

Ты выкормил моих детей?

Белларий

Я груб
И слишком смел: молю вас на коленях...
Не встану я до той поры, покуда
Не вознесу я ваших сыновей!
Тогда вы старика уж не жалейте...
Великий государь, я не отец
Двум этим джентльменам, хотя меня
Они зовут отцом и почитают
Себя детьми изгнанника Моргана!
Они потоки царственной реки —
И кровь твоя, мой светлый повелитель!..

Цимбелин

Как! в них мое потомство?

Белларий

Точно так,
Как ты потомок дедов Цимбелина.
Старик Морган был некогда Белларий:
Его тогда ты выслал из отчизны.

Двух этих принцев (имя это к ним
Идет, они сиятельные принцы)
Я двадцать лет воспитывал в горах;
Вселил в них все, что только мог вселить
Из истинных познаний; сам ты знаешь,
Кормилица малюток, Эрифила,
С которой я вступил за это в брак,
Их унесла, едва меня изгнали!
На это я склонил ее тогда!
Я был наказан прежде преступленья,
Которое свершил я пред тобой:
Я пострадал за верность и замыслил
Коварную измену Цимбелину!
Но, светлый сэр, вот вновь твои сыны,
Я в них теряю всю мою отраду!
Да низойдет благословенье неба
На их чело спасительной росой:
Они могли б достойно свод лазурный
Огнями звезд душевных обложить!

Цимбелин

Ты говоришь и плачешь; вы втроем
Свершили подвиг, пред которым бледны
Все чудеса рассказа твоего:
Я потерял моих детей; но если
Мои то дети, лучших сыновей
Желать не должен я.

Белларий

Милорд, позвольте!
Тот джентльмен, который у меня
Носил названье Полидора, принц —
Достойнейший Гвидерий; джентльмен,
Которого я называл Кадвалом, —
Светлейший Арвираг, ваш младший сын;
Его в богатой мантии укрыли,

В пеленках, вышитых рукой его
Высокой матери, все эти вещи
Я вам, для большей правды, покажу!

Цимбелин

На шее у Гвидерия была
Кровавая звезда — значок родимый!..

Белларий

(Указывая на Гвидерия)
Вот, кто родимым пятнышком отмечен!
Премудрая природа создала
Его на тот конец, чтоб вам сегодня
Скорей пришлось Гвидерия признать!

Цимбелин

Ужель я вновь отец троих детей?
Вовеки мать не радовалась больше,
Окончив муки тягостных родов!..
Благословенны вы, которых путь
Лежал так долго вне родимых орбит:
Войдите в них и царствуйте опять!
Ты, дочь моя, лишилась через это
Короны!..

Имоджена

Нет, милорд, я через это
Приобрела два мира неземных!..
О, братья милые, мы снова вместе!
Не говорите ж больше никогда,
Что речь моя неправильна: вы братом
Меня именовали, я же вам
Была сестрой, а я именовала
Вас братьями, и были вы мне братья!..

Цимбелин

Так вы уже встречались?

Арвираг

Да, милорд!

Гвидерий

И с первого ж свиданья полюбили
Друг друга, продолжая страсть свою
До той поры, когда сестра скончалась...

Корнелий

От ядовитых зелий королевы!

Цимбелин

О, дивное чутье! Когда же я
Услышу все? И в спешном пересказе
Видны у вас бесчисленные ветви,
Которыми богато ваш рассказ
Развиться может! Где и как жила ты?
Как римскому ты пленнику служила?
Как ты рассталась с братьями? Как вновь
Ты их нашла? Зачем ты убежала
От нашего двора?.. Куда бежала?!
Все это — и к тому еще причину,
Которая вас привела на бой,
Не знаю сам, как много я желал бы
Узнать от вас в подробнейших оттенках,
Во всех случайных, мелких переходах!
Но нам теперь не место и не час
Вас долгими вопросами тревожить...
Постум закинул якорь к Имоджене;
Она же, как стыдливая зарница,
Бросает взор свой нежный на него,
На братьев и на нас — и свет, и радость

На милые предметы проливает!..
Мы отвечаем тем же Имоджене...
Пойдем отсюда; пусть дымятся храмы
Огнями наших благодарных жертв!

(Белларию)

Ты брат мой и навек мне будешь братом!..

Имоджена

Вы мой отец, меня вы воскресили!
Я дожила до радостной поры!

Цимбелин

Все радуются, кроме этих пленных;
Пускай же и на них прольется радость:
Они разделят счастье короля!

Имоджена

(Люцию)

Теперь, мой повелитель, постараюсь
Я вам, как должно, услужить!

Люций

Сойди
На вас благословение небес!

Цимбелин

Пропавший воин столько благородства
В сраженье показал, что между нас
Блистал бы кстати он и благодарность
Монаршую собою бы почтил!

Постум

Я, государь, тот неизвестный воин!
Я в рубище простом сопровождал
Троих твоих бойцов: моя одежда
Тогда моим желаньям отвечала!

Якимо, говори, кто этот воин?
Не я ль тебя повергнул, и едва
У ног моих ты не лишился жизни?

Якимо

(Становясь на колени)

Я вновь у ног твоих: но мне колени
Теперь сгибает мстительная совесть,
Как некогда их мощь твоя сгибала;
Возьми же эту жизнь, молю тебя:
Я столько раз над нею издевался!
Но прежде получи свое кольцо
И с ним браслет вернейшей из принцесс,
Какие только в верности клялися!

Постум

Не преклоняй колен перед Постумом:
Одною властью обладает он,
И эта власть — прощение врагу;
Одну лишь месть питает он к тебе,
И эта месть — забвение обиды!
Живи и поступай с другими лучше!

Цимбелин

Вот благородный суд; наш мудрый зять
Дает урок нам в мудром милосердье[1].
На этот раз прощенье — наш пароль!

Арвираг

Вы помогали нам, как будто знали,
Что мы на самом деле с вами братья;
Как рады мы, что вы нам не чужой!

---

[1] Слово «son-in-law» («зять») заключает здесь непереводимый намек на милосердие законов; собственно «son-in-law» значит *«сын по закону»*.

Постум

Я ваш слуга, сиятельные принцы!
Вы, благородный вождь отрядов римских,
Не можете ль гадателей своих
Сюда созвать: я видел чудный сон!
Ко мне сходил властительный Юпитер,
На царственном орле своем покоясь,
И, окруженный лицами моих
Покойников родных, меня тревожил...
Когда же я проснулся, на груди
Моей покоилась вот эта книжка:
Ее слова так странны и темны,
Что я не в силах смысла их понять!..
Пускай же ваш гадатель нам покажет
Свое искусство в чтенье этих слов!

Люций

Где Филармон?

Гадатель

Я здесь, мой добрый лорд.

Люций

(Дает ему книжку.)

Читай и объясни нам эти речи.

Гадатель

(Читает.)

«Когда львенок, сам того не зная, и без всяких поисков найдет струю нежного воздуха и будет объят ею, и когда обломленные у величавого кедра ветви, после многолетнего смертного сна, оживут, прирастут к старому пню и снова покроются свежими ростками, тогда настанет конец бедствиям Постума; Британия будет счастлива и процветет в мире и довольстве».

Ты, Леонат, как сказано здесь, — львенок;
Значение прозванья твоего
Нам подтверждает это: Leo-natus —
Одно и то же, что рожденный львом!

(Цимбелину)

А нежный воздух — дочь твоя, властитель;
По римски, нежный воздух — mollis aer;
Из слова mollis aer выйдет слово
«Супруга» — mulier; а это прямо
Уж означает вашу Имоджену,
Которую, без поисков, теперь,
И сам того не зная, как оракул
Сказал, нашел восторженный супруг
И ею был, как пеленой воздушной,
Как нежным благовонием объят!

Цимбелин

Да, в этом есть, по-видимому, смысл!

Гадатель

Могучий кедр — великий Цимбелин!
А от него отломленные ветви —
Два сына Цимбелина; их унес
Белларий. Много лет их все считали
Погибшими; они теперь воскресли
И приросли к властительному корню;
И мощный кедр отчизне обещает
В своих потомках славу и покой!..

Цимбелин

Прекрасно! мы теперь начнем с покоя:
Кай Люций, я победу одержал,
Но покоряюсь Цезарю и Риму!
Согласен я условленную дань
Ему платить; вражда супруги нашей
Меня от этой дани отклонила:

За это суд небес рукой тяжелой
Ее с несчастным сыном поразил.

Гадатель

Персты богов настраивают струны
Гармонии торжественной и мира!
Видение, которым занял я
Перед сраженьем Люция, вполне
Свершается теперь: мне снилось, будто
Могучий наш орел покинул Юг
И залетел на отдаленный Запад;
Там, уменьшаясь более и боле,
Он наконец исчез во блеске солнца!..
Виденье предвещало, что орел —
Властительный, великий император
Сольется вновь с пресветлым Цимбелином,
Блестящею звездой полночных стран!..

Цимбелин

Благословим теперь святых богов:
Пусть к алтарям таинственным восходит
Волнистый дым благоуханных жертв!
Всем подданным о мире объявить!
Пойдем! И пусть британские знамена
Завеют рядом с цезарским орлом!
Мы так пойдем с триумфом в нашу Люду
И в храме Зевса мир наш заключим;
Потом его скрепим роскошным пиром...
Итак, вперед!.. Еще не кончен бой —
А уж кругом и счастье, и покой!

Занавес опускается.

Жизнь и смерть короля Ричарда III

В. А. Каратыгину

От переводчика

«Что развивается в трагедии? Какая цель ее?.. Человек и народ, — судьба человеческая и народная. Вот почему Шекспир — велик!»
Записки Пушкина

Историческая драма «Ричард III» считается некоторыми первою, по времени, историческою драмою Шекспира. Коллье и Дэйс относят ее к 1593 году.

Ряд произведений, в среде которых эта драма занимает такое видное место, составляет, по мнению Шлегеля, колоссальную драматическую эпопею, подобной которой нет ни у одного литературного народа. Эти исторические драмы обязаны своим происхождением лучшей эпохе царствования Елисаветы — когда, по сокрушении испанской Армады (1588 г.), впервые в сердцах англичан заговорило чувство народного самосознания и гордой независимости в кругу держав Европы. Удивляясь общему, политико-патриотическому значению исторических драм Шекспира, Шлегель сказал, что «главные черты происшествий в них до того верно схвачены, их причины и тайные начала так ясно изображены, что всюду история в них изучается из источ-

ника истины, как бы у корня самой действительности». Единственным пособием Шекспиру в их создании служила хроника Голиншеда, которая явилась в свет между 1577 и 1587 годами, в двух фолиантах. Как он пользовался ей, насколько отступал от нее и следовал ей — превосходно объяснил Куртнэй в своем отдельном сочинении — «Commentaries on the historical plays of William Shakespeare, 1840». Вот главный закон, которому, по мнению Куртнэя, подчинялся Шекспир при пользовании источниками хроники Голиншеда: «он искал природы и внутренней истины». Мотивы исторических действий он брал из простодушных повествований Плутарха; на их основании он смело входил в мир саг и мифов Голиншеда, и самая хроника представлялась ему сквозь свет о призму естественности и природы, так что, чем свободнее и энергичнее творил Шекспир, тем — как, например, в «Ричарде III», — поэтичнее являлись его образы, хотя при этом более теряли в историческом достоинстве, чем, напротив, вернее и ближе к действительности творил он, тем более его характеры — как, например, характеры в «Ричарде III», — выигрывали в историческом смысле, но тем более теряли в поэтических достоинствах. Ряд этих исторических драм, именно: «Ричард III» (1593 г.), «Ричард II» (1597 г.), «Генрих IV», первая и вторая части (1596—1598 гг.), «Генрих V» (1599 г.), «Виндзорские кумушки», «Король Иоанн» и «Генрих VIII» (1604 г.), интересен не менее фантастических трагедий Шекспира, тем более что в некоторых из них, как, например в «Ричарде III», встречается еще интерес чисто *психологический*. Эту истину доказал просвещенному миру германский ученый Гервинус в капитальном сочинении «Shakespeare». Исторические драмы Шекспира составляют второй том этого сочинения. Чтобы показать высокий интерес и оригинальность взглядов ученого, которому Я. Гримм, автор «Истории германского языка», посвятил свой великий труд, здесь излагаются главные мысли Гервинуса об исторической драме Шекспира «Ричард III».

Теперь доказано, что еще в 1583 г., в Кембридже, была написана доктором Легге латинская драма под именем «Ричард III», а в 1588 г. английская трагедия «The true tragedy of Richard III», которая, впрочем, появилась в печати годом позже Шекспировой. Обе помещены в записках Шекспировского общества, но из них видно, что творец «Отелло» и «Макбета» ими почти не пользовался. «Ричард III» Шекспира — самобытное творение великого драматурга и служит продолжением его драмы «Генрих VI». Здесь, как и в «Генрихе VI», еще не вполне выдержана строго драматическая форма. Но эта пьеса полна трагических мотивов и сцен, и в ней поразительно выступает мир черных злодеяний, которые Шекспир, без доказательств истории, сваливает на Ричарда III, и тем, с каким горьким сарказмом развертывает внутренние отношения своих героев, где мы постепенно видим, как коварный Ричард показывает падшему поколению последствия гражданских смут, как он, низвергнутый, возвышается, побеждает своих врагов и, почти в миг торжества, сам падает и погребается под обломками всеобщего разрушения. Трагедия Шекспира основана на борьбе *Белой* и *Алой роз*, на соперничестве домов Йорка и Ланкастера.

Среди гражданских смут и потрясений всего общества выступает страшный Глостер с опасным сознанием превосходства своих дарований и с проницательною зоркостью взгляда на испорченность и неспособность человечества его эпохи. В мире, где всякий добро считает добром, он ложно убеждается, что одно зло должно управлять нашими действиями; слепой и неблагородный эгоизм возвышает его над слабыми личностями; гордость мышления заставляет его пренебрегать законами обычаев и нравов. Что свет покоряется уму и силе — было началом его макиавеллизма; он избрал трон целью своей суетности; окружающих его людей он обращает в ступени лестницы своего возвышения. Английская сцена, во все времена, интересовалась этим созданием. В восемнадцатом столетии Коллей-Гиббер вынес его из мрака забвения. Величайшие артисты Англии, Борбэдж, Гаррик и

Кин, считали Ричарда в числе своих любимейших ролей, что особенно удавалось двум первым, по причине их натуральной малорослости. Другие артисты, как, например, Кембль, оставили целые трактаты об исполнении этого характера. Уже во время Шекспира (1614 г.) один писатель, вероятно Христофор Брук, сочинил поэму в стансах — «Дух Ричарда III», которая помещена в записках Шекспировского общества. Эта поэма тем интереснее, что показывает, как тогдашнее время понимало человечество и насколько оно старалось вникать в дух таких характеров, каков характер Ричарда III.

Биография Ричарда переведена Томасом Муром с латинской биографии-хроники Голиншеда, который, вероятно, ее заимствовал, в свой черед, у архиепископа Мортона. В этом источнике Шекспир нашел следующие скудные, но довольно меткие черты для характеристики своего героя. Ричард родился с зубами, был безобразен, и его левое плечо было выше правого. Злость, гнев и ненависть были его главными качествами. Он был хороший воин; был щедр, что доставляло ему самых многочисленных, но непостоянных друзей, был таинствен, глубокий лицемер; снаружи он казался смиренным, внутри его бушевали кичливость и гордость; он был другом и врагом в одно время, целовал в тот самый миг, когда готовил убийство, и если пускал в дело свое вероломство и тщеславие, то не щадил ни врагов, ни друзей. Шекспир удержал все эти черты, — удержал в самой высокой, художественной естественности и гармонии. Его Ричард всюду является отличным, ловким краснобаем, с духом испорченным и холодно-ядовитым, с острою проницательностью взгляда, вполне таким, как его изображает хроника; в его двуличном волокитстве и ухаживании за Анною, в его лицемерных фразах, в его сарказмах и двусмысленных речах — везде проглядывает острый и ядовитый дар его лукавой речи. С наслаждением смотрит на него мстительно жадная Маргарита. Суровый, дикий, выросший на войне и в крови убийств, с гордостью аристократа и с пронырством

плута Ричард является в вечном противоречии с самим собою. Уже хроника выставила его с качествами существа падшего и дерзкого в своих злодеяниях; Шекспир его дорисовал: Ричард выходит на сцену с духом переменчивым и необузданным, в припадках бешенства и упорства, и тут же расточает медовые речи; то кажется легко-откровенным и поверхностно-беспечным льстецом, то вдруг — самым суровым и коварным лицемером, злодеем.

Сомневались, возможны ли подобные противоречия в одном лице. Мог ли человек, которому в высочайшей степени свойственна лесть, так далеко упасть в суровости и свирепости нрава, сделаться самым закоснелым злодеем? Или, если эта свирепость была его природным качеством, мог ли подобный изверг быть образцом такого ума? Наконец, возможно ли было человеку, так сознававшему свои силы в достижении предположенной цели, распространять страх и ужас и, по сказанию хроники, исполнять все свои гнусные злодейства, без природной наклонности, из одной политики? Шекспир, как и его исторические источники, главною пружиною действий Ричарда, основою всех его планов выставляет его заносчивое честолюбие. Он поставил это качество в центр всего характера Глостера. В его грубой природе столько гордости и самолюбия, столько аристократической щепетильности, столько, наконец, отвращения к кривой лести, что он ползает и сгибается, как мы видим, из одного непреклонного стремления к достижению того места, на котором каждый перед ним должен склоняться. Вследствие своих намерений и планов он дошел до того, что не только мог сделаться неподражаемым плутом, но еще мог скрывать свое плутовство и свои цели. Лицемерство он довел до высшей степени, так что он является иногда преследуемым и угнетенным там, где он сам всех угнетает и уничтожает, — и разыгрывает роль труса в то время, когда его ненависть разит самым отчаянным и коварным ударом; так что артист-актер должен непременно различать, где его сила природна и где она в своем действии только принятая роль. Наконец,

он доводит свое лукавство до non plus ultra, до того, что он, ужас людей, принимается в свете за кроткого и милосердного, за добродетельного, что он, телом и душою демон-предатель, является в образе праведника и что его враг, как, например, Риверс, верит в его честность; прямой человек, как Гэстингс, верит в неспособность его скрытности; Анна замечает в нем возврат к раскаянию, а падающий Кларенс верит в его братскую любовь... На последних ступенях к достигаемой цели состязается с Бокингэмом в лицемерстве и побеждает его...

Слабы нити, посредством которых характер Ричарда связывается с добрыми сторонами человеческой природы; не найди Шекспир этого характера в достоверных скрижалях истории, он, может быть, не решился бы позднее воспроизвести его в типах Эдмунда и Яго. Шекспир старался сделать как можно более интересным этот характер и потому так развил в нем его злую сторону... Невероятно при этом встретить в демоне пороков, в дерзком Ричарде, черту совершенно неожиданную: герой зла подвержен припадкам *суеверия*. Когда Маргарита (I акт, 3-я сцена) осыпает его проклятиями, Глостер старается ее прервать различными словами и обратить ее проклятия на нее же. Один предсказатель объявил ему смерть после его свидания с Ричмондом, и это уже тяготит его. Хроника говорит, что он выходил из себя, когда слышал имя Ричмонда. Шекспир удержал эту черту. Внутренние голоса, днем связывающие его совесть и волю, вырываются наружу в полночь, когда спят его нравственные силы; злодея томят ужасные сны... Накануне его битвы с Ричмондом (также по сказанию хроники) перед ним являются духи убитых им жертв и терзают его угрозами и упреками... Ричард просыпается в испуге и, обливаясь холодным потом, кричит отрывистые слова и в бреду чуть не выдает самого себя...

В роли Ричарда актеру предстоит тьма самых непреодолимых трудностей. По словам Стивенса, не то здесь затруднительно, что артист должен беспрестанно менять в

себе образы героя и шарлатана, государственного человека и буффо, лицемера и разбойника, не то здесь трудно, что он должен ежеминутно извертываться между высочайшими страстями и самым фамильярным тоном речи, между красными словами то грубого солдата, то лукавого политика и льстивого придворного и между угрозами взбешенного пирата; наконец, не в тонкой обрисовке движений или мимической и риторической художественной диалекции состоят трудности выполнения характера Ричарда, но в том, что артисту должно найти основные начала всех этих разнообразностей и соединить их плотью гармонии. Ричард — это Протей превращений. Самый лучший выразитель его роли до сих пор был и есть сам Шекспир... Для величайших актеров он всегда был Гордиевым узлом.

В трагедии остальные лица, как и в ранних произведениях Шекспира, группируются вокруг главного действующего характера; одна и та же идея связывает их со страшным героем. Сверхчеловеческим силам Ричарда прежде всего противопоставляются женщины — во всей их женственной слабости и бессилии. *Анна*, которую он в начале покоряет оружием своего лицемерия, возбуждает скорее участие, нежели презрение; она ненавидит и выходит замуж; она проклинает ту, которая станет женою убийцы ее мужа, и сама подпадает этому проклятью и, ставши его супругою, входит снова, невольно, в ряды врагов своего нового мужа... Редко выводили сцену, полную таких невероятностей, какова сцена, где Анна играет главную роль, и ее характер выходит неожиданно и как бы мимоходом, снова исчезнув в своем проявлении до конца пьесы, но блеснув всею роскошью красок, женскою кичливостью, самолюбием, слабостью и кокетливостью речи; подобное явление мы видим еще в трагедии «Эфесская Матрона»... Не надобно забывать, впрочем, что убийство ее мужа частью оправдывается неизбежным злом всякой гражданской войны и долгом воинской чести...

Не менее остроумно выступает, в противоположность характеру Глостера, простодушие Гэстингса. Он добросерде-

чен, верен чувству добра, болтлив, честен, чужд всякого лукавства; он верит Кэтзби столько же, сколько и Ричарду; он торжествует с неосмотрительною радостью при падении своих врагов, тогда как ему грозит подобная же участь; он подает в совете свой голос за Глостера, за своего чудного и верного друга, и не видит, что тот уже подписал его смертный приговор. Вся сцена (III акт, 4-я сцена), в которой это происходит, даже в подробностях характеристической речи, заимствована из хроники. Иначе Шекспир выставил Бракенбери; здесь он основывался единственно на силе своего вообpажения, и потому этот последний исторически играет совершенно другую роль, нежели в трагедии. Являясь лицом вполне страдательным, как Кэтзби и Тиррель характерами действующими, он вечно вызывает Ричарда к действиям, вызывает его планы и намерения, без чего последние, по-видимому, не получили бы такого энергического полета. Самым главным орудием Глостеру служит его креатура — Бокингэм... Он выставлен с ним рука об руку, как его близкое и дивно схожее отражение, как копия его честолюбия и лицемерия. Друг у друга они заимствуют и оба вместе стремятся к одной цели — к возвышению. Здесь — их природная, нравственная связь. В Бокингэме, в его сходстве с Ричардом Шекспир примиряет противоположности в характере своего героя и резкое различие в типах второстепенных лиц, сгруппированных около Глостера. Он помогает своему патрону возвыситься и, подобно ему и его проделкам, дивно скрывает свою атаку... Сама Маргарита вначале считает его невинным; ее проклятия не касаются его; он не верит им, но, подобно Глостеру, сомневается в своих убеждениях и радуется, что страшная женщина извлекает его из круга тех, на которых обрушивает свои заклинания, и что она протягивает ему руку помощи. Везде, в добре и зле, он рисуется за Ричардом — на втором плане. Совершенная противоположность Бокингэму — Стэнли. Это настоящий льстец и лицемер; вне своей главной сферы он не признает ничего и, подобно Елисавете, поражает Ричарда его же оружием. Будучи в родстве с Рич-

мондом, он уже с самого начала принял меры предосторожности и из врага делается другом королевы Елисаветы; его глаз видит всюду; сама история изумляется, как Ричард, будто ослепленный самим небом, мог обмануться в этом человеке... Шекспир оправдывает истину тем, что дает Стэнли одно оружие с Ричардом; равенством природной ловкости он надолго оспаривает победу у Глостера...

Рассмотрев эти стороны, объяснив положения лиц, сгруппированных около сверхъестественного характера героя трагедии, мы должны заметить, что поэт искал еще больших крайностей, чтобы со всех сторон вполне осветить и уяснить этот характер. Он противопоставляет его счастью, его возвышению горести и падения; его глубокому лицемерию — беспечность и добродушие; его кровожадности — беззаботное самодовольство, которое издевается над самою смертью. Все это объясняется появлением *Маргариты.*

Маргарита была вдовою короля Генриха VI; она однажды вернулась из Франции, куда была сослана, на материк Англии в одежде нищей... Обезоруженная, с убитым самолюбием, она издевается над опасностями, над самою смертью, которая ей грозит за нарушение закона; она врывается в круг своих врагов и, будучи не в силах повелевать и управлять ими, не имея возможности скрыть своей внутренней бури, она в безумии и бешенстве расточает беспощадные, предсказательные проклятия, развертывает во всей наготе страшную истину и, как труба суда Божия, гремит и поражает отступников правды, своих бездушных гонителей. Эти слова имеют более силы и огня, чем все злодеяния Ричарда, и жажда ее мщения неукротима: она неукротимее и ненасытнее, чем вся страшная жажда честолюбия, грызущего гнусную душу Глостера. Сочинитель хроники замечает, при описании смерти сына Маргариты, что все, бывшие при этой кончине, позднее испили одинаковую чашу «вследствие заслуженной справедливости и карающего наказания Божия». Шекспир этот суд олицетворил в суровой Маргарите и ее проклятиях. Она прокляла Эдуарда, и Эдуард скоропостижно

умирает; ее проклятия сбываются и на несчастном Кларенсе, который сражался за дом Ланкастеров; они сбываются и на Гэстингсе, и на Елисавете, которая под конец, в самом деле, остается без брата, без мужа и без детей, и на лукавом Бокингэме... Ричард также, наконец, делается жертвою ее проклятий... Бокингэм изменяет ему — это ему предсказала Маргарита. Сам Ричард (IV акт, 4-я сцена), в дерзком безверии, накликает на свою голову суд Божий... Наконец, его родная мать, герцогиня Иоркская, которую поэт выставил в средине — между Елисаветою и Маргаритою — и наделил ее качествами этих обеих, говорит ему (IV акт, 4-я сцена), что ее молитвы будут на стороне его врагов; она восклицает: «Да будут мои проклятия, в день роковой, последней битвы, на голове твоей тяжелее твоего железного шлема!» И картины движутся, как живые, и все идет, как наяву, и страшный конец неотразим. Кара небесная, как ужасный ураган, охватывает всех и несет к гибельной цели... «Lascinate ogni speranza voi che intrate!..» Последняя туча рассеянной бури, лицемерный и ехидный Бокингэм восходит на эшафот. «Всевышний, над Промыслом которого я издевался, — восклицает он, — обрушил мою лицемерную молитву на мою голову; он дал мне по святой правде то, о чем я просил в шутку!» Последние слова трагедии, которые Шекспир влагает в уста Ричмонда, человека, осчастливленного волею небесного Промысла — «God say amen!», — примиряют наше чувство с идеей всей драмы, богатой такими многообразными подробностями.

«Ричард III» в начале тридцатых годов был переведен на русский язык стихами, с французского перевода Шекспира[1]. В 1842 году эта драма явилась у нас в третьей части

[1] Перевод покойного актера *Брянского*, шедший долго на сценах наших театров.

переводов Шекспира — Кетчера. Последний перевел ее слово в слово и со многими примечаниями, с английского, в прозе.

Предлагаемый здесь перевод сделан также с английского языка стихами, как и позднейший А. В. Дружинина.

Следует прибавить несколько слов об *известнейших актерах, выполнявших*, в разные времена, *роли в этой драме.*

Драма, особенно драма Шекспира, теряет половину своих достоинств, если она не представляется на сцене театра; актер-художник дополняет, животворит идеи поэта, выясняет их, дает им гармоническую плоть и делает их доступными органам зрителей. Так иногда, при жизни своей, поэт бывает гораздо менее славен, чем актер, выполняющий его создания; последнему зритель приписывает свои сердечные движения, свое наслаждение; последний, подобно гальскому Геркулесу, приковывает к своим устам целый народ своих поклонников. Но, увы! приходит роковая, безвозвратная пора, и этот голос, этот могучий голос смолкает навсегда: завеса другого мира падает между нами и актером. От него, как от исполнителя-музыканта, как от певца, как от прелестной танцовщицы, остается одно: звук его имени и несколько лучей славы! Произведения его исчезают вместе с ним, вместе с его жизнью, которая иногда десятки лет увлекает целые поколения и целые современности наполняет новыми эстетическими началами. И едва-едва остаются от всей его личности немногие слабые отголоски, немногие предания, выраженные слабым, бесплодным словом.

Ни один поэт столько не сделал для актеров, сколько сделал Шекспир; ни один из писателей-драматургов не создал такого множества характеров, типов, которые живут самостоятельною жизнью и совершенно овладевают нашим воображением. Большая часть актеров приобретала свою славу исполнением ролей Шекспира. Скажем о некоторых из более прославленных, в отношении к «Ричарду III». *Беттертон*, по словам записок Коллея-Гиббера, «был единственным человеком, который еще мог играть роли созданий

Шекспира, так точно, как Шекспир один только и мог писать для сцены...» Главное достоинство Беттертона было: разнообразие игры и применение своей артистической личности к личности каждой из играемых им ролей... В «Ричарде III» с ним мог соперничать один Кин. Коллей о нем выражается так: «В ролях, созданных не Шекспиром, он превосходил всех других актеров; в Шекспировских же творениях он превосходил самого себя». Он родился в 1685 году, умер в 1710. *Гаррик* был знаменит в роли «Ричарда III», в «Лире» и «Макбете». Он родился в 1716 году, умер в 1779 году, и происходил от французской фамилии. Англичане его ставят выше всех своих актеров; природа, естественность и разнообразие были его главными качествами. Будучи сам сочинителем, Гаррик всю свою жизнь разрабатывал творения Шекспира. Он иногда переделывал роли Шекспира, оправдываясь желанием приблизить их к духу своей эпохи. Упрек этот, впрочем, исчезает при мысли о достоинствах Гаррика: он возвратил своею игрою всю популярность Шекспиру, которую этот последний потерял с той поры, как английская сцена лишилась Беттертона. Он поочередно был то страшен, то благороден, то патетичен, то страстен; и никогда актеру столько не изумлялись и не аплодировали, сколько изумлялись и аплодировали Гаррику. По его смерти Англия воздала ему почести великих людей, и он был похоронен в пышном склепе Вестминстерского аббатства. Роли *Маргариты* и *Елисаветы* в «Ричарде III» со славою исполнила мистрисс *Притчард*. Она первая заменила собою молодых актеров, которые до нее обыкновенно выполняли все женские роли Шекспира. Она также неподражаемо играла роли миледи Макбет, королеву в «Гамлете» и Екатерину в «Генрихе VIII». Мистрисс Притчард родилась в 1711 году, умерла в 1768 году. После этих имен мы можем назвать *Кука*, которому было уже сорок пять лет от роду, когда он, в 1801 году, на Ковент-Гарденском театре дебютировал в роли короля «Ричарда III»... Ему аплодировал сам Кембль. Будучи красив собой, Кук отличался, главным об-

разом, неподражаемым выражением ненависти, зависти, хитрости и едкой иронии... Он ездил играть в Соединенные Штаты, где в Нью-Йорке в 1812 году и скончался на пятьдесят восьмом году от рождения. Но славнейшим из исполнителей роли «Ричарда III» был *Кин. Эдмонд Кин* владел удивительными качествами. Иногда он впадал в тривиальность и уже в слишком исступленную энергию гнева и горячности... Но без этого он был благороден, высок и изящен. Ричард III и Шейлок были главными его ролями. Ричард III, из которого он делал безобразного Дон-Жуана, рос мгновенно и становился почти гигантом, едва над ним распадалась туча опасности. Вся зала потрясалась электрическим ударом, когда он кричал: «Коня! коня! все царство за коня!» Кин, подобно всем английским актерам, в совершенстве владел шпагою и рапирою... Поэтому в роли Ричарда он растягивал с умыслом последнюю сцену своей борьбы с Ричмондом и умирал, показав вполне свое искусство владеть оружием. Кин оставил сына, но его сын вовсе не имеет таланта своего отца. В новейшее время исполнением роли Ричарда III прославились итальянские трагики *Сальвини* и *Росси*.

Из наших актеров *Мочалов* исполнял в Москве роль Ричарда Третьего и был неподражаем в пятом акте; этот пятый акт — под именем «Сна короля Ричарда III» — в последние годы жизни Мочалова давали обыкновенно отдельно.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Король Эдуард IV.
Эдуард, принц Валлийский, } сыновья его.
Ричард, герцог Йоркский. }
Ричард, герцог Глостер, } братья его.
Георг, герцог Кларенс. }
Малолетний сын Кларенса.
Генрих, граф Ричмонд.
Кардинал Борчер, архиепископ Кэнтерберийский.
Томас Росерам, архиепископ Йоркский
Джон Мортон, епископ Элийский.
Герцог Бокингэм.
Герцог Норфольк.
Граф Серри, сын его.
Граф Риверс, брат жены короля Эдуарда.
Маркиз Дорзет и Лорд Грей, сыновья его.
Граф Оксфорд.
Лорд Гэстингс.
Лорд Стэнли.
Лорд Ловель.
Сэр Томас Вогэн.
Сэр Ричард Ратклиф.
Сэр Вильям Кэтзби.
Сэр Джемс Тиррль.
Сэр Джемс Блент.
Сэр Вальтер Гэрберт.
Сэр Роберт Бракенбери, комендант Тауэра.
Христофор Орзвик, священник.
Лорд-мэр Лондона.
Шериф Вильширский.
Елисавета, жена Эдуарда IV.
Маргарита, вдова умершего короля Генриха VI.

Герцогиня Йоркская, мать короля Эдуарда IV, Глостера и Кларенса.
Леди Анна, вдова Эдуарда, принца Валлийского.
Маленькая дочь Кларенса.

Лорды. Свита. Джентльмены. Священник. Писец. Граждане. Убийцы. Гонцы. Духи. Солдаты.

Действие происходит в Англии.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лондон. Улица.

Входит Глостер.

Глостер

Зима усобиц наших обратилась
В блистательное лето солнцем Йорка:
Потоплены в пучины океана
Нависшие над нами тучи.
Победа увенчала чела наши.
Трофеями висит победное оружье.
Веселый пир сменил свирепость битвы,
И плясок звук — звук маршей заглушил!
Суровый бой чело свое разгладил,
И на конях, закованных в железо,
Не носится, пугая души робких;
Он весело в покоях леди пляшет
Под звуки льстиво-сладострастной лютни...
И только я, к игрушкам неспособный,
Не созданный для зеркала урод,
Я, так топорно срубленный, лишенный
Любовных чар, таинственных и сильных,
Перед вертлявостью кокеток-нимф;
Я, в красоте мужчины обделенный,
Физиономии лишенный от природы,

Урод я недоделанный, до срока
Я выброшен на свет, как недоносок,
Едва поконченный, и то такой красивый,
Что на меня собаки лают, чуть
Пред ними где заковыляю; только я,
В изнеженно пустое время это,
Отрады жить совсем не нахожу,
За исключением, конечно, созерцаний
На солнце тени собственной своей
Да рассуждений о своем уродстве.
И вот, с тех пор, как я не в силах быть
Любовником — любимцем пошлой моды,
Я быть хочу злодеем, я решился
Преследовать отраду жизни смертных!..
Расставил я губительные сети,
Пророчества безумцев, письма, сны
В смертельный бой поставят короля
И Кларенса; и если Эдуард
Король правдив и так же верен долгу,
Как я хитер, лукав и вероломен,
Сегодня ж Кларенс будет в заключенье
Из-за пророчества, что буква «Г»
Обезнаследит племя Эдуарда!..
Но вот и он: сокройтесь все расчеты!..

Входят Кларенс со стражей и Бракенбери.

А! здравствуй, брат! Что значит эта стража
Вокруг тебя, с оружием в руках?

Кларенс

Его величество, заботясь сердцем
О сохранении моем, велел
Ей проводить меня конвоем в Тауэр.

Глостер

За что?

Кларенс

За то, что я зовусь Георгом.

Глостер

Ай-ай, милорд! Но ваша ль в том вина?
Отцов сажать в тюрьмы за имя надо.
Уж не задумал ли король для вас
Устроить в Тауэре опять крестины?..
Без шуток, Кларенс, можно ль знать, в чем дело?

Кларенс

Да, Ричард, если б знал я; но клянусь
Тебе, не знаю: говорят, он снам
И предсказаньям верит, говорят,
Везде из алфавитов букву «Г»
Вычеркивает, ибо это «Г»,
По предсказаниям, лишить потомства
Его фамилию должно; мое —
Георга имя — букву «Г» вначале
Имеет; и за то меня врагом
Король возмнил... и вот какие вздоры
Составили приказ — идти мне в Тауэр.

Глостер

И так всегда бывает, только баба
Осилит человека! Не король,
А леди Грей, жена его, вас, Кларенс,
Несправедливо в Тауэр посылает.
И не она ль иль не ханжа ль смиренный,
Антоний Вудвиль, брат ее, решили
И лорда Гэстингса забросить в Тауэр,
Откуда тот сегодня только выйдет?
Не безопасны мы; да, Кларенс, мы —
Не безопасны!..

Кларенс

Небом я клянусь,
Здесь никого на поле нет; свободны —
Родня лишь королевы да гонцы
От короля к красотке Шор. Вы, верно,
Слыхали, как ее постыдно рабски
Просил лорд Гэстингс о своей свободе!

Глостер

Покорные воззванья к божеству
Вернули волю лорду-камергеру.
Сказать ли? нам одно осталось средство
Приобрести любовь монарха — это
Уж разом надевать ливрею Шор
И поступать на службу к ней скорее;
Она с каргою старой, королевой —
Теперь в стране сильнейшие особы.

Бракенбери

Прошу обоих вас мне извинить:
Его величество строжайше всем
Иметь беседы тайные с милордом,
С кем он ни говорил бы, запретил.

Глостер

Что ж, если вам угодно, Бракенбери,
Вы можете войти в беседу нашу.
Не об измене речь: мы говорим,
Что мудр король, что королева наша
Немножко хоть стара, зато добра,
И хороша, и вовсе неревнива;
Мы говорим, что у супруги Шор —
Вишневый ротик, прелесть — ножка, бойкий
Язык, и глаз презоркий; что в дворянство
Возведены родные королевы...
Ну, что же, сэр? Ужли все это ложь?..

Бракенбери

До этого мне, лорд, нет дела.

Глостер

Как?
Нет ничего, что можно б с мистрисс Шор
Вам сделать? Пусть так думают другие,
Один же человек в секрете держит
Бессилье это с ней...

Бракенбери

Кто ж он, один?..

Глостер

А муж ее, бездельник?! Донеси
Теперь на нас...

Бракенбери

Простите, ваша светлость,
И кончите ваш разговор с милордом.

Кларенс

Твой долг известен нам, и мы внимаем
Тебе.

Глостер

Мы — королевины рабы!
Прощайте, брат, я к королю спешу;
И что б вы мне к нему ни поручили, —
Хотя б назвать сестрою Эдуарда
Вдову, — на все готов я, только б вам
Вернуть свободу. Более, чем вы
Предполагаете, измена брата
Убийственна мне.

Кларенс

Знаю! Нам обоим
Она не по сердцу...

Глостер

Но вам недолго
Сидеть в тюрьме; я вас освобожу
Иль сяду сам туда. Терпенье только!

Кларенс

Стерплю! терпеть мы все должны; прощайте.

(Уходит с Бракенбери и стражей.)

Глостер

Ступай, оттуда нелегко вернуться,
Простяк и глупый Кларенс! Я тебя
Люблю, поэтому скорее душу
Твою отправляю в небо, если этот
Подарок небо примет от меня.
Но кто там? А, освобожденный Гэстингс!..

Входит Гэстингс.

Гэстингс

День добрый вам, достопочтенный лорд.

Глостер

И вам, лорд-камергер, того ж желаю.
Рад видеть вас я снова на свободе.
Ну, что, как вы сносили заключенье?..

Гэстингс

Терпел, милорд, как терпит всякий узник.
Теперь же я спешу благодарить
Доставивших мне прелесть заточенья.

Глостер

О, да! как раз! И Кларенс вам поможет.
У вас с ним общие дела, его
Враги и вас так злобно сокрушили.

Гэстингс

Бездушные! закабалить орла,
Тогда как коршуны на воле грабят!

Глостер

Что нового — на воздухе?

Гэстингс

Вне дома
Не лучше, что и в самом доме: слаб
Король, и хвор, и удручен тоской,
И страшно трусят за него врачи.

Глостер

Клянусь Петром, плохая ваша новость!
Долгонько наш король не знал диеты
И свыше сил себя уж истощил!
Невесело об этом и подумать.
Где он теперь? в постели?

Гэстингс

Да, в постели.

Глостер

Иди ж, я за тобою вслед к нему!

Гэстингс уходит.

Ему не жить, уверен я; Георга ж
Он, умирая, на небо ушлет;
Скорее к Кларенсу — в нем подозренье

Воспламенить лукавой клеветой;
И если я не ошибаюсь в планах,
Не жить до завтра Кларенсу: тогда
Прими, Господь, и душу Эдуарда,
Меня ж оставь стараться в этом мире;
Здесь Варвикову дочь возьму я в жены!..
Но я убил ее отца и мужа?!
Что ж?.. Дать собой ей мужа и отца
Опять — не значит ли ее утешить?..
И я исполню это! Без сомненья —
Не из любви — из лучшей, важной цели...
А цели мне достичь лишь этой связью!
Однако ж я спешу на рынок прежде
Коня! Еще и Кларенс жив, и сам
Король живет и правит!.. Уберутся,
Тогда считать начнем мы барыши.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Там же. Другая улица.

Несут тело короля Генриха VI в открытом гробу. Джентльмены с алебардами охраняют его. За ними леди Анна — плачущая.

Анна

Поставьте наземь вы честную ношу,
Коль в гробе может укрываться честь;
Посетовать мне дайте о кончине
Ланкастера безвременно-печальной!
Холодный лик святого короля!
Бескровные останки крови царской!
Поблеклый прах Ланкастерова дома!
Да внемлет тень твоя рыданьям Анны,
Супруги сына твоего — любимца,
Пронзенного одной с тобой рукою!
Смотри, беспомощным бальзамом глаз

Я орошаю раны — окна смерти...
Проклятие руке, их отворившей,
Кровь источившей! О, да разразится
Над ним, убийцею твоим, несчастье
Ужаснее всего, что пожелать
Могу я жабам, паукам, ехиднам,
Всем злобным, пресмыкающимся гадам!
И если станет он отцом, пусть будет
Дитя его уродом, прежде срока
Рожденным, вид которого, ужасный
И дикий, мать родную испугал бы!..
И да наследует его он зверство!
Когда ж возьмет себе жену он, пусть
Она несчастней жизнью мужа будет,
Чем я кончиной мужа и твоею!
Теперь идите с вашей ношей в Чертзи,
Берите гроб и, если притомитесь,
Поставьте наземь, я ж своим стенаньем
Последний долг воздам святому праху.

Носильщики поднимают тело и несут его далее.
Входит Глостер.

Глостер

Эй, вы! стой, наземь опускайте гроб!

Анна

Какой колдун косматый сатану
Сюда наслал мешать святым обрядам?

Глостер

Спускайте труп, бездельники! иль Павлом
Клянусь, я в труп вас обращу самих!

Первый джентльмен

Лорд, пропустите гроб, посторонитесь.

Глостер

Собака дерзкая! велят — так стой!
Прочь алебарду от груди моей,
Иль, Павлом я клянусь, за дерзость
Ногами растопчу тебя, бездельник.

Носильщики ставят гроб на землю.

Анна

Как?! вы трепещите? Вы испугались?
Нет, я винить не смею вас, вы смертны,
А взорам смертных демона не вынесть.
Исчезни ты, палач ужасный ада!
Ты власть имел над телом этой жертвы,
Не властен ты в ее душе; исчезни!

Глостер

О, праведная, чем я прогневил?

Анна

Исчезни, ради неба, гнусный демон,
Не искушай нас, богом заклинаю!
Ты нашу землю в ад преобразил
И воплем ярости ее наполнил!
Когда собой ты в силах любоваться,
Гляди, вот плод твоей бездушной бойни.
О! посмотрите, Генриховы раны
Открылися и источают кровь!..
Красней, дрожи, поганый недоносок,
Ты эту кровь исторг, чуть подошел —
Из охладевших, из бескровных жил
Чудесный этот разлился поток...
Творец, создавший чудо, отомсти
За кровь! Земля, упившаяся кровью,
За смерть его отмсти! Убийцу, небо,
Сожги грозой, земля, разверзни пасть

И поглоти его, как эту кровь,
Им истощенную, ты поглощаешь!

Глостер

Закон Христов вы позабыли, леди,
Закон — платить за зло благословеньем.

Анна

Не знаешь ты ни божьих, ни людских
Законов; зверь не чужд их состраданья.

Глостер

Я — чужд его и потому не зверь.

Анна

О, диво! демон истину промолвил.

Глостер

Еще чуднее — рассердился ангел.
Божественное совершенство Евы,
Позволь мне пред тобою оправдаться
В злодействах, возводимых на меня.

Анна

Несовершенство гнусное Адама,
Позволь мне тут же проклинать тебя
За несомненные твои злодейства.

Глостер

Прелестница, красивей всех речей,
Придет пора, меня ты оправдаешь!

Анна

Урод, ужасней всех терзаний сердца,
Повесившись — тем можешь извиниться.

Глостер

Таким поступком обвиню себя.

Анна

За то, отчаявшись, прощенье, изверг,
Получишь ты, отмстив себе достойно —
За всех, тобой убитых неповинно!

Глостер

Клянусь тебе, я их не убивал!

Анна

Тогда они и не были б убиты;
Но — нет их, и виной тому ты,
Палач!

Глостер

Не умерщвлял я твоего
Супруга.

Анна

Значит, жив он?

Глостер

Нет, убит.
Но он убит рукою Эдуарда.

Анна

Ты лжешь своею гнусной глоткой: твой меч
В его крови дымился. Маргарита
Свидетель в том, твой меч, тобой однажды
И на нее направленный при братьях.

Глостер

Я вызван был ее же клеветой
И умыслом — взвалить вину чужую
На плечи мне, не винному ни в чем.

Анна

Ты вызван был твоим кровавым духом,
Который грезит об одних убийствах.
Кто ж Генриха убил? Ты?

Глостер

Я, согласен.

Анна

Согласен, еж? Так согласись же, Боже,
Отмстить тебе за это злое дело!
О! Генрих был так милосерд, так кроток!

Глостер

Тем более приятен он для Бога.

Анна

Он — на небе, тебе же не бывать там.

Глостер

За ним спасибо — я ему помог
Туда попасть. Ему на небе место.

Анна

Тебе же места лучше ада нет.

Глостер

Ах, есть одно, когда б его назвать
Позволили?..

Анна

В остроге?

Глостер

В вашей спальне!

Анна

Проклятье дому, где ты обитаешь
И спишь.

Глостер

Мне не найти покоя в доме,
Где я, миледи, сплю один, без вас.

Анна

Надеюсь!

Глостер

Именно. Но, леди Анна,
Оставим сшибку легкую острот
И спустимся к чему-нибудь серьезней.
Кто предал ранней смерти Эдуарда,
Плантагенетов Генриха, — не правда ль,
Был смерти их причина и свершитель?

Анна

Ты был причиной, ты же и палач.

Глостер

Твоя краса одна тому причина!
Она во сне меня томит и сушит,
И целый мир готов я перерезать
За час один — пробыть в твоих объятьях!..

Анна

Будь это все не ложь, клянусь, убийца,
Когтями я красу с лица сорвала б.

Глостер

Я б не стерпел ее уничтоженья.
При мне вы ей не сделали б вреда:
Как целый мир живится солнцем, так
Я ей. Мне она — и день, и жизнь!

Анна

Да омрачится день твой черной ночью,
Жизнь — смертью.

Глостер

Дивное созданье, ты
Себя клянешь, ведь ты же эти оба.

Анна

Когда бы так, чтоб отомстить тебе.

Глостер

Нет ничего ненатуральней мести
За то, что любят нас.

Анна

Нет ничего
Естественней и справедливей мести
Убийце мужа моего.

Глостер

Тот, кто
Лишил вас мужа, сделал это с тем,
Чтоб дать вам лучшего, миледи, мужа.

Анна

На всей земле нет лучшего другого.

Глостер

Есть тот, кто любит вас сильней его.

Анна

Кто ж он?

Глостер

Плантагенет.

Анна

Так звался муж мой.

Глостер

Одно названье — качества другие.

Анна

Но где ж он?

Глостер

Здесь.

Она плюет ему в лицо.

За что ж плюетесь вы?

Анна

Желала б я, чтоб это ядом стало!..

Глостер

Из сладких уст не проливался яд!

Анна

И никогда не попадал на жабу
Гнуснее! Прочь! ты взор мой заразишь!

Глостер

Твои глаза мои уж заразили.

Анна

О, для чего они не василиски!

Глостер

Когда бы так, чтоб умереть мне сразу,
А то они меня живьем терзают.
Смотри, мои глаза — соленой влагой
Затмилися, потоком детских слез

Позорит их твой взор, когда ни разу
Там не было слезинки состраданья —
Ни в час, когда отец мой Йорк и брат
Рыдали, воплям Рютланда внимая,
Которого терзал свирепый Клиффорд,
Ни в час, когда воинственный отец
Твой рассказывал о смерти моего
И двадцать раз крепился, как дитя,
Рыдая, и у всех стоявших слезы
Бежали по щекам, как дождь по листьям...
И в этот час мой взор слезы не ведал!
И то, чего не выжали страданья,
Могла твоя святая прелесть вызвать!
Век не молил ни друга, ни врага я,
Уста мои не знали сладкой речи;
Но красота твоя мой ум пленила,
И молит сердце, и язык мой плачет.

Она взглядывает на него с негодованием.

Не придавай устам твоим презренья;
Не для него они, для поцелуев
Сотворены. Когда меня простить
Не в силах ты, вот меч, возьми его,
Пронзи им, если хочешь, эту грудь,
И любящую душу вырви вон!..
Я обнажу ее ударам смерти,
О смерти на коленях я взываю.

Он подставляет ей грудь свою; она направляет на нее меч.

Не медли же. Я Генриха убил,
Но этому краса твоя виною.
Кончай, я Эдуарда умертвил,
Но лик твой ангельский тому причиной.

Она роняет меч.

Кого поднимешь, меч или меня?

Анна

Встань, лицемер, твоей я смерти жажду,
Но палачом твоим быть не желаю.

Глостер

Так прикажи, и я убью себя.

Анна

Я уж сказала.

Глостер

Это было в гневе.
Скажи теперь, и в миг рука моя,
Из-за любви к тебе твою любовь
Убившая, убьет из-за любви же
Любовь еще сильнейшую; и в смерти
Обеих ты виновницею будешь!..

Анна

Желала б я твое изведать сердце.

Глостер

Оно — на языке...

Анна

Но также лживом.

Глостер

Тогда — кто ж прав на свете?

Анна

Хорошо.
Вложи свой меч в ножны.

Глостер

Итак, скажи,
Вернется ль мой покой?

Анна

Узнаешь после.

Глостер

Могу ль надеяться?

Анна

Мы все надеждою
Живем.

Глостер

О, так прими ж, носи хоть это
Кольцо.

Анна

Взять, лорд, еще не значит дать!..
(Она надевает кольцо.)

Глостер

Смотри, как перстень мой твой палец обнял, —
Так грудь твоя мое объемлет сердце;
Носи же оба их — они твои.
Когда же твой покорный, бедный раб
Еще одну твою получит милость,
Навек его упрочено блаженство.

Анна

Что там еще?

Глостер

Оставь исполнить этот
Обряд тому, кто более причин
Имеет сетовать, и удалися в Кросби.
Похоронив торжественно останки
Святого короля в оградах Чертзи
И гроб его с раскаяньем оплакав,
Туда к тебе — твой раб, я поспешу.

По многим, тайным для тебя причинам,
Молю, позволь мне это.

Анна

От души.
Мне радостно раскаянье такое.
Трессель и Берклей, следуйте за мной.

Глостер

Скажи же мне: прости.

Анна

О, тут ужболе,
Чем ты достоин; но, как сам меня
Ты лести выучил, вообрази,
Что я тебе «прости» уже сказала.

Уходят леди Анна, Трессель и Берклей.

Глостер

Берите гроб — и в путь.

Джентльмены

Куда же, в Чертзи?

Глостер

Нет, к Белым Братьям, ждите там меня.

Джентльмены с гробом удаляются.

Ну, кто искал любви в таком несчастье?
Приобретали ль женщин в миг подобный?..
О, я возьму ее хоть ненадолго...
Как?! я — убийца мужа и отца
Ее — за ней же волочусь, когда
Из уст ее проклятья, слезы рвутся
Из глаз, и я, всего причина, с ней же;

Когда и Бог, и совесть за нее,
Когда ничто не помогает мне,
За исключением лести да притворства...
И покорить ее, весь мир — ничем?
Или она забыть успела мужа,
Прекрасного и доблестного принца,
Которого три месяца назад
При Тьюксбери я ловко так убил?
Еще вовек в припадке добрых дел
Природа лучшего не создавала;
Пространный мир не видывал владыки
Разумней, царственней, отважней —
И до меня унизилась она!..
До демона, подсекшего весну
Ее любви, печальное вдовство
Ей предназначившего? До меня,
Который весь частицы Эдуарда
Не стоит? До меня, страшилища хромого!
Все герцогство — против полушки грязной
В заклад даю, — я страшно ошибался
В своей особе: жизнию клянусь,
Она во мне — чего уж мне не видеть
Никак — красивого мужчину видит...
Займемся ж зеркалом, приищем
С полдюжины портных, наряд достойный
Для украшений наших смастерить:
С тех пор, как я с собою примиряюсь,
На франтовство поиздержаться можно!..
Упрячем же приятеля в могилу,
А там в слезах пойдем к голубке нашей!..
Свети же, солнце, дай мне на тени
Твоей моей особой любоваться,
Пока купить я зеркала не вздумал!..

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Там же. Комната во дворце.

Входят королева Елисавета, лорд Риверс и лорд Грей.

Риверс

Терпенье, королева: верьте, скоро
Вернут его величеству здоровье.

Грей

Вы беспокоитесь — ему же хуже;
Утешьтесь, ради Бога, ободрите
Его величество веселым словом.

Елисавета

Умрет он, что тогда со мною будет?

Грей

Одна печаль — подобная потеря.

Елисавета

В потере этой разом все печали
Совмещены.

Грей

Умрет он, небо вам
Прекрасного дало в утеху сына.

Елисавета

Но молод он, а опекун его
До срока — Глостер, человек такой,
Который ни меня, ни вас не любит.

Риверс

А решено ль, что избран будет он
В протекторы?

Елисавета

Еще не решено;
Но так должно случиться, чуть король
Нам с вами завещает долго жить.

Входят Бокингэм и Стэнли.

Грей

Вот идут лорды Бокингэм и Стэнли.

Бокингэм

День добрый нашей славной королеве.

Стэнли

Да возвратит Господь вам вашу радость!

Елисавета

Графиня Ричмонд, Стэнли, вряд ли скажет
«Аминь» на ваши добрые моленья.
Но, несмотря на то, что ваша, Стэнли,
Она жена и что меня не любит,
Уверьтесь, добрый лорд, вас ненавидеть
Не стану я за дерзости супруги.

Стэнли

Не слушайте, не верьте, вас молю я,
Постыдной лжи гонителей ее.
Когда ж вам донесут и правду даже,
Простите слабостям ее, поверьте,
Не из обдуманности злой и хитрой —
Из яда немощей они выходят!

Елисавета

Видали ль нынче короля вы, Стэнли?

Стэнли

Сию минуту только от него
Вернулись мы с милордом Бокингэмом.

Елисавета

Что нового в нем к лучшему нашли вы?

Бокингэм

Надежду, королева! Весел был
Его величество.

Елисавета

Бог да пошлет
Ему здоровье! С ним вы совещались?

Бокингэм

Да, королева: примирить желает
Он ваших братьев с лордом-камергером,
А также с герцогом, милордом Глостером.
За ними он уже послать изволил.

Елисавета

Когда б все так! Но это невозможно.
Предвижу я, погибло наше счастье!

Входят Глостер, Гэстингс и Дорзет.

Глостер

Неправды их терпеть я не намерен.
Кто королю доносит на меня,
Что я жесток, что неприязнен к ним?
Клянуся, короля не любит тот,
Кто дух его волнует этим вздором.
Не в силах я сгибаться, льстивой речью
Блистать, на всех с улыбкой лицемерья
Глядеть, всех надувать французским лоском

И обезьянским ханжеством — и вот
Я непременно закоснелый враг!..
Уже ль не может честный человек
Жить без обмана, без того, чтоб правду
Его поступков толковали вкось
Коварные и хитрые пройдохи?

Грей

К кому ж из нас относитесь вы, герцог?

Глостер

К тебе, неблагодарный и бесчестный!
Когда тебя теснил я, оскорблял?
Или тебя? или тебя? иль всех вас?
Проклятье вам! Король — Бог да поможет
Ему без ваших пламенных молитв —
На вздох один покоя не имеет
Из-за бесстыдных, гнусных ваших жалоб.

Елисавета

Брат Глостер, вы неправы. Сам король,
По воле царственной своей, чужим
Не понукаемый наветом, вас
Призвал к себе, быть может, разгадав
По вашим действиям немую злобу
В вас на меня, моих детей и братьев,
И тем хотел, раскрыв ее причину,
По-братски в вас совсем ее изгладить.

Глостер

Нет сил смотреть! Неузнаваем свет.
Крапивники разбойничают там,
Где и орлы присесть не смели. С той
Поры, как всякий шут стал джентльменом,
Прошло в шуты немало джентльменов.

Елисавета

Так, так, все нам понятно, Глостер:
Завиден вам высокий наш удел!..
Дай Бог, чтоб мы вовек в вас не нуждались.

Глостер

Меж тем, как видит Бог, я в вас нуждаюсь.
Мой брат по вашим проискам в темнице;
В опале сам я, честное дворянство
В пренебрежении, когда, что день,
То новые места даются людям,
Еще вчера не стоившим гроша.

Елисавета

Клянуся тем, кто из моей же тени
Возвел меня на высь моих стремлений,
Я никогда не возбуждала гнева
У короля на Кларенса; напротив —
Я за него молила короля!..
Милорд, вы оскорбляете жестоко
Меня подобным гнусным подозреньем.

Глостер

Вы можете отречься, что не вы,
Пожалуй, были тайною причиной
И лорда Гэстингса ареста...

Риверс

Может,
Милорд, затем, что...

Глостер

Очень может, Риверс?!
Кто этого не знает? Даже боле:
Она могла б чем отпереться в этом,
Она помочь вам может в возвышенье,

И тут же отопрется в том, что было,
Сложив все почести на вас самих.
Чего она не может?! О, все, может...
Да, без сомненья, может...

Риверс

Что ж такое?

Глостер

Дела свои поправить, выйдя замуж
За короля, красавца холостого.
Бывает хуже — выбор вашей бабки
Я вам напомню кстати.

Елисавета

Глостер, долго
Сносила я и грубые намеки,
И ваши колкости: клянуся небом,
Его величество теперь узнает
Все, все, чем оскорбляли вы меня.
Нет, лучше быть работницей, крестьянкой
Простой, чем королевою великой —
Терпеть насмешки, стыд и оскорбленья.
Немного радостей мне принесла корона
Британии!..

В глубине сцены показывается королева Маргарита.

Маргарита

(В сторону)
Молю тебя, Господь,
И это сбавь ей! Сан ее, престол
И почести — все мне принадлежит.

Глостер

Как! жалобами королю вы мне
Грозите? Жалуйтесь и не жалейте

Меня: я подтвержу все, что сказал,
И королю, я сам желаю в Тауэр
Попасть. Настало время! Позабыты
Мои труды!

Маргарита

(В сторону)

Нет, демон! слишком их
Я помню: в Тауэре тобою Генрих,
Мой муж, убит, при Тьюксбери ж убит
Мой бедный сын, мой Эдуард несчастный.

Глостер

Когда еще не звался королем
Ваш муж, в его делах великих был я
Вьючным конем, грозой его врагов,
Ходатаем друзей его покорных,
Потом, чтоб кровь его избрать на царство,
Я проливал свою.

Маргарита

(В сторону)

А сколько лучшей,
Чем в вас обоих?..

Глостер

В это время вы
И Грей, ваш муж, и Риверс с вами были
За дом Ланкастеров: что ж, разве не был
Убит при Сент-Альбане ваш супруг?
Когда забыли вы, я покажу вам,
Что вы теперь и чем вы прежде были,
Чем я тогда был, и что я теперь.

Маргарита

(В сторону)

Убийца гнусный. Им ты был всегда.

Глостер

Несчастный Кларенс — тестя позабыл,
Нарушил клятву Варвику! Господь
Да сжалится над ним!

Маргарита

(В сторону)

Карай, о Боже,
Его за это!

Глостер

Стал за Эдуарда,
Чтобы добыть ему престол, и что ж?
За все труды попался в заточенье.
Ей-ей, желал бы я, чтоб камнем сердце
Мое, как Эдуардово, терпело...
Иль чтоб мое в его груди забилось;
Клянусь, я слишком глуп для этой жизни!

Маргарита

(В сторону)

Ступай же в ад, и наш ты свет оставь,
Негодный демон, там престол твой!

Риверс

Лорд,
В печальную эпоху, о которой
Сказали вы, чтоб выставить врагами
Нас вашей светлости, мы были верны
Законному владыке, верны будем
И вам, едва лишь нашим королем
Вы станете.

Глостер

А, если стану?! Нет,

Скорей разносчиком я стану!.. Прочь
От сердца, мысль коварная!

Елисавета

Как мало
Вы ожидаете себе, милорд,
Отрады в королевстве, так же мало
И я, поверьте мне, их обрела,
Возвысившись до сана королевы.

Маргарита

(В сторону)

Да, мало королева здесь отрады
Нашла, затем, что королева — я,
А я — несчастна так. Внемлите мне,
Пираты дерзкие, — мою добычу
Вы делите, враждуя так! Кто в силах
Из вас взглянуть без трепета в глаза
Мои? Пред королевой не склоняли
Вы головы, к чему ж теперь, низвергнув
Ее, вы — трусы — все так раскричались?
Не отворачивайся, честный плут!

Глостер

Колдунья страшная, скорей, в чем дело?

Маргарита

Я вычислить хочу твои злодейства
И не пущу тебя, пока их все
Тебе не выражу.

Глостер

Но разве ты
Не сослана — под страхом смертной казни?!

Маргарита

Я сослана, но смерть — за ослушанье
Остаться здесь — мне легче муки ссылки.
Ты должен мне супруга возвратить
И сына, ты мне задолжала царством!
А все вы — подданством; мои несчастья
По праву вам принадлежат; наследье ж
Всех ваших радостей — мое.

Глостер

Тебя
Проклятьями отец мой разгромил,
Когда его достойное чело
Бумажной ты короной увенчала,
Когда из глаз его потоки слез
Ты выжала сарказмами своими,
И осушить их подала тряпицу,
Напитанную Рютландовой кровью;
Проклятья эти из души его
Разбитой вырвались тогда, теперь же
Над головой твоей отяготели.
Не мы, Господь за зло тебя карает!..

Елисавета

Бог правосуден, в Нем невинных помощь.

Гэстингс

Ужасно! Как? младенца умертвить!
Неслыханное, страшное убийство!

Риверс

Тираны, услыхав об этом, станут
Рыдать.

Дорзет

Все кару лютую убийце
Пророчили.

Бокингэм

Нортумберлэнд, при этом
Злодействе бывший, плакал, как ребенок.

Маргарита

Как?! Не входила я, вы грызлись все,
Готовые за горла уцепиться
Друг с другом, и внезапно ваша злоба
Упала на меня? Ужели Иорк
С своим проклятьем так силен пред небом,
Что Генриха, что Эдуарда смерть,
Потеря царства, мрачное изгнанье
Мое, — все лишь достойное отмщенье
За этого мальчишку? Если так,
Сквозь тучи черные, на небо прямо,
Мои проклятья быстрые, летите!..
Не на войне — от пресыщенья пусть
Погибнет ваш король, как наш погиб
От рук убийцы, сделав королем
Его! А Эдуард, твой сын, Валлийский
Принц ныне, да умрет, как Эдуард,
Мой сын и некогда ж Валлийский принц,
Погиб насильственно!.. Ты, королева,
Да изживешь весь блеск свой за меня,
За королеву бедную! Подоле
Живи, чтоб смерть детей тебе оплакать;
Чтоб увидать другую, как тебя
Я вижу, в почестях твоих, как ты
В моих, великую! Задолго счастье
Твое пускай окончится — до смерти
Твоей! И после долгих, долгих скорбей
Умри — ни матерью, ни королевой
Британскою, ни счастливой женой!..
Риверс и Дорзет, Гэстингс, также вы,
Вы видели, как сына моего
Кровавыми мечами затерзали...

Я Господа молю, чтоб прежде срока,
Чтоб неожиданно он вам послал
Кончину!..

Глостер

Старая колдунья, кончи
И ты заклятия!..

Маргарита

Забыть тебя?
Нет, стой, собака, слушай! Если небо
Имеет про запас тебе отмщенье
Ужаснее, чем я могла б придумать,
Пусть бережет оно его, покуда
Созреют все твои грехи, тогда
Да разразит свое негодованье
Над головой губителя невинных...
Пусть совесть изгрызет тебя, как червь!
Страшись предателей, всю жизнь друзей
Подозревай в измене, за врагов
Считай друзей... Да не смыкает сон
Злодейских глаз твоих, пускай глаза
Тебя пугают безобразьем адских
Видений! Ты, избранник зла, урод,
Свинья, взрывающая землю! Ты,
Рождением помеченный в рабы
Природы, ада сын! Ты, клевета
На чрево матери! Исчадье гнусной
Отцовской крови, ты отребье чести!
Ты, ужас...

Глостер

Маргарита!

Маргарита

Ричард!

Глостер

Что?

Маргарита

Я не звала тебя!

Глостер

Простите, леди,
Я думал, что меня вы окрестили
Всем этим.

Маргарита

Да — тебя! но не просила
Перебивать меня. Позволь докончить
Мои проклятья!..

Глостер

Я уж их покончил,
Их завершает имя — Маргариты!

Елисавета

Так ты себя сама же прокляла!..

Маргарита

Бедняга-королева, блеск пустой
Моих богатств! Зачем ты сыплешь сахар
На этого тарантула, который
Тебя своей тлетворной паутиной
Так путает? Безумная, сама
Ты на себя оттачиваешь нож!
Придет пора, меня молить ты станешь
Помочь тебе проклятьем этой гадкой,
Горбатой, страшной жабы.

Гэстингс

Замолчи,
Вещунья ты пустая, на беду
Свою не истощай у нас терпенья!

Маргарита

Позор вам! вы мое уж истощили!

Риверс

Ты не забылась бы, когда б, как должно,
С тобой мы поступили.

Маргарита

Если б вы
Со мной, как надо, поступали, долга
Вы не забыли б своего: меня
Признали б королевой, а себя
Моими подданными! Поступите ж,
Как следует, исполните свой долг!

Дорзет

Не спорьте с ней, безумной.

Маргарита

Господин
Маркиз, потише! Вы уж слишком дерзки.
Еще недавно сан ваш пущен в дело.
О, если б ваша молодая знатность
Могла понять, что значит потерять
Его и быть несчастной! Кто высоко
Стоит, того скорее сдует ветер,
А упадет — в кусочки расшибется...

Глостер

Полезная заметка, не забудьте
Ее, маркиз!

Дорзет

Она и к вам подходит.

Глостер

Подходит чудно; только я рожден уж
Так высоко: мы на вершинах кедров
Вьем гнезда наши, ветрами играем,
Над солнцем издеваемся...

Маргарита

И солнце
Собою омрачаете — увы!
Тому свидетель сын мой, тенью смерти
Теперь объятый; тучи адской злобы
Твоей в полночь его блестящий день
Навеки облекли, свое гнездо
В гнезде вы нашем свили. Всемогущий!
Ты видишь это, не стерпи ж неправды!
Лиши их благ, которых кровью
Они добились...

Бокингэм

Вспомни же хоть стыд,
Когда смирение ты позабыла.

Маргарита

Не требуйте приличий от меня.
Не требуйте смиренья. Вы бесстыдно
Убили лучшие мои стремленья,
Бесчеловечны были вы со мной.
Моя любовь — неистовство, вся жизнь
Моя — позор, пускай же в нем гремит
Гроза моей неукротимой скорби.

Бокингэм

Молчи, молчи...

Маргарита

Светлейший Бокингэм,
В знак нашей дружбы и союза с вами,
Я вам целую руку: пусть отрада
Сойдет на вас и дом ваш! Нашей кровью
Не запятнали вы своей одежды,
Мои проклятья не коснутся вас!

Бокингэм

И всех из нас; проклятья упадают
На тех, кто их безумно расточает!

Маргарита

Нет, верю я, они восходят к небу
И пробуждают там Господний мир...
О, Бокингэм! остерегайся этой
Собаки; посмотри, она, ласкаясь,
Кусает! Страшною отравой в раны
Слюна ее вливается; храни
Себя, беги его коварной дружбы;
Он заклеймен пороком, адом, смертью,
Владыки адские ему покорны!..

Глостер

Что говорит она, Бокингэм?

Бокингэм

Пустое,
Ничего, что б было важно, милорд!

Маргарита

Как! так и ты за мой достойный
Совет смеешься надо мной и льстишь
Тому, в ком я тебя остерегала?!
Припомни ж это в день, когда печально

Изранит сердце он твое, скажи
Тогда: пророчицею Маргарита
Несчастная была! Да будет всяк
Из вас его коварства жертвой, небо
Да разразит вас всех своею карой!
(Уходит.)

Гэстингс

От слов ее мой волос дыбом стал!

Риверс

И мой!.. Опасно ей давать свободу!..

Глостер

Я не виню ее: клянуся Богом,
Она перенесла немало горя,
Каюсь перед ней в моих обидах.

Елисавета

Я, сколько знаю, перед ней невинна...

Глостер

Вы пользуетесь благами несчастья
Ее. Творя добро, я слишком пылок
Был с тем, кто хладнокровно так меня
Забыл. Вот, Кларенс, он вознагражден
Достойно, в хлев несчастного загнали,
Да за труды и угощают там;
Бог да простит виновников его
Страданий.

Риверс

Христианское, святое
Намеренье — молить за тех, кто нам
Враги.

16*

Глостер

Одумавшись, я поступаю
Всегда подобно!..
(В сторону)
Проклиная ныне,
Я проклинал бы самого себя.

Входит Кэтзби.

Кэтзби

Его величество вас, королева,
К себе зовет; и вашу честь, и вас,
Милорды.

Елисавета

Я иду, угодно ль, лорды,
И вам за мною следовать?

Риверс

Мы все
Идем за нашей светлой королевой.

Все, кроме Глостера, уходят.

Глостер

Я делаю злодейства и кричу
Сам против них, я на других слагаю
Беды, в которых я один виновник.
Перед глупцами, каковы лорд Стэнли,
Лорд Гэстингс, Бокингэм, я громко плачу
О Кларенсе, которого в тюрьму
Забросил сам я; уверяю всех,
Что брат поссорен с королем друзьями
Родными королевы. И мне верят,
И побуждают мстить Вогэнам, Грею;
А я, вздохнув, твержу из книг Завета:

Господь велит платить за зло добром!
Я тем скрываю умысел злодейства,
В клочках старинных текстов представляясь
Святым, когда разыгрываю смело
Роль дьявола...

Входят двое убийц.

А, вот и палачи
Мои. Потише!.. Что ж, друзья мои
Бесстрашные, готовы ль вы на то,
О чем я вас просил?

Первый убийца

Готовы, лорд.
За пропуском одним мы к вам явились;
Нас без него к нему пустить не могут.

Глостер

Прекрасно сказано! вот пропуск ваш.
(Дает полномочный лист.)
Когда покончите, явитесь в Кросби!
Но, сэры, будьте быстры в исполненье,
Не слушайте его плаксивых просьб...
Красноречив лукавый Кларенс; он
Как раз растрогает вас; только волю
Дадите вы его устам медовым...

Первый убийца

Хе-хе! милорд, речь наша коротка!
Говоруны — дельцы плохие, будьте
Уверены, не языком, руками
Пойдем работать мы.

Глостер

Глаза глупцов
Льют слезы; ваши ж жерновами плачут...

Друзья! я верю вам! Скорей за дело!
В путь!

Первый убийца

Не замедлим, благородный лорд.

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Лондон. Комната в Тауэре.

Входят Кларенс и Бракенбери.

Бракенбери

Что так, милорд, сегодня вы печальны?

Кларенс

О! я провел убийственную ночь,
Ночь, полную чудовищных видений!
Как верный христианин, я клянусь,
Еще такую ж ночь я провести
Не согласился бы, хотя б она
Могла купить мне мир блаженных дней!
Так страшными видениями полно
Казалось время.

Бракенбери

Что ж такое снилось
Вам, светлый лорд? Молю вас, расскажите!

Кларенс

Мне снилось, что из Тауэра бежал я
В Бургундию на вольном корабле...
В сообществе со мной был брат мой Глостер,
И выманил меня он из каюты
На палубу; смотря со мной оттуда

На Англию, припоминая дни
Кровавых войн Ланкастера и Йорка,
Беседуя о них, ходили мы
По шатким доскам палубы, и вдруг
Приснилось мне, что Глостер поскользнулся...
Я поддержать его хотел, но брат
Упал и, падая, столкнул меня
За борт в зияющие бездны моря...
О, Боже! Как мучительно казалось
Тонуть! Какой ужасный шум в ушах!
Какие страшные картины смерти
В глазах! Мне виделось, что предо мной
Лежат обломки тысячи судов;
И тысячи размокших трупов рыбы
Терзают; слитки золота, каменья
Бесценные, брильянты, кучи перлов,
Железные трезубья — все по дну
Морскому колыхалося... Алмазы,
Попав в очницы черепов, оттуда
Сверкали, издеваясь над глазами,
Тут бывшими когда-то, в бледном свете
Любезничали с тиною морскою
И насмехались над костьми скелетов...

Бракенбери

И вы могли в предсмертный миг заметить
Все тайны этой ненасытной бездны?

Кларенс

Мне грезилось, что все я это видел;
Душа рвалась из тела вон, но зависть
Воды ее держала, не давая
Ей улететь в воздушные пространства,
И в стиснутой груди ее давила —
В груди, которая рвалась из сил
Ее извергнуть в страшные пучины.

Бракенбери

И от тоски одной вы не очнулись?

Кларенс

Нет, сон мой длился и за гранью смерти!..
Тут поднялась в душе моей тревога.
Мне виделось, через поток печальный
Я был перевезен в пределы вечной
Полуночи — пловцом, у всех поэтов
Воспетым. Тесть мой, славный Варвик, первый
Приветствовал испуганную душу...
Он громко закричал: «Какую ж пытку
Придумает теперь отчизна ада
Для Кларенса за лживую измену?»
И так исчез. За ним передо мною
Скользнула тень бесплотного виденья,
С окровавленными, как светлый луч
Блестящими, кудрями; и она
Воскликнула: «Коварный, лживый Кларенс,
Изменник Кларенс, в Тьюксберийском поле
Зарезавший меня, пришел! Схватите
Его, терзайте, фурии, убийцу!»
И мне привиделось, что целый полк
Свирепых демонов вокруг меня
Столпился, и над самыми ушами
Моими вой, такой безумно громкий,
Был поднят, что, дрожа всем телом, я
Очнулся, и надолго после все
Казалось мне, что я в аду!.. Так страшно
Встревожен был мой ум виденьем этим.

Бракенбери

Нет дива, лорд, что сон вас напугал...
От слов одних теперь мне страшно стало.

Кларенс

О, Бракенбери! все, в чем ныне совесть
Меня терзает, сделал я для счастья,
Для блага Эдуарда! Посмотри ж,
Как он меня достойно наградил...
О, Боже! если пред тобой молитвы
Мои бессильны, если за мои
Грехи меня ты наказать желаешь,
На одного меня излей свой гнев,
Мою жену, моих детей невинных
Избавь! Постой еще, мой добрый страж,
Изнемогла душа моя, заснуть
Желал бы я охотно...

Бракенбери

Я останусь
При вас, милорд. Бог да пошлет вам мир!

Кларенс садится на стул и засыпает.

Печаль — и сон, и время изменяет,
Творя из ночи день, из полдня — ночь...
Владыки мира за свое величье
Немые титла получают, внешний
Почет за внутреннее бремя, целый
Мир горестных забот за легкий призрак,
За пыль мечты!.. И что ж в награду им
Ниспосылается? — минутный дым
Известности, отличия земные —
Страданья их незримые, глухие!..

Входят двое убийц.

1-й убийца

Эй, кто тут есть?

Бракенбери

Что тебе нужно, негодяй, и как ты вошел сюда?

1-й убийца

Мне нужно переговорить с Кларенсом, а вошел я сюда — ногами.

Бракенбери

Как?!.. это уж очень коротко!..

2-й убийца

Чем кратче, сэр, тем лучше. Что тут долго болтать-то? Покажи ему приказ.

(Они подают бумагу Бракенбери, который ее просматривает.)

Бракенбери

Мне здесь предписывают выдать вам
Милорда Кларенса. Я не хочу
Судить о том, что в этом повеленье
Скрывается, — я умываю руки...
Вот — герцог сонный, вот — ключи. А я
Пойду к его величеству с докладом,
Что герцога, как велено, я сдал.

1-й убийца

Идите, сэр! Умно вы говорите.
Прощайте...

Бракенбери уходит.

2-й убийца

Что ж? убить его во сне?

1-й убийца

Нет! он еще скажет, проснувшись, что мы струсили.

2-й убийца

Когда проснется? Дурак! не проснуться ему вплоть до дня страшного суда.

1-й убийца

В таком случае на страшном суде он скажет, что мы убили его сонного.

2-й убийца

Слово — страшный суд — бросило укор в мою совесть.

1-й убийца

Как? или ты испугался?

2-й убийца

Я не трушу убить его, у нас на то приказание; а быть проклятым за его убийство — тут не защитит никакой приказ.

1-й убийца

Я думал, ты решительнее.

2-й убийца

Я итак решился оставить ему жизнь.

1-й убийца

В таком случае, надо идти к герцогу Глостеру и сказать ему о том.

2-й убийца

Нет, прошу, погоди немного. Надеюсь, это благое намерение во мне еще может измениться; оно у меня обыкновенно непродолжительно.

1-й убийца

Как же теперь себя чувствуешь?

2-й убийца

По правде, кое-что из совести еще шевелится во мне.

1-й убийца

Припомни наш магарыч по совершении дела.

2-й убийца

Идем, он погибнет! я и забыл про магарыч.

1-й убийца

Где твоя совесть теперь?

2-й убийца

В Глостеровом кошельке.

1-й убийца

Следовательно, если он откроет свой кошелек для уплаты нам награды, твоя совесть улетит?

2-й убийца

Ничего, пусть летит; никому она не нужна.

1-й убийца

А что, если она к тебе вернется?

2-й убийца

Я не хочу с нею возиться, это опасная вещь, она делает человека трусом. Человек не может украсть, она его винит; человек не может поклясться, она ему перечит; человек не может согрешить с женою ближнего, совесть его обличает. Это краснеющий, стыдливый дьяволенок, смущающий душу человека и наполняющий его препятствиями. Он однажды заставил меня возвратить полный золота кошелек, найденный на дороге; из-за него многие становятся голышами; его гонят из городов и сел, как опасную тварь. И всяк, кто хочет пожить приятно, должен с ним расстаться и жить без него.

1-й убийца

И теперь он предо мною, убеждая не убивать герцога.

2-й убийца

Не забывай дьявола, иначе он в тебя вцепится.

1-й убийца

Я стоек, он не одолеет меня.

2-й убийца

Сказано ладно; ты, очевидно, уважаешь свою репутацию. Что ж, идем на работу?

1-й убийца

Ткни его концом твоего меча и потом бросим его в бочку с мальвазией в соседней комнате.

2-й убийца

Отличная мысль! Выйдет недурная настойка.

1-й убийца

Тс! он проснулся.

2-й убийца

Коли его.

1-й убийца

Нет, давай побеседуем с ним.

Кларенс

(Просыпаясь)

Где моя стража? Дайте мне кружку вина.

1-й убийца

Будет вам, милорд, вдоволь вина.

Кларенс

Ради Бога, кто ты?

1-й убийца

Человек, как и ты.

Кларенс

Но не царского рода.

1-й убийца

Зато честного, не в пример тебе.

Кларенс

Твой голос — громок, но взгляд твой — ласков.

1-й убийца

Мой голос теперь — голос короля, взгляд — свой собственный.

Кларенс

Как мрачен и как зол твой разговор!
Твой взор грозит мне! Что так бледно смотришь?
Кем прислан ты? Зачем сюда пришел?

Оба убийцы

Чтоб, чтоб...

Кларенс

Чтобы убить меня?

Оба убийцы

Да, да!

Кларенс

В вас силы нет мне возвестить о том
И потому нет силы это сделать.
Когда и чем я вас, друзья, обидел?

1-й убийца

Не нас обидел ты, а короля.

Кларенс

Я с ним опять надеюсь помириться.

1-й убийца

Нет, никогда, милорд; готовься к смерти.

Кларенс

Уже ль из всей вселенной жребий выпал
Вам — умертвить невинного? В чем грех мой?
В улику мне какое преступленье?
Где суд, мне объявивший свой вердикт?
И где судья, нахмуренный и грозный,
Изрекший Кларенсу-бедняге смерть?
Кто смел грозить мне смертным приговором,
Коль выше я законного суда?
Вас заклинаю кровию Христа,
Пролитою за наши злые чувства,
Идите прочь, не налагайте рук,
Предпринятое дело вас погубит.

1-й убийца

Что сделаем, на то нам дан приказ.

2-й убийца

А приказал то сделать наш король.

Кларенс

О, лживый раб! Король над королями,
Господь в своих скрижалях повелел
Не убивать. Ужели ты нарушишь
Его закон, по воле человека?
В Его деснице месть; остерегайся,
Казнит Он нарушителей завета.

2-й убийца

И та же казнь ждет ныне и тебя
За клятву ложную и за убийство.
Ты, приобщаясь, открыто присягнул
В боях за дом Ланкастеров сражаться.

1-й убийца

И, как предатель имени Господня,
Присягу разорвал, заклав изменой
Наследника владыки твоего...

2-й убийца

Которого клялся ты охранять.

1-й убийца

Тебе ль грозить нам заповедью Божьей,
Коль ты ее в такой нарушил мере?

Кларенс

О! для кого я это зло свершил?
Для Эдуарда, брата моего!
Он не пошлет вас убивать меня,
Он в этом деле, как и я, преступник!
И коль Господь решит за то отмстить,
Он, знайте, то исполнит предо всеми.
Не отклоняйте ж полной сил десницы,
Он чужд неправых, беззаконных кар
Над теми, кем Он дерзко оскорблен.

1-й убийца

Кто ж в палачи кровавые толкнул
Тебя, когда смельчак Плантагенет,
Венчанный отпрыск, юноша державный,
Без жалости тобою был убит?

Кларенс

Расположенье брата, гнев и дьявол...

1-й убийца

Твой брат, наш долг и твой поступок лживый
Призвали нас сюда тебя убить.

Кларенс

Коль любите вы брата, и меня

Щадите — я ему родной по крови.
Вы, может быть, подкуплены? Идите ж,
Вас отсылаю к Глостеру. Щедрей
Он даст награду вам за жизнь мою,
Чем Эдуард за смерть мою заплатит.

1-й убийца

Ты ошибаешься; брат Глостер — враг твой.

Кларенс

О, нет, меня он любит; от меня
К нему идите.

1-й убийца

Так мы и поступим.

Кларенс

Напомните ему, когда державный
Отец наш Йорк трех сыновей своих
Благословлял победною рукою
И от души внушал любить друг друга,
Он вряд ли думал о таком разладе...
Пусть это вспомнит Глостер и заплачет!

1-й убийца

Каменьями!.. как нас учил он плакать!

Кларенс

Не обижайте брата, он так нежен.

1-й убийца

Как летом снег; себя ты, друг, морочишь,
Ведь нас прислал он умертвить тебя.

Кларенс

Не может быть, он обо мне тужил так,
Меня сжимал в объятиях и клялся,
Что похлопочет о моей свободе.

1-й убийца

Он так и делает, освобождая
Тебя на небо от житейских бедствий.

2-й убийца

Молись, ты должен умереть, милорд.

Кларенс

Ужели ты так набожен в душе,
Что мне советуешь мириться с Богом
И сам в душе твоей так ослеплен,
Что хочешь умертвить меня безбожно?
Ах, тот, друзья, кто вас сюда в убийцы
Прислал, вас проклянет за это дело.

2-й убийца

Как быть же нам?

Кларенс

Спасти, смягчившись, души.

2-й убийца

Смягчиться нам?

1-й убийца

Как бабам и трусишкам?

Кларенс

Безжалостны лишь дьяволы да звери.
И кто из вас, будь сын он короля,
Лишенный воли, как и я, несчастный,
Увидя двух убийц, подобных вам,
Не будет умолять о благах жизни?
В твоих глазах я, друг, читаю жалость.
О, ежели глаза твои не льстят,
Стань ближе здесь и за меня проси,

Как бы просил о собственном несчастье.
Молящий принц разжалобит и нищих.

2-й убийца

Назад, милорд, прошу вас, оглянитесь.

1-й убийца

(Колет Кларенса)

Вот так, вот этак! если ж недовольно,
Я окуну в мальвазию тебя!

(Удаляется с трупом.)

2-й убийца

Кровавое, безумное злодейство!
Охотно б, как Пилат, умыл я руки
В бессовестном и злом убийстве этом!

Возвращается 1-й убийца.

1-й убийца

Ну, что? зачем стоишь, не помогаешь?
Клянусь, твою узнает герцог слабость.

2-й убийца

О, если б он узнал, что я спас брата!
Бери на водку и ему скажи:
Я каюсь в том, что герцог умерщвлен.

(Уходит.)

1-й убийца

А я не каюсь. Оставайся трусом;
Иди. Мы ж где-нибудь припрячем труп,
Пока похоронить прикажет герцог.
И, чуть свою награду получу,
От этих дел нечистых укачу!

(Уходит.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лондон. Комната во дворце.

Входят Король Эдуард — больной, королева Елисавета, Дорзет, Риверс, Гэстингс, Бокингэм, Грей и другие.

Король Эдуард

Вот, наконец, мне удалось окончить
Благое дело. Пэры, вас молю,
Храните честь воскресшего союза;
Я каждый день от Спаса моего
Жду вестников желанного спасенья...
Спокойно дух мой полетит на небо,
Когда друзья мои примирены!
Лорд Риверс и лорд Гэстингс, дайте руки
Друг другу; не таите черной злобы,
Клянитеся любить друг друга...

Риверс

Небом
Клянусь, моя душа забыла гнев,
И этою рукой скрепляю я
Союз моей любви святой и дружбы.

Гэстингс

Бог да пошлет мне счастье, если ныне
Права моя торжественная клятва.

Король Эдуард

Смотрите, не шутите перед вашим
Монархом, чтоб могучий Царь царей
Не отомстил вам за притворство злое
И каждого из вас не погубил
Изменою другого...

Гэстингс

Пусть же я
Погибну, если неверна любовь,
В которой я клянусь теперь.

Риверс

И я.
Клянуся — Гэстингса любить всем сердцем.

Король Эдуард

Миледи, вы из этих заклинаний
Не исключаетесь, ни сын ваш и Дорзет,
Ни вы, лорд Бокингэм; вы все друг с другом
Вели вражду; жена, лорд Гэстингс ждет
Твоей руки — люби его, и мир
Да низойдет на вас невозмутимый.

Королева Елисавета

Вот вам рука моя: навеки, Гэстингс,
Я ненависть былую забываю
И в этом вам клянусь моим блаженством.

Король Эдуард

Лорд Дорзет, обойми его; лорд Гэстингс,
Люби маркиза.

Дорзет

Небом я клянусь
Хранить обмен священной дружбы нашей.

Гэстингс

И я клянусь служить ей всей душой.

(Обнимает Дорзета.)

Король Эдуард

Достойный Бокингэм, запечатлей
И ты союз всеобщий, обойми
Родных жены моей, порадуй сердце
Мое согласием, мне столько милым!

Бокингэм

(Королеве)

Едва на вас ослушник Бокингэм
Осмелится восстать, едва лукавой
Любовью он обманет вас и ваших
Друзей, Господь да поразит его
Коварством тех, кого любовь дороже
Ему всего!.. И если нужен станет
Мне друг, и я вполне ему доверюсь,
Пусть он меня с презрением покинет,
Изменит мне, продаст меня врагам!..
Так небеса да отомстят мне, если
Когда-нибудь в душе моей остынет
Любовь к монархине моей и всем
Ее друзьям!..

Король Эдуард

Достойный Бокингэм,
Обет твой моему больному сердцу —
Отраднейший бальзам! Но где же Глостер,
Наш брат? Его лишь одного здесь нет,
Чтоб увенчать союз наш благодатный.

Бокингэм

А вот, как раз, и благородный герцог.

Входит Глостер.

Глостер

День добрый королю и вам, моя
Монархиня! Милордам-пэрам счастья
Желаю всякого...

Король Эдуард

Мы в самом деле
Сегодня счастливы. Нам удалось
Исполнить истинно благое дело!
Мы обратили ненависть — в любовь,
Вражду друзей — мы заменили миром
И обнялись, как обнимались встарь,
По-братски, наши царственные пэры...

Глостер

Да, повелитель, истинно благое
Вы дело сделали... Я сам — едва
В собранье этом человек найдется,
Считающий меня своим врагом
По клевете одной, по подозренью ль,
Иль даже если в самом деле я
Кому-нибудь, неволею иль волей,
Нанес обиду в бешенстве моем, —
Я сам желал бы примириться с ним
От всей души!.. Вражда мне хуже смерти:
Я не терплю ее!.. Любовь людей
Одна мое блаженство составляет.
И потому вас первых, королева,
Прошу об этом я, в залог любви
Вам обещаю вечные услуги...
Вас, благородный брат мой, Бокингэм,
Прошу о том же, если между нами
Была хотя малейшая вражда...
И вас, лорд Риверс, также вас, лорд Дорзет.

Мы без причины с вами враждовали.
Вас, Вудвиль, вас, лорд Скэльз, вас, графы, лорды,
Вас, герцоги и джентльмены, — всех
Я вас прошу!.. Нет человека в целой
Британии, к которому б я боле
Питал вражды, чем, например, к ребенку,
Который этой ночью родился...
Благодарю, благодарю, о Боже,
Тебя за дар смиренья моего...

Королева Елисавета

Днем празднества да будет нам отныне
День этот! С ним да кончится раздор
В семье монаршей! Государь, позволь
Тебя просить о милости достойной —
Отдай нам Кларенса, прости его...

Глостер

Как королева? Я любовь и дружбу
Вам предлагал затем, чтоб надо мной
Вы издевались — здесь, пред королем?
Скажите, кто ж не ведает, что герцог
Скончался? Труп его такой насмешкой
Безбожно оскорблять!..

Все изумляются.

Король Эдуард

Как?.. Кто не знает,
Что умер он?.. Но кто ж, скажите, знает
О том, что он скончался?..

Королева Елисавета

Небеса
Всевидящие! Где же наш покой?!..

Бокингэм

Лорд Дорзет, неужель я так же бледен,
Как все здесь?

Дорзет

Да, милорд, здесь нет лица,
С которого б румянец не сбежал!..

Король Эдуард

Как? умер Кларенс? Но ведь повеленье
Мое я отменил!..

Глостер

Бедняга умер
По первому приказу короля,
Его к нему с Меркурием крылатым
Послали... Со вторым же, вероятно,
Какой-нибудь калека потащился,
Отстал немножко и попал как раз
На погребение!.. Дай Бог, чтоб люди,
Настолько благородные и к вам
По крови близкие — не по кровавой
Душе, дай Бог, чтоб эти люди худшей
Не заслужили участи, чем Кларенс...
И чтоб напрасно не касалось их
Немое подозренье!..

Входит Стэнли.

Стэнли

Государь,
Молю тебя о милости за службу
Мою!

Король Эдуард

Молчи, прошу тебя: душа
Моя полна мучений!

Стэнли

Я не встану,
Пока меня не захотите вы
Услышать.

Король Эдуард

Говори ж скорее, в чем
Твое прошенье?

Стэнли

Государь, молю
Тебя простить, избавить моего
Слугу от казни: он убил сегодня
За дерзость джентльмена одного
Из сильной свиты герцога Норфолька.

Король Эдуард

Язык мой осудил на гибель брата
И рядом с ним помилует раба?
Мой брат убийцей не был, мысль его
Одна виновна — и мой брат казнен!
Просили ль за него меня? Склоняли ль
Колени предо мной с мольбой за жизнь
Несчастного, когда я бесновался?
Кто говорил о братской мне любви?
Кто мне припомнил, что бедняк отрекся
От Варвика и стал в мои ряды?..
Кто мне напомнил, как при Тьюксбери,
Когда Оксфорд низверг меня на землю,
Он спас меня, воскликнув: «Верный брат,
Живи и царствуй!..» Кто напомнил мне
О том, как он, когда, до смерти мы
Иззябшие лежали средь пустыни,
Меня своей одеждою окутал
И сам, нагой, на холоде дрожал?..
Скотская месть из памяти моей

Бесчувственно изгладила все это.
И ни один из вас мне не напомнил
О том! Ваш конюх, ваш последний раб
Свершил убийство гнусное — святое
Подобье Бога погубил, — и вы
У ног моих взываете: «прощенье,
Прощенье, государь!..» И я обязан,
Кривя душой, исполнить вашу просьбу!
За брата ж моего никто и слова
Не вымолвил, ни я, неблагодарный,
Ни вы спасти не вздумали его...
Надменнейшим из вас при бедной жизни
Он помогал — и что же? кто за жизнь
Его теперь просил?.. О, Боже правый,
Ты отомстишь за это им и мне,
Друзьям моим и их друзьям коварным!
Пойдемте, Гэстингс, помогите мне
Дойти в мой кабинет. О, бедный, бедный,
Несчастный Кларенс!..

Уходят король, королева, Гэстингс, Риверс, Дорзет и Грей.

Глостер

Вот вам и плоды
Поспешности! Заметили ль вы, лорд,
Как побледнели вдруг, при громкой вести
О смерти Кларенса, родные нашей
Великой королевы?.. День и ночь
Они ожесточали короля!
Но Бог накажет их!.. Пойдемте, лорды,
Утешим Эдуарда.

Бокингэм

Светлый лорд,
Вы правы; мы за вами все идем!
(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Лондон.

Входят герцогиня Йорк с сыном и дочерью Кларенса.

Сын

Скажите, бабушка, уже ль скончался
Наш папенька?

Герцогиня

О! нет, дитя мое...

Дочь

Зачем же так вы плачете и бьете
Так часто в грудь себя, взывая: «Кларенс!
Несчастный сын мой!»

Сын

Отчего всегда
Вы головой качаете, едва
На нас глядите вы, и сиротами,
Изгнанниками нас зовете, если
Отец наш жив?

Герцогиня

Вы спутали совсем
Меня! Поверьте, немощь короля
Заставила меня рыдать; опасность
Одна расстаться с ним меня печалит,
А не кончина вашего отца...
Напрасна скорбь о том, что без возврата
Утрачено...

Сын

Итак, он, значит, умер?!
Король, мой дядя, виноват во всем,
И Бог его накажет, и молить
Его о том я буду день и ночь!

Дочь

И я.

Герцогиня

Постойте, дети, перестаньте!
Король вас любит, вы еще покуда
Так кротки и невинны, что решить,
Кто был убийцей вашего отца,
Вам не под силу.

Сын

Бабушка, убийцу
Я отыщу! Мне добрый дядя Глостер,
Сказал, что королева королю
Советовала папеньку в темницу
Забросить; и когда мне говорил
Об этом дяденька, он так рыдал,
Молился обо мне, и целовал
Мои глаза, и жалобно просил
Меня надеяться, как на отца
Второго, на него!.. и уверял,
Что он меня, как сына своего,
Как первенца, любить и нежить будет!..

Герцогиня

И хитрость может принимать такую
Волшебную наружность, прикрывать
Свое коварство добродушной маской!?
Он — кровь моя, мой сын и мой позор!..
Но эту злобу он не из моей
Несчастной груди высосал.

Сын

Так дядя,
По-вашему, лжет, бабушка?

Герцогиня

Да, сын мой!

Сын

Не может быть!.. Но, слушай! что за шум?

Выходит королева Елисавета, вне себя от отчаянья. За нею следуют Риверс и Дорзет.

Королева Елисавета

О! кто теперь осмелится сказать,
Чтоб не рыдала я, чтоб не стонала,
Чтоб участи своей не проклинала?..
Да́, я сольюсь с отчаяньем своим,
Сама себе врагом теперь я буду!

Герцогиня

На что, скажи, идет вся эта сцена?

Королева Елисавета

На целый акт трагического горя:
Мой лорд, твой сын, король наш Эдуард
Скончался! Для чего же ветви живы,
Когда нет корня боле? Почему
Не вянут листья жалкие, без соку?
Хотите жить — рыдайте! Умереть
Хотите — поскорее умирайте!
Чтоб быстрокрылые, земные души
Могли с душой монарха снова слиться.
И, как ее покорные рабы,
В другое царство, в царство вечной ночи
За ним путем воздушным полететь!..

Герцогиня

Ах, и моя есть доля в вашей скорби!
Она равна моим былым правам,
На мужа вашего, моя сестра!

Оплакав смерть любимого супруга,
Я созерцанием его подобий
Жила. И вот, два зеркала его
Венчанных образов — ехидной смертью
Разбиты вдребезги... В утеху мне
Теперь осталося одно — кривое,
И нет покоя мне, затем, что в нем я
И день, и ночь позор свой созерцаю...
Вы, слабая вдова, но вместе вы —
И мать: вам утешенье — ваши дети.
А смерть, сгубив супруга моего,
Из рук моих и костыли мои
Исторгла: Кларенса и Эдуарда!
О, ваша скорбь — лишь половина скорби
Моей, и ваш безумно громкий плач
Я заглушу стенаньями моими!..

Сын

Ты, тетенька, не плакала о смерти
Бедняжки папеньки, и мы теперь
Тебе слезою нашей не поможем!

Дочь

О сиротстве ты нашем не жалела,
И мы вдовства и горя твоего
Жалеть не станем!..

Королева Елисавета

Не в рыданьях помощь
Нужна мне ныне. Я не так бесплодна,
Чтоб не могла в избытке их родить...
Все реки мне в глаза воды нашлют,
И я, живя под месяцем дождливым,
Могу весь мир залить потоком слез,
Слез о моем бесценном Эдуарде,
О муже бедном!

Дети

Об отце несчастном,
О Кларенсе, о нашем утешенье.

Герцогиня

О них обоих! Эдуард и Кларенс —
Мне оба дети!

Королева Елисавета

Кто без Эдуарда
Мне помогал? и я его лишилась!

Дети

Кто, кроме Кларенса, нам помогал?
И мы его лишились!

Герцогиня

Кто без них
Мне был опорой? И я их лишилась!

Королева Елисавета

Вдова была ль когда несчастна так?

Дети

Век сироты так много не теряли!

Герцогиня

И никогда ужаснейшего горя
Не знала мать. Я мать всех этих скорбей.
Их горе частное, моя ж судьба —
Всех их касается! Она о муже
Рыдает, я о нем же убиваюсь.
О Кларенсе я плачу, но она
О нем уже не плачет. Эти дети
О Кларенсе рыдают — и я с ними;
Об Эдуарде плачу я — они

Молчат!.. Так выплачьте же ваши слезы
О мне, несчастной, троекратным горем.
Я выкормила вашу грусть и снова
Вскормлю ее рыданием моим!

Дорзет

Утешьтесь, матушка, Господь не терпит
Роптания на промысел небесный;
И в мире жизни ропотный возврат
Займа тому, кто нас радушно им
Ссудил, неблагодарностью зовется...
Тем более неблагодарен ропот
На Господа за то, что он назад
Потребовал Свой царственный заем,
Которым нас ссудил Он так охотно.

Риверс

Опомнитесь, миледи! вы так нежно
Заботитесь о принце, вашем сыне.
Скорей за ним пошлите, и его
Немедля коронуйте. В нем вся ваша
Награда. Схороните ж эту скорбь
В гроб Эдуарда мертвого, и радость
Свою на трон живого возводите!..

Входят Глостер, Бокингэм, Стэнли, Гэстингс, Ратклиф и другие.

Глостер

Сестра, утешься; все мы здесь имеем
Причину плакать — о затменье нашей
Звезды. Но не помог еще никто
Рыданьем скорби нашей... Ах! простите!
Вас, матушка, я не заметил здесь...
Смиренно, на коленях вас молю я
О вашем праведном благословенье...

Герцогиня

Господь тебя да осенит и в грудь
Твою да поселит любовь, покорность,
Смиренье кроткое и верность долгу!

Глостер

И да пошлет мне смерть в преклонных летах,
Аминь!

(В сторону)

Таков конец благословений
Всех матерей, а между тем ее
Высочество об этом и забыла!..

Бокингэм

Печальные и горестные принцы,
Печальные и горестные пэры,
Одно несчастье убивает нас;
Утешим же взаимною любовью
Друг друга. Нашу жатву смерть
Монарха уничтожила, но в сыне
Его другая жатва созревает...
Чувствительный и острый перелом
Враждующих сердец, еще недавно
Соединенный, связанный и плотью
Покрывшийся, теперь мы все должны
Щадить, беречь и заращать незримо!..
По-моему, сейчас, без замедленья,
Должны мы молодого короля
Из Людлова в его столичный Лондон
Перевезти, со свитой небольшой,
И здесь его короновать на царство...

Риверс

Зачем же с небольшою только свитой,
Лорд Бокингэм?

Бокингэм

Затем, милорд, чтоб шумом
Процессии не растравить вражды,
Недавно так залеченной; а это
Опасней тем, что зелены еще
И не устроены законы наши;
Что каждый конь вожжами правит здесь,
Бежит туда, куда ему угодно...
Я думаю, что устранить должны мы
Со злом и самую возможность зла!

Глостер

Но ведь король нас примирил!.. Не знаю,
Как вы, а я мирился от души —
И навсегда...

Риверс

Как я, как все, надеюсь!
Но все-таки союз наш очень юн,
И подвергать его — хотя б возможной
Опасности разрыва — не должно...
А при большом конвое он возможен!
Поэтому, согласно с благородным
Милордом Бокингэмом, предложить
И я осмелюсь вам — послать немногих
За принцем...

Гэстингс

Это и мое решенье!

Глостер

И я согласен, если вы согласны.
Пойдемте же, назначим — кто из нас
За королем поехать должен в Людлов?
Миледи, королева, я надеюсь,
Вы не откажетесь в подобном важном
Решении свое нам мненье дать.

Все уходят, кроме Бокингэма и Глостера.

Бокингэм

Лорд... Кто б теперь за принцем ни поехал,
Молю вас, не сидите дома; я
Дорогою от принца удалю
Надменных родственников королевы!

Глостер

Мое второе *Я*, престол моих
Советов, мой судья и мой оракул!
Любезный брат, я, как дитя, пойду
Под вашим руководством к цели! Да,
Мы не останемся здесь!.. В Людлов, в Людлов!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Там же. Улица.

Два гражданина встречаются.

Первый гражданин

Здорово, друг сосед! Куда спешишь так?

Второй гражданин

А право, я и сам не знаю... Слышал
Ты новость?

Первый гражданин

О кончине короля?..
Да, слышал.

Второй гражданин

Богоматерью клянусь,
Плохая новость! Радостные вести

И без того до нас доходят редко...
О-ох! Боюсь, как раз теперь вверх дном
Пойдет наш свет.

Входит третий гражданин.

Третий гражданин

Бог в помощь вам, соседи!

Первый гражданин

Спасибо! Доброго вам утра, сэр!

Третий гражданин

Что, подтвердилась новость о кончине
Внезапной Эдуарда?

Второй гражданин

Нет сомненья
Уж более! Господь, спаси нас бедных!

Третий гражданин

Да, сэры, быть великим смутам!

Первый гражданин

Как так? Ведь Божьей милостью на трон
Сын короля взойдет!..

Третий гражданин

Несчастье царству,
В котором правит слабое дитя!

Второй гражданин

На нашего надеяться мы можем!
В нем цвет престола нашего!.. Пока
Он мал, в руках достойного совета
Бразды правленья будут, а когда
Он подрастет и наберется силой,
Сам он возьмет свой скипетр золотой
И управлять на славу нами станет!..

Первый гражданин

Да, трон в таком же положеньи был,
Когда короною, в Париже, Генрих
Шестой венчался на родное царство...
Он девяти был месяцев тогда.

Третий гражданин

В таком же положенье? Нет, друзья,
Господь свидетель, наше царство было
Тогда богато славными мужами,
Советниками королей, и дяди
Могучие вкруг юного орла
Могучею фалангою стояли!

Первый гражданин

Что ж, и у этого довольно дядей
По матери и по отцу его...

Третий гражданин

Уж лучше, если б по отцу все были,
Иль не было ни одного по нем.
Соперничеством в том, кому быть ближе
Из всех их к королю, они и нас
Заденут, если не спасет нас Бог.
О, герцог Глостер полон страшных козней,
А сыновья и братья королевы
Высокомерны и горды; да, если б
Им не владеть, а быть самим под властью —
Наш бедный, и больной, и слабый край
Увидел бы опять свое блаженство.

Первый гражданин

Ну, перестаньте, вам все в черном виде
Является: все будет хорошо!

Третий гражданин

Когда ползут на небо тучи, умный
Скорее надевает плащ. Зима
Близка, когда большие листья падать
Начнут, а закатилось солнце, всякий
Ждет сумрака... Безвременные бури
Дороговизну предвещают... Впрочем,
Все будет хорошо, но уж тогда
Господь к нам милостив гораздо боле,
Чем стоим мы и чем я ожидаю.

Второй гражданин

Да точно, — все умы полны боязни;
И с кем бы вы ни стали рассуждать,
Его лицо уж покрывает грусть,
И весь он дышит черным опасеньем.

Третий гражданин

Пред смутами всегда бывает так!
Божественным инстинктом человек
Разгадывает близкую опасность...
Так волны моря, перед лютой бурей,
Как оживленные, встают над бездной —
Без ветра, сами... Но все это Богу
Оставим, граждане! Куда вы?

Второй гражданин

Нас
К судье обоих звали.

Третий гражданин

И меня.
В дорогу ж, добрые друзья, в дорогу.

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Там же. Комната во дворце.

Входят Архиепископ Йоркский, малолетний герцог Йоркский, королева Елисавета и герцогиня Йоркская.

Архиепископ

Прошедшей ночью, слышал я, они
В Стратфорде были, в Норсгэмптоне ныне
Им ночевать, а завтра на заре —
Иль уж, наверно, послезавтра — здесь,
Меж нами быть им.

Герцогиня

Ото всей души
Мне видеть принца хочется. С тех пор, как
Я видела его в последний раз,
За это время он, конечно, вырос.

Королева Елисавета

Нет,
Мой Йорк его заметно перерос.
Как говорили мне!

Йорк

А я совсем бы
Не пожелал такой завидной доли...

Герцогиня

Как так, мой милый? Рост всегда хорош...

Йорк

Да вот как, бабушка: однажды ночью,
За ужином, мой дядя Риверс мне

Сказал, что я перерастаю брата,
А дядя Глостер и заметил нам:
«Хорошая трава невысока,
Дурная ж тянется всегда высоко».
С тех пор и не желаю я расти...
Роскошный цвет растет едва заметно,
А скоро вырастают лишь дурные,
Да хворые и слабые цветы!..

Герцогиня

Однако ж, эта поговорка вовсе
На том, кто высказал ее тебе,
Не оправдалася: он в детстве был
Так мал и рос так медленно, так туго.
Что, будь права пословица его,
Он был бы украшением людей...

Архиепископ

Он, герцогиня, добр и без того!

Герцогиня

Быть может, но, как мать, я вас прошу
На этот раз позволить мне немножко
Поусомниться...

Йорк

Да! и если б я
Тогда подумал хоть немного, дяде
Сказал получше бы о бедном росте
Его, чем о моем сказал он.

Герцогиня

Что ж,
Мой милый Йорк, сказал бы ты ему?

Йорк

Все говорят, что дядя рос так скоро,
Что ровно через два часа с рожденья
Легко мог корки грызть, а у меня
Мой первый зуб явился через два
Лишь года!.. Бабушка, ведь это будет
Повеселей и поострей!

Герцогиня

Скажи,
Мой светлый Йорк, кто рассказал тебе
Об этом?

Йорк

Я не помню. Да! его
Кормилица...

Герцогиня

Кормилица? Возможно ль!
Она скончалась прежде твоего
Рожденья.

Йорк

Ну, так, значит, не она,
И я не знаю, кто мне рассказал.

Королева Елисавета

Болтун, пошел! Ты что-то слишком дерзок!

Архиепископ

Монархиня, простите, он ребенок...

Королева Елисавета

Милорд, ушей не лишены и стены!

Входит гонец.

Архиепископ

Вот и гонец: что нового?

Гонец

Милорд,
Такие новости, что тяжело
И говорить.

Королева Елисавета

Что принц!?..

Гонец

Здоров и весел,
Монархиня...

Герцогиня

Так говори ж, в чем дело?

Гонец

Лорд Риверс и лорд Грей, а с ними сэр
Томас Вогэн под сильной стражей в Помфрет
Отправлены.

Герцогиня

Кто ж их арестовал?

Гонец

Лорд Бокингэм и сильный герцог Глостер.

Королева Елисавета

За что?

Гонец

Я рассказал вам все, что знаю,
Но как и по какой причине их

Арестовали, королева, это —
Мне не поведано.

Королева Елисавета

О! горе, горе...
Я вижу гибель всей моей семьи.
Бездушный тигр поймал бедняжку лань.
Неистовое самовластье вздулось
Над беззащитным английским престолом:
Здорово ж, злобное опустошенье,
Кровь и убийства! Вижу, вижу вас...
Как на живой картине — предо мной
Конец всего — непризванный выходит!

Герцогиня

Проклятое и гибельное время
Междоусобий, сколько черных дней
Над головой моею разразилось!
Мой муж погиб, сражаясь за венец;
Мои сыны то шумно возвышались,
То падали, и я то наслаждалась
При их победах, то над горем их
Терзалася... И вот, вполне победа
Венчала их, враги их разбежались...
Что ж вышло? Бой открылся между ними,
Меж победителями: брат на брата
И кровь на кровь восстали!.. О! безумство
Неистовое, брось свою хандру
Проклятую иль умертви меня,
Чтоб не видать мне смерти близких мне!

Королева Елисавета

Пойдем! пойдем! мой сын!.. Скорее в церковь
Укроемся!.. Прощайте, герцогиня.

Герцогиня

Постойте! и меня с собой возьмите.

Королева Елисавета

Вам незачем! Вы можете остаться...

Архиепископ

Да, королева, поспешите! Все
Свои сокровища, все достоянье
Свое берите также за собой...
А я передаю вам от себя
Печать, мне вверенную... И дай Бог
Мне счастия такого же, как вам
Я от души желаю! В путь, идемте...
Я проведу вас в храм! Идемте с Богом!

Все уходят.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лондон. Улица. Звучат трубы.

Входят принц Валлийский, Глостер, Бокингэм, Борчер и другие.

Бокингэм

Приветствую вас, принц, в палате вашей —
В великом Лондоне.

Глостер

Племянник милый,
Властитель дум моих, привет душевный
Вам от меня! Не от дороги ль трудной
Вы так печальны?

Принц

Нет, не от дороги,
Любезный дядя, — от досадных смут,
Которые наш путь таким несчастным
И неприятным сделали: я ждал,
Что здесь меня еще другие дяди
Приветствовать сойдутся.

Глостер

Светлый принц,
Безгрешная правдивость ваших лет

Мешает вам проникнуть в козни мира!
Понятна вам одна лишь внешность наша,
Которая — свидетель Бог — почти
Всегда противоречит нашим мыслям.
Опасны были вам всегда те дяди,
Которых здесь вы не нашли... Вам сладки
Казались речи их, но яд сердец
Своих они от вас лукаво скрыли!
Да сохранит вас Бог от этих дядей
И ото всех друзей коварных!

Принц

Бог
Да сохранит меня от ложной дружбы.
Но ложны ль были дяди, я не знаю...

Глостер

Милорд, мэр Лондона спешит сюда
Поздравить вас с избранием...

Входит лорд-мэр со свитой.

Мэр

Всевышний
Да ниспошлет вам счастье и здоровье,
Наш молодой монарх!

Принц

Благодарю
Вас, добрый лорд; благодарю и вас всех!

Мэр удаляется со свитой.

Я полагал, что матушка и брат,
Принц Иорк, меня еще в дороге встретят;
Но как же медлит этот скучный Гэстингс!
Как не узнать, приедут ли они?

Входит Гэстингс.

Бокингэм

Да вот и Гэстингс! как устал, и весь
В поту! Здорово, лорд! Что ж, скоро будут
Сюда мой брат и мать моя?

Гэстингс

Бог весть,
Что за причина, только брат ваш Йорк
И королева удалились в храм.
Принц думал к вам со мною вместе ехать,
Но королева силой удержала
Его.

Бокингэм

Какой безумный и упрямый
Каприз! Лорд Борчер, не угодно ль вам
Представить убежденья королеве,
Чтобы она сейчас же принца Йорка
Сюда, к его властительному брату,
Отправила! Когда ж она, лорд Гэстингс,
Не согласится, вы пойдете с ним,
И силой из ее ревнивых рук
Возьмите герцога!..

Борчер

Лорд Бокингэм,
Пусть только не изменит мне язык,
Я вымолю у матери вам принца,
И вы увидите его; но если ж
Она не тронется моей мольбой,
Избави Бог меня нарушить святость
Ее убежища! За царство мира
Не соглашусь делить я этот грех!

Бокингэм

Вы мелочны, милорд, и суеверны;
Вам самый бестолковый подтвердит,

Что, принца захватив, не прегрешите;
Убежище дают тому охотно,
Кто борется за сохраненье жизни.
Принц ни о чем не плачет, не вздыхает,
А потому не ищет он и скрыться.
Вы, взяв его, не оскорбите тем
Ни привилегий, ни уставов храма.
Я слышал часто о правах людей,
Но никогда о хартиях детей!

Борчер

Милорд, меня вполне вы убедили.
Идем. Лорд Гэстингс, вы со мной?

Гэстингс

Идемте.

Принц

Идите, лорды добрые, спешите.

Кардинал и Гэстингс уходят.

Скажите, дядя Глостер, если брат мой
Приедет, где мы с ним должны пристать
До коронации?

Глостер

Повсюду, лорд,
Где вашему величеству угодно
Лишь будет. Впрочем, я бы дал совет вам —
Хоть на день или на два завернуть
В спокойный Тауэр; после же, пожалуй,
Где вы найдете более приятным
И более полезным для здоровья.

Принц

Противен мне ваш Тауэр; хуже всех
Других мне мест он. Справедливо ль, впрочем,
Что выстроил его Великий Цезарь?

Глостер

Он, государь, лишь начал строить Тауэр;
Доканчивало дальнее потомство.

Принц

И это все по летописям видно,
Или предания из века в век
Перенесли такую весть?

Бокингэм

Милорд,
Лишь по преданьям.

Принц

Но, положим, дядя,
Что это бы и не было в столбцы
Пергамента записано, не правда ль,
Что истина должна из века в век,
Из уст в уста идти и без того —
Идти до дня *последнего суда*?..

Глостер

(В сторону)

Разумник скороспелый, говорят,
Недолговечен, впрочем!..

Принц

Что вы, дядя,
Сказали?..

Глостер

Лорд, я говорю, что слава
И без скрижалей долговечна.

(В сторону)

Вот —
И я, как Зло в старинных представленьях,
Плету двусмысленные остроты.

Принц

Великий человек был Цезарь! То,
Что доблести его уму внушали,
Ум завещал потомству в письменах,
И доблести его в бессмертной жизни
Явились... Смерть его не победила...
И умер он, но дух его живет!
Лорд Бокингэм, я что-то вам сказать
Хочу.

Бокингэм

Что скажешь, принц?

Принц

А вот что: если
Я доживу до той поры, что мужем
Уж назовусь, я возвращу отчизне
Завоеванья наших королей —
Во Франции... Иль на войне солдатом
Паду, как жил на троне королем!

Глостер

(В сторону)
Несвоевременный приход весны,
Жаров и жизни убавляет лето...

Входят Йорк, Гэстингс и Кардинал.

Бокингэм

А вот, как раз, и герцог Йорк!

Принц

Привет вам,
Любезный брат наш, Ричард Йоркский! Как
Вы поживаете?

Йорк

Благодарю,
Мой августейший повелитель! Так ли
Теперь я должен называть тебя?

Принц

(Горестно)

Да, брат, и к твоему, и к моему
Несчастью! Так еще недавно умер
Тот, кто бы мог еще носить такое
Святое имя! Это имя много
Утратило величья своего
Со смерти короля!

Глостер

Как поживает
Племянник наш, достойный герцог Йорк?

Йорк

Благодарю, любезный дядя... Да!
Милорд, вы как-то говорили мне,
Что быстро вырастает лишь дурная
Трава: смотрите же, как перерос
Меня светлейший принц, мой брат...

Глостер

Да, лорд,
И в самом деле!

Принц

Значит, брат твой — зелье
Плохое?

Глостер

Нет, кузен мой, не скажу.

Йорк

Так вы нас любите любовью разной?

Глостер

Он мне король, я подданный ему;
А вы — родной нам близкий.

Йорк

Так прошу вас,
Любезный дядя, дать мне свой кинжал.

Глостер

Кинжал мой? От души, племянник милый.

Принц

Ты, братец, просишь, точно нищий.

Йорк

Да,
Прошу у дяди: он мне не откажет.
Притом — не жаль отдать такой безделки
Кому угодно.

Глостер

Дорогому принцу
Я никогда б не отказал и в большем...

Йорк

И в большем? Значит, вы мне подарите
И меч еще?

Глостер

Да, дорогой племянник,
Когда б он был поменьше.

Йорк

О! я вижу
Теперь, вы щедры лишь на небольшие
Подарки: попроси же вас бедняк
О чем-нибудь побольше, вы ему
Сейчас откажете.

Глостер

Мой меч тяжел
Вам будет.

Йорк

Ничего, я слажу с ним,
Будь он еще тяжеле.

Глостер

Как? Малютка
Милорд мое оружие носить
Хотел бы?

Йорк

Да, мне очень бы хотелось
Вам отплатить, любезный дядя, тем же,
Чем вы меня сейчас назвали!

Глостер

Как же,
Чем?

Йорк

Маленьким!..

Принц

Лорд Йорк всегда до вздору
Дойдет в своих словах... Но добрый дядя
Всегда умел переносить пустые
Его обиды!

Йорк

Вы сказать хотели —
Носить, а не переносить меня...
Брат надо мной, да и над вами, дядя,
Смеется; я не больше обезьяны —
И на плечах вам не снести меня.

Бокингэм

Как метко и остро хитрец нас шутит;
Как ловко и наивно он смеется
Сам над собой, чтобы смягчить свои
Нападки на родного дядю!.. Чудно!
Так молод и уж так хитер.

Глостер

Милорд,
Угодно ль вам идти в дорогу дале?
А между тем, мы с братом Бокингэмом
К родительнице вашей поспешим
И убедим ее явиться вслед
За вами в Тауэр с должным поздравленьем.

Йорк

Как, лорды, вы идете в Тауэр?

Принц

Лорд
Протектор приказал нам это, он
Желает так...

Йорк

Я в Тауэре едва ль
Спокойно буду спать!

Глостер

Что это значит?
Чего бояться вам, милорд?

Йорк

Чего?
Кровавой тени Кларенса! Ведь дядя
Был в Тауэре убит?.. Так говорила
Мне бабушка!

Принц

Я мертвых дядей вовсе
Бояться не умею.

Глостер

И живых —
Надеюсь?

Принц

О! пока они еще
Не умерли, мне нечего бояться!
Однако ж, лорд, идемте! Вспоминая
О них — с печалью и с тоской в душе,
Я неохотно отправляюсь в Тауэр.

Уходят принц, Йорк, Гэстингс, Кардинал, свита и другие.

Бокингэм

Как, лорд, вы думаете, эти все
Насмешки маленького болтуна —
Не наущенья матери его
Лукавой и мятежной?..

Глостер

Без сомненья!
О! это преопасный мальчик: смел,
Хитер, умен и горд, и весь
В родную матушку — от головы
До пяток!

Бокингэм

Хорошо!.. Оставим их!..

Входит Кэтзби.

Приблизься, верный Кэтзби. Ты клялся нам
Исполнить все, что б мы ни замышляли,
Клялся хранить в глубокой тайне все,
Что б мы тебе ни сообщили. Ты
Дорогою узнал уже немало
Из наших планов! Как ты полагаешь,
Легко ль на нашу сторону склонить
Вильяма Гэстингса в великом деле
Коронованья этого милорда
Венцом Британии, отчизны нашей?

Кэтзби

Нет, из любви к покойному монарху,
Не согласится он обидеть сына
Его!

Бокингэм

А что ты думаешь о Стэнли?
Не покорится ль этот нам?

Кэтзби

Ни в чем
От Гэстингса он не отстанет.

Бокингэм

Ну,
Так вот что, добрый Кэтзби, ты ступай
К Вильяму Гэстингсу и передай
Ему, что он назавтра должен в Тауэр
Явиться на совет об исполненье
Венчания; и тут, издалека,
Узнай, каких лорд Гэстингс будет мыслей
Касательно задуманного нами

Намеренья? И если ты заметишь,
Что он расположен к нам, ободри
Его, поверь ему все наши планы;
Когда ж он будет молчалив и мрачен,
И холоден, и весь в негодованье
Придет, — и ты ему потворствуй! Сбавь
Горячности своей, незримо кончи
Свой разговор и поскорей уведомь
Нас о его расположенье. Завтра
Еще другой совет составим мы,
А в нем и ты себе отыщешь дело.

Глостер

Напомни Гэстингсу, любезный Кэтзби,
Что завтра в Помфрете опасной кучке
Его врагов беззубых пустят кровь...
Пускай, дружок, на радости от этих
Вестей, один хоть лишний поцелуй
Даст мистрисс Шор!

Бокингэм

Надеюсь, добрый Кэтзби,
Что порученья наши ты исполнишь
Со всею верностью...

Кэтзби

Со всею, лорды!

Глостер

Увидим ли тебя мы, Кэтзби, прежде,
Чем ляжем спать?..

Кэтзби

Увидите, надеюсь!

Глостер

Итак — иди, ты в Кросби нас найдешь.

Кэтзби уходит.

Бокингэм

Что ж, лорд, мы станем делать, если Гэстингс
Откажет нам?

Глостер

Мы голову ему
Сорвем!.. На всякий случай, вероятно.
Уж что-нибудь да станем делать! Слушай:
Когда я буду королем, твое —
Герфордское блистательное графство
И все именье движимое брата
Покойника!..

Бокингэм

Я, лорд, тогда сошлюсь
На ваше слово.

Глостер

Да, я и сдержу
Его тебе, как другу моему!..
Пойдем, поужинаем поскорей,
Заранее, чтоб было время нам
Переварить получше наши планы!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Перед домом лорда Гэстингса.

Входит гонец.

Гонец

(Стучит в дверь.)
Милорд, милорд!

Гэстингс

(За сценой)
Кто там стучится — эй?..

Гонец

Посол от Стэнли.

Гэстингс

А который час?

Гонец

Четыре скоро станет бить.

Входит Гэстингс.

Гэстингс

Наверно,
Лорд Стэнли твой бессонницей страдает?

Гонец

Да, по тому судя, что мне сказать
Поручено вам, — кажется, что так...
Во-первых, он вам кланяется, лорд!

Гэстингс

Потом?

Гонец

Потом велел вам сообщить,
Что в нынешнюю ночь ему приснился
Кабан, и будто этот зверь с него
Сорвал шишак; потом он говорит,
Что завтра соберутся два совета
И что в одном из них решиться может
То, что в другом наделает забот
Вам и ему. Поэтому он мне
Велел узнать, угодно ль будет вашей
Светлейшей милости немедля с ним
Садиться на коней и, сколько можно
Быстрей, лететь на север и спасаться
От бед, которые предвидит он.

Гэстингс

Иди, дружище, воротись к милорду,
Скажи ему, чтоб он не опасался
Двойного совещанья: на одном
Из них мы будем оба, на другом же
Мой друг, лорд Кэтзби, непременно будет;
И все, что б на последнем против нас
Ни порешили, тотчас нам объявят.
Скажи ему, что страх его напрасен;
А что касается до сна, то я
Не надивлюся просто, как в такой
Он степени и прост, и безрассуден,
Что верит шалостям своих же грез!
Бежать от кабана, когда кабан
Еще не гонится за нами, — значит
Заставить броситься его за нами
И показать ему добычу там,
Где он ее и видеть не сумел бы!
Иди же к господину твоему
И попроси его ко мне: мы вместе
Поедем в Тауэр, и милорд увидит,
Как там его воинственный кабан
Нас ласково и безобидно встретит!

Гонец

Лорд, обо всем ему я передам.
(Уходит.)

Входит Кэтзби.

Кэтзби

День добрый, благородный лорд!

Гэстингс

А, Кэтзби,
Мое почтение, вы нынче рано

Вспорхнули! Ну, что нового у нас —
У нас, в несчастном государстве нашем?

Кэтзби

И в самом деле, лорд, в нем как-то все
Мятется и идет вне колеи.
Я думаю, что этому до той
Поры не перестать, пока венец
На Ричарде не заблестит и земли
Регалий не войдут в его доходы.

Гэстингс

Венец правления? Корона?

Кэтзби

Да,
Мой добрый лорд.

Гэстингс

Пусть голову мою
Снесут мне прежде, чем увижу я
Такое страшное перемещенье
Короны! Неужель и в самом деле,
По-вашему, он метит на нее?

Кэтзби

Да, нет сомненья. Он и вас склонить
Надеется на сторону свою
И потому просил меня сказать вам,
Что нынче ж ваши кровные враги,
Родные королевы, все погибнут
Близ Помфрета...

Гэстингс

О! Уж, конечно, я
Не огорчусь известием подобным,

Они всегда со мною враждовали!
Но чтоб за Ричарда мой голос дать
Решился я, чтоб согласился трон
Отнять у сына моего монарха, —
Нет, никогда! Свидетель Бог — хоть жизни
Лишусь!

Кэтзби

Дай Бог, чтоб вы всегда, милорд,
Таких достойных мыслей были!

Гэстингс

Но
И через год я радоваться буду,
Что видел смерть моих врагов лукавых...
Они меня поссорили с моим
Монархом. Да, любезный Кэтзби, прежде
Чем я двумя неделями еще
Состарюсь, я положу отправить
Еще кого-нибудь из них, они
Об этом и не думают!..

Кэтзби

Однако ж,
Милорд, прескверно умереть, когда
О смерти и не думаешь!

Гэстингс

Да, гадко!
И так падут Вогэн, и Грей, и Риверс,
И несколько еще других; меж тем,
Они себя в опасности нисколько
И не считают, точно ты да я,
К которым, как всему известно свету,
Так благосклонны и светлейший Ричард,
И друг его — достойный Бокингэм.

Кэтзби

Они вас оба ставят так высоко...
(В сторону)
Что вашей голове, милорд, как раз
Стоять на мостовом столбу!

Гэстингс

О, да,
Я знаю сам, что я достоин этой
Почетной дружбы!

Входит Стэнли.

А, здорово, лорд!
Что ж без рогатины вы — кабана
Боитеся, а ходите одни,
Без всякого оружия?

Стэнли

Милорды,
День добрый вам! Не смейтесь надо мной,
Клянусь крестом Спасителя, совсем
Не по душе мне двойственный совет ваш.

Гэстингс

Милорд, я дорожу не меньше вас
Своею жизнью; и прибавлю вам,
Что никогда еще она мне столько,
Как нынче, не казалася бесценна.
И неужель, когда бы в безопасность
Свою не верил я, так безмятежно б
Болтал я с вами?..

Стэнли

Помфретские лорды
Из Лондона спокойно выезжали
И верили в святую безопасность
Свою, и в самом деле никакой

Причины не имели опасаться.
Однако ж, вам известно, как нежданно
Затмился день их? Страшно я боюсь
Ударов этой беспощадной мести!..
Дай Бог, чтоб я остался только трусом!
Что ж, в Тауэр, лорды, мы идем?.. Уж день
Давно на небе.

Гэстингс

Полно, успокойтесь.
Известно ль вам, милорд, что нынче будут
Казнить тех самых лордов, о которых
Вы только что припоминали?..

Стэнли

Да,
По верности и чести их, скорей,
Им можно б было головы носить,
Чем некоторым из судей их шляпы.
Идемте ж, лорд.

Входит рассыльный.

Гэстингс

Ступайте вы вперед;
А я вот с этим перемолвить должен.

Стенли и Кэтзби уходят.

Ну что, дружище, как твои дела?

Рассыльный

Идут чудесно, если ваша светлость
Меня своим уже почтили словом...

Гэстингс

Скажу тебе, что и мои делишки
Поправились завидно с той поры,
Как мы с тобою здесь же повстречались:

Тогда я шел под стражей в грозный Тауэр
Благодаря стараниям друзей
И родственников королевы; нынче ж —
Храни лишь это в тайне, — нынче день
Кровавой казни всех моих врагов...
Да, лучше, нежели когда-нибудь,
Теперь моя капризная судьба.

Рассыльный

Дай Бог, чтоб все по вашему желанью
Свершилося!

Гэстингс

Спасибо, верный друг!
(Бросая ему кошелек)
Вот, выпей за мое здоровье!

Рассыльный

Лорд,
Благодарю вас.

(Уходит.)

Входит патер.

Патер

Дорогая встреча,
Милорд! Отрадно вашу честь мне видеть!

Гэстингс

Благодарю вас от души, любезный
Сэр Джон! Я перед вами все еще
В долгу за вашу верную услугу...
В субботу следующую ко мне
Зайдите — я свой долг вам заплачу!

Патер

Светлейший лорд, я буду ожидать.

Входит Бокингэм.

Бокингэм

О чем вы это говорите здесь
С духовником своим, лорд камергер?
В нем более нуждаются друзья
Милорда, Помфретские арестанты,
А вашей чести исповедь пока
Еще надолго не нужна.

Гэстингс

Конечно!
Я встретился с духовником, и мысль
Невольная о наших заключенных
Пришла мне в голову. Скажите, герцог,
Вы в Тауэр отправитесь?

Бокингэм

Да, лорд;
Но я туда — на самый малый срок
И прежде вас оттуда возвращусь.

Гэстингс

Быть может, потому что я обедать
Останусь там.

Бокингэм

(В сторону)
И ужинать! Но этого еще
Не знаешь ты. Итак, милорд, идемте.

Гэстингс

Идемте, я готов, светлейший герцог!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Помфрет. Перед замком.

Ратклиф со стражею ведет на казнь Риверса, Грея и Вогэна.

Ратклиф

Ведите пленников!

Риверс

Сэр Ричард Ратклиф,
Сегодня ты увидишь, как за верность,
За честь свою и за святой свой долг
Погибнет подданный!..

Грей

Всевышний принца
Да сохранит от вашей братьи! Все
Вы заклятые кровопийцы...

Вогэн

Будет
Пора, и вы начнете горевать,
Что жизнь вас не покинула!..

Ратклиф

Спешите —
Уже давно границы вашей жизни
Положены.

Риверс

О, Помфрет, Помфрет! Ты —
Кровавая и страшная темница
Для благородных пэров!.. Под твоим
Преступным сводом был изрублен Ричард
Второй, и мы своей невинной кровью
Тебя забрызжем, чтоб вконец усилить
Позор твоей отверженной судьбы.

Грей

Свершаются проклятья Маргариты,
Ее желанья Гэстингсу, и мне,
И вам, милорд: мы видели, как Ричард
Убил ее любимое дитя!..

Риверс

Тогда она проклятья расточала
И на других: мятежный Бокингэм,
И Гэстингс, и коварный Ричард также
Подверглись им! О, Господи, внемли ж
Ее мольбам за них, как внял ты ныне
Ее молениям за нас... Но, Боже,
Помилуй и спаси мою сестру!
И сохрани ее малютку-сына...
Пусть наша кровь невинная прольется
За них и жизнь их бедную искупит!

Ратклиф

Спешите: час кончины вашей пробил...

Риверс

Вогэн, друг, Грей! обнимемся, прощайте!
До новой встречи, там — на небесах!..

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Лондон. Комната в Тауэре.

Бокингэм, Стэнли, Гэстингс, епископ Эли, Кэтэби, Ловель и другие сидят за столом; чиновники совета стоят позади их.

Гэстингс

Итак, милорды-пэры, на совет
Мы собрались, чтоб кончить наше дело

О коронации; решите ж с Богом
Его и назначайте день.

Бокингэм

Но все ль
Готово для такого торжества?

Стэнли

Готово все; осталося назначить
Лишь день один!

Эли

По-моему — так завтра
День самый выгодный!

Бокингэм

Кому известно,
Что думает об этом лорд-протектор?
Кто посвящен в тайник его души?

Эли

Мы думаем, что вам, достойный лорд,
Скорей других его известно мненье.

Бокингэм

Как так? Мы только лишь по лицам знаем
Друг друга. Что же до сердец, то, право,
Мое ему настолько же известно,
Насколько мне известны ваши; сердце
Его открыто предо мною так же,
Как вам мое открыто!.. Гэстингс, вы
С ним дружны...

Гэстингс

Я благодарю его
Высочество за добрую любовь

Его ко мне, я в ней вполне уверен.
Но что касается его суждений
О коронации, об этом я
Его не спрашивал, а сам он вовсе
Не думал мне о них сказать; когда ж
Вы, лорды благородные, решите
Назначить день, я голос свой подам
За герцога, и он, как я надеюсь,
Не может оскорбиться тем нисколько!..

Входит Глостер.

Эли

А вот и герцог.

Глостер

Доброго утра,
Милорды благородные и братья.
Я заспался... Надеюсь, однако ж,
Мое отсутствие не помешало
Вам ни в каком сужденье: вы всегда
И без меня могли бы обойтись.

Бокингэм

Когда б по реплике вы не явились,
Лорд Гэстингс произнес бы вашу часть:
То есть — сказал бы всем нам ваше мненье
Насчет венчанья короля...

Глостер

Один
Лорд Гэстингс может быть так смел. Лорд Гэстингс
Меня и знает хорошо, и любит!
Лорд Эли, я в последний раз в Гольборне
Гулял у вас в саду и видел там
Чудесную клубнику! Потрудитесь
Послать за ней теперь же.

Эли

Светлый лорд,
От всей души!..

(Уходит.)

Глостер

Любезный Бокингэм,
На пару слов.
(Отходит с ним в сторону.)
Друг! Кэтзби говорил
С Вильямом Гэстингсом о нашем деле.
Упрямый джентльмен горяч и так
Настойчив, что скорей готов погибнуть,
Чем согласиться, чтоб прямой наследник
Его монарха — как достойно он
Его честит — лишился царственного трона
Британии!

Бокингэм

Уйдите на минуту
Отсюда. Я за вами тоже выйду.
(Уходит с Глостером.)

Стэнли

А мы еще не назначали дня...
По-моему, так завтра слишком скоро
Уж будет, я и сам не так готов,
Как мог бы, если б это торжество
Немного продолжили!..

Входит Эли.

Эли

Где же лорд
Протектор? Я послал уж за клубникой.

Гэстингс

Его высочество сегодня ласков
И весел: вероятно, что-нибудь
Особенно приятное его
Теперь и радует, и занимает:
Он доброго утра нам пожелал
От всей души!.. Нет человека в мире,
Который бы так худо мог скрывать
Свою любовь и ненависть!.. Вы тотчас
Прочтете по лицу его все сердце
Его...

Стэнли

А именно, что нынче вы
Прочли из сердца лорда по его
Лицу?..

Гэстингс

Что у него в душе нисколько
Нет неприязни к нам, милорды-пэры!..
О! если б он питал к кому досаду,
Она б в глазах его сейчас сказалась.

Глостер возвращается с Бокингэмом.

Глостер

(В волнении)
Прошу вас всех сказать, какой награды
Достойны те, которые меня
Задумали бесовским колдовством
Сгубить, и в самом деле, наконец,
Осилили волшебством адских чар
Мое больное тело?..

Гэстингс

Светлый лорд,
Любовь, которую я к вам питаю,

Меня невольно заставляет, прежде
Высоких пэров, осудить виновных
В таком ужасном деле: кто б они,
Лорд, ни были, — они достойны смерти.

Глостер

Пускай же собственный ваш взор увидит
Их преступление! Смотрите, как
Испорчен я!.. Рука моя иссохла,
Как сук порезанный... И все — по козням
Супруги Эдуарда, этой страшной
Волшебницы, да непотребной Шор.
Вот как меня злодейски заклеймили!..

Гэстингс

(Вкрадчиво)

Они ли это, благородный лорд...

Глостер

Они ль?.. И ты, их гнусный покровитель,
Мне говоришь еще — они ль?.. Ты, низкий
Изменник! Голову ему долой!..
Клянуся Павлом, я не сяду есть,
Покуда не увижу головы
Его! Ловель и Кэтзби, вам я это
Приказываю!.. Что ж до вас, милорды,
Касается, — кто за меня, тот встанет
И за своим протектором пойдет!

Весь совет встает в смущении и уходит с Глостером.

Гэстингс

О, горе, горе Англии! Но вовсе
Не за меня, затем, что я был глуп
И не сумел предотвратить несчастья!
Да! Стэнли снилось, будто бы кабан

Сорвал с него заветный шлем, но я
Сном пренебрег и убежать не думал!..
Три раза спотыкался нынче мой
Парадный конь, завидев мрачный Тауэр.
Он вздрогнул весь и страшно на дыбы
Взвился, как будто угадал заране,
Что вез меня в предательскую бойню.
О! вот когда мне нужен духовник,
С которым я сегодня повстречался!..
Я каюсь, что с кичливостью такой
Сказал рассыльному о том, что нынче
Погубят в Помфрете моих врагов
И что я сам — в любви и даже в дружбе
Властей!.. О, Маргарита, Маргарита!
Обрушилось твое проклятье нынче
На Гэстингса, на голову его
Несчастную.

Ратклиф

Идите, лорд, идите.
Протектору угодно поскорей
Сесть за обед!.. Вы кайтесь покороче,
Он ждет давно уж вашей головы...

Гэстингс

Кто утверждает все свои надежды
На льстивых взорах милости людской,
К которой мы стремимся, словно к дару
Господню, тот живет, как опьянелый
Бедняк-матрос на мачте корабля,
Готовый с каждым роковым толчком
Слететь стремглав в пучины океана...

Ловель

Идемте же, напрасны все слова,
Все ваши возгласы; милорд, спешите!..

Гэстингс

О, беспощадный и кровавый Ричард!
Несчастная Британия!.. Тебе
Я предвещаю страшную годину —
Такое время, о котором ты
Еще вовек и не слыхала. Ну-те,
Ведите поскорей меня на плаху,
Снесите голову мою ему...
Недолго ж проживут и те, которым
Приятен мой безвременный конец!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Там же. Стены Тауэра.

Выходят на них Глостер и Бокингэм, в ржавом и беспорядочно надетом оружии.

Глостер

Скажи мне, брат, умеешь ли дрожать ты
И изменять лицо свое, дыханье
В средине слова убивать, потом
Его незримо обновлять и снова,
По воле, прерывать его, как будто
Ты весь от ужаса — и вне себя,
И обезумел?

Бокингэм

О! я превзойду
И лучших трагиков. За каждым словом
Я стану озираться, и назад
Глядеть, и трепетать всем телом,
И вздрагивать при шелесте малейшей
Соломинки, как будто нахожусь

В глубоком опасении. Пугливость
И выраженье ужаса к моим
Услугам настолько ж мне легки,
Как и притворная улыбка; ими
Вы можете всегда распоряжаться,
Они на всякую минуту вам
И вашим планам отданы! Однако ж,
Скажите, вы послали Кэтзби?

Глостер

Как же.
Да вот и он, и с мэром — посмотри.

Входят лорд-мэр и Кэтзби.

Бокингэм

Позвольте мне с ним говорить! Лорд-мэр...

Глостер

Друг, посмотри-ка на подъемный мост!

Бокингэм

А! Барабаны!..

Глостер

Кэтзби, посмотри,
Что за стенами там?

Бокингэм

Лорд-мэр, причина,
Которая заставила милорда
Послать за вами...

Глостер

Обернись!.. Враги
Бегут сюда! К оружью, защищайся!

Бокингэм

Да защитит нас Бог и наше право!

Входят Ловель и Ратклиф с головой Гэстингса.

Глостер

Не беспокойся: это все друзья —
Ловель и Ратклиф.

Ловель

Вот вам голова
Изменника коварного, никем
Не уличенного в его измене.

Глостер

Да, Гэстингса я так любил и так
Ценил его, что не могу не плакать!
Я почитал его всегда честнейшим
И высоко разумным человеком
В великом христианском мире. Он
Мне книгой был, и в эту книгу вечно
Моя душа бестрепетно вносила
Все помыслы мои, он так искусно
Наружностью достоинств прикрывал
Свои пороки, что, за исключеньем
Его открытой слабости — я здесь
Считаю связь его с женою Шор, —
Его нет сил ни в чем и упрекнуть.

Бокингэм

Да, это был хитрейший изо всех
Изменников, которые меж нас
Когда-либо существовали. Лорд,
Поверите ль, когда б мы не спаслись
Особенным и непонятным чудом,
Вам никогда б и в мысли не пришло,

Что нынче ж, на совете, хитрый Гэстингс
Меня и герцога хотел убить?..

Мэр

Как? Он замыслил это?..

Глостер

Неужель
Вы полагаете, что мы с ним турки
Или язычники? Что мы б решились,
Противу всех законов, поспешить
Погибелью изменника, когда б
Не вынудили нас к тому опасность
Такого дела, собственное наше
Спокойствие и мир святой отчизны?..

Мэр

Вы правы, лорд, он казни был достоин.
Вы оба поступили превосходно:
Изменникам хороший дан пример!
С тех пор, как он с женою Шор связался,
Я ничего уж от него не ждал.

Бокингэм

Однако ж, лорд, мы вовсе не хотели,
Чтоб умер он без вашего суда;
Одна лишь ревность и покорство наших
Друзей все это совершили; нам
Хотелось, чтобы сами вы, милорд,
Пугливое изменника признанье
Услышали, чтоб замысел его
Во всех частях подробно вы узнали
И это все народу б объяснили...
Быть может, граждане невольно нас
Подозревают и превратно судят
О гибели изменника.

Мэр

Милорд,
Речь вашей светлости мне заменяет
Мои глаза и уши. Успокойтесь
И верьте мне, сиятельные лорды,
Смущенным гражданам я объясню
Всю честность, всю правдивость вашу в этом
Несчастном деле!

Глостер

Именно затем,
Чтоб избежать неправых обвинений
Народа, мы и попросили вас
Сюда.

Бокингэм

Но, к сожаленью, опоздали
Вы несколько! Идите ж, объявите
Хотя о том, что слышали от нас.
Прощайте, благородный мэр, прощайте!

Лорд-мэр уходит.

Глостер

Скорей за ним, любезный Бокингэм!
Он в гильдию спешит!.. На всякий случай
Уверь ты судей, дети Эдуарда
Не по закону прижиты; скажи им,
Что в старину был некий гражданин,
Он в шутку сыну завещал корону,
Предполагая в том заезжий двор свой
Под вывеской короны, и король
За то велел того глупца казнить!
Скажи им о распутстве Эдуарда,
Как, что ни день, менял он фавориток,
Жен честных, дочерей чужих бесчестил,

Везде добычи алча, точно зверь,
Где только взором замечал добычу.
Когда понадобится, не щади
И близких мне, скажи им, не краснея,
Что мой отец, мой царственный отец,
Во Францию в то время шел походом,
Когда моя родительница братом
Моим, бездушным Эдуардом, стала
Беременна, и что, расчислив время,
Он убедился, что рожденный сын —
Не сын ему, и это подтвердило
Еще печальное несходство с ним
Несчастного малютки! Ты, однако ж,
Об этом намекни полегче, так,
Как будто мимоходом... Потому что
Еще жива моя родная мать.

Бокингэм

Поверьте, лорд, я буду осторожен
И ловок в этом так, как будто я
О золотой награде хлопочу
Для самого себя; итак — прощайте!

Глостер

Когда тебе удастся это, в замок
Байнард их приведи! Там вы найдете
Меня среди монахов и ученых.

Бокингэм

Спешу, и вы из ратуши, надеюсь,
Дождетесь вскоре важных новостей.
(Уходит.)

Глостер

Спеши, Ловель, здесь нужен доктор Шо;
Ты к брату Пенкеру скорее, Кэтзби, —

Чтоб через час в Байнарде были оба

Ловель и Кэтзби уходят.

Теперь мне остается устранить
Одно отродье Кларенса — за дело ж!..
Распорядимся, чтоб отныне к принцам
Живой души не смели допускать!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Улица.

Входит писец.

Писец

Вот обвинительный и смертный приговор
Милорду Гэстингсу... Красно и четко
Перебелен он для прочтенья в церкви
Святого Павла! Как, однако ж, странно
Все это вяжется! Вчера его
Прислал мне Кэтзби вечером, и я
Одиннадцать часов над ним трудился...
Для составленья чернового столько ж,
И более еще, необходимо...
А между тем, нет и пяти часов,
Как Гэстингс жил — вне всяких обвинений,
Свободен, прав душой и безопасен!..
Да, чуден свет! И кто так глуп и прост,
Что не увидит здесь обмана? Кто
Осмелится и скажет, что не знает
Обмана этого?.. Ужасен свет!
Конец его подходит!.. Как страдать —
И не искать защиты и молчать?..

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Там же. Двор Байнардова замка.

Входят Глостер и Бокингэм: один в одну, другой — в другую дверь.

Глостер

Ну, как дела? Что говорит народ?

Бокингэм

Клянуся Богоматерью, народ
Не говорит ни слова... Он совсем
Как онемел!

Глостер

А говорил ли ты
О том, что дети Эдуарда — вовсе
Не дети Эдуарда?..

Бокингэм

Как же, лорд!
Я вспомнил и о брачном договоре
Его с миледи Люси, и о том,
Который он во Франции составил
Через послов своих. Я говорил
О незаконности его рожденья,
И как на герцога он не похож
Совсем... При этом я на вас сослался,
Как на подобье верное отца
И по лицу его, и по душе...
Я вычислил все ваши торжества,
Шотландские победы, я представил
Воинские познанья ваши, мудрость
И кротость вашу в мирные года,
Смирение и вашу бескорыстность!..
Я не забыл формально ничего,
Что б помогло вам делом или словом.

Когда ж к концу склонилась речь моя,
Я прямо предложил тем, кто желает
Добра своей отчизне, закричать:
«Да здравствует могучий Ричард, верный
И царственный король наш!..»

Глостер

Что ж они,
Воскликнули?..

Бокингэм

Нет, Богом я клянусь,
Они ни слова не сказали!.. Все ж
Стояли молча, как немые камни,
Как статуи бездушные, и только
Все, бледные как смерть, в глаза друг другу
Глядели. Видя это, упрекать
Я начал их и к мэру обратился
С вопросом о таком молчанье... Он
Ответил мне, что сам народ привык
Глашатаев своих одних лишь слушать.
Тогда его я повторить заставил
Мои слова, и он их повторил...
«Так герцог говорил, так герцог думал» —
Ссылался беспрестанно он, ни слова
Не прибавляя от себя в защиту
И пользу нашу. Только что он кончил,
Немногие из наших, на конце
Парадной залы, забросали шляпы
Свои на воздух, им вослед с десяток
Ответило охрипших голосов,
И крик: «Да здравствует король наш Ричард!»
Раздался между ними... Я скорей
Воспользовался этим и сказал:
«Благодарю вас, верные друзья,
Достойные сограждане и братья!

Всеобщий клик ваш ясно показал
И мудрость вашу, и любовь святую
К милорду Ричарду!..» Сказал и вышел.

Глостер

Чурбаны безъязычные! Совсем —
Не говорить?! Поэтому и мэр
Не явится сюда с своею братьей?

Бокингэм

Мэр будет здесь сейчас. Вы покажите,
Что опасаетесь чего-то... Слушать
Решитесь их по долгим убежденьям...
Молитвенник держите вы в руках
И стойте между двух попов почтенных —
На эту святость я и налегаю!
Играйте роль застенчивой девицы,
Твердите «нет» одно... и не противьтесь!

Глостер

Согласен! И когда просить за них
Ты будешь так же хорошо, как я
Примуся этим «нет» работать, — верен
И несомненен наш успех.

Бокингэм

Милорд,
Ступайте на балкон... Лорд-мэр стучится.

Глостер уходит. Входит лорд-мэр с альдермэнами и гражданами.

Добро пожаловать, милорд!.. А я
Все ожидаю допуску!.. Едва ли
Протектор вовсе не решился нас
Не принимать?..

Из комнат замка выходит Кэтзби.

Ну что, любезный Кэтзби?
Что герцог на мою ответил просьбу?

Кэтзби

Он просит вас, милорд, к нему явиться
Пораньше завтра или послезавтра.
Он во дворце и два попа с ним рядом;
Ничем мирским не хочет он заняться,
Всем сердцем, всей душою углубленный
В святое созерцанье божьей правды.

Бокингэм

Вернися, Кэтзби, к светлому милорду,
Скажи ему, что я, лорд-мэр и все
Достойные сограждане покорно
К нему явилися по делу крайней,
Великой важности; скажи, что это
Святое дело — наших общих благ
Касается.

Кэтзби

Я доложу ему
Сейчас!

(Уходит.)

Бокингэм

Да! этот принц — не Эдуард!
Он не лежит, не нежится в постели...
Он на коленях молится о благе
Своей отчизны... Занят он не пьяным
Веселием в кругу своих прелестниц,
Не сном своим, не праздной ленью плоть
Свою он утучняет, а мольбами
Обогащает бодрствующий дух!
Как счастлива была б судьба печальной
Британии, когда бы этот мудрый
И кроткий принц взял на себя труды

Великого венца!.. Но, нет надежд,
Чтобы склонился он на наши просьбы.

Мэр

Не дай Господь, чтоб он нам отказал[1].

Бокингэм

Боюсь, откажет. Вот и верный Кэтзби.

Входит Кэтзби.

Ну что, милорд, что вам ответил герцог?

Кэтзби

Он удивляется, зачем к нему
Вы привели толпу достойных граждан,
Заблаговременно не давши знать
Ему о том: он здесь подозревает
Недоброе намеренье, милорд.

Бокингэм

Мне очень больно, что светлейший брат мой
Подумать мог, что я против него
Замыслил злое дело: нет, клянусь,
Мы из любви одной сюда явились.
Поди же и скажи ему об этом!..

Кэтзби уходит.

Когда святоши примутся за четки,
Не жди уж толку. Сладко так молиться!

Кэтзби возвращается. Вслед за ним Глостер показывается на галерее между двух прелатов.

---

[1] Лорд-мэром в это время был Эдмонд Шо, брат доктора Шо, которому Ричард поручил сказать с кафедры собора Святого Павла о его притязаниях на корону Англии.

Мэр

Вот и его высочество... с ним два
Духовника.

Бокингэм

Они святому — посох
В пути греховном, а в руках, смотри,
Молитвенник — краса и честь святая
Всех праведных людей. Лорд Глостер,
Светлейший герцог, принц Плантагенет!
Склони свое бесценное вниманье
На наши просьбы и прости, что мы
Нарушили твои мольбы святые,
Твои христолюбивые занятья.

Глостер

Лорд, вам не нужно извиняться!.. Я
Скорей просить вас должен о прощенье,
Затем, что, занятый беседой с небом,
Я пренебрег желаньями друзей...
Итак, что вам угодно? Объявите!

Бокингэм

Мы просим вас о том, чего желает
Господь и эта бедная страна...

Глостер

Мне кажется, я сделал что-нибудь
Обидное для вас, что оскорбляет
Достойных граждан, и пришли вы с тем,
Чтоб осудить мое незнанье...

Бокингэм

Да,
Милорд!.. Но если б вам угодно было
Исправить ваш проступок...

Глостер

Я согласен!..
К чему же и дышу я в христианском,
Смиренном мире?

Бокингэм

Знайте же, милорд,
Что вы — вина тому, что власть правленья,
Величественный трон, корона ваших
Могучих предков, сан ваш по рожденью,
И ваш почет, и царственная слава —
Все, все оставлено негодной ветви
Испорченного пня; что от сонливой
Беспечности и лени ваших действий,
Которую теперь мы пробуждаем
Для блага общего, наш славный край
Лишается своих могучих членов;
Его лицо морщинами позора
Покрылося, и к дереву престола
Отверженные ветви прирастают,
И все оно почти уж погрузилось
В бездонную и жадную пучину
Ничтожества, немого запустенья
И черной гибели!.. Чтобы спасти
Его, мы вашу светлость умоляем
Принять бразды правления родной
Вам Англии: принять — не в слабом званье
Протектора, наместника иль просто
Поверенного — выгодам другого
Покорного наемника... Нет! в званье
Наследника принять, как вашу часть,
Как вашу собственность, как вашу славу,
Как вашу кровь, родное государство!..
Вот для чего, по неотступной просьбе
Всех этих граждан, истинных друзей

И верных ваших слуг, сюда пришел я!..
Вот почему я умоляю вас
Принять бразды покинутого трона!..

Глостер

Не знаю, как мне быть: уйти ль в молчанье
Иль едкими упреками осыпать
Всех вас?.. И что скорей прилично будет —
И сану моему, и вашим добрым
Намереньям?! Не отвечать, уйти —
Вы можете подумать, что немое
От радости тщеславие охотно
Приемлет золотое иго власти,
Которую вы предложили мне!..
Негодовать на вас за ваши просьбы,
Исполненные пламенной любви
Ко мне, — не значит ли моих друзей
Обидеть? Потому, чтоб избежать
Последнего и первым в искушенье
Вас не ввести, я вот что вам отвечу:
Благодарю вас за любовь ко мне,
Что ж до моих достоинств, то они
Так бледны и так малы, что мешают
Вполне принять мне ваше предложенье!..
Когда бы даже не было препятствий
И путь мой к трону был бы чист и верен,
Как кровные права мои по сану,
То и тогда — я так ничтожен духом,
Так многочисленны мои пороки,
Что я, как утлый и бессильный челн,
Бежал бы моря моего величия,
Чтобы оно меня не поглотило
И чадом славы собственной моей
Меня не задушило! Но Господь
Еще хранит меня, и нет вам нужды
Пока во мне... Когда ж она случится,

Вам помогу немного я! Достойный
Остался плод от царственного корня...
Седое время этому плоду
Придаст красу и зрелость — и собою
Украсит он наш царственный престол
И, нет сомненья, всех нас осчастливит
Своим правлением... Вот на кого
Я возлагаю то, что на меня
Вы возлагаете и что ему
Принадлежит по праву и по воле
Его звезды таинственно-счастливой!..
Избави Бог, чтоб я его лишить
Решился этого наследства!..

Бокингэм

Лорд,
Все это про одну лишь вашу совесть
Нам говорит; но если рассмотреть
Получше обстоятельства, нетрудно
Увидеть, как ничтожны и бессильны
Причины, на которые она
Ссылается... Вы говорите нам,
Что вашего родного брата сын
Малютка Эдуард, и мы ни слова
Не скажем против этого!.. Но что
Заговорит супруга Эдуарда,
Его отца?.. Ваш брат был сговорен
Сперва с миледи Люси — и об этом
Вам засвидетельствует ваша мать...
А после он, через своих послов,
Сосватал леди Бону, молодую
Сестру французского монарха! Их
Обеих удалила от него
Убогая и жалкая вдовица,
Измученная мать семьи голодной,
Переступившая за полдень жизни

Поблекшая красавица... Она
Очаровала взор его, прельстила,
Поработила дух его высокий
И наконец унизила его
До двоебрачья... С ней-то Эдуард
На беззаконном ложе прижил сына,
Которого из вежливости мы
Назвали принцем. Не цени я чести
И славы некоторых из живых
Свидетелей тому, что я поведал,
Я б рассказал вам более еще...
Итак, примите же, светлейший лорд,
Вам предлагаемый венец — когда
Не для спасения отчизны вашей
Иль не для наших просьб, по крайней мере,
Хоть для того, чтобы восстановить
Нарушенный насмешливой судьбой
Порядок в вашем царственном наследстве...

Мэр

Вас граждане все молят! Согласитесь,
Милорд!..

Бокингэм

Не отвергайте их любви!

Кэтзби

Исполните их праведную просьбу,
Обрадуйте сограждан!

Глостер

Боже правый!
И для чего меня обременить
Хотите вы заботами правленья?
Златой венец и королевский скипетр
Мне не пристанут. Умоляю вас,
Моим словам не придавайте смысла

Превратного! — я не могу и даже
Желать не смею ваших предложений
Достойно выполнить...

Бокингэм

Вы не хотите,
Вы отказались отрешить от трона
Дитя, наследника родного брата.
Мы знаем кротость ваших добрых чувств,
Любовь и вашу женственную нежность
К родным и неродным! Так знайте ж, лорд,
Уважите ль, отвергнете ли вы
Горячие моленья наши, сын
Родного брата вашего — вовек
Не будет королем нам!.. Мы другого
Кого-нибудь на трон наш возведем...
И с этою решимостью покорно
Вас оставляем мы! Друзья, идемте,
Нам нечего здесь более просить...
(Отходит со всеми гражданами.)

Кэтзби

Любезный принц, верните их, склонитесь
На просьбы их! Отказ ваш возмутит
Негодованием все государство...

Глостер

Вы, значит, положили непременно
Меня сковать веригами венца?
Знать, так и быть!.. Верни их!.. Я не камень!..

Кэтзби идет к гражданам.

Я не могу не тронуться мольбами
Моих друзей, как ни противно это
И совести моей, и сердцу!..

Бокингэм возвращается с гражданами.

Брат,
Достойный Бокингэм, и вы, мои
Сограждане, когда уже решились
Вы королем своим меня назвать,
Не зная, будет ли мне это любо
Иль нет, — я должен на себя невольно
Принять тяжелые вериги власти!..
Но если клевета иль порицанье
Бездушное последуют за этим
Согласием невольным, — о! тогда
Вы сами смыть должны все эти пятна
И оскорбления... Господь свидетель,
И вы отчасти видели, как я
Далек был даже мысли о короне!..

Мэр

Да наградит вас Бог! мы знаем это
И засвидетельствуем всем!..

Глостер

И вы
Об истине свидетельство свое
Дадите, лорд!..

Бокингэм

Итак, я королем
Приветствую вас, принц! Друзья милорды,
Да здравствует король наш Ричард, верный
Властитель Англии!

Все

Аминь!

Бокингэм

Угодно ль,
Милорд, вам завтра же короноваться?

Глостер

Когда хотите, я на все согласен.

Бокингэм

Мы к вашему величеству поутру
Придем. Затем — до светлого свиданья!..

Глостер

(Епископам)
Воротимся и мы к святой беседе.
(Бокингэму)
Прощайте, брат! Друзья мои, прощайте!..

(Уходят.)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Перед Тауэром.

Входят с одной стороны — королева Елисавета, герцогиня Йорк и маркиз Дорзет; с другой — Анна, герцогиня Глостер с леди Маргаритою Плантагенет, маленькою дочерью Кларенса, которую ведет за руку.

Герцогиня

Кто это к нам идет навстречу? Внучка
Плантагенет с своею теткой Глостер!
Наверно, и они стремятся в Тауэр,
Чтобы поздравить принца вместе с нами!
Я очень рада нашей встрече, дочь
Моя!

Анна

Дай Бог обеим вам, миледи,
И счастия, и радостей.

Королева Елисавета

Пошли
Господь и вам, сестра! Куда вы? В Тауэр?
И, если я не ошибаюсь, мы
Идем к одной и той же цели с вами:
Поздравить наших светлых принцев...

Королева Елисавета

Да,

Любезная сестра! Благодарю!
Пойдемте вместе...

Входит Бракенбери.

Вот и комендант!
Любезный комендант, прошу, скажите,
Здоров ли принц и младший сын мой Йорк?..

Бракенбери

Здоровы оба, слава Богу!.. Только,
Простите, к ним вас допустить нельзя мне:
Король строжайше это запретил.

Герцогиня

Король? Какой король?

Бракенбери

Нет! Я хотел
Сказать вам — лорд-протектор.

Королева Елисавета

Упаси
Его Господь от царственного титла!
Так это он преграды воздвигает
Меж нас, между любовию детей
И матерью?.. Я мать — и кто же смеет
Не допустить меня к моим же детям?

Герцогиня

Я мать отца их, я хочу их видеть.

Анна

Я тетка по родству им, по любви
Я матерь их... Скорее ж к ним ведите

Меня, я принимаю на себя
Ответственность, обязанность твою
С тебя передо всеми я слагаю.

Бракенбери

Нет, леди, не могу; никак нельзя:
Я связан клятвою, и потому
Простите.

(Уходит.)

Входит Стэнли.

Стэнли

Встреть я вас хоть часом позже,
Я б мог поздравить герцогиню Йорк
И матерью, и спутницею двух
Прекрасных королев.

(Герцогине Глостер)

Но, леди, вы —
Пожалуйте в Вестминстер! Вас там ждет,
Как Ричарда достойную супругу,
И трон, и честь, и лавры диадемы.

Королева Елисавета

О! Поскорей разрежьте пояс мой,
Пусть сердце бедное свободней бьется!
Иль эта весть ужасная совсем
Лишит меня сознания и чувств!

Анна

Проклятая, убийственная новость!

Дорзет

Родная, ободритесь, успокойтесь.

Королева Елисавета

Не говори со мною, милый Дорзет!
Смерть и страданья по твоим пятам
Несутся... Имя матери твоей —
Зараза для ее детей несчастных...
Спасай скорее жизнь свою, беги
Немедля за море, и верный Ричмонд
Тебя, вдали от этой адской бури,
Убережет... Беги, мой сын, беги
Из этой бойни страшной!.. Укрывайся,
Не увеличивай собой числа
Кровавых мертвецов, чтоб надо мной
Проклятье Маргариты не свершилось,
Чтоб не пришлось мне умереть, по слову
Ее, ни матерью, ни королевой
Британии, ни счастливой женой!..

Стэнли

Благоразумен ваш совет, миледи.
(Дорзету)
Спешите, не теряйте ни минуты.
Вы от меня получите письмо,
В нем сыну моему я также дам
Совет последовать за вами в бегство.
Не накликайте смерти безрассудным
Упрямством!

Герцогиня

О! всесильный вихорь бедствий!
Проклятая моя утроба! Ложе
Коварной гибели!.. Ты василиска
Извергла в этот мир, и смерть летит
С ресниц его отравленного ока!..

Стэнли

Идемте, леди; поспешите: мне
Приказано вас привести как можно
Скорей!

Анна

Я не могу идти за вами...
О! если б Господу угодно было,
Чтоб обруч золотой, который должен
Обнять мое греховное чело,
Стал раскаленным докрасна железом
И до мозгу прожег мой жалкий череп!
Пускай меня помажут страшным ядом,
Чтоб умерла я прежде, чем успеют
Воскликнуть мне: «Да здравствует супруга
Британского монарха!»

Королева Елисавета

В путь, бедняжка,
Иди; я не завидую твоей
Блестящей славе... Я не стану даже
Тебе желать несчастий, чтоб рассеять,
Чтоб утолить мое немое горе!..

Анна

Не станешь? Почему ж? Когда недавно
Ко мне явился тот, кого теперь
Я называю мужем, и увидел
Меня за трупом Генриха; когда
Явился он, еще не смыв, как должно,
С злодейских рук своих остылой крови
Супруга моего, невинной жертвы,
Второго ангела, к могиле тело
Которого тогда я провожала,
Рыдая, как безумная; когда,

Вам говорю, я Ричарда лицо
Увидела, вот в чем моя молитва
Была: «Будь проклят, — я сказала, —
За то, что ты меня вдовой-старухой
Из молодой жены насильно сделал!..
Сам женишься, пусть горе никогда
Не покидает ложа твоего...
Жена твоя, когда уж ты найдешь
Безумную, которая тебе
Отдаст навек свою свободу, — пусть
Несчастнее твоею жизнью будет,
Чем я кончиной моего супруга!»
И что же? Через миг, скорей, чем можно
Вновь повторить мое проклятье, лесть
Его речей медовых соблазнила
Мой слабый дух и женственное сердце,
И на меня ж обрушились мои
Проклятия. И с той поры глаза
Мои не знают сладкого покоя,
На час один не освежила их
Росинка золотого сновиденья
На ложе грешном... Призраки его
Ужасных грез меня ежеминутно
Гнетут и пробуждают!.. Он меня,
Как Варвикову дочь, со всем коварством
Хранит... Но, я уверена, недолго
Мне жить: он скоро и со мной покончит!

Королева Елисавета

Прощай же, бедная, мне жаль тебя!

Анна

И о тебе жалею я душой.

Королева Елисавета

Прощай! Как грустно ты встречаешь славу!

Анна

Прощай! Как грустно с ней ты расстаешься!

Герцогиня

(Дорзету)
Ты к Ричмонду скорее поезжай,
И счастье да сопутствует тебе!..
(Анне)
Ты к Ричарду спеши, и да хранят
Тебя святые ангелы!
(Елисавете)
Спеши
Во храм, и да дарует он тебе
Покой и мир!.. А я сойду в могилу
И там свое спокойствие найду!..
Я выстрадала восемьдесят лет,
Тяжелых лет печали и рыданий,
И каждый час блаженства моего
Неделей слез и мук уничтожался!..

Королева Елисавета

Нет, стойте! Обернемся на Тауэр!
Твердыня дряхлая, в твоих стенах
Заложены завистливым коварством
Мои малютки — сжалься над детьми!
Ты, колыбель суровая для нежных
Созданий!.. Грубая, седая нянька!
Товарищ устарелый и угрюмый
Их резвых игр! Не угнетай, храни
Моих детей! Так расстается с вами,
Немые камни, грустное безумье!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Тронная комната во дворце.

Звучат трубы.

Ричард королем восседает на троне. Бокингэм, Кэтэби, паж и другие.

Король Ричард

Оставьте нас! Брат Бокингэм!

Бокингэм

Милорд!

Король Ричард

Дай руку! Помощи твоей, советам
Твоим обязан Ричард королевством!
Но неужель мы славой облеклись
На день один?.. или она за нами
Останется и мы найдем в ней счастье?

Бокингэм

Да не кончается она вовек
И навсегда да остается с вами!

Король Ричард

Брат Бокингэм, теперь я разыграю
Роль оселка!.. Я испытаю, вправду ль
Ты золото? Наследник Эдуард
Живет еще... Ты понял, что сказать
Хочу я?

Бокингэм

Говорите, государь.

Король Ричард

Как, Бокингэм? Я уж сказал тебе:
Мне королем хотелось бы остаться!

Бокингэм

Но вы король и без того, мой трижды
Великий властелин!..

Король Ричард

А! Я король?!
Пусть так! Но Эдуард, не жив ли он?

Бокингэм

Жив, благородный лорд.

Король Ричард

Печальный вывод,
Когда из слов «жив, благородный лорд!»
Выходит, что и после жить он будет.
Брат, ты сегодня страшно бестолков:
Неужели я должен все сказать?
Я требую немедленной кончины
Побочных мальчиков. Ну! Что ж ты скажешь
На это? Говори скорей, будь точен!

Бокингэм

Король, вы вправе делать, что хотите.

Король Ричард

Так, так! Ты нынче совершенный лед!
Твоя услужливость совсем замерзла!
Скажи, согласен ты за дело взяться?

Бокингэм

Позвольте мне подумать, государь,
Сообразить хотя минуту прежде,
Чем отвечать мне: я сейчас вернусь
И сообщу мое вам мненье.

(Уходит.)

Кэтзби

(В сторону)

Вспыхнул
Король и рассердился: посмотрите,
Он до крови кусает губы...

Король Ричард

Лучше
Иметь дела с чугунными башками
Глупцов или с мальчишками слепыми!..
Тот, кто в меня пытливый взор вперяет, —
Не для меня. Кичливый Бокингэм
Уже не в меру осторожен! Паж!

Паж

Король!

Король Ричард

Не знаешь ли ты человека,
Которого бы звонкие червонцы
Могли склонить на тайное убийство?

Паж

Я знаю джентльмена одного,
Желания которого всегда
В разладе с кошельком его печальным:
Червонцы перед ним сильней фаланги
Ораторов, и золото как раз
Его на что угодно соблазнит!

Король Ричард

А кто он?

Паж

Тиррль!..

Король Ричард

Его я частью знаю!
Ступай и приведи его ко мне!

Паж уходит.

Хитрец и плут — коварный Бокингэм
Не будет более соседом тайн
Моих... Без устали он все бежал...
Не дать ли дух ему перевести
Теперь? Пусть так!

Входит Стэнли.

Что нового, лорд Стэнли?

Стэнли

Король, я слышал, что мятежный Дорзет
Бежал в поместья Ричмонда и там
На вас с ним замышляет ополченье.

Король Ричард

Приблизься, верный Кэтзби: распусти
Скорее слух, что при смерти, больна
Моя супруга Анна; я ж отправлюсь
Распорядиться об ее аресте.
Сыщи мне джентльмена победней, —
Я Кларенсову дочь с ним обвенчаю;
А сын его и глуп, и неопасен!
Что ж ты заснул?.. Я говорю тебе,
Скорее слухи распусти, что Анна,
Моя супруга, при смерти, больна.
За дело!.. Для меня необходимо
В начале самом разрушать их планы;
Созреют, так не разочтешься с ними!..

Кэтзби уходит.

Во что бы то ни стало мне должно
Жениться на племяннице, не то
Престол мой выстроен на хрупких камнях.
Как?.. Умертвить ее любимых братьев
И с нею ж в брак вступить?.. Неверный путь
К победе!.. Но в крови уже по горло
Погряз я так, что каждый грех рождает
Во мне другой и больший грех... Моим
Глазам неведомы святые слезы!

Входит паж с Тирролем.

Ты Тирроль?

Тирроль

Джемс Тирроль, покорнейший слуга
Монарха моего!..

Король Ричард

Как, в самом деле?

Тирроль

Извольте испытать, светлейший лорд.

Король Ричард

Решишься ль ты убить кого-нибудь
Из приближенных мне, моих друзей?

Тирроль

Когда угодно вашей чести!.. Только
Я б умертвил охотней двух врагов
Монарха моего!

Король Ричард

Что ж? Очень можешь!
Есть у меня два страшные врага,
Два демона моих несчастий, два

Гонителя покоя и отрады
Моей; займися ими, верный Тиррль!
Я разумею здесь побочных пташек,
Что в Тауэре сидят.

Тиррль

Доставьте мне
Возможность к ним пробраться, и я тотчас
Избавлю вас от ваших опасений.

Король Ричард

Твои слова — гармония!.. Мой милый,
Стань ближе: с этим знаком ты заставишь
Себя впустить к ним; а потом запомни
Вот это!..
(Шепчет ему на ухо.)
И конец! Скажи мне только:
Успех! И я тебе любовь мою
Дарую, и ты будешь возвеличен!

Тиррль

Я кончу все сейчас же!
(Уходит.)

Входит Бокингэм.

Бокингэм

Государь,
Я, наконец, обдумал ваш вопрос
И вашу мысль последнюю.

Король Ричард

Прекрасно!
Но это мы теперь оставим! Дорзет
Соединился с Ричмондом, бежал...

Бокингэм

Милорд, я это слышал...

Король Ричард

Стэнли, Ричмонд —
Твоей супруги сын, остерегайся!..

Бокингэм

Милорд, я вас осмелюся просить
О должной, мне обещанной награде:
Вы поклялись, ручались честью дать мне
Герфордское блистательное графство
И все именье движимое брата!

Король Ричард

(Не замечая его)

Лорд Стэнли, за женой своей смотри.
Ты мне ответишь за ее сношенья
И переписку с Ричмондом!

Бокингэм

Милорд,
Угодно ль вам принять мое прошенье?

Король Ричард

Я помню, Ричмонд был дрянным мальчишкой
Тогда, как Генрих предсказал ему
Корону... Он король?! Быть может!

Бокингэм

Лорд!

Король Ричард

Но как же предсказатель позабыл
Меня тогда, как я был тут же, возле,
И не сказал, что я его убью?..

Бокингэм

Милорд, обещанное вами графство...

Король Ричард

А *Ричмонд*?! Я недавно был в Экстере;
Мэр из учтивости задумал мне
Какой-то замок показать и назвал
Его *Ружмонтом!*.. Роковое имя
Заставило меня невольно вздрогнуть...
Один ирландский бард мне предсказал
Кончину, чуть я Ричмонда увижу...

Бокингэм

Милорд!

Король Ричард

Который час?..

Бокингэм

Я вам осмелюсь
Напомнить об обещанной награде.

Король Ричард

Прекрасно! Но который час?..

Бокингэм

Пробьет
Сию минуту десять.

Король Ричард

Ну, так бей же!

Бокингэм

Как — бей же?!

Король Ричард

Так же! Ты ведь автомат
И с молотком стоишь между своими
Желаньями и мыслями моими.
Сегодня я, любезный Бокингэм,
Совсем не в дарственном расположенье!..

Бокингэм

Решите же, угодно ль вам иль нет
Сдержать обещанное вами слово?..

Король Ричард

Ты надоел мне: я не в духе ныне!
(Уходит со свитой.)

Бокингэм

Так вот что? Он презреньем платит мне
За все мои труды, за все услуги?
На это королем его я сделал?..
О! Вспомним Гэстингса, и поскорей
В Брекнок, пока еще смирен злодей.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Там же.

Входит Тиррль.

Тиррль

Кровавое, насильственное дело
Исполнено!.. Ужасное убийство,
Убийство гнусное, каким вовек
Еще не обагрялись эти земли!..

Дайтон и Форрест, палачи мои,
Мои сообщники в убийстве этом,
Две кровожадные собаки, два
Отъявленных, бездушных негодяя,
Растаяли от жалости, рыдали,
Как дети малые, передавая
Мне повесть о кончине их... «Вот так
Лежали кроткие малютки!» — Дайтон
Рассказывал. «Вот так они лежали, —
Со вздохом Форрест говорил, — обнявши
Друг друга ручками, как алебастр,
Прозрачными; их губы целовались,
Как на одном стебле четыре розы,
Четыре близнеца, во всей красе
Их лепестков пурпурно ароматных...
Молитвенник лежал на их подушке...
Тут отнялся вполне мой дерзкий дух...
Но сатана!» — злодей на этом слове
Замолк... «Мы задушили, — говорил,
Рыдая, Дайтон, — светлые созданья
Природы-матери, каких она
С начала мира нам не создавала!..»
В тоске, терзаемые состраданьем,
Они оттуда вышли; их язык
Покинуло испуганное слово...
И так я, наконец, расстался с ними,
Чтоб обо всем поведать королю

Входит король Ричард.

Но вот и он. Привет вам, мой властитель.

Король Ричард

Что скажет весть твоя, любезный Тиррль?
Порадуешь ли ты меня?

Тиррль

Когда
Исполнить ваше порученье — значит
Дать радость вам, вы счастливы вполне:
Все кончено!..

Король Ричард

И ты их трупы видел?

Тиррль

Да, государь!

Король Ричард

И сам их схоронил,
Любезный Тиррль?

Тиррль

Их капеллан тюремный
Похоронил, но где, мне неизвестно.

Король Ричард

По окончаньи ужина, сейчас
Приди ко мне, любезный Тиррль; подробно
Расскажешь мне ты о кончине их,
А между тем, подумай хорошенько,
Чем мог бы я тебя вознаградить.
Немедленно желание твое
Исполнится... За этим — до свиданья!

Тиррль

Ваш преданный слуга, достойный лорд!
(Уходит.)

Король Ричард

Сын Кларенса запрятан в Тауэр, дочь
Обвенчана с ничтожным дворянином,

Два сына Эдуарда мирно спят
На лоне Авраама, а моя
Супруга, Анна, пожелала свету
Спокойной ночи! Я уверен, Ричмонд
Британский на Елисавету метил,
На маленькую дочку брата, мысля
Союзом этим до венца добраться!..
Пойдем же к ней, к хорошенькой принцессе,
Достойным и счастливым женихом.

Вбегает Кэтзби.

Кэтзби

Милорд!

Король Ричард

Какие новости, дурные
Или хорошие, тебя сюда
Втолкнули дерзко так?

Кэтзби

Дурные, лорд;
Мортон вчера за Ричмондом бежал,
А Бокингэм, с бесстрашною ватагой
Валлийцев, выступил походом в поле,
И рать его растет...

Король Ричард

Отважный Ричмонд
И Эли мне опаснее, чем этот
Лукавый Бокингэм с его полками!
Идем! Трусливое раздумье — раб,
Свинцовый раб медлительности сонной!..
За неподвижностью идет бессилье
И нищенство с походкою улитки!..
Нет! быстрота, огонь пускай меня

На грозные свои подхватят крылья...
Меркурием Юпитера, герольдом
Владыки пусть они мне будут! В путь!
Сюда, ко мне, воинственный народ!
Мой щит советом осенит мне грудь.
Изменники бегут!.. Вперед, вперед!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Там же. Перед дворцом.

Входит королева Маргарита.

Королева Маргарита

Так, наконец, их счастье перезрело
И падает в истлевший, смрадный зев
Холодной гибели! Я здесь скрывалась
И стерегла падение врагов
Моих. И вот я дождалась сегодня
Прелюдии великолепной сцены!
Теперь — во Францию, в надежде сладкой,
Что и последствия все также будут
Трагичны, горестны и беспощадны...
Но кто-то здесь идет!.. Бедняжка, спрячься.

Входят королева Елисавета и герцогиня Йорк.

Королева Елисавета

О! бедные, несчастные малютки!
Цветки, не развернувшие листочков,
Минутная краса!.. Когда еще
По воздуху летают ваши души
И в вечные селенья вы не скрылись,
Носитесь надо мной на ваших крыльях

Лазорево-воздушных и внимайте
Рыданьям вашей матери!..

Королева Маргарита

(В сторону.)

Носитесь
Над ней, шепчите ей, что право мести
Младенческое утро ваше в полночь,
В седую полночь, обратило...

Герцогиня

Эти
Несчастия меня лишили слова,
И мой язык разбитый нем и тих!
Плантагенет, достойный Эдуард,
Зачем скончался ты?..

Королева Маргарита

Плантагенет
Плантагенету отплатил кончиной:
Принц Эдуард расчелся с Эдуардом.

Королева Елисавета

К чему же, Господи, оставил Ты
Невинных агнцев? Для чего Ты бросил
Их в волчью пасть?

Королева Маргарита

Где Генрих, где мой сын?

Герцогиня

Немая жизнь, слепое зренье, призрак,
Живущий смертию, жилище горя,
Позор творений, собственность могилы,
Похищенная жизнию, итог
И краткий перечень ужасных дней,

Смири свое глухое беспокойство
На праведной земле британской, так
Неправедно облитой нашей кровью!..
(Садится на землю.)

Королева Елисавета

О! Если б ты могла мне даровать
Могилу так же скоро, как приют
Покоя грустного, я никогда бы
Не оставляла здесь моих костей —
Я скрыла б их в твоих тяжелых недрах!..
И кто же, кроме нас, имеет столько
Причин вздыхать и сетовать?
(Садится на землю.)

Королева Маргарита

Когда
Старейшая печаль достойна боле
И почестей, и уважений ваших,
Отдайте первенство моей!
(Выходит вперед.)
И пусть
Она царит над вашею печалью!..
(Садится подле них.)
Когда ж тоске товарищество любо,
Высказывайте мне несчастья ваши,
Перебирая горести мои!
Был у меня достойный Эдуард,
Но Ричард умертвил его! Супруг
Был у меня, но Ричард и его
Убил!
(Елисавете)
И у тебя был Эдуард,
Но Эдуарда Ричард умертвил!
Был у тебя и Ричард, но его,
Как и других, убил коварный Ричард!

Герцогиня

И у меня был Ричард, но его
Ты умертвила! У меня был Рютланд,
И ты его зарезать помогла.

Королева Маргарита

И Кларенса имела ты, но Ричард
Его убил!.. Ты вывела на свет
Собаку адскую, и всех нас гонит
Она к кровавой гибели; у этой
Собаки прежде, чем глаза раскрылись,
Прорезалися зубы, чтоб терзать
Ягнят и кровь невинную сосать!
Чтоб нас загнать в могилы, ты извергла
Губителя всех божеских созданий,
Тирана, страшного во всей вселенной,
Который царствует слезами душ
Рыдающих. О, Боже правосудный!
Как я Тебя благодарю, что эта
Свирепая собака не щадит
Детей у бедной матери своей
И делает ее подругой прочих
Страдалиц...

Герцогиня

Ты, супруга короля
Покойного, не радуйся несчастьям
Моим: свидетель Бог, я о тебе
Жалела!

Королева Маргарита

О, прости мне! До сих пор
Я голодала местью; но теперь
Я начинаю насыщаться ей!
Твой Эдуард, убивший моего

Родного Эдуарда, умер! Скоро
За моего же Эдуарда умер
И твой последний Эдуард! А Йорк
Малютка мне пошел в простой барыш —
Затем, что мало будет и двоих
Великих Эдуардов, чтоб сравнять
Твою печаль с печалью Маргариты!..
Твой Кларенс, умертвивший Эдуарда,
Любимца моего, скончался; с ним
Погибли и свидетели кончины
Несчастного: Вогэн, и Грей, и Риверс,
И развращенный Гэстингс: все они
Задохлися в довременных могилах!..
И только Ричард, этот черный вестник
Пучины адской, жив еще, оставлен
Меж нами фактором ее владык,
Чтоб вербовать и посылать туда
Земные души!.. Но близка, близка
И жалкая безжалостного гибель!
Земля разверзлася, и пышет ад
И демоны ревут, и небо молит,
Чтоб он скорей покинул этот мир!..
Молю Тебя, о Боже милосердный!
Расторгни узы, с жизнию его
Связавшие и этот бедный свет,
Чтоб прежде, чем умру, сказать могла я:
«Издохни, гнусная собака!»

Королева Елисавета

Ты
Мне предсказала, что настанет время,
Когда придется мне молить тебя,
Чтоб ты мне помогла в проклятьях этой
Горбатой, бешеной и гадкой жабе,
Пузатому тарантулу и змею!..

Королева Маргарита

Тогда тебя я называла блеском
Пустым моих богатств; тогда тебя
Звала я жалкой тенью, королева,
Изображением того, чем я
Была когда-то, перечнем коварным
Трагедии ужасной!.. Высоко
Ты вознеслась лишь для того, чтоб громче
И тяжелей тебе упасть; поверь,
Тебя дразнили только, ты не мать
Двух этих мальчиков!.. Ты — просто сон
Того, чем ты была, цветное знамя,
В которое направлены все ружья;
Ты водяной пузырь, ты дуновенье,
Ты вывеска величья, королева
Несчастная, для пополненья сцены
Представленная только! Где твой муж
Теперь? Где сыновья твои? Где братья?
Где радости твои и наслажденья?
Кто преклоняется перед тобой?
Кто восклицает: «Боже! королеву
Спаси!..» Где пэры, льстившие тебе
Низкопоклонники? Где твой народ,
В восторге за тобой толпой бежавший?
Переберидсе это и представь
Себе, чем ты была и что теперь ты!
На место счастливой жены, теперь
Ты — скорбная вдова; была ты мать,
И радостная мать, теперь же плачешь
О том, что матерью была ты; вместо
Того, чтобы тебя просили, ты
Сама теперь скитаешься и молишь...
На место королевы — ты раба,
Увенчанная тернием и горем!
Ты издевалась надо мной, теперь же

Я над тобою издеваюсь!.. Вместо
Того, чтоб нам тебя бояться, ты
Боишься нас, и мы тобою правим,
Как нами ты когда-то помыкала!..
Так повернулось праведное счастье
И предало тебя в добычу лет,
Оставив при одних воспоминаньях
Мучительной, промчавшейся годины.
Ты завладела местом Маргариты,
Прими же с ним и часть моих утрат!
Ты половину бремени несешь
На горделивой вые, но стряхаю
И остальную я с моей усталой
И дряхлой головы, и всю ее
Слагаю на тебя!.. Прощай, вдова
Властительного Йорка, королева
Угрюмого несчастия, прощай!
Меня во Франции утешит горе
Британии!..

Королева Елисавета

О! подожди немного!
Ты так искусна в огненных проклятьях,
Дай силы мне проклясть моих врагов!

Королева Маргарита

Не спи ты по ночам и бодрствуй днем;
Почаще сравнивай живое горе
С умершим счастием; припоминай
Своих малюток — лучшими, чем были
Они на самом деле, их убийцу —
Гнусней, чем он на самом деле есть,
И украшай все то, чего лишилась
Ты, бедная! Тогда ты заклеймишь,

Как надобно, виновников несчастий
Твоих, тогда сумеешь ты сложить
Слова твоих проклятий беспощадных!

Королева Елисавета

Тупа моя измученная речь;
Ты заостри ее своею речью!

Королева Маргарита

Ее твои страданья заострят,
И, как мое язвительное слово,
Она порхнет из ядовитых уст!..
(Уходит.)

Герцогиня

К чему несчастиям многоречивость?

Королева Елисавета

Нет, дайте волю им, безмолвным этим
Ходатаям страдания, воздушным
Преемникам отрады беззаветной,
Ораторам несчастия убогим!
Пускай все то, что выскажут они,
Не поправляет ничего: отрадно
Уже и то, что сердцу с ними легче!

Герцогиня

О, если так, слагай свои проклятья!
Идем; дыханием упреков злобных
Задушим сына моего, как он
Вчера твоих малюток задушил!

Барабанный бой.

А!.. Барабаны Ричарда!.. Готовься ж
И собирай огонь твоих проклятий!

Входит король Ричард и за ним его войско.

Король Ричард

Кто смеет мне дорогу преграждать?

Герцогиня

Та бедная, которая жалеет,
Что вовремя тебе не преградила
Пути ко всем твоим убийствам, изверг,
И что тебя тогда не задушила,
Когда еще на свет не выходил ты!

Королева Елисавета

Ты золотой короною чело
Свое прикрыл, когда на нем должно,
По всем правам, гореть убийство принца,
Которому она принадлежала,
Убийство сыновей моих и братьев!..
Скажи мне, где мои родные дети,
Предатель?..

Герцогиня

Жаба! жаба! где твой брат,
Несчастный Кларенс твой? где сын его,
Малютка Нэд-Плантагенет?

Королева Елисавета

Где Риверс?
Где добрый Грей, Вогэн?

Герцогиня

Где честный Гэстингс?

Король Ричард

Гремите трубы! Бейте барабаны!
Чтоб небеса не слышали, как эти

Бессмысленные бабы здесь кричат!
Гремите, говорю я!..

Трубы и барабаны.

Укротитесь.
Не забывайте должного приличья,
Иль я пойду кричать, иль я вас заглушу
И раздавлю раскатами тревоги!

Герцогиня

Ты сын мой?

Король Ричард

Кажется — благодаря
Создателя, отца и вас!

Герцогиня

Сноси же
С терпением мою нетерпеливость!

Король Ричард

Ах, герцогиня, дух мой захватил
Частичку вашего, а ваш упреков
Не вынесет...

Герцогиня

О! дай мне досказать!

Король Ричард

Извольте, только я не буду слушать!

Герцогиня

Я ласково и кротко обещаю
С тобою говорить.

Король Ричард

И покороче!
Мне, матушка, нет времени совсем!

Герцогиня

Как ты нетерпелив! Известно Богу,
В какой тоске, в каких смертельных муках,
Как долго я тебя ждала!..

Король Ричард

Но разве
Я наконец не родился и вас
Не успокоил, матушка?

Герцогиня

Крестом
Спасителя клянусь, ты родился
На свет, чтобы его мне адом сделать!
Болезненно и тягостно мне было
Рождение твое; младенцем ты
Капризен был и страшно своенравен;
Дитятей, отроком — лукав, и дик,
И зол, и беспощадно бешен; дерзок,
Свиреп и буен — юношею; только ж
Ты возмужал, в тебе явилась гордость,
Коварство, хитрости и кровожадность.
Ты стал еще опаснее, запрятав
Под маску кротости свой алчный дух!
Припомни мне хотя единый час,
В который ты доставил бы собой
Мне счастие!

Король Ричард

Ей-ей, ни одного
Не вспомню... кроме Гомфреева часа[1],
Когда вас пригласили без меня
Позавтракать!.. Но, впрочем, если я
Противен вам, позвольте мне избавить
Вас от моей особы и от стрел
Моих нападков!.. Бейте барабаны!

Герцогиня

Прошу тебя, дослушай речь мою!..

Король Ричард

Вы говорите чересчур уж едко!

Герцогиня

Одно хоть слово!.. Я в последний раз
С тобой, быть может, говорю.

Король Ричард

Ужели?

Герцогиня

Кто знает, что Господь нам присудил?..
Тебе ль назначено погибнуть прежде,
Чем выйти из сражения с победой,
Иль я умру под бременем годов
И горя — и тебя уж не увижу?!
Так унеси ж с собой мое проклятье,
Тяжелое проклятье!.. И пускай
Оно тебя в минуту роковой,

---

[1] «Humphrey's-hour» происходит от выражения «Humphrey's dinner» — обед над памятником герцога Гомфри. На этот памятник стекалось тогда смотреть множество народа, и некоторые здесь искали приглашения на обед или завтрак.

Последней битвы утомит сильней,
Чем все твое железное оружье!..
Мои мольбы пускай на стороне
Твоих врагов сражаются, а души
Малюток падших да вселяют в них
Бесстрашие и мужество, пророча
Им торжества, успехи и победу!
Ты кровью жил и кровью захлебнешься!
В позоре жил ты и умрешь в позоре!..
(Уходит.)

Королева Елисавета

Я более еще причин имею
Тебя, убийца, проклинать; но слаб
Мой дух, и я скажу один *аминь*
К проклятьям герцогини!..
(Хочет идти.)

Король Ричард

Погодите,
Мне с вами, королева, нужно слово
Замолвить!

Королева Елисавета

Я уж не имею более
Сынов венчанной крови для твоей
Бездушной жажды, дочерей же бедных
Я в монастырь отдам; пускай они
Спасаются от сана королев,
Рыдающих в отчаянье!.. Тебе
Нет нужды в смерти их, могучий Ричард!

Король Ричард

У вас есть дочь — Елисавета, чудо
Невинности, и красоты, и скромной,
Высокой царственности.

Королева Елисавета

Неужель
Она должна за это умереть?
О, пощади ее!.. Я развращу
Ее невинность, я обезображу
Ее красу!.. Послушай! Я готова
Оклеветать сама себя, сознаться
В измене мнимой ложу Эдуарда!
Я на нее наброшу покрывало
Бесчестия! Чтобы ее избавить
От гибели насильственной, скажу,
Что Эдуард ей вовсе не отец!

Король Ричард

Вы обесчестите ее рожденье;
Она — венчанной крови!..

Королева Елисавета

Я ж скажу,
Что это ложь, и сохраню ей жизнь.

Король Ричард

Высокий сан — вернейшая охрана
Ее спокойствия и жизни!

Королева Елисавета

Но
Охрана эта умертвила братьев
Ее!

Король Ричард

Ничуть! Созвездия одни,
Которым их рождение противно
Казалось, виноваты в том!

Королева Елисавета

Нет! люди,
Которых их рожденье тяготило.

Король Ричард

Никто не избежит предначертаний
Судьбы!

Королева Елисавета

Малютки лучшей бы кончины
Дождалися, когда бы жизнь твою
Святая добродетель осенила.

Король Ричард

Вы говорите, точно будто я
Убил племянников моих...

Королева Елисавета

Конечно,
Ты, добрый дядюшка, лишил их счастья,
Родных, свободы, королевства, жизни!..
Чьи руки ни пронзили б их сердец,
Удар твоим неправедным умом
Направлен!.. Нож убийственный — и туп,
И робок был до той поры, пока
Не наточил его ты на своем
Гранитном сердце и пока его
Во внутренность овечек беззащитных
Ты не послал!.. О! если бы привычка
К отчаянью не укрощала злобы,
Язык мой при тебе не произнес бы
Имен детей моих, пока б в глаза
Твои, как зверь, я не впилась когтями,
Железными трезубьями, пока
Сама бы я в щепы не раздробилась

О грудь твою скалистую, как челн,
Лишенный в этой гибельной пучине
И парусов, и мачты, и снастей!

Король Ричард

Дай Бог, чтоб верен был заветный план мой,
Успех войны опасной и кровавой,
Как верно то, что я задумал сделать
Для счастья вашего и ваших!.. Это
Искупит все, чем я обидел вас!

Королева Елисавета

Какая же еще отрада может
Скрываться для меня под сводом неба?

Король Ричард

А возвышенье ваших дочерей?

Королева Елисавета

На эшафот, чтоб обезглавить их?

Король Ричард

Нет! на вершину почестей и счастья,
На высшую ступень величья смертных.

Королева Елисавета

Льсти, льсти моей печали этой сказкой!
Все объясни, каким ты состояньем,
Какой достойной почестью наделишь
Мое дитя?

Король Ричард

Всем, что имею я!
Да! И себя, и все готов отдать
Я вашему дитяти, если в Лете
Души обиженной вы потопить

Решитеся воспоминанья зла,
Которое, по вашим заключеньям,
Я вам накликал!

Королева Елисавета

Говори короче,
Чтоб это краткое расположенье
Не миновалось прежде, чем успеешь
Его ты высказать.

Король Ричард

Так знайте ж, я
От всей души влюбился в вашу дочь!..

Королева Елисавета

Мать дочери от всей души,
Как ты, о том же думает.

Король Ричард

О чем же?

Королева Елисавета

О том, что ты в ее влюбился дочь
От всей души!.. Ведь ты любил и братьев
Ее — от всей души!.. Благодарю
Тебя за это всей моей душою!

Король Ричард

Не объясняйте слов моих неправо.
Я говорю вам ясно, что душевно
Влюблен я в вашу дочь и что желаю
Доставить ей величье королевы!..

Королева Елисавета

Прекрасно, только кто ж при этом будет
Ей королем?

Король Ричард

А тот, кто в королеву
Ее преобразит! И кто же, кроме
Его, миледи?

Королева Елисавета

Как? Так это — ты?..

Король Ричард

Да, я!.. А вы что думаете, леди,
Об этом?

Королева Елисавета

Чем же ты ее склонить
Надеешься на сторону свою?..

Король Ричард

Об этом посоветоваться с вами
И думал я. Вы знаете ее
Получше всех...

Королева Елисавета

И моего совета
Послушаешься ты?

Король Ричард

От всей души!

Королева Елисавета

Пошли же к ней, с тем самым человеком,
Который был убийцею двух братьев
Ее, окровавленные сердца
Несчастных, вырезав на них заране
Два имени заветных: «Эдуард
И Йорк!» Увидев их, она заплачет!
Ты помнишь, как когда-то Маргарита

Измученному твоему отцу
Дала платок, обмоченный в крови
Страдальца Рютланда; и ты такой же
Ей предложи!.. Скажи, что он напитан
Пурпурной влагою, из трупов братьев
Ее истекшею, и попроси,
Чтобы она им осушила слезы!
Когда и это не пробудит в ней
Любви, пошли ей письменный реестр
Твоих достойных дел и расскажи,
Как ты убил ее любимых дядей,
Как Риверс и несчастный Кларенс пали,
И как ты не замедлил, для ее ж
Спокойствия, разделаться и с теткой
Ее, с добрейшею миледи Анной!..

Король Ричард

Вы надо мной смеетесь, королева!
Ужели этим я приобрету
Ее расположенье?..

Королева Елисавета

Что же делать?
Другой дороги нет, когда тебе
Нельзя другим явиться человеком
И вовсе Ричардом не быть, который
Все это сделал!

Король Ричард

Вы скажите ей,
Что делал я все это — из любви,
Из дружбы к ней одной.

Королева Елисавета

О, да! готова!..
Когда она узнает покороче,

Какими жертвами она купила
Твою любовь, она уж не откажет...

Король Ричард

Послушайте! Что сделано, того
Уж не воротишь! Человек порой
Недальновидно действует и после
Жалеет сам об этом... Я лишил
Наследья предков ваших сыновей;
Но, чтоб поправить это, свой венец
Отдать я вашей дочери желаю!..
Я истребил потомство вашей крови
И воскрешу его потомством новым,
Потомством вашей дочери... Святое
Названье бабушки приятно так же,
Как и названье матери... Внучата —
Те ж дети, разница в одном колене!..
Все те ж и кровь, и плоть, и только ночи
Страданий подвергается здесь та,
Из-за которой вы когда-то горе
Переносили!.. Ваши дети были
Мученьем вашей юности; мои —
Вам будут утешением под старость!
Вы потеряли сына-короля...
Но ваша дочь вслед за утратой вашей
Восходит на престол!.. Я не могу
Вам возвратить всего, как ни желал бы
Я этого! А потому примите
Хоть то, что я могу... Несчастный Дорзет,
Ваш сын, печально бродит по чужбине,
Но наш союз немедленно его
Отчизне возвратит, и я возвышу
Его и награжу... А вашу дочь
Назвав своей прекрасною женой,
Король и сына вашего от сердца
И запросто наименует братом...

Вы королевой-матерью опять
Предстанете, и раны наших бедствий
Излечатся двойным богатством счастья!..
О! сколько радостей еще увидим
Мы в будущем! Святые капли слез,
Пролитых вами, возродятся снова,
Но превращенные в алмазы, перлы...
И ценность их, процентами блаженства
Умноженная, возвратится к вам...
Ступайте ж, матушка, ступайте к вашей
Прекрасной дочери и ободрите
Ее застенчивость и робость вашей
Разумной опытностью; слух ее
Вы приготовьте к говору блаженства
И к сладконежной речи жениха...
В пугливом сердце возбудите пламя
Высоких почестей, откройте ей
Все прелести безмолвных наслаждений
Супружества!.. А я с моим мечом
Пойду на этого бунтовщика,
Пигмея Бокингэма!.. На́кажу
Его и возвращусь в триумфе, в лаврах...
Своей жене я передам трофеи...
И будет нам она — венцом победы,
И «цезарь цезаря!» ей имя будет!

Королева Елисавета

Но как же ей я назову того,
Кто хочет быть ее супругом?!.. Братом
Ее отца?.. иль дядей?.. или тем,
Кто умертвил ее несчастных братьев
И дядей?.. Дай ты мне хотя одно
Название, с которым бы тебя
Господь, закон, и честь моя, и эта
Любовь узнали, без того, чтоб ты
Ее душе противным не казался!

Король Ричард

Скажите ей, что мир отчизны нашей
Упрочится от этого союза.

Королева Елисавета

И вечною борьбой она должна
Купить его?

Король Ричард

Скажите ей, что сам
Король ее об этом умоляет.

Королева Елисавета

Но Царь царей согласен ли на то?

Король Ричард

Скажите, что великой королевой
Я сделаю ее.

Королева Елисавета

Чтобы величье,
Как матери, оплакивать?

Король Ричард

Скажите,
Что любить ее и нежить буду
Без умолку!

Королева Елисавета

А долго ль эта вечность
Продлится?

Король Ричард

До поры, угодной небу
И матери природе.

Королева Елисавета

До поры,
Которую ей предназначит ад
И Ричард?

Король Ричард

Объявите ей, что я,
Ее король, рабом ее покорным
Желаю сделаться!..

Королева Елисавета

Поверь: она
Раба твоя, гнушается подобным
Владычеством!..

Король Ричард

Употребите всю
Красноречивость вашу в этом деле!

Королева Елисавета

Прямое и простое предложенье
Скорее принимается!

Король Ричард

Так вы
Ей просто объявите о любви
Моей!

Королева Елисавета

Но предложение бесчестья
Еще ужаснее — в простых словах!..

Король Ричард

Все ваши возраженья слишком ложны
И мелки!

Королева Елисавета

Нет! они уж слишком верны
И глубоки! В сырых могилах дети
Мои лежат и глубоко, и верно!

Король Ричард

Миледи, не касайтесь этой грустной
Струны: все это кончено давно уж!

Королева Елисавета

Нет, я ее касаться вечно буду,
Пока все струны сердца моего
Не лопнут!..

Король Ричард

Если так, клянусь Георгом,
Короной и подвязкою[1] клянусь...

Королева Елисавета

Ты осрамил Георга и подвязку,
Корону ж ты похитил...

Король Ричард

О, клянусь...

Королева Елисавета

Молчи, совсем нет клятвы у тебя!
Ты осрамил угодника святого;
Звезда подвязки помрачилась также.
Похищенная ж силою корона
Лишилась славы царственной своей!..
Когда ты хочешь, чтоб сердечной клятве
Твоей поверили, клянися тем,

---

[1] *Подвязка* — орден.

Чему ты никогда не делал зла!..

Король Ричард

Клянуся этим миром.

Королева Елисавета

Он исполнен
Твоей неправды!

Король Ричард

Смертью моего
Отца.

Королева Елисавета

Ты осрамил ее твоею
Бесчестной жизнию!

Король Ричард

Самим собой!..

Королева Елисавета

Ты опозорил самого себя!..

Король Ричард

Так небом!!!

Королева Елисавета

Перед небом ты скорей
Всего виновен!.. Если б ты боялся
Нарушить клятву, данную ему,
Союз, упроченный моим супругом,
Не нарушался бы, и брат мой жил!..
Когда бы ты боялся изменить
Священной клятве, царственный металл,
Объемлющий теперь твое чело,
Блистал бы на челе моих детей,

И оба принца безмятежно б жили...
Твое коварство не убило б их
И на одном печальном ложе в землю
Не опустило бы на снедь червей!..
Ну, чем же ты еще мне поклянешься?

Король Ричард

Моею будущностью...

Королева Елисавета

Ты в прошедшем
Над нею надругался!.. У меня
Самой довольно слез, чтобы омыть
Грядущие года от всех несчастий,
Которые в прошедшем ты свершил!
Малютки дети, у которых ты
Убил отцов, в печальном сиротстве
Живут, чтобы на старости своей
Оплакать это все! Отцы, которых
Детей зарезал ты, живут страдая,
Как старые, бесплодные растенья,
Чтоб это все на старости оплакать!
Нет, не клянись грядущим! Ты его
Еще до срока исказил в прошедшем!

Король Ричард

Пусть будет столько ж верен мой успех
В войне грядущей, сколько верно то,
Что я желаю счастья вам и каюсь!
Да истреблю я сам себя! Судьба
И небо да лишат меня блаженства!
День — да не даст мне света, ночь — покоя!
И да восстанут все созвездья против
Моих начал, когда я не люблю
Любовью чистою и непорочной,
Святыми помыслами сердца вашей

Прекрасной дочери!.. В ней все мое
И ваше счастье... Без нее — меня,
И вас, и царство наше, и ее,
Несчастную, и много-много верных,
Невинных душ постигнет смерть и гибель,
И разорение, и запустенье!..
Ничто не в силах отвратить и вовсе
Не отвратит всех этих бедствий, кроме
Союза этого!.. И потому
Вы, матушка бесценная, — я должен
Так называть вас, — будьте у нее
Ходатаем любви моей, скажите
Ей не о том, чем был я, но о том,
Чем быть хочу я; не о том, что я
Заслуживаю, но о том скажите,
Что заслужить желал бы я!.. Представьте
Ей нужду этого! Не увлекайтесь
Горячностью в таком высоком деле.

Королева Елисавета

Неужели наветам сатаны
Я уступить должна?

Король Ричард

Да, если он
Советует вам доброе.

Королева Елисавета

И я
Сама себя обязана забыть,
Чтоб только быть собою?..

Король Ричард

Без сомненья,
Когда воспоминание о вас
Самим вам повредить, миледи, может.

Королева Елисавета

Но ты моих детей убил!

Король Ричард

Я их
На лоне вашей дочери прекрасной
Похороню, и вновь на этой почве
Они родятся сами из себя,
На утешенье вам!..

Королева Елисавета

И я должна
Склонить ее на это предложенье?

Король Ричард

Вас это матерью счастливой, леди,
Навеки сделает...

Королева Елисавета

Изволь! Пиши
Ко мне немедленно; я обо всем
Тебя уведомлю!..

Король Ричард

(Целует ее.)

Так передайте ж
Ей этот поцелуй! Прощайте.

Королева Елисавета уходит.

Дура!
Бессильная и ветреная баба!

Входит Ратклиф и за ним Кэтзби.

Что нового?..

Ратклиф

Могучий повелитель!
У западного берега явился
Бесчисленный и сильный флот. На берег
Бегут толпы сомнительных бродяг
Без всякого оружия и вовсе
Не думают отбить врага... По слухам
Народным, этим флотом правит Ричмонд.
Они сложили паруса и ждут,
Что Бокингэм их высадке поможет.

Король Ричард

Скорей посла надежного к Норфольку!
Скачи ты сам иль Кэтзби... Где же Кэтзби?

Кэтзби

Здесь, государь.

Король Ричард

Скорее поезжай
К Норфольку!..

Кэтзби

Я не пощажу, милорд,
Ни лошади, ни самого себя.

Король Ричард

Ты, Ратклиф, в Сальсбери скачи: когда
Приедешь ты туда...
(Кэтзби)
Ну! что же ты,
Бездельник, негодяй ленивый, здесь
Стоишь... и к герцогу не едешь?

Кэтзби

Ваше
Величество еще не объявили,
Что должен я ему сказать...

Король Ричард

Прости,
Мой верный, добрый Кэтзби! Объяви
Ему, чтоб он немедленно сбирал
Какое только может ополченье
И с ним ко мне бы мчался в Сальсбери!

Кэтзби

Лечу!..

(Уходит.)

Ратклиф

Что же в Сальсбери я должен делать,
Милорд?

Король Ричард

Да, в самом деле, что тебе
Там делать без меня?

Ратклиф

Вы тотчас мне
Вперед приказывали ехать.

Король Ричард

Я
Раздумал!..

Входит Стэнли.

Ну, что нового, лорд Стэнли?

Стэнли

Нет ничего хорошего, светлейший
Монарх, чтоб вы с отрадой услыхали,
И ничего печального, о чем бы
Не мог я вашей чести доложить!

Король Ричард

Вот-на! загадки! Ничего дурного
И ничего хорошего?.. Какая
Тебе необходимость столько миль
Скакать околицами, если ты
Ближайшею дорогою нам можешь
Сказать свои таинственные вести?
Что нового, опять я повторяю?

Стэнли

Лорд, Ричмонд на море!

Король Ричард

Пускай он в нем
Утопится, чтобы не он, а море
Над ним ходило! Ренегат бездушный!
И для чего пустился в море он?

Стэнли

Не знаю, но мне кажется, милорд...

Король Ричард

Что ж кажется тебе?..

Стэнли

Что, возбужденный
Мортоном, Дорзетом и Бокингэмом,
Он в Англию пустился за короной...

Король Ричард

Но разве упразднился трон у нас?
Рука, владевшая мечом, иссохла?
Король скончался? В королевстве нет
Властителя? И кто же, кроме нас,
Жив из наследников венчанных Йорка?
И кто законный Англии король,
Как не наследник Йорка?.. Говори же,
Зачем пустился в море он?..

Стэнли

Милорд,
Я виноват — ошибся, и не знаю
Другой причины этому походу.

Король Ричард

Ошибся ты, и уж не знаешь боле
Другой тому причины? Ты не знаешь,
Зачем пришел Валлиец? Стэнли, ты
К нему бежать задумал, ты — изменник!

Стэнли

Нет, государь! напрасно вы меня
Подозреваете в измене!

Король Ричард

Где же
Твои войска, чтоб отразить его?
Ответствуй, где твои друзья, вассалы
На западных, мятежных берегах
Для охраненья высадки врагов?!

Стэнли

Мои друзья на севере, милорд.

Король Ричард

Холодные друзья мне! Что им делать
На севере, когда их государь
На западе нуждается в их силах?

Стэнли

Им не было приказано, великий
Монарх! Но, если вам угодно будет
Пустить меня, я соберу моих
Друзей и вашей чести их представлю,
Когда и где прикажете вы мне!..

Король Ричард

Ты с Ричмондом соединиться хочешь?
Нет, я тебе не доверяю...

Стэнли

Светлый
Монарх, вы не имеете причины
Подозревать меня! Я никогда
Изменником вам не был и не буду!..

Король Ричард

Пусть так! Иди ж и собирай войска!
Но сын твой, Стэнли, здесь остаться должен.
Будь тверд и верен мне, когда не хочешь,
Чтоб голова его слетела с плеч!

Стэнли

Вы с ним, милорд, по верности моей
Поступите...

(Уходит.)

Входит гонец.

Гонец

Светлейший государь,
Я получил известье от моих
Друзей, что Кортни и его надменный брат,
Владетель Экстерский, с толпой других
Мятежников оружье в Девоншире
Внезапно подняли!..

Входит другой гонец.

2-й гонец

Монарх великий,
Герфорды в Кенте подняли оружье!..
И с каждым часом к ним бегут другие
Изменники, и силы их растут!

Входит третий гонец.

3-й гонец

Милорд, поутру войско Бокингэма...

Король Ричард

Прочь! с глаз долой, зловещая сова!
Все песни смерти!
(Бьет его.)
Вот тебе на память
До лучшей вести!

3-й гонец

Я хотел, милорд,
Вам донести, что войско Бокингэма
Рассеяно разливом вод от сильных
Дождей, поутру выпавших нежданно!..
И что, покинутый, он убежал
Один неведомо куда...

Король Ричард

Прости!..
Вот кошелек тебе мой...
(Бросает ему кошелек.)
Залечи
Мои удары им! А что, ты слышал,
За голову изменника награду
Мои друзья назначили?

3-й гонец

Милорд,
Она давно объявлена!

Входит четвертый гонец.

4-й гонец

Светлейший
Монарх, сэр Томас Ловель и маркиз
Лорд Дорзет, говорят, знамена бунта
В Йоркшире подняли! Но вот другое
Известие, оно вас успокоит:
Бретаньский флот рассеян бурей! Ричмонд
На дорзетширский берег выслал шлюпку,
Чтоб разузнать, его ли ждут отряды,
Которые стояли там?.. Ему
Ответили, что Бокингэмом в помощь
Они к нему отправлены! Но он
Им не поверил, поднял паруса
И повернул назад, в свою Бретань.

Король Ричард

Вперед, вперед! Теперь уж мы готовы,
Когда не для сраженья с иноземным
Врагом, хоть для того, чтоб усмирить
Бунтовщиков домашних!..

Входит Кэтзби.

Кэтзби

Государь,
Мятежный Бокингэм под стражу взят...
И это — весть хорошая! Но вы
Должны узнать и весть дурную... Ричмонд
Явился с многочисленной толпой
В Мильфорде!..

Король Ричард

В Сальсбери! Вперед! Пока
Мы здесь болтали с вами, можно б было
Сраженье выиграть иль проиграть!
Один из вас проводит Бокингэма,
А прочие за мною!.. В Сальсбери!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Комната в доме лорда Стэнли.

Входят Стэнли и сэр Христофор Орзвик, капеллан графини Ричмонд, жены Стэнли.

Стэнли

Сэр Христофор, скажите от меня
Милорду Ричмонду, что сын мой заперт
В хлеве известного вам кабана.
Едва восстану я, мой юный сын
Лишится головы! И это только
Мешает мне соединиться с ним!
Скажите, где ж теперь достойный Ричмонд?

Христофор

Близ Пемброка или у Гарфорд-веста,
В Валлийсии.

Стэнли

Кто ж при нем из лиц известных?

Христофор

Воинственный сэр Вальтер Гэрберт, сэр
Джильберт Тэльбот, сэр Вильям Стэнли, Оксфорд,
Могучий Пемброк, Блент и Рич-ап-Томас
С толпою храбрых воинов, а с ними
И прочие сподвижники!.. Они
Пойдут на Лондон прямо, если им
Не преградят дороги нападеньем.

Стэнли

Прекрасно! Так идите же к милорду
И передайте мой ему привет!
Уведомьте его, что королева
Согласна дочь свою Елисавету
Отдать ему в супруги!.. Эти письма
Подробно все ему передадут.
(Вручает ему бумаги.)
Итак, милорд, прощайте, до свиданья!..

(Уходят.)

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Сальсбери. Площадь.

Входят Шериф со стражей, ведущей на казнь Бокингэма.

Бокингэм

Так Ричард не желает говорить
Со мной?

Шериф

Да, добрый герцог, покоритесь
Судьбе своей.

Бокингэм

Несчастный Гэстингс, Грей,
Король благочестивый мой и все,
Погибшие от гнусной и коварной
Несправедливости, внимайте мне!
И если ваши пламенные души,
Негодованья полные и гнева,
Увидят с облаков лазурных то,
Что делается здесь, вы отмщены!..
Порадуйтеся гибели моей.
Друзья, сегодня день поминовенья
Усопших?

Шериф

Точно так, светлейший лорд.

Бокингэм

И день поминовения усопших
Мне будет днем позорной казни?.. Этот
Священный день, при жизни Эдуарда,
Я призывал на голову мою,
Когда б я изменил родным его
Жены или его несчастным детям...
Я в этот самый день желал погибнуть
От вероломной зависти того,
Кому б доверился я больше всех!..
И этот, этот самый день кончает
Все помыслы греховные моей
Испуганной души! Господь Всевидец,
Которого я обмануть пытался,
На голову мою же обратил
Мои мольбы притворные и клятвы...
Он даровал мне в самом деле то,
Чего просил я в шутку! Стрелы грешных
На их же груди направляет Он!
Всей тяжестью проклятье Маргариты
Обрушилось на голову мою.
«Припомни это в день, когда печально
Изранит сердце он твое, — она
Мне восклицала, — и скажи от сердца
Тогда: пророчицею Маргарита
Несчастная была!»... Друзья! вперед!..
Ведите грешника к позорной плахе!..
Неправде, злу — и наказанье злое!

(Его уводят.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Равнина близ Тэмворза.

Входят с барабанным боем и с распущенными знаменами Ричмонд, Блент, Гэрберт и другие с войском.

Ричмонд

Товарищи и братья по оружью!
Мы с вами беспрепятственно прошли
В средину самую родного царства;
И вот от Стэнли, тестя моего,
Я получил отраднейшие письма,
Которыми он ободряет нас!
Свирепый, хищный, кровожадный вепрь,
Опустошающий поля и ваши
Сады, зверь дикий, вашей теплой кровью
Весь век свой упивавшийся, теперь,
Как уверяют нас, лежит в средине
Британии, близ Лестера. Отсюда
До Лестера один лишь день пути...
Во имя Бога, храбрые друзья,
Вперед!.. Пожнем одной кровавой пыткой
Теперь мы жатву вечного покоя!..

Оксфорд

Лорд, совесть каждого из нас — фаланга
Бесчисленных мечей. Мы отразим,
Мы победим бездушного злодея.

Гэрберт

Его друзья под наши знамена
Сбегутся...

Блент

Все друзья его — друзья

Ему из страха одного; при первом
Удобном случае они его
Покинут.

Ричмонд

Тем отраднее для нас!
Итак, друзья, вперед — во имя Бога!..
Надежда верная — быстрее мысли,
Она летит на ласточкиных крыльях!
Владыки с ней — подобье божества,
А бедные страдальцы — с ней владыки!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Босвортское поле.

Входят король Ричард с войском, герцог Норфольк, граф Серри и другие.

Король Ричард

Здесь, на Босвортском поле этом, нынче
Мы разобьем палатки! Что так мрачны
Вы, светлый Серри?..

Серри

На сердце моем,
По крайней мере, в десять раз светлее
Моей наружности.

Король Ричард

Лорд Норфольк!

Норфольк

Здесь,
Мой повелитель!

Король Ричард

Добрый Норфольк, нам
Не миновать ударов! Вы какого
Об этом мнения?

Норфольк

Довольно будет
Всего на их и нашу долю!

Король Ричард

Здесь
Разбить мою палатку. Эту ночь
Я проведу в Босвортском поле. Где-то
Придется завтра быть?..

Солдаты разбивают королевскую палатку.

Э! Все равно!
Кто разузнал, как многочислен враг?

Норфольк

В его рядах не более шести
Или семи вооруженных тысяч!..

Король Ричард

Так мы сильней его едва ль не втрое!
Притом одно уж имя короля —
Бойница, башня силы, а у них
Его-то именно и нет! Готовьте ж
Палатку нам! А вы со мной, милорды,
Идите. Мы исследуем для битвы
Получше местность и возьмем с собой
Искусных в этом деле. Поскорее ж!
Откладывать нам нечего, затем,
Что завтра всем и без того довольно
Отыщется работы и трудов...

(Уходит со своей свитой.)

На другом конце поля показываются Ричмонд, сэр Вильям Брандон, Оксфорд и другие лорды. Несколько солдат разбивают палатку Ричмонда.

Ричмонд

Усталое, таинственное солнце
В тумане золотистом потонуло...
И след его блестящей колесницы
Нам предвещает радостное утро.
Сэр Вильям Брандон, вам я поручаю
Штандарт мой. Принесите мне в палатку
Бумаги и чернил. Я начерчу
План битвы завтрашней и всем назначу,
Кому какое место занимать;
Придумаю, как лучше б разместить
Наш маленький отряд. Лорд Оксфорд, вы,
Сэр Вильям Брандон, и сэр Вальтер Гэрберт
Останетесь со мною! Граф же Пемброк
Пойдет к своим солдатам. Светлый Блент,
Вы пожелайте доброй ночи лорду
И передайте от меня ему,
Что в два часа утра, в моей палатке,
Его желаю видеть я... Теперь,
Мой добрый капитан, другая просьба:
Известно ль вам, где Стэнли?

Блент

Если я
Чужих полков не принял за его
Полки, чего не думаю я вовсе,
Так он находится, по крайней мере,
С полмили к югу от могучих полчищ
Монарха своего...

Ричмонд

Любезный Блент,
Найдите средство повидаться с ним —

Едва возможно это без особой
Опасности — и передайте лорду
Вот эту важную бумагу!..
(Передает ему бумагу.)

Блент

Пусть
Лишуся жизни я, а передам!
Покойной ночи, лорд!..
(Уходит.)

Ричмонд

Покойной ночи,
Бесценный капитан! Пойдемте ж, лорды,
Подумаем о завтрашних трудах
В моей палатке!.. Я совсем озяб!..
(Уходят в палатку.)

В палатку Ричарда входят он сам, Норфольк, Ратклиф и Кэтзби.

Король Ричард

Который час?

Кэтзби

Час ужина, милорд:
Девятый...

Король Ричард

Есть я не хочу! Подайте
Мне поскорей бумаги и чернил.
Исправили ль мой шлем и легче ль стал он?
Внесли ль мое оружие в палатку?..

Кэтзби

Все внесено и все готово, лорд.

Король Ричард

Любезный Норфольк, ты иди на место,
Тебе назначенное. Не зевай
И выбери надежных часовых.

Норфольк

Иду, милорд.

Король Ричард

Пораньше, на заре,
Проснися с ласточками, добрый Норфольк.

Норфольк

Бог да хранит вас, мой властитель!
(Уходит.)

Король Ричард

Ратклиф!

Ратклиф

Милорд!

Король Ричард

Пошли гонца скорее к Стэнли,
Вели сказать ему, чтоб он явился
С своим отрядом до восхода солнца,
Когда не хочет, чтоб единый сын
Его сокрылся в бездну вечной ночи!
(Кэтзби)
Дай мне вина да принеси ночник.
А к утру, к битве, оседлать мне Серри[1].
Да чтоб древки моих заветных копий
Нетяжелы и крепки были! Ратклиф!

---

[1] *Surrey* — имя Ричардова *исторического коня.*

Ратклиф

Милорд!

Король Ричард

Угрюмого Нортумберлэнда
Ты видел нынче?

Ратклиф

Около зари
Вечерней видел я, как он, а с ним
И Томас Серри, обходил ряды
Всей армии, одушевляя храбрых
Солдат.

Король Ричард

Я им доволен! Дай мне кубок
Вина. Не знаю почему, но только
Я нынче как-то вял и несвободен
Душой... Поставь его... А где ж бумага
И перья?..

Ратклиф

Здесь, милорд.

Король Ричард

Вели же страже,
Моей не спать. Теперь оставь меня.
Часу в двенадцатом опять в палатку
Мою приди: ты мне тогда поможешь
Надеть оружие. Иди же с Богом.

Ратклиф и Кэтзби уходят.

Палатка Ричарда закрывается. Палатка Ричмонда открывается, и в ней видны он и другие лорды. Входит Стэнли.

Стэнли

Победа и покой да увенчают
Твой шлем!

Ричмонд

Все доброе, что принесет
Нам эта ночь, — тебе, мой благородный
Отец! Скажи, здорова ли моя
Старушка мать?

Стэнли

Она мне поручила
Тебя благословить; ее моленья
И день, и ночь на небо за тебя
Несутся... Но оставим это... Время
Безмолвное летит, и неприметно
Уже редеет пасмурный восток.
Итак, чем кратче и скорей, тем лучше:
Веди войска, едва забрезжит день,
И пусть судьбу твою решает воля
Оружия и смертоносной битвы.
Я ж, если только будет можно мне
(Затем, что так, как я желаю, вряд ли
Возможно будет), постараюсь всем
Воспользоваться и к тебе на помощь
Явлюся в миг решительного боя!..
Я не могу спешить с таким решеньем:
Стань я до времени в твои ряды,
И брата твоего казнят в глазах
Отца!.. Прощай же! Общая опасность
И краткость времени не позволяют
Нам высказать священных наших чувств,
Мешают нашей сладостной беседе
И отравляют счастие свиданья
Друзей, томившихся в разлуке мрачной.

Да ниспошлет Господь нам наконец
Досуг для светлых излияний дружбы!..
Еще — прощай, мой сын! Будь храбр и счастлив.

Ричмонд

Милорды, потрудитесь проводить
Его... А я немного отдохну
И успокою легкою дремотой
Встревоженные мысли, чтоб назавтра,
Когда придется мне летать на крыльях
Победы, сон меня не подавил
Своей свинцовой тяжестью!.. Милорды,
Еще желаю вам спокойной ночи!

Лорды уходят вместе со Стэнли.

О! Господи! Как полководец Твой,
Молю Тебя, взгляни могучим оком
На воинство мое... Вложи в его
Десницу острое железо гнева,
Чтобы под тяжестью его ударов
Распались шлемы хищников-врагов!..
Дай нам свершить Твою святую кару,
Прославить на земле Твою победу!..
Тебе я поручаю бодрый дух мой,
Пока мои ресницы не сомкнулись...
Своим покровом осени меня —
И спящего, и в битве роковой!..
(Засыпает.)

В середине, между открытых палаток Ричарда и Ричмонда, является тень принца Эдуарда, сына Генриха VI.

Тень Эдуарда

(Ричарду)

Тяжелым гнетом на душу твою
Налягу завтра я! Припомни, ты

При Тьюксбери меня зарезал в цвете
Моей весны! Отчайся ж и умри!
(Ричмонду)
Мужайся, Ричмонд! Души гневных принцев,
Убитых, явятся тебе на помощь!
Тебя, достойный Ричмонд, ободряет
Сын Генриха, покойного монарха!

Является тень Генриха VI

Тень Генриха

(Ричарду)
Когда я был в числе печальных смертных,
Ты истерзал помазанное тело
Мое смертельными мечами! Вспомни
Ужасный Тауэр! Вспомни короля!
Отчайся и умри! Покойный Генрих
Перед тобой; отчайся и умри!
(Ричмонду)
Ты ж, добродетельный и кроткий, встань
И побеждай! Король, тебе корону
Предсказывавший, говорит во сне
С тобой теперь: живи и процветай!

Является тень Кларенса.

Тень Кларенса

(Ричарду)
Тяжелым гнетом на душу твою
Наляжет поутру несчастный Кларенс,
Замытый досмерти твоим вином
Противным, низостью твоей убитый!..[1]
В час битвы, завтра, вспомнишь ты его,
И меч иступленный покинет руку...

[1] Здесь намекается на смерть Кларенса, утонувшего в бочке вина мальвазии.

Отчайся и умри!

(Ричмонду)

А за тебя,
Ланкастерова отрасль, молят души
Убитого потомства Йорка! Небо
И ангелы да поведут к победе
Твои ряды! Живи и процветай!

Являются тени Риверса, Грея и Вогэна.

Тень Риверса

(Ричарду)

Тяжелым гнетом на душу твою,
Близ Помфрета убитый Риверс ляжет...
Страдай, не спи! Отчайся и умри!

Тень Грея

(Ричарду)

Припомни Грея, и твой алчный дух
Отчаянье пугливое задушит!..

Тень Вогэна

(Ричарду)

Вогэна вспомни и покинь от страха
Свое копье! Отчайся и умри!

Все три тени вместе

(Ричмонду)

Вставай! проснись! Сознанье нашей смерти
Уже впилось в Ричардову грудь...
Внимай и пробуждайся для победы!

Является тень Гэстингса.

Тень Гэстингса

(Ричарду)

Кровавый и преступный, преступленья
Исполненный, просыпайся! Бой

Кровавый да окончит жизнь твою...
Припомни Гэстингса, умри, отчайся!
(Ричмонду)
Ты ж, безмятежная душа, вставай,
Вооружись, кидайся в бой могучий
И побеждай для благ твоей отчизны!

Являются тени двух молодых сыновей короля Эдуарда.

Тени

(Ричарду)
Малюток, в Тауэре тобой убитых,
Припомни в сновиденье, Ричард! В грудь
Твою заляжем мы свинцом тяжелым,
На твой позор, тоску и гибель! Души
Племянников взывают пред тобой:
Отчайся и умри, коварный Ричард!
(Ричмонду)
Ты ж, Ричмонд, спи спокойно! Ты проснешься
Для радостей! И ангелы святые
Тебя от вепря охранят!.. Живи —
И длинный ряд царей твое потомство
Украсит славою великих действий!
Несчастные малютки Эдуарда
К тебе взывают: царствуй и живи!

Является тень королевы Анны.

Тень Анны

(Ричарду)
Твоя жена, бездушный Ричард, Анна
Несчастная твоя, на грешном ложе
Не знавшая с тобой покоя, сон твой
Теперь тревожит... Завтра, в миг сраженья,
Припомни обо мне и урони
Иступленный свой меч... Умри, отчайся!
(Ричмонду)

Ты ж, мирная душа, спокойно спи,
Пусть грезится тебе успех, победа...
Жена врага тебе желает счастья!

Является тень Бокингэма.

Тень Бокингэма

(Ричарду)

Я первый помогал тебе добыть
Корону и последний умерщвлен
Твоим злодейством! Но, в кровавой сече,
Ты вспомнишь Бокингэма и умрешь
От ужаса свершенных преступлений!
Спи, спи! пусть смерть и кровь тебе приснятся...
Измученный, отчаяньем терзайся
И под ярмом отчаянья задохнись!..

(Ричмонду)

Меня сразила смерть, я не успел
Тебе помочь; но ободрися, Ричмонд,
И веселись душой! Господь и лики
Его архангелов на стороне
Твоей сразятся, а надменный Ричард
Падет, падет в пылу своей гордыни!

Тени исчезают. Ричард пробуждается в ужасе.

Король Ричард

Коня другого мне!.. Перевяжите
Мне раны!.. Господи, умилосердись!..
Что ж это? Небо!.. Это только сон!
О, трус негодный, совесть, как ты мучишь
Меня?! Ночник трепещет синим светом...
Теперь глухая полночь... Капли пота
Бегут с испуганного тела... Странно!
Чего боюся я? Себя? Здесь нет
Лица живого, кроме самого
Меня... А Ричард Ричарда так любит!

Все я, все тот же я! Здесь нет убийцы!
Как нет? А я?.. Беги же поскорей!..
От самого себя? Какая нужда?
Чтоб я не отомстил!.. Кому? Еще бы!..
А самому себе?.. Нет, я люблю
Себя. За что ж себя ты любишь? Верно,
За что-нибудь хорошее, что я
Доставил самому себе? О! нет!
Нет, я себя скорее ненавижу
За преступления мои! Злодей ты!
Нет, врешь! я вовсе не злодей!.. Глупец,
Ты самого себя чернить не смеешь!
Глупец! не льсти себе! Мое сознанье
Владеет тысячами языков...
У каждого из них есть обвиненье,
И каждое из этих обвинений
Клеймит меня злодеем и убийцей!..
Да! Я клятвопреступник, страшный изверг!
Убийца я, безжалостный убийца,
И в высочайшей степени убийца!
Злодейства безобразные, грехи,
Свершенные в бесчисленных оттенках
Моей рукой, толпятся перед троном
Судьи небесного и восклицают:
«Виновен ты! виновен!» Как же мне
Не потеряться?.. Нет созданья в мире,
Которое бы Ричарда любило!
Погибну я, и ни одна душа
Не станет обо мне жалеть и плакать.
Да и к чему жалеть им, если сам я
Себя нимало не жалею? Мне
Пригрезилось, что души всех убитых
Моим старанием к моей палатке
Слеталися и каждая отмщенье
На голову убийце призывала!..

Входит Ратклиф.

Ратклиф

Милорд!

Король Ричард

Кто тут?!

Ратклиф

Я, Ратклиф! Ранний сельский
Петух уже два раза прокричал,
Приветствуя зарю, и все друзья
Монарха нашего вооружились...

Король Ричард

О! Ратклиф! я ужасный видел сон.
Как полагаешь ты, друзья мои
Нам не изменят?

Ратклиф

Без сомненья, нет,
Милорд!

Король Ричард

О! Ратклиф! Я боюсь, боюсь...

Ратклиф

Возможно ль призраков бояться, ваше
Величество?

Король Ричард

Клянуся Павлом, в эту
Глухую полночь тени мертвецов
Так ужаснули Ричардову душу,
Как не удастся ужаснуть ее
И десяти полкам живых солдат,
Закованных в железо, предводимых

Надменным Ричмондом!.. Еще пока
Не рассвело. Пойдем со мною, Ратклиф.
(Уходит с Ратклифом.)

В палатку Ричмонда входят Оксфорд и другие лорды

Лорды

Приятного утра, лорд Ричмонд.

Ричмонд

(Просыпаясь)

Лорды

И джентльмены, извините! Я,
Лентяй, сегодня заспался совсем...

Лорды

Как почивали вы, милорд?

Ричмонд

Чудесно!
Прекраснейшие сны, какие только
Когда-нибудь в усталой голове
Являлись, с той поры, как вы ушли,
Меня не покидали! Мне казалось,
Что души Ричардовых бедных жертв
Слеталися к моей палатке, громко
Взывая: встань и побеждай! Клянусь,
Моя душа наполнена восторгом!..
Который час теперь, милорды?

Лорды

Скоро
Четыре.

Ричмонд

Так пора вооружаться
И строить наши храбрые ряды.
(Подходит к войску.)

Друзья и земляки! Распространяться
О том, что я уже поведал вам,
Не позволяют мне ни время наше,
Ни наши нужды, помните одно:
Господь сражается за наше дело,
И теплые молитвы райских душ
Окопами пред нашими рядами
Стоят! Сердца озлобленных врагов,
За исключеньем Ричарда, желают
Победы нам, а не вождю дружин
Своих!.. И в самом деле, джентльмены,
Кто предводитель их?.. Тиран, убийца,
Возвысившийся кровью и на трон
В крови взошедший!.. Не щадил он средств
Для достиженья цели и губил
То самое, что подавало средства
Его трудам!.. Простой, фальшивый камень,
Сверкающий алмазом потому,
Что вместо фольги у него — корона
Британии, похищенная им!..
Он — враг небес, и если вы пойдете
На Божьего врага, Господь укроет
И защитит поборников своих!
Устанете, свергая супостата,
Заснете мирно, победив его...
Сразитеся с врагом отчизны вашей —
И благо земляков вознаградит
Вас за труды. Восстаньте на защиту
Несчастных жен, и жены встретят вас,
Как победителей, в триумфе мирном!..
Избавьте от меча детей-малюток,
И ваши дети, и родные внуки
Вознаградят вас в старости за это!..
Итак, во имя Бога и святых
Его законов, распускайте ваши
Победные знамена, наголо

Ретивые мечи!.. Когда, друзья,
Неправо дело наше, пусть мой труп
Холодный на холодную равнину
Падет наградою моих желаний!
Когда ж удастся мне, успех победы
Я разделю с последним из моих
Сподвижников!.. Гремите ж, барабаны,
И потрясайте воздух сонный, трубы,
Веселием и храбростью!.. Святой
Георгий! Небо! Ричмонд и победа!

(Уходят.)

Король Ричард

Что говорит о Ричмонде суровый
Нортумберлэнд?

Ратклиф

Что он прямой невежда
В военном деле.

Король Ричард

Это правда. Что же
Ему сказал на это Серри?

Ратклиф

Он
Сказал с улыбкою: «Тем лучше, лорд,
Для нас!»

Король Ричард

И это правда! Без сомненья!

Бьют часы.

Сочтите-ка часы да календарь
Подайте мне. Кто видел нынче солнце?

Ратклиф

Я не видал...

Король Ричард

Так, значит, нам оно
Светить не хочет нынче!.. В этой книге
Написано, что целый час уже
Оно должно блестеть на горизонте;
Кому-то нынче будет черный день!..
Лорд Ратклиф!..

Ратклиф

Государь!

Король Ричард

Сегодня солнце
Совсем не хочет показаться... Мрачно
Нависло небо гневное над нашим
Отрядом. Мне хотелось бы, чтоб эта
Слезливая роса исчезла с поля...
Не рассветает!.. Впрочем, что ж такое?
Не я один, и Ричмонд погрустит!
Нахмуренное надо мною небо
И над его померкло головой!..

Входит Норфольк.

Норфольк

К оружию, к оружию, король!..
Враги уже несутся по равнине...

Король Ричард

Скорей — тревогу!.. Мне коня взнуздать!
Сказать милорду Стэнли, чтоб придвинул
Он свой отряд! Я в поле поведу
Войска и так устрою план сраженья:
Передовые линии, из равных

Частей пехоты и отрядов конных,
Под предводительством милорда Серри
И Норфолька, растянутся фалангой.
Стрелки займут средину. Между тем,
Я с главной силой выступлю за ними,
И сильный центр пехоты окрылится
Блестящей конницей! Святой Георгий
И это все — помогут нам! Как ты
Об этом думаешь, достойный Норфольк?

Норфольк

Прекрасное распоряженье, храбрый
Король... Но вот что я нашел зарей
Сегодня около моей палатки.
(Подает ему свиток.)

Король Ричард

(Читает.)

«Джон Норфольк, дружище, смотри, не храбрись!
Твой Дикон[1] уж предан и продан, очнись!..»
Все это выдумки врагов презренных!..
Вперед же, джентльмены! По местам!
Не позволяйте говорливым грезам
Тревожить воли... Смело же вперед
И прямо в схватку, на смертельный бой!..
Что вам сказать еще? Вы не забудьте,
С кем вы ведете бой!.. С толпой бродяг,
Бездельников, воров и беглецов,
С презренной накипью Бретани, с гнусной
Толпой рабов, которых бедный край
Извергнул из себя искать по свету
Достойной гибели и приключений!
Вы спали мирно, но они явились

Дикон — старинное фамильярное искажение имени Ричарда.

Лишить вас сна! У вас есть земли, вы
Имеете прекрасных жен, и вот
Им хочется лишить вас блага первых
И честь последних опозорить!.. Кто
Ведет их полчища? Дрянной мальчишка,
Откормленный в Бретани нашим хлебом...
Молокосос, которого нога
Всю жизнь его не уходила в снег
За щиколотку, выше башмака!..
Отбросим эту сволочь снова в море...
Очистим родину от беглецов
Французских, этих жадных попрошаек,
Которым жизнь давно уж надоела...
Не соблазняй коварный их успех —
Давно бы уж повесилися крысы
От недостатка средств к существованью!
Уж если пасть и быть побеждену,
Пускай, друзья, нас побеждают мужи,
А не гнилые выродки Бретани,
Которых наши деды, в их же бедной
Стране, так знатно колотили, били
И, в завершенье радостного дела,
Еще таким потомством наградили!..
Ужели эта сволочь завладеет
Землями нашими, ужель отнимет
Она у нас супруг и дочерей?..

Вдали раздается глухой барабанный бой.

А!.. Слышите, милорды?.. Барабаны!
Их барабаны! Джентльмены, в битву!
Вперед, вперед, бесстрашные драбанты!..
Стрелки, прицеливайтесь прямо в лоб!
Пришпоривайте ваших скакунов...
В крови купайтеся и ужасните
Небесный свод обломками мечей!

Входит **гонец**.

Что ж Стэнли? Где его отряд могучий?

Гонец

Милорд... Он отказался вам служить!..

Король Ричард

Долой же голову родному сыну
Его! Долой немедленно!

Норфольк

Милорд,
Враг перешел уже болота наши...
Отсрочьте казнь до окончанья битвы!

Король Ричард

О!.. Тысяча сердец теперь трепещет
В моей груди! Знамена — на врага —
Вперед! Наш старый, громоносный возглас:
«Святой Георгий!» — да вдохнет в сердца
Моих друзей огонь драконов лютых...
Вперед, и да венчает нас победа!

(Уходят.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Другая часть поля. Смятение. Шум битвы. Стычки.

Входят с одной стороны Норфольк с войском, с другой — Кэтзби.

Кэтзби

Спасайтеся, лорд Норфольк! Поскорей
Бегите!.. Ричард чудеса творит!
Кидается в опаснейшие схватки...

Под ним убили лошадь, он один
Дерется, пеший... И в объятьях смерти
Повсюду ищет Ричмонда! Спешите,
Милорд, иль этот день навек потерян!..

Смятение. Вбегает король Ричард.

Король Ричард

Коня! Коня! Все царство за коня!

Кэтзби

Бегите, государь! Я тотчас вам
Добуду лошадь...

Король Ричард

Раб! Я жизнь мою
Поставил на игру судьбы — и смело
Взгляну в глаза неумолимой смерти!
В сражении — шесть Ричмондов, наверно!
Я пятерых убил, а он все жив!
Коня! Коня! Все царство за коня!

(Уходит.)

Шум битвы. Король Ричард и Ричмонд входят и уходят, сражаясь друг с другом. Отступление. Трубы.
Возвращаются Ричмонд, Стэнли с короной, многие другие лорды и войско.

Ричмонд

Хвала Творцу и вашему оружью,
Победоносные мои друзья!..
День — ваш!..

Стэнли

Достойный Ричмонд, ты раскрыл
Нам доблести души твоей! Внимай!
Вот тот венец, которым долго так

Владели хищники... Я снял его
С безжизненной, кровавой головы,
Чтобы твое чело украсить им...
Носи ж его! Владей им по закону
И возвышай его твоею славой!

Ричмонд

Великий Бог да скажет нам на это:
«Аминь!» Скажите, жив ли верный сын
Милорда Стэнли?

Стэнли

Жив, но он теперь
Покуда в Лестере... Когда угодно
Вам, лорд, и мы отправимся туда!..

Ричмонд

Кто из людей известных пал в сраженье
У нас и у врагов?..

Стэнли

Лорд Вальтер Феррерс,
Сэр Роберт Бракенбери, Вильям Брандон
И герцог Норфольк!..

Ричмонд

Схоронить тела их
Со всею почестью, приличной сану
И их рожденью! Объявить прощенье
Всем воинам бежавшим, если только
Они опять с повинной головой
Вернутся к нам! Теперь соединим,
Как клятвенно и причастившись тайн
Святых мы вам уж обещали, вместе —
И *белую*, и *пурпурную* розу!
Да улыбнутся небеса на их

Союз; так долго хмурились они
На их вражду! И кто, услышав это,
Не скажет нам: «аминь», того я прямо
Изменником бездушным назову!
Да, долго Англия сама себя
Терзала и неистово бесилась!..
В безумном ослепленье брат на брата
Вставал и проливал родную кровь...
Отец тиранил сына, сын мятежный
Шел в палачи родимого отца...
Да прекратятся же раздоры Иорка
С Ланкастером — в святом соединенье
Елисаветы с Ричмондом, законных
Наследников венчанного семейства!
Соедини их, Боже милосердый!
И пусть потомство их — когда потомство
Ты им пошлешь — грядущие века
Обилием, отрадою, весельем
И благодатным миром увенчает!
Владыко всемогущий! Преломя
Оружие измены, если ей
Захочется былое возвратить
И затопить потоком слез и крови
Родную Англию, отчизну нашу!..
Владыко праведный, не дай злодеям,
Которые задумают нарушить
Священный мир, вкусить отраду мира!
Все обновится!.. Раны наших смут
Закроются незримо, заживут!..
И Царь небес на наш святой восход
Спасительный «аминь» произнесет!..

Занавес опускается.

Из путевых заметок

I

ХУТОРОК БЛИЗ ДИКАНЬКИ

(РОДИНА Н. В. ГОГОЛЯ)

Покинув придонецкие равнины, я отправился в Миргород. Не доезжая до Коломака, я свернул вправо, по пути к месту, манившему мое воображение еще с ранних лет моего детства. «Когда кто из вас будет в наших краях, — писал веселый *пасечник*, издавая в свет свои *Вечера на хуторе близ Диканьки*, — то заверните ко мне: я вас напою удивительным грушевым квасом!..» Это наивное приглашение очень меня заняло, но исполнить его я не мог. Во время выхода в свет «Вечеров» у меня был один только конь — липовая ветка, на которой я галопировал по саду, и отлучался я тогда из родительского дома не далее ветряной мельницы, скрип тяжелых крыльев которой слышался в моей детской комнате... И грустно мне было, что не могу я поехать к доброму пасечнику, который своими рассказами пленял и, вместе, пугал меня не менее своих внуков. И был я в полной уверенности, что существует на свете хутор, где, при дрожащем свете каганца, старый дедушка сидит по длинным зимним вечерам и сказывает, не умолкая, свои пленительные, чудные повести. Передо мною ясно совершалась история «красной свитки» в «Сорочинской ярмарке», проходила тихая и задумчивая утопленница «Майской ночи» и восставала на далеких Карпатских горах фигура ледяного всадника в «Страшной мести»... И вот теперь, через много лет, когда мы уже оплакали Рудого Панька, когда уже нет его на свете и опустел без него его родимый хутор, я ехал в этот хутор...

Дорога из Колонтая, через Опошню, идет роскошными Кочубеевскими степями. Степи еще не видели в это лето косы и пышно расстилали ковры своих цветов. Цветы качались тихо на стебельках и струили благоухания... Был полдень, и голова кружилась от их опьяняющего курева...

Лошади шли почти шагом, срывая на ходу головки белой кашки и махровых султанчиков. Из тележки, почти не нагибаясь, я нарвал букет зинзивера, смолки и шевлии: так высока была украинская трава! Солнце было подернуто белым, тусклым паром, но это не мешало богатой зелени гореть своими яркими нарядами. Под влиянием воспоминания о картинах степной природы в «Тарасе Бульбе» я смотрел на окрестность. Роскошные кусты репейника, с пышными, алыми, как мак, головками, стояли густыми кучами, будто косари в пунцовых шапках, держа в руках свои колючие косы. Целая поляна дикой пшеницы просвечивала на солнце тонкими, шелковистыми стеблями, нагнувшими к земле свои золотые колосья. У самой дороги, на поляне, убранной серебряною тканью ковыля, на сочных четырехугольных стволах, поднимались из земли странные, фантастические травы. Ленивая дрофа, с полузажмуренными глазами, пробираясь сквозь их высокие стволы, шагала на красных лапках почти у самой телеги. И целый мир кузнечиков трепетал в воздухе, падал, опять поднимался и летел то алыми, то голубыми, то бирюзовыми ракетами над чудною картиною нескошенного луга; то была фантастическая, причудливая, невероятная картина, род празднества, род пышного, торжественного сборища всевозможных степных цветов и трав. Самое скромное и неприхотливое воображение при виде этого мира и этой жизни родило бы целый ряд прелестных образов. Алые, фиолетовые, белые, как пена, махровые, стрельчатые, длинные, широкие — словом, всевозможные цветы устилали луг... Он мне казался раутом сказочного дворца, и в тонких очертаниях трав, сквозивших лучами выглянувшего солнца, видел я образы легких, грациозных и нарядных красавиц... Я был в сладком и нескончаемом сновидении...

У встречавшихся жнецов я спрашивал: «Где хутор Гоголя?»

— Хутор Гоголя?.. — спрашивали меня в свой черед добрые казаки с удивлением. — Не знаем!

— Ах! я забыл: хутор Яновского!

— А, Яновского, знаемо, пане, знаемо! Ось вам дорога!..

И мне указывали дорогу к Рудому Паньку, к Яновскому-Гоголю, на хутор *Яновщину*.

От самой Опошни и вплоть до села Воронянщины я был свидетелем картины истинно степной, истинно хуторянской. Ехал я, по причине нестерпимого жара, всю дорогу почти шагом. Всю дорогу за мною, на волах, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал толстый казак, свесив ноги с воза, лениво сгорбясь и наклонив сонную голову на грудь. Он ехал, покачиваясь на возу, и пел, пел он все одно и то же, пел следующие слова, по-видимому, начало любимой своей песни:

Як бýлы в кýма бжолы!
Ой... та булы... в кума... б-ж-о-лы!

Он пел энергически первую строку, начало второй — слабее, а конец второй строки уже пел заснувши. Встречавшийся толчок будил его, и он снова пел одно и то же, с теми же приемами, засыпал при слове «Ой!.. та булы в кума б-ж-о-лы!» и, проснувшись на толчке, опять принимался за старое...

Узнав от него интересную новость, что «были у кума пчелы», я думал, что он поведает мне при этом новость и полюбопытнее — ничуть не бывало: он пел двадцать верст одно и то же! Это мне надоело, и я поехал рысью. Но, проехав верст пять, я раздумал, и мысль, не услышу ли я конца интересной песни казака, заставила меня поехать снова тише. Я поехал тише, казачьи волы скоро меня догнали, и я опять услышал песню их хозяина... Увы! я не узнал от него более того, что «были у кума пчелы!»

До хутора Яновщины оставалось три версты; он был спрятан за косогором. Все здесь уже веяло и «Старосветскими помещиками», и садом Плюшкина, и птичьими дво-

рами Коробочки. Наивно-роскошные картины жизни хуторян теснились вокруг меня. Я вспомнил рассказ одного моего знакомого. Этот знакомый, приехав на станцию возле Миргорода, отправился на постоялый двор и, к прискорбию своему, узнал, что там ничего не готовили съестного. В досаде он кликнул хозяина.

— Нет ли у вас хоть яичницы?

— Я-с... к вашим услугам... я сам... *Яичница*!

Это была точно фамилия содержателя постоялого двора, и мой знакомый примирился со скудостью его припасов, вспомня о герое «Женитьбы».

Не доезжая двух верст до Яновщины, я остановился в чистенькой хате на хуторе Воронянщина по причине соскочившей гайки с колеса моего экипажа, которую пошли отыскивать. Хозяйка хаты с грудным ребенком стала у дверей и пустилась меня расспрашивать. Заметя ее словоохотливость, я тоже обратил к ней несколько вопросов. Она охала, рассказывая о том, что теперь ужо долго не увидит яновского пана.

— И никогда не увидишь... — сказал я, с грустью отвернувшись от нее, — разве увидишь на том свете!

— Ни, паночку! то неправда, что говорят, будто он умер! Похоронен не он, а один убогий старец, а сам он опять поехал молиться за нас в святой Ерусалим! Не умер он, а уехал, и через одиннадцать лет опять вернется к нам!

Странная вещь: соседние хуторяне, зная, что Гоголь, около двенадцати лет живший за границею, часто и надолго отлучался с родины, снова, впрочем, в нее возвращаясь, — и теперь не хотят верить, чтоб он умер. Многие из них, как я узнал впоследствии, даже гадали по нем, ставя на ночь, по своему обычаю, пустой горшок и сажая в него паука. Старинные казаки, гадая на своих родичей и ближних, так часто в былые времена пропадавших без вести, при этом полагали: если паук вылезет ночью из горшка с выгнутыми, скользкими стенками, то человек, по котором гадали, жив и возвратится. Паук, на которого было возложено хуторянами решить, жив ли Рудый Панько, ночью заткал паутиною весь

горшок и по ней вылез... Грустно останавливаться на этом! Но нельзя не увидеть в странном упорстве соседей Гоголя любви их к нему. Он столько помогал им советом и делом! Не один из грамотеев по Миргородской и Решетиловской дороге показывал нам с гордостью духовно-нравственные книги, подаренные ему Гоголем, при неоднократных его поездках за границу и из-за границы. А скольким нуждающимся соседям уделял он, в трудных обстоятельствах своей жизни, из небольших литературных доходов своих!..

И вот хутор *Яновщина* выглянул между двух отлогих холмов. Опишем вкратце его местоположение и прямо перейдем к некоторым любопытным сведениям о жизни его покойного владельца.

Вот они — места, в которых прошло веселое детство Гоголя! Широкая поляна над косогором. Справа — избы хутора, чистенькие, окрашенные белою и желтою краскою, в тени прелестных садиков; слева — левада, род огромного огорода; середина его, обращенная к хутору, обсажена липами и вербами. Перед этою оградою каменная церковь с зеленою крышею. Ограда церкви сделана из окрашенных желтою и белою краскою кирпичей; кирпичи сложены в виде решетки, сквозными стенами. Церковь — между левадою и хутором; против нее, примыкая к хатам хутора с правой же стороны, — новая ограда; за этою оградою панский деревянный дом, с красною крышею, в один этаж; направо от него флигель, налево — людские строения. За домом сад, за садом пруды. За прудами неоглядные равнины украинских степей... Я въехал во двор. Сердце сжалось невольною тоскою... По двору бегали ребятишки, играя и весело потрясая своими кудрявыми головками. Ветер волновал листья ясеней; кукушка куковала в купе деревьев за церковью, и стаи скворцов и воробьев кружили над хатами хутора... Все было полно жизни, все шло своим чередом... А хозяина этого хутора уже не было в живых!..

Много в последнее время видел я людей, истинно горевавших о Гоголе, и сам я горевал вместе с этими людьми. Но никогда еще не было мне так тяжело, как в то время, когда я

увидел наконец *траур* и слезы теперешних обывателей Яновщины — матери и двух сестер покойного Гоголя. Третья сестра Гоголя, еще при жизни его, вышла замуж и ныне находится в Киеве.

Прежде всего остановимся на *флигеле*, который помещается на дворе, направо от дома, так как в этом флигеле в свои неоднократные приезды на хутор обыкновенно жил и работал Гоголь. Здесь он написал второй том «Мертвых душ» в последнее свое пребывание в Яновщине, в прошлом году, с 20 апреля по 22 мая. Осенью прошлого года он было опять переехал на хутор, к свадьбе своей сестры, но остановился в Туле, провел несколько времени в близлежащем монастыре и потом приехал обратно в Москву, где через несколько месяцев и скончался.

Флигель — низенькое, продолговатое строение с крытою галереей, выходящею во двор. Ветхие ступени ведут на крыльцо; через небольшие сени открывается вход в пространную комнату, род залы, а отсюда в гостиную. В этой комнате да еще в кабинете поочередно работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное состояние его духа заставляло его менять комнаты своей работы; так же точно и спать несколько дней сряду в одной и той же комнате, как нам говорили, он не мог. В гостиной окна выходят в палисадник за флигелем. Палисадник кончается группою тополей; за тополями — вид на избы хутора и на степи. Одно из окон сделано в двери, которая ведет на балкон, в палисадник. Здесь у двери иногда помещалась рабочая конторка автора «Тараса Бульбы», и тогда, во время работы, он мог любоваться видом на хутор и степи... Кабинет находится в стороне и имеет особый выход. Здесь более всего оставался покойный автор «Ревизора»; в последнее свое пребывание в Яновщине он не выходил отсюда иногда по целым дням, являясь в дом, к столь любимой им матери, только на несколько минут. Это — комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два маленьких окошечка выходят во двор; между ними помещается небольшое зеркальце; окна завешаны белыми кисейными занавесками. Влево от двери —

печь; вправо — дубовый шкап для книг. Шкап этот заказан Гоголем в прошлое лето и окончен уже без него. Влево от печи — простенькая кровать, покрытая ковром. Здесь замечу, кстати, что Гоголь в последнее время много занимался улучшением фабрикации домашних ковров, сам рисовал по целым дням узоры для них, и это занятие, вместе с разведением деревьев в саду, составляло главное удовольствие его в немногие часы его отдыха... Над кроватью в углу — образ св. угодника Митрофана. Наконец, спинкой к забитой двери, между печью и кроватью, помещается рабочий стол Гоголя. Это — на высоких ножках конторка с косою доскою из грушевого дерева, покрытою кожею; на верхней платформе ее с двух сторон вделаны чернильница и песочница. Гоголь за этою конторкой работал стоя. Подобный же стол я видел у него и в Москве, в квартире графа А. П. Толстого (в доме Талызина на Никитском бульваре), где он и скончался. На стене, возле рабочего стола, помещается привезенный Гоголем из Италии нерукотворный образ Спасителя, написанный масляными красками.

О доме, где помещается теперь семейство покойного, мы не можем сказать ничего особенного. Дом выстроен удобно, даже красиво; выстроен так, как строились в старину все дома в украинских селах. По стенам развешаны превосходные старинные гравюры. В зале стоит рояль, за которым в последнее время Гоголь, при помощи своих близких знакомых, составлял собрание украинских песен с музыкою. Это собрание, почти из тридцати песен, теперь находится, как нам говорили, в Москве, у Н. С. А-вой, и мы от души желаем скорее увидеть его в печати.

Перейдем в сад, столько занимавший воображение Гоголя. В нем он гулял в нем обдумывал свои поэтические создания; в нем он принимал немногих из своих близких приятелей; в нем, наконец, под сенью широколиственных кленов, посаженных еще дедом его, переносился воображением в сказочные времена запорожья и гетманщины и обдумывал мрачные и поэтические натуры героев своего «Тараса Бульбы».

Сад расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Деревья его высоки и тенисты. По сторонам аллеи, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в прошлом году сажал молодые поросли клена и береста. Теперь эти деревца уже укрепились и покачивают новыми листиками. Далее, за ними, на луговой поляне у корней других деревьев Гоголь посадил несколько желудей. Из желудей теперь выросли крохотные дубки, родоначальники будущей дубравы, куда, быть может, через много лет придут новые посетители родины нашего поэта, с новыми надеждами и заботами, и вспомнят они того, кто с такою любовью сажал этот сад... Влево от балкона идет другая аллея; здесь не так нависли дикие, ползучие ветви дерев; здесь уже прошел заступ цивилизации. Дорожка аллеи, в два шага шириною, идет над одним прудом и упирается своим концом в другой, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. И до сих пор обитателям хутора близ Диканьки видится порою в конце этой дорожки покойный Гоголь в любимом своем черном плаще. Над этою дорожкою, на холме, устроена деревянная беседка, разрушенная бурею скоро после отъезда Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций чернеет небольшой грот с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь играл, будучи ребенком трех лет... Через сорок лет после этой поры он часто садился на этот камень и любил с него глядеть в светлые воды сельского пруда.

На пруде за садом, перед домом, устроена купальня. К ней ездят на маленьком двухвесельном пароме. Ее устроил для себя Гоголь, но купался в ней не более трех раз. Так же точно впоследствии, за три месяца до смерти, он поступил и с идропатией. За прудом расстилается широкая огороженная поляна. У самого пруда она, благодаря заботливости Гоголя, обсажена деревьями, и в особенности красива здесь недавно разросшаяся аллея из серебристых тополей: покойный ухаживал за нею с самым теплым участием.

День свой в Яновщине Гоголь проводил так. Вставал он рано; в воскресенье шел в церковь; в будни тотчас прини-

мался за работу. Работал он иногда по пяти часов сряду и редко выходил из своего кабинета ранее полудня. Он шел тотчас гулять, обыкновенно на поляну за церковью; иногда же в это время, вплоть до обеда, гулял в саду. Обедая в своем семействе, он был всегда весел, шутил, смешил всех своими импровизированными рассказами и все послеобеденное время так же оставался в кругу семейства. Вечером он или катался на пароме по прудам, или работал в саду, или снова уходил в свой кабинет. Ложился он спать довольно рано, почти не позже десяти часов вечера. Оставаясь среди своего семейства, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы: рисовал узоры для ковров, кроил платья и принимал участие в окраске стен и в обойке мебели.

Из соседей Гоголя немногие его посещали. Иные боялись обеспокоить его среди литературных занятий, другие почти никогда не жили в своих поместьях, а третьи, по странному мнению о характере сатирических писателей, просто боялись его. Главными собеседниками покойного из соседей его были грамотные хуторяне, убогие и несчастные разных сословий, которым он всегда помогал, и некоторые духовные особы.

К украшениям дома Яновщины в последнее время прибавились: портрет покойного, писанный Моллером масляными красками, чрезвычайно схожий (портрет этот привезен Гоголем из Петербурга в подарок матери), и трость из жилы пальмового листа, на которую Гоголь опирался в своих странствованиях по Святой Земле.

Итак, вот небольшой очерк Яновщины. Теперь скажем несколько слов о жизни покойного и о времени, в которое он особенно был близок к мирному украинскому хуторку.

Автор статьи, напечатанной в «Отечественных Записках», — *«Несколько слов для биографии Н. В. Гоголя»* — говорит, что Гоголь родился в *1808 году*, в деревне *Васильевке*, как теперь называется хутор Яновщина. Н. В. Гоголь, по словам матери его, родился в *1809 году, 19 марта*, в селе *Сорочинцах*, которое находится верстах в двадцати от Яновщины. До него г-жа Гоголь имела детей, из которых ни одно

не жило более нескольких дней. Поэтому появления на свет Николая Ваильевича ожидали с грустным и, вместе, тяжелым чувством. Будет ли суждено новому ребенку остаться в живых? Родился мальчик, которого назвали Николаем.

Новорожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть недель он был перевезен в Яновщину. Несмотря на слабый организм, он скоро показал, что не в теле сила человека. Трех лет от роду, не учась грамоте у учителя, он уже бегло читал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным игрушечным буквам...

Будучи пяти лет от роду, он вздумал писать стихи. Никто не помнит, какого рода стихи писал он, но вот что осталось в памяти его домашних: «Известный литератор наш, *Капнист*, заехав однажды к отцу молодого поэта, застал пятилетнего сына его за пером. Малютка Гоголь сидел за столом, глубокомысленно задумавшись над какою-то фразою. Капнисту удалось просьбами, ласками и другими средствами заставить нового литератора прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи... Капнист никому не сказал о содержании этих стихов. Он вышел к домашним Гоголя, глубоко тронутый, лаская и обнимая маленького писателя, и сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» Это нам сообщил М. В. Гоголь. Что же касается до охоты автора «Мертвых душ» писать стихи, то она проявилась в нем впоследствии еще не один раз. Кроме поэмы в стихах *«Ганц Кюхельгартен»*, напечатанной им под псевдонимом Алова, укажем еще на стихотворение *«Россия под игом татар»*; это стихотворение никогда не было напечатано; Гоголь прислал его к своей матушке из Нежинского лицея, тщательно переписав его в изящную книжечку, украшенную собственными его рисунками. Из всего содержания этой эпопеи, к сожалению, увезенной из Яновщины через несколько лет самим автором, матушка покойного помнит только окончание — следующие два стиха:

Раздвинув тучки среброручны,
Явилась трепетно луна.

Известно, что впоследствии, разгадав в себе призвание и начав писать прозою, Гоголь молчал о своем стихотворном поприще. Он сжег своего «Ганца Кюхельгартена». Яким, человек его, о котором уже упомянуто в «Отечественных Записках», находится теперь в Яновщине. Я расспрашивал его об этом сожжении. Робкий и застенчивый Яким, бывший камердинер Гоголя, а теперь дворецкий и ключник, рассказал мне, что его барин, точно, однажды вдруг пришел домой и послал его скупать и отбирать отданные на комиссию книгопродавцам синенькие экземпляры «Ганца Кюхельгартена». Шестьсот книжек сожжены без всякого милосердия. Вот случай, обрисовывающий характер Якима. Узнав о смерти Пушкина в 1837 году, он сидел в передней и плакал.

— О чем ты плачешь, Яким? — спросили его.

— Как мне не плакать... Пушкин умер!

— Да тебе-то что? Разве ты его знаешь?

— Как что? как не знать?.. Помилуйте, да они так любили барина! Бывало, снег, дождь, слякоть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста в Мещанскую, в дом Иохима-каретника, где мы жили!.. По целым ночам просиживали у барина, слушая, как тот им читал свои сочинения, а у нас иногда и свечей своих не было!

Я расспрашивал Якима об этом периоде жизни Гоголя, и он сообщил мне много любопытного. Интересны его рассказы, объясняющие отношения первой тогдашней литературной славы к Гоголю. Пушкин иногда приходил к Гоголю в кабинет и рылся в его бумагах. Занимаясь «Дубровским», «Повестями Белкина» и «Капитанской дочкой», Пушкин с любовью следил за развитием будущего автора «Мертвых душ» и «Ревизора». Вспомните отзывы Пушкина в издаваемом им «Современнике» о первых повестях Гоголя! Вспомните, наконец, его выноски, с подписью *«Редактор»*, к повестям Гоголя, напечатанным в «Современнике»! В 1836 году Гоголь уехал вторично за границу. Накануне его отъ-

езда, по словам Якима, Пушкин просидел у него всю ночь напролет, читая ему свои произведения и слушая отрывки из сочинений Гоголя. Это было последнее свидание. В 1837 году Пушкин скончался, и Гоголь уже его не видал по возвращении из чужих краев.

Гоголя отдали в учение в Полтаву, а потом в Нежин. Г. Кукольник говорил нам, что Гоголь, его соученик по Нежинскому лицею, вообще был веселого и предприимчивого характера. Он уже окреп, из хилого ребенка вышел сильный и пылкий юноша, страстный до всего изящного и высокого. На школьной скамейке будущий сатирик и юморист переписывал для себя только что выходившие в свет поэмы Пушкина «Цыганы», «Полтава», «Братья разбойники» и главы «Евгения Онегина». Он обыкновенно переписывал их на самой лучшей бумаге и украшал рисунками собственного изобретения. Чтобы ознакомить читателей с состоянием духа нашего поэта-юмориста в этот период времени, приведем здесь *четыре письма его*, писанные им к матушке из училища. Первые три письма относятся к 1827 году, когда он был 18-ти лет. Приводим их по порядку:

1-е: «Почтеннейшая маменька! К числу мечтательностей своих иногда желаю быть ясновидцем, знать, что у вас делается, чем вы занимаетесь. И верите ли, с каким удовольствием занимаюсь я отгадыванием всего, что вас занимает... Как вы проводили масляную? Весело ли? были ли у вас веселые собрания? Извините, что закидываю вас кучею вопросов. Обыкновенно человеку, как говорят, порядком повеселившемуся, всегда хочется сделаться участником других, особливо ближайших к нему... Кто же ближе к моему сердцу, как не вы, ваша радость, ваше удовольствие. Посмотрите же, как я повеселился!.. Вы знаете, какой я охотник до всего радостного! Вы одни только видели, что под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось желание веселости (разумеется, не буйной!), и часто, в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечта-

тельности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни... Я удивлялся как люди, жадные счастья, немедленно убегают его, встретившись с ним!..

...Ежели о чем я теперь думаю, так это о будущем моем житье-бытье. Во сне и на яву мне грезится Петербург, а с ним вместе и служба Государю. До сих пор я был счастлив; но ежели счастие состоит в том, чтоб быть довольну своим состоянием, то не совсем, не совсем, — до вступления в службу, до приобретения, можно сказать, собственного постоянного места...

...Масляницу, всю неделю, мы провели так, как желаю всякому ее провести; мы веселились без устали. Четыре дня сряду был у нас *театр*, и, к чести нашей, все признали единодушно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего! Правда, играли все прекрасно. Две французские пьесы — Мольера и Флориана; одну немецкую — Коцебу, и русские: «Недоросль» Фонвизина и др. Декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много, все приезжие и все с отличным вкусом. Музыка тоже состояла из наших. Осьмнадцать увертюр Россини, Вебера и других были разыграны превосходно. Короче сказать, я не помню для себя никогда такого праздника, какой провел теперь. Дай Бог, чтобы вы провели его еще веселее!»

2-е: «Позвольте, во-первых, почтеннейшая маменька, поздравить вас с праздником Светлого Воскресения Христова. Думаю, что вы провели первые дни его хорошо; желаю и окончить его весело. Благодарю вас за присылку денег; в это время они бывают мне очень нужны. Мой план жизни теперь удивительно строг и точен во всех отношениях. Каждая копейка теперь имеет у меня место; я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, с тем, чтобы иметь хотя малейшую возможность поддержать себя в том состоянии, в каком нахожусь, чтобы иметь возможность удовлетворить моей жажде — видеть и чувствовать *прекрасное!* Для него-то я, с величайшим трудом, собираю все свое годовое жалованье, откладывая малую часть на нужнейшие издержки.

За Шиллера, которого я выписал из Лемберга, дал я сорок рублей — деньги весьма немаловажные по моему состоянию; но я награжден с излишком и теперь несколько часов в день провожу очень приятно. Не забываю также и *русских* и выписываю, что только выходит самого отличного; разумеется, что я ограничиваюсь немногим; в целые полугода я не приобретаю более одной книжки, и это меня печалит чрезвычайно! Как сильно может быть влечение к хорошему! Иногда читаю объявление о выходе в свет творения прекрасного — сильно бьется сердце... и с тяжким вздохом роняю из рук газету, видя невозможность иметь его; мечтание — достать его, смущает сон мой, и в это время получению денег я радуюсь более самого жаркого корыстолюбца... Не знаю, что было бы со мною, если б я еще не мог чувствовать от этого радости; я бы умер от тоски и скуки! Это одно услаждает разлуку мою с вами. Вы рисуетесь в светлых мечтах моих. Давно ли я приехал с Рождества, а уже трех месяцев как не бывало; половина времени до каникул утекла; еще половина, и я опять с вами, опять увижу вас и снова развеселюсь во всю ивановскую... Не могу надивиться, как весела, как разнообразна жизнь наша! Одно имя каникул уже приводит меня в восхищение... Увидеть всех родных, всех близких сердцу... очаровательно!»

3-е: «Получил ваше письмо сегодня и к моей горести узнал, что вы больны! Я уже это заметил из одной краткости письма вашего, которому видно мешала много болезнь. Всегда нужно судьбе, в самом удовольствии покоя, в котором я находился, зачернить начаток светлых дней едкостию горя. Меня мучит ваша болезнь... Сделайте милость, берегите себя...

Я не могу нарадоваться, вспомнив, сколько меня ожидает дома близких моему сердцу. Желаю, чтоб этот год, как и все будущие, Бог подарил нам изобилие, чтобы роскошь плодородия упитала счастливое наше жилище. Чтобы все крестьяне наши были награждены с избытком за годичные труды свои. Здесь поговаривают о плодородии этого года; я думаю, что и у вас также; желательно мне бы узнать об этом от вас. Также,

водится ли что в саду нашем? Здесь и на фрукты урожай! Позвольте поговорить с вами теперь касательно платья. Ежели посылать деньги, то не тогда, когда будете присылать за мной; нужно гораздо прежде, а то экипаж всегда дожидается; тогда нужно метаться по всем портным, и то еще ежели сыщешь, несмотря на дорогую плату. Я советовал бы вам деньги отправить тотчас по получении моего письма; оно как раз и выйдет, что к времени моего отъезда платье поспеет, для чего нужно, по крайней мере, три недели, а то мне всегда за скоростью шьют на живую нитку...

...Присылайте за мною экипаж поуместительнее, потому что я еду со всем богатством вещественных и умственных имуществ, и вы увидите *труды мои*. Теперь я оканчиваю посылать за себя представителей, то есть письма. Через две недели явится творец их, никогда неизменный в своих чувствах, все тот же пламенный, признательный, никогда не загашавший вечного огня привязанности к родине и родным!»

4-е (В 1826 году, вслед за получением известия о кончине отца):

«Не беспокойтесь, маменька! Я этот удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен сим известием; однако ж не дал никому заметить, что я был опечален; оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния; хотел даже посягнуть на жизнь свою... Но Бог удержал меня, и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая, наконец, превратилась в легкую, едва заметную грусть, смешанную с чувством благоговения ко Всевышнему! Благословляю тебя, священная Вера! в тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести. Так! я теперь спокоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга всего драгоценного моему сердцу!..»

Все это письмо проникнуто горячею любовью покойного к родным. В конце письма, во второй приписке, он прибавляет просьбу к матушке выслать ему десять рублей на покупку курса русской словесности. *«А собственно для меня, — заключает он, — не нужно ничего».*

Семнадцатилетний мальчик в отдаленном провинциальном городке, в школе, за годовое жалованье свое выписывающий из Лемберга Шиллера, невольно остановит внимание каждого. Все занимало и волновало его! Минуты даром он не терял еще с ранних лет своего детства.

Первые годы юношеского возраста он провел вместе со своим младшим братом, Иваном, рано похищенным смертью. Отец Гоголя часто ездил в поле со своими сыновьями и дорогою задавал им темы для импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын всегда отличался изумительною находчивостью в импровизациях... Отец Гоголя сам писал; труды его состояли из театральных, комических пьес, написанных для домашней сцены в семействе Трощинских, которые постоянно ласкали и отца, и сына Гоголей. Эти комедии Гоголь, при отъезде в Петербург, после смерти отца взял с собою для того, чтоб напечатать их. Неизвестно, какой участи подверглись они в Петербурге, потому что их никто и нигде более не видал, за исключением выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым повестям Гоголя.

Смерть младшего брата, Ивана, до того поразила Николая Васильевича, что принуждены были перевести его из Полтавы в Нежин, чтобы отвлечь его мысли от могилы брата. По окончании курса в Нежинском лицее Гоголь был увезен А. С. Д-ским в Петербург, где занимался снова науками, в особенности иностранными языками и живописью. В 1829 году он неожиданно уехал за границу. Известны последствия этой фантастической поездки. Гоголь приехал в Любек, написал оттуда письмо к матери, которое мы сами читали, описал ей подробно все муки своего разочарования в местах, которые он так жаждал увидеть, к письму приложил очерк пером улицы, в которой нанял себе помещение, скоро увидел близкий конец своих денег и с грустью возвратился в Петербург.

1852 г.

II

ДИВНОГОРСК

(ОЧЕРК ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК)

Кто слыхал в России о Дивногорске? Кто слыхал у нас о Дивах, как его еще называют туземцы? Кто знает из читателей наших, что на крутом берегу Дона, в восемнадцати верстах от города Острогожска, при впадении реки Тихой Сосны в Дон, возвышается гребень каменистых гор, на котором белеет шестнадцать столпообразных меловых утесов, темный дубовый лес и тихая пустынь отшельников? Если бы кто из читателей вздумал обратиться к нашим литературным источникам, то ни в одной книге путешествий и описаний мест достопримечательных он не нашел бы известия о Дивногорске[1]. А между тем, в этой пустыне, в меловых холмах, устроены тихие жилища людей, которым стали бедны приманки жизни суетной; по стене скал плетется улиткообразная лестница, по уступам каменным лепятся иссеченные и давно покинутые в меловом кряже келии, в каменных громадных столбах, вознесшихся над бездною, проделаны входы и устроены церкви, и, наконец, Петр Великий, во время Азовского похода, идя из Воронежа вниз по течению Дона, здесь молился о будущей победе за Русь, здесь отдыхал с кораблями-барками и любовался с колоссальных гор равниною Придонского прибрежья.

Несколько лет назад автор этого очерка, проезжая из города Бирюча в Острогожск, в слободке Александровской, в местах родины нашего заслуженного профессора А. В. Никитенко, разговорился со старым хуторянином, помнившим А. В. Никитенко еще в детстве, и узнал от него, что в семи верстах от большой дороги лежит монастырь, куда редко

[1] Несколько строк мы находим о Дивногорске в «Полном собрании исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях» Александра Ратшина. Москва, 1852 г

завертывала нога русских путников. Я своротил из Коротояка вправо, и скоро Дон заблистал передо мною своими синими водами. Это были те места, где некогда носились мысли Бориса Годунова, воздвигавшего по южным степям оплот против крымцев и ногайцев. Острогожск — одна из тех крепостей, которые он построил на так называемой Белгородской линии, или Белгородской черте, вместе с тремя Белгородами, Чугуевым, Салтовым, Харьковым и Царебарисовым, которому дал свое живописное в истории века имя. Некоторые из этих, сильных тогда, крепостей стали городами, другие слободами, а третьи, как Салтов на берегу Донца, даже и имени слобод теперь не удержали. То было время смут и бедствий; дикие орды разоряли слободские поселения, и все жалось за стенами крепостей. В Острогожске, на площади, где теперь собор, по уверению одного жителя его, было тогда в одном месте до десяти церквей: так теснились предки наши в Малороссии даже со своими храмами! Незадолго до присоединения Малороссии к родной России царем Алексеем Михайловичем, именно в 1640 году, как говорят туземцы, выходцами из Киева был основан Дивногорский мужской монастырь. До 1786 года он процветал приношениями соседних богомольцев и трудами братии, пополнявшейся из разных отдаленных пустыней и, между прочим, из Святогорского монастыря, близ Изюма. В 1786 году он упразднен, вместе с многими тогдашними монастырями, и земли его отошли в казну. Но во время холеры 1831 года народ, стекавшийся из окрестных мест на поклонение святыне древнего места, стал получать чудотворное исцеление от иконы Богоматери в монастырском храме, и пустынь была возобновлена. Вот, в немногих словах, местность Дивногорского монастыря. По уступам меловых гор, которые углом упираются к Дону и у подошвы своей образуют обширные зеленые луга, вправо возвышаются шестнадцать колоссальных столбов — каменных пирамид, образовавшихся от обвалов горы, и иные из этих столбов имеют до пяти и семи сажен вышины. В одном из этих столбов, над отвесом горы сажен в

пятнадцать, словно в воздухе, висит высеченная в известняке церковь во имя Иоанна Крестителя. Сюда ведет, карабкаясь с камня на камень, змеeобразная лестница, и едва поднимешься над бездною, едва блеснет над церковью белый крест — чудные виды степей, по которым катятся серебряные волны ковыля, виды лугов, с песнями пастухов и погонщиков, с морем камышей по берегам Дона, и вечером огни рыбацких, костров, разложенные после обильной ловли, открываются с маковки горного хребта. Влево по уступам гор, вдали, среди садов и леса зеленеет крыша монастырской церкви и белеют здания отшельнической братии. Здесь, проехавши дорогою, прорезанною усиленными трудами в известняке, над самою окраиною горного отвеса путник встречает прежде всего низенькую, кое-как сложенную плотину, на которой сидят дети кочующих рыбаков и ловят удочками местную, необыкновенно вкусную рыбку бирюч, которою так славятся кухни окрестных придонских городков, и чуть ли самый город Бирюч не получил своего имени от той рыбки. В самом монастыре две церкви: одна во имя Успения Богородицы, при которой придел Николая Чудотворца, и другая во имя Владимирской иконы Богоматери. От первой церкви ко второй ведет, поднимаясь в гору, деревянная лестница. В верхней церкви есть пещеры, как повествуют туземцы, вырытые на пространстве почти шестидесяти сажен во внутренность горы киевскими монашествующими пришельцами. Живопись в обеих церквах новейшая, кроме некоторых местных икон, запечатленных следами древности. Монастырские келии необыкновенно уютны, чисты, красивы. Малая числом братия велика духом подвижничества и трудов на пользу спасения душевного. Все жизненные припасы приобретаются личными работами братии, потому что кружка для вкладов посторонних подаяний никогда не бывает богата сбором, и скудные денежные средства монастыря восполняются трудами обитателей его.

Не ищите летописей в этой пустыни, не ищите в ней красноречивых исторических сказаний: страницы монастыр-

ской истории написаны на каменных столбах и пирамидах — на этой великой книге окрестной природы! Что-то необыкновенное чувствуется в этих тихих, картинных местах! Над тонущею в сумерки окрестностью, на вершине горы, вправо, где в каменной пирамиде стоит церковь, в беседе с полуслепым бедным сторожем пустынного храма видятся над Доном иные времена и иные люди! Великий из великих выходит на берег, как повествует клочок страницы в ветхом молитвеннике пустынной церкви, выходит на берег среди своих сподвижников и молится за отчизну; русские корабли-лодки, наполненные войском, качаются под парусами у берега, и на ярком костре дымится скромный ужин царя, у которого во власти полмира...

А вот за перелеском, выше столбов и выше монастыря, — развалины городища, земляные, размытые укрепления, холмы и бастионы, наугольники и бойницы! Это — дозорный пункт над окрестностью, видимою отсюда верст на пятьдесят кругом, других веков и другой образованности; это — городище времен скифских, времен Геродота, переселения народов и близкого водружения животворящего креста апостолом Андреем над холмами киевскими, над купелью будущей отчизны русских!

И в виду этих живых скрижалей, над которыми вьются тени сарматов и Аттилы, диких ордынцев и Бориса Годунова и не менее грозных османов Азова, на берегу Дона, между тростников и прибрежных порослей, у перевоза на пароме, чернеют соломенные курени рыбаков. Обе ночи, в двое суток, прожитых мною близ Дивногорска, я провел под крышами этих куреней...

Рыбаки из окрестных сел и городов — тип совершенно оригинальный. Это смесь малороссийского степного типа с типом рыбаков русских, рыбаков по большим срединным русским рекам. Набожная степенность и молчаливость их лишь изредка нарушаются праздным разгулом, когда в пестрых рубахах и широких малороссийских шароварах они наполняют торговые площади и, среди короткого веселья,

проживают нажитое долгим трудом. Рассказы этих рыбаков любопытны, как и самый дикий, пустынный образ их жизни. Вечно на воде, вечно наготове, боясь спугнуть чуткую водную добычу, они представляют любопытную смесь осторожности и дикости, таинственности и бесстрашия. Некоторые между ними слывут за отличных песенников, другие — за балагуров-сказочников. Здесь слышатся песни про близкие прикаспийские станицы и киргизов, про Крым и сказочное взятие Азова. Стихи, распеваемые в других местах слепцами, стихи религиозные, также здесь поются иногда на заре, в тихий майский вечер. Вот некоторые из песен, которые пел Викентий Тулов, рыбак из-под Воронежа, в одну из ночевок, проведенных автором на берегу Дона в рыбацких куренях.

ПЕСНЯ ПРО ДВУХ БРАТЬЕВ

Ой, из Крыму ли, братцы, из Ногаева,
И стояли тут орды Ордынские;
А и ехали два брата родимые,
Родимые, одной матери.
Под большим братом конь уставает,
А меньшой за большего умирает.
Ох ты гой еси, мой брат ты родимый,
А родимый, одной матери!
А я тебя, братец, посверстнее,
Посверстнее, послабее —
И пеш путь-дороженьку пройду!
Когда было добру молодцу время,
Бусурмане молодца почитали;
Вот, как стало молодцу безвременье,
Никто уже молодца не почитает.
Не почитает, не поважает,
А и сам се молодец рассуждает:
Сокол ли на сем свете не птица,
Кречет ли во миру сем не удача —
На его тож безвременье бывает,
Он пеш да по чисту полю гуляет.
Худая же малая птица,
Птица малая синица —
И та над соколом насмеялась,
Наперед его синица залетела.

Эта песня, вероятно, потерпела изменения; в списке народных былин Кирши Данилова есть ее вариант[1].

Что касается стихов религиозного содержания, то два сообщенные мне Викентием Туловым очень мало разнятся от напечатанных в сборнике Г. Киреевского[2]. Рыбак знал целую песню о «Пустыне» и о «Грешной душе». Из «Адамова плача» знал окончание. Особенно слово в слово сохранились в его памяти следующие, полные красоты, стихи из «Адамова плача». Тулов очень часто вращался среди семинаристов воронежских, и потому неудивительно, что, при его любознательности и даровании музыкальном, он удержал более в памяти эти отрывки:

Оставим мы злобу,
Восприемлем кротость!
Возлюбим мы нищих,
Убогую братью;
Обуем мы босых;
Оденем мы нагих,
Оденем мы нагих
Своим одеяньем!
Проводим мы мертвых
От двора до церкви,
До Божьего храма —
С ярыми свечами,
С горькими слезами.
Прижмем руки к сердцу,
Прольем слезы к Богу,
И воззрим мы, братье,
На дубовы гробы:
Ой вы, гробы-гробы,
Превечные домы,
Сколько нам ни жити,
Вас не миновати!

Кроме стиха «до Божьего храма», прибавленного в песне Тулова, весь отрывок верен тексту Г. Киреевского.

---

[1] Вариант этот в «Древних Российских стихотворениях, собр. Киршею Даниловым», в издании 1818 г.

[2] См: Чтения Импер. Моск. Общ. Ист. и Древн. 1848 года, №9

Замечу кстати, что рыбак Тулов прежде ходил, как мне рассказывали, с кружкою на построение храма в ближнем селе; но потом взял невод, стал работать, разбогател, крестил трех внучат и часто ездил к пятой дочке своей в гости, которая замужем за гуртовщиком под Воронежем, посылающим в Петербург рогатый скот стадами.

На третий день, перед самым отъездом моим из Дивногорска, прибежал ко мне четырнадцатилетний мальчик Саша, сын другого рыбака из Коротояка, и за кремень с походным стальным огнивом (во время последних поездок по Украине я постоянно запасался перстнями, лентами, серьгами, чумацкими трубками и тому подобными вещами для обмена их на песни и предания) сообщил мне сказку о «Ледяной дочке», на малороссийском языке, чисто степную, которую я, впрочем, узнал еще и в русском варианте и потому представляю ее здесь под тем именем, под которым она сообщена по-русски. Признаюсь, в этой сказке особенно выяснился тот самобытный поэтический такт, которым так богаты наши малороссийские сказки, полные простоты и живописности, без всякой натяжки и неестественной фантастичности, преобладающей в легендах востока. В сказках малороссийских постоянно, даже и при картинах душевного горя, рисуется какое-то таинственное, мечтательное довольство окружающим, причудливая способность передавать человеческие страсти и человеческие мысли предметам неодушевленным, поражающим внимание человека. Все эти сказки родились не в мире призраков сказок германских, испанских и швейцарских, не в мире отвлеченных идеалов, а, если можно так выразиться, в мире людей, в соседстве людей, в кругу человеческой обыденной жизни и обыденной деятельности. Вот сообщенная мне сказка.

СНЕГУРКА

Жили-были дед да баба,
Не было у них детей:
И сидели под окошком,
Горевали дед и баба,

А на улице из снегу
Вереница ребятишек
Гору снежную лепила.
«Не пойти ль и нам на старость, —
Молвил бабе дед с усмешкой, —
Полепить шаров из снегу?» —
«Что ж! пойдем! — с усмешкой также
Баба деду отвечала: —
Старость наша — то же детство!»
И шары лепить из снегу
Принялися дед и баба.
«Что вы делаете, старцы?» —
Отозвался голос тихий,
И прохожий с бородою
У ворот остановился.
«Лепим дитятко!» — с усмешкой
Отвечали дед и баба.
«Бог же в помощь, Божьи люди!» —
Молвил, кланяясь, прохожий
И, как тень, исчез в потемках.
Лепит дед из снегу ножки,
Лепит носик, лепит ротик —
Только вдруг из губок белых
Теплый пар повеял струйкой,
Глазки синие раскрылись,
И красавица-снегурка,
Отряхая мелкий иней,
Перед старцем встрепенулась,
Встрепенулась, как живая.
«Крошка! — молвила старуха: —
Будь отныне нашей дочкой!»
И, в тулуп закутав теплый,
Унесла Снегурку в хату.

Вот, идут за днями ночи,
За ночами дни проходят;
Не по дням, не по минутам
Хорошеет и милеет
Русокудрая снегурка.
Не успели дед и баба
Встретить первые морозы,
Стала девушкой-резвушкой
Русокудрая снегурка!
Не успели дед и баба
Встретить первые метели,

Стала пышною невестой
Русокудрая снегурка!
Не успели дед и баба
Наварить к веселью браги,
Женихи, как листья в осень,
К ним посыпались в ворота,
И, любуясь кралей-дочкой,
Бабе дед шептал тихонько:
«Ну, как знаешь, пани-матко,
А пора встречать и сватов!»

Только вот теплом пахнуло,
Потянул весенний ветер,
И затаяли потоки.
И, когда теплом пахнуло,
Потянул весенний ветер
И затаяли потоки,
Призадумалась, замолкла
И головкою поникла
Русокудрая снегурка...
Раз, зарей вечерней было,
Вышел дед, присел на призбе
И тихонько бабе молвил:
«Погляди, какою павой
Выступает наша дочка!»
А красавица-снегурка,
Коромысло взяв на плечи,
От колодца — от криницы
Шла, былинкой изгибаясь
И былинкой колыхаясь,
Вся в дукатах, вся в гранатах!
Только вдруг остановилась,
Протянула в воздух руки
И тихонько стала таять,
Стала таять, словно свечка,
Заклубилась легким паром
И на небо улетела...

Прибежали дед и баба,
Покачали головою
И промолвили печально:
«Не ужиться пташке в клетке,
А душе на этом свете!»

Слышанное мною в окрестностях Дивногорска гармонировало с картинами чудной пустыни, с картинами монастыря этого жилища отошедших от жизни для вечности, как бы висящего на воздухе, со своими столпообразными утесами и лесами, с каменными дорогами и развалинами древнего городища. Исторические песни и исторические берега, волны Дона и память о Петре Великом, богатая степная природа и бедность человеческого духа, жалкая перед этими дивами-горами и дивами-лесами, наконец, отшельническая братия и сказочная легенда о бренности человеческой красоты и силы, этих гостей тленного мира, олицетворенных в бедной снегурке, — все это оставило во мне глубокие впечатления, и я навсегда сохраню в себе память о Дивногорске! Тем более сохраню эту память, что нигде, ни в глубине России, ни в окрестностях Киева, ни в средине украинских степей, я не видел ничего подобного причудливой и очаровательной красоте Дивногорска. Один Георгиевский монастырь на южном берегу Крыма поспорит с Дивногорском очаровательностью своей полуденной природы.

1853 г.

III

АРАКЧЕЕВСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА УКРАИНЕ

«Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о грозных военных поселениях...»
(Разговор 1824г. «Для потомства». Изд. 1862 г.).

Карамзин

С поставщиком леса на постройку соседнего этапного здания мы стояли, облокотившись о ворота постоялого двора, в деревушке Андреевке и смотрели через забор.

Невдалеке от нас толпа поселян возилась, ломая и разбирая кирпичные стены какого-то обширного здания. Кирпич, сложенный в кучи правильными рядами, тут же накладывался на возы, вереницы которых разъезжались в разные стороны; бревна потолков, доски полов, стропила и красивая черепица крыши, двери и оконные рамы также лежали кругом по засоренному штукатуркой двору, по очереди накладывались на волов и подводы и развозились.

— А труда-то, труда, а денег-то потрачено было на все это! — сказал со вздохом Иван Алексеич. — Вот поднялся бы из гроба-то граф Аракчеев да посмотрел бы теперь на дело рук своих!

— А что такое?

— Да как же! Подумайте: эти здания, комитеты-с разные, да правления, да военные рабочие команды, гошпитали-с, дома для генералов, штаб- и обер-офицеров-с, не говоря уже о манежах зимних и летних, конюшнях и даже каменных заборчиках, — все теперь велено упразднить, продать с аукциона-с, с молотка! Жалость да и только! Ажно слезы прошибают, глядючи теперь на все это...

Старик отер, действительно, слезы, тихо вздохнул и мутным, боязливым взором снова окинул толпу, копошившуюся над разбиранием кирпича.

— Батюшки, батюшки! Что это делается! — повторял он, оглядываясь по сторонам. — Вон где еще недавно и вывеска золотая висела!.. Давно ли мы в это здание, в этот комитет с почтением входили, шапки еще на дворе снимали; кругом толпились сторожа, дежурные, лекзекуторы, ехрейторы; полотеры каждодневно с швабрами полы мыли; а там полсотни писарей сидело, все столы да столы, чинно так, бумаг груды... Войдешь, бывало, станешь у дверей и обомлеешь: скрип перьев такой, как вот черви-с, ей-Богу, на шелковичной плантации в Чугуеве точат листики. Всем делам были эти леестры, ко всякой особе писались отношения и предложения, а к мелкой сошке, волостным майорам, что ли, положим, предписания; а те, в свою очередь, рапорты, до-

несения, объяснения, и со всего этого еще копии оставались... А теперь? Пришел я намедни в ихнее тепершнее, мужицкое, значит, правление: сидит за красным столом рыло в бороде — голова, а сборщик почтительно ему на словах какое-то дело поясняет, и оба в сермягах, косматые... Тьфу! Я ажно плюнул и вышел! Нужно было попросить этого голову леску ссудить из назначенного к продаже; мне даже очень нужно было его попросить. А не попросил, потому что рыло неотесанное... Ну, как я, капитан в отставке, попрошу его?

— Оттого у вас, Иван Алексеевич, этап и не подвигается в постройке...

Старик оправился, хотел что-то сказать и опять прищурил глаза к стороне кирпичных куч.

— Вон еще пять лет назад в каждой деревушке, тут при въезде, так парадно шлагбаум был устроен, абафта-с под крышечкой красовалась. Наедут, при передвижении с места на место, полковые; часовой сейчас к шлагбауму, и патруль на площадку к абафте-с, так ночью запоздает бывало мужик с возом снопов с поля, и того прежде остановят и спросят, а потом уже пропустят...

— А теперь? Разве вы недовольны тем, что, заснувши смиренно в тарантасе, не боитесь более головы разбить о ненужную и дикую в этих пустых местах перекладину?

— Теперь-то? А вот я что вам доложу. Давеча я ехал через Осиновку; мальчишки собрались гурьбой на площадку тамошней абафты и давай в мяча в этаком-то, так сказать-с, святом и почтенном месте играть, где и полковники прежде под арестом сиживали и уважительной стопой чуть дотрагивались, ступая ножками, до тамошнего помоста, а один сорванец взлез на самый брус шлагбаума, оседлал его, как конька, и лупит его по ребрам плеточкой.

Мы помолчали. Старик грустно понюхал табаку.

— Скажите, Иван Алексеевич, много хлопот стоили действительно эти поселения Аракчееву?

— И не говорите, и не говорите! Бывало, налетит сюда грозой; как разгремится, как взорвет его, и пошел, и пошел; за

сто верст щепки, за пятьдесят стружки летели. Ну, а потом уже здешнее начальство и усвоило себе его поведение. И само, до последнего человека, иначе и не вело себя, как приедет каждый в свою палестину, тоже порядком и разгремится, и взорвет его непременно нелегкая, и стружки, и щепки летят далеко. Поселяне непременно в мундирных кафтанах и фуражках форменных за плугами ходят, по форме усы и бакены носили — бороды им воспрещены были; а наедет власть какая, всем это сейчас смотр: выстроят во хронт и смотрят. У каждого безвыходно солдат на кватере стоит с лошадью; значит, ты, хозяин, корми солдата, корми и лошадь его. Много в первое время это причинило неприятностей в народе: знаете, там жена у иного неверна оказалась, там, положим, от тесноты и всякой помехи затосковал сам муж, а после все обошлось. К смотрам это, правда, бывало, в рабочую пору, улицы подметали, канавки, род тротуаров по улицам везде устраивали; песок издалека везли к казенным зданиям. Зато везде порядок был; все в аккурат делалось...

— Что же теперь тут не в аккурат делается?

— Что? И вы еще спрашиваете? А пирамидки кирпичные по дорогам куда делись? А?

— Ну? Не знаю...

— Как ну? Для чего пирамидки устраивались? Отвечайте! Ведь они заменяли по дорогам версты, и в то же время служили знаками в зимнее время, в метели, когда в степи как раз собьешься с дороги. Что же сделало с ними теперь это мужичье? Чуть их расформировали, чуть они выбрали себе этих голов да старшин, в несколько месяцев по ночам разломали все эти пирамидки и развезли по домам на поправку печей. Мы, дескать, и так зимою найдем дорогу. Тычки из веток поставим, как у государственных крестьян, соседей наших, заведено, а кирпич мы делали, мы пирамидки ставили и берем их себе. Их судили, штрафовали, да так и бросили дело.

За спиной нашей послышался голос:

— Надоело нам, Иван Алексеевич, белить их после дождей да глиной подмазывать на пространстве нескольких сот

верст в разных местах! — сказал подошедший к нам торговец бакалейной лавки, также из поселян: — Заслышит начальство, что едет какая-нибудь, даже, так сказать, простая особа, из особ зауряд, сгоняй поселян, чини пирамидки. Вот мы, как дети, и посекли самую розочку-то сдуру. Глупы мы, что делать, Иван Алексеевич! Я уже и сам своим говорил...

— И ты тоже, с своим рылом, туда же суешься! — злобно зашипел старик. — Уж дал бы удовольствие молодым господам языки чесать! А то и мы с своими дегтярными чоботами в их барские палаты затесались...

Купчик запахнулся полами синего кафтана, вздохнул, взглянул рассеянно через забор и сказал:

— Вы, сударь, про все расспросили Ивана Алексеевича?

— Почти...

— Спросите их, как они офицерский чин получили. Ведь они тоже из наших, из кантонистов вышли...

Старик позеленел. Табачная капля сбежала ему на фиолетовый, растерявшийся и в досаде вилявший нос, и долго он ловил ее концом также дрожавшего клетчатого платка.

— Я чин получил по заслуге! Так-то-с! Был у нас окружной из немцев, злюка из злюк, и такой уже аккуратист, что куда мы все привычны были к чистоте и к порядку, а где бывало он корень пустит, ажно тошно смотреть на него, душу вон воротит. Имел я должность, знаете, крошечную такую, с пуговку — за конюшнями надзирал, а хотелось получить местечко доходное, где нужен был офицерский чин. Я же был из кантонистов унтером. Ну, я и выдумал, когда ожидали в наш округ этого немца, такой рисунок кирпичного заборчика, что, когда он приехал да метнул в сторону нечаянно на него взглядом, так из коляски даже сейчас вышел. Уж он ходил-ходил возле него,. смотрел, даже заплакал от радости. А заборчик вышел весь сквозной, точно из дерева, прорезной. Делала его целая рабочая рота, день и ночь трудилась. Вышло красиво, только непрочно; пойдет корова, почешется и вывалит стенку. Но, соблюдая благолепие улиц, мы дали приказ: не допускать коров чесаться о заборы в той деревушке, и дело обошлось.

Граф приехал, за заборчики того немца по плечу потрепал, к себе на обед пригласил, да рассердившись тут же на одного начальника из русских князьков за вольнодумство, при всем сопровождавшем его генералитете, и гаркнул: «Я вас, сударь, знать не хочу, что вы ваше сиятельство; вы передо мной рядовой солдат, а в вашей дистанции у поселян лица все еще бунтовщиками смотрят, у трех бакенбарды этакими стогами сена запущены, все еще на бороды смахивают. Отставляю вас от должности! Берите примерь с *корнета Васильева*: он не только усерднейший слуга Его Величества, Государя и Благодетеля моего, но притом и успешный прожектер. Взять, судари мои, пример с его заборчика во все поселения!» — «Слушаем!» — ответили раболепно все начальники, стоя перед графом на аудиенции. «Смею доложить, — прибавил мой окружной, — Васильев не корнет, а унтер-офицер!» Граф метнул в него огненным взором и сказал: «Знаю, но такая ошибка в ошибку не ставится!» И представьте, желая ли поддержать в себе поэтому сходство с королями, не в пример другим, выхлопотал мне чин корнета — за изобретение в безлесных степях забора, удобного и дешевого, сохраняющего экономию империи. Ну, что же ты рыло-то скалишь? — прибавил старик лавочнику. — Коли меня в благородство произвели, значит, я стоил того!

— Что и говорить-то, что и говорить! Ты, ваше благородие, все свое, да и мы свое. Объясни их высокоблагородию ту причту: отчего же это наш брат, поселянин, вот хоть бы и я, богатый человек, как ты меня считаешь, отчего, чуть нас назначили обратить в первое состояние, мы втридорога закупили у господ помещиков хвороста да кольев и поспешили заплести плетневые заборы на место-то ваших кирпичных, а ваши рядчикам распродали либо в мусор сволокли? Назло теснению, скажешь, барин? От супротивности? Ан нет: сам же ты признался, что коровы, чесамшись, твои заборчики валяли: не на привязи же их держать было. Да и мазка, беленье, поправка всякая разоряла, а тут десять хворостинок приволок и починил опять лет на пять, на шесть...

— Тьфу! Не слушайте его! — крикнул сердито старик. — За плетни они стоят потому, что хвороста украдут и у помещиков, и в казне, а кирпич сделай сам либо купи на заводе! Извините, я маленько вас оставлю; вон идет г. аудитор Поклонский. Есть к нему дело...

Васильев нас оставил. Я же с лавочником вышел потихоньку из ворот постоялого двора и пошел с ним вдоль улицы, к стороне огромного сада шелковичных плантаций и рассадника разных ботанических растений. В тени дремучих ракит, тополей и белых акаций возвышались белые громадные здания недавно закрытого здесь военного госпиталя. Ряды зеленых крыш весело сверкали на солнце, уходя в развесистые кущи пространных, ловко раскинутых аллей. Флигеля, размалеванные по стенам желтою краскою или окрашенные краскою синею, розовою, шли по сторонам главных корпусов.

— Дворцы, да и полно! — сказал я, невольно любуясь огромными, удобными и щегольскими постройками. — А тоже, кажется, пусты; вон одни ласточки да стрижи теперь кружатся роем под крышами.

— И тоже назначены к продаже с аукциона. Пока, однако, тут помещается последняя смена военного начальства. Она завершает тут прежние дела. А шелковицу нашу видели теперь?

— Нет.

— Извольте своротить сюда, под вербами вам не видно.

Мы свернули к другой стороне дороги. Я остолбенел от картины, представившейся моим глазам. Громадные плантации тутовых деревьев, как оказалось, в несколько десятков десятин земли, шли низменною равниною, огибая с этой стороны госпиталь и крайние улицы села. Был май месяц. Все остальные деревья сверкали яркою, нежною зеленью. Шелковичные заросли стояли безлистые, сухие, точно зимою лесной хворост, сквозя, как стебли травы, на далекое пространство.

— Что это значит?

— Вымерзли в эту зиму дотла.

— Какая жалость!

— Да-с; сказать бы, что от дурного присмотра — так нет! Просто над этими... про... над нашими бедными поселениями точно ворох разных бед кто-нибудь высыпал. Тысячи народа нашего сгонялись сюда, ямки и канавы рыли, молодые деревца сажали, школы сеянков разводили, окапывали каждый кустик. Садовники тут содержались, всякому жалованье шло. При преемнике гр. Аракчеева, при графе Никитине, пуд, что ли, шелку со всех поселений в губернии нашей, Харьковской, говорят, собиралось... Ну, теперь разочло начальство, что как все эти продовольствия кавалерии натурою, так равно ремонты всяких штабов да комитетов больно дорого стоят казне, и проку оттого нет никакого; тоже разочли и о шелководстве нашем военном. Отдали это, после всякой там переписки, с торгов частному лицу наши шелковичные сады. Тот ухватился за даровые эти рощи, думает: вот сорву барыши! А тут эта зима: все в два последние месяца зимою и вымерзло до корешка.

— Отойдут же хоть из корня деревья?

— Бог их знает, может и отойдут; лет пять надо будет подождать, когда некоторые и отойдут! Да что, пустое это дело тут! Наш брат мало понимает в нем, а наймом все вести вряд ли выгодно будет! Это не то, что «на дурничку», согнать человек семьсот в один день с бабами, да после и щеголять, продавши три-четыре фунта сырца. Супротив хлебопашества вряд это али другое какое дело тут верх возьмет.

— Так вы довольны, то есть поселяне, что эту военщину теперь распустили и вас опять поворотили в государственных?

Лавочник сел на остаток какой-то былой уличной тумбочки, указавши мне возле такую же, и ответил:

— Как не рады, ваше высокоблагородие! Господа офицеры из нашего былого начальства, вроде вот господина корнета Васильева...

— Да разве он до сих пор корнет?

— Так на корнете и остался: мы его Заборчиковым и зовем... больше от начальства не удостоен, особенно, как за поставку сапогов с картонными подошвами его отчислили вчистую... Так вот эти-то господа нашею переменою недоволь-

ны! А уж зато мы-то все, простой народ, и-и! Поверите ли, как увидели все, что бороды запускать летом-то можно, когда не то что до бритвы, вшей некогда вычесать с головы, да что этих фуражек военных не требуют носить, и на сгоны не сгоняют нас гуртом песок возить, либо дрова гг. офицерам, либо щекатурить какие конюшни, да пустяки всякие, беседки, что ли, строить, — так просто не опомнились от радости. Спросите по церквам, сколько свечного сбора прибавилось у нас с тех пор. Пахать и сеять мы стали вдвое, скота держим втрое против прежнего. Лет пять-шесть назад сколько недоимки в податях было, а теперь, спросите в Харькове, за полгода вперед сносят, до срока, не то что еще недоимки там какие!

— Коммерция же ваша как идет?

— Коммерция — ничего-с! Вот я прежде больше бакалеей, чаем, сахаром, да французскими винами торговал, да табаком: знаете, полки в нашей слободе, все кавалерия еще недавно стояла; ну, для военного лишь бы пуншик, да папироска, да вот еще карты. Забирать-то точно забирали у меня гибель: чуть привезешь чего свежего из Харькова, от Лемера или от Павлова, так и расхватают. Да только расплата шла туго. На двух полках по тысяче целковых так и пропало, а на войну, в поход, сколько долгов увезено у меня — и не спрашивайте...

— Теперь же?

— Теперь не то. Теперь я сам — и подчиненный, и начальство. Я, примером, бородач, торгую, а сосед мой, мужик, головою в правлении сидит. Ну, случись должок, его теперь легче и выправишь. Да, кроме бакалеи-то, я стал теперь и ситцами торговать, и ссыпку хлеба начал...

— Ситцами?!

— А как бы вы думали? Заверните-ка теперь сюда в праздник какой, не говорю уже о ярмарке. У нашей церкви возы с красным товаром стоят. Дети орехи с лотков покупают. А поселянка в церкви свечку-таки поставит, помолится, а потом к краснорядцу норовит, и уже дешевки какой ей не подавай теперь: французского ситцу по 30 к. серебром да по 40 к. ей подавай. Ну, и сунешь ей клинцовского какого

или бетепажевского заместо французского. Подите вы, хехе!.. с нашими запасницами прежними теперь! Иной раз штуку ситцу да бунта три платков раскупят, пока еще после обедни иные старики молебны за новую волю нашу правят...

— А ссыпка хлеба?

— Это тоже хорошее дело. Я вот, да еще один тут, плохенький капитанчик из отставных, амбары для этого построили. Да что капитан? Деньжат у него маловато; жмется. Нам такие неопасны; да опять же торгует он на шестьсот целковых, положим, а за сто, в том числе, еще сидельца амбарного держит; сам же дома больше все трубочку сосет. Наш же брат сам: и в красной лавке посидишь, и в амбаре кули примешь — у иного за чистые деньги, у другого так, дашь ему какой ножик, либо веревку, либо связку табаку, либо платок его бабе. Ну, так-то глядишь, сотня-другая четвертей пшеницы и наберется. Да эти же свои братья поселяне ее и за четыреста верст, и в Бердянск к морю весной свезут чуть не задаром; они за солью едут, в деньгах нуждаются — ты им дашь вперед, и глядишь — к Троице вернулись: рубль на полтину и выторгован; так-то-с...

— Кроме вас и другие поселяне торгуют уже хлебом?

— Что я за хлебный купец? это я так, ради скуки только, всего понемногу; лишь бы не с убытками, как с гг. офицерами, лемеровскими винами! А вот в слободах других у нас, в Лозовеньке, Балаклее, Волоховом Яру, так там есть такие ссыпщики из наших мужиков, что с той поры, как к нам воротили волю, по тысяче и по две четвертей из одних ворот стали к морю возить на чумацких фурах. Взгляните вы на наши хлебные токи осенью — так ломятся теперь от скирд. О нехозяевах и не слышно. Всяк теперь за плуг ухватился, не то что прежде выгоднее было так, где-нибудь, мотаться. Землю теперь разделили по душам, и податями обложили каждую десятину: волею-неволею работай. Да и лучше. Побывали бы вы на наших торгах, когда залишнюю землю с аукциона, значит, отдают; года в два-три раз это бывать завелось.

— Какие же это земли залишние?

— Да, видите ли, прежде на этих землях сгоном сено для кавалерии косили, а более это сено, слышно, самим гг. начальникам шло. Ну-с, а теперь нарезали на каждое село, на общество, положим, по 4½ десятины на душу, за них идут в казну подати. А лишние земли при каждом селе, десятин по 500, по 1000 и более, раздают с торгов. Таких десятин тысяч 50 наберется тут только в окружности. Их расхватывают по рублю-целковому и более на одно лето с десятины. Деньги вносят разом, чистоганом, да кладут-то их теперь, слышно, в простенькое, так сказать, уездное казначейство, под замок, что ли, Федора Ивановича, коли знаете г. казначея в Харькове: может быть, подорожные у него брали. — г. Литвинов фамилия... Ну, у этого денежка невзначай со стола казенного не упадет! Может, слышали, как дважды под его подвал хваты подрывались? Не удалось! Теперь-то, говорят, казна и увидала, как ее сосали эти-то поселения. А залишние земли и от наших все-таки, поселянских, рук не ушли. Большую часть дач этих мы же с торгов разобрали обществами: только поглядите теперь: свинки по земле этой сенокосной уже не толкутся, лошади какой блудящей по траве там не увидите! Своих сторожей держат; да и сено-то косят почище, стоги складывают повыше и поаккуратнее. Ну, словом, благодать на сердце царево сошла, когда он, голубчик, о нас-то подумал...

Вдали показался опять корнет Васильев. Он шел чернее тучи осенней.

— Замечаете, видно, аудитор-то Поклонский барину дурные вести дал...

— А что?

— Торгуют вместе эти палаты-с, гошпитали, под коими мы теперь сидим. Видно, цену на торги великую готовит начальство...

Старик подошел, снял картуз, обтер с лысины пот и со всего размаха ударил о землю и картузом, и носовым платком. Мы переглянулись. Погодя немного, Васильев улыбнулся. Хмурые, кустоватые брови его разошлись. Сизый носик опять весело и хитро задвигался.

— Мы с Поклонским хотели с торгов госпиталь этот купить. Торги, кажется, будут через полгода; да пугают большою ценою. Мы даем чистоганом пять тысяч целковых.

Лавочник сердито фыркнул.

— Что ты?

— Как что?! Да ведь вы за глаза двадцать тысяч на слом на одном кирпиче выберете.

— Эка важность! А тебе-то что, суконное твое рыло? А? Чего ты пристал? Спрашивают тебя, что ли? Или завидно стало?

— Как не завидно, коли отец мой лично, отцы наши своими руками эти-то махинища сооружали, а я мальчишкой воду сюда и песок таскал.

— Но ведь это, дружище, казне даром обошлось! Вы сгоном работали, почитай, барщиной. То, все же хорошо получить казне 5000 р. за то, за что она почти не тратилась.

— Пять тысяч! Меньше 50 000 целковых отдать нельзя. Извини, ваше благородие!

— Ты, что ли, отдавать будешь?

— Да, я!

— Ты?

— Я!

— Тьфу! — Васильев опять со злостью плюнул и показал мне на ладонь: — Это видите?

— Вижу.

— Волосам тут не быть?

— Не быть...

— Ну, так и этому мужичью, всяким лавочникам, господами не сделаться. Погодите, пофинтите вы еще годок-другой. А там опять вас в военные поселяне повернут.

Старик простился со мной и ушел в комитет. Мы с лавочником воротились на постоялый двор. Дорогой он сказал мне:

— Сынишка мой грамоте обучен...

— Чай, при прежних порядках?

— Да, правда. А теперь наши слободы все ответили на предложение самим завести школы: не хотим школ, а

нужно обучать сына кому, он и сам к дьячку его отведет...

— Что же? Ведь это скверно? В кабаках от поселян отбоя нет, а по гривеннику в год с души на учителя сложиться тяжело.

Лавочник вздохнул и осмотрелся кругом.

— Тяжело? Где тяжело! Не беспокойтесь, барин, все будет. А теперь еще молчат, потому, прежние распорядки еще на свежей памяти. Дайте самим сделать, и сделают.

— Так ты говорил про сына?

— Да, он у меня грамоте обучен, читает историю. И говорит он, что эти наши поселенские слободы прежде знаменитые были, Андреевка, равно как и Балаклея. В Андреевке сотня изюмского слободского полка стояла, и, знать, тут сотник от татар да от поляков отбивался, и царя Петра I у себя в гостях принимал, так и в печатных книгах записано. А в Балаклее, вблизи села, царь Петр лагерем стоял, как под Полтаву на шведа шел, и колокол там на церковь сам встащил. Да и в летописях наших украинских постоянно эти имена попадаются. Нам, старикам, приятно вычитывать, что и в старину села и слободы эти жили, как подобает человеку. А граф-то Аракчеев... все перегнул, перевернул, перекрестил по-своему... Андреевку нашу назвали Ново-Борисоглебском, а старую-то, еще в дни Годунова, говорят, славную, Балаклею — Ново-Серпуховом. Точно завоеватель-неприятель в Крыму свои имена надавал урочищам. Поверите ли, в первые годы поселян хватали в холодную, секли, чуть вместо Ново-Серпухова Балаклеей свою слободу прозовут между собою. А в обоих селах по пяти тысяч душ, не слышно было искони доныне ни грабежей, ни убийств, ни супротивности начальству... Порядки тяжелые изменились, мы опять вольными по царе стали, а имен нам наших не возвращают, и господа офицеры, наше еще военное начальство, меж собой и с народом наши старые имена говорят, а в бумагах все новые прозвища наши пишут. А люди они теперь на подбор хорошие: все из новых, ласковых и умных. Закон берегут и нас отстаивают. Так видите ли, теперь велено, что ли...

— В прежнее время, я слышал, поселяне ваши сильно соседние помещичьи леса обижали. Теперь же тише стали?

— Куда им теперь! Вот у нас в Андреевке теперь головою Астафьев. Случилось недавно такое дело. В семи верстах отсюда живет помещик; лесничий его и дал поселянину нашему Лещенку вывезти пять штук дерева. Помещик дал знать прямо голове. Голова взял понятых, лично накрыл украденное дерево и положил по суду так: Лещенка заставить отвезти дерево обратно помещику, да по оценке за кражу, по таксе казенной, десять целковых штрафа в пользу помещика с него же; да еще Лещенка предал штрафу работой в пользу общества. Так как привел в исполнение этот приговор, воровство у андреевских поселян как рукой сняло. А прежде пошло бы дело за справками, да командировками, да переписками, да отписками...

Через два часа после этого разговора с корнетом Васильевым и лавочником я въехал в г. Чугуев, средоточие бывших еще недавно северных (на Украине) военных поселений. Любимое детище графов Аракчеева и Никитина, Чугуев стал в последние два-три года решительно неузнаваем.

Прежде Чугуев был весь в садах. Старинные акты говорят, что тут, в царствование Анны Иоанновны, были виноградники. Сообразивши, что Чугуев находится на крутой горе, окружаемой с двух сторон Донцом, граф Аракчеев решил из него сделать столицу своих подбритых, вымуштрованных и всячески перекроенных на его мерку «граничар» — Gränzes-Völker, как в Австрии, сводившей с ума тогда сего великого стратега. Пока у окрестных помещиков волей и неволей скупались хутора и села, тут же обращаемые в поселения, а вольных хлебопашцев из бывших украинских казаков силой, нередко с грозными военными экзекуциями, делали безобразными двуутробками, т. е. солдатами-пахарями, — в Чугуеве особенно трудно было бороться с народонаселением. Отсюда, между прочим, выведено сорок отставных майоров, поселенных гуртом близ Салтова в селе, прозванном народом Сороковкой, где каждый из майоров получил по 40 десятин казенной земли, а их земли близ Чугуева взяты под поселение.

Кто из бывших на юге России не помнит сороковых годов, времени высшего процветания города Чугуева? Кто не помнит его белых, точно из карты вырезанных по одному образцу, домиков, вытянутых в шеренги по длинным улицам и крытых черепицей? Кто не помнит его нескончаемых смотров, парадов, вечной пыли, поднимаемой конскими копытами, пушками и ногами, в три темпа поднимасмыми вверх? Во всех уголках мундиры. В окнах усы, трубки, красные лацканы и опять мундиры. Здесь замыслилась и привелась в исполнение под Вознесенском знаменитая кадриль, исполненная верхом на лошадях уланами. Заставы у въезда и выезда, гауптвахты там же, гауптвахта еще в средине города. Скачут курьеры; почтовая контора ломится от тюков с письмами, предписаниями и донесениями. Команды входят, выходят и опять входят. Поселяне чистят офицерских лошадей, кормят солдат, ходят артелями на сгонные работы вроде сыпания «песку по песку», о чем сохранились намеки в распеваемой теперь здесь песне о былом:

Жизнь в военном поселенье
Настоящее мученье;
Волостные, окружные,
Все-то строгие такие,
Лучших не сыскать!
Люди возят хлеб мешками,
Мы же все песок возами —
Сыпать по песку!

Теперь Чугуев, отрадно даже сказать, стал гражданским городом. Аптека из окрестностей (отчего она была за городом в версте? — Бог весть!) перешла в средину его. Домики до того ударились в перестройку на гражданский лад, не на вытяжку и не по одной форме, что иные вылезли даже на улицу вовсе боком. Явилось много постоялых дворов. Казенные офицерские и генеральские дома распроданы в частные руки. Явилось много гражданских костюмов, постоянных граждан в пальто и чуйках. Базар гудит народом по понедельникам. Являются вывески частных мастеровых.

Словом, из какой-то холостой, недомовитой гостиницы, где каждый ухорский проезжий, временный ее обитатель,

позволяет себе и столы исчерчивать ножиком, и на стенах всякие прелести писать, Чугуев становится теперь, и скоро окончательно станет, семейным домом, милым и уютным жилищем, у которого составятся и свои отрадные предания, и свои постоянные обладатели по праву собственности.

Но еще много в Чугуеве теперь разношерстной и разнокалиберной публики из былых его судеб: отставных писарей, аудиторов не у дел, заштатных чинов всякого звания, составляющих в нем партию старую, или, так называемых здесь аракчеевофилов. Они, вероятно, скоро перестанут неприлично ругаться и окончательно угомонятся, направив свои силы к другим поприщам: к земледелию или торговле хотя пряниками или пастилой из осиновских и зарожненских груш и слив на базаре.

В Чугуеве не слышно более неугомонной барабанной трели. Над зданием главного штаба — хорошенькая каланча с часами, а в самом здании, вместо сотни писарей, аудиторов и прочих чинов, очень успешно организованное на новый лад военное училище... не кантонистов, а детей всяких сословий, приготовляемых в технические военные звания по артиллерии, фортификации и инженерному искусству. На площадке былой грозной «чугуевской главной гауптвахты» я увидел толпу веселых краснощеких детей, игравших в мяч между уроками.

В доме бывших полковых командиров, квартировавших здесь в доме, давшем столько сюжетов очеркам г. Турбина и прекрасным рассказам из военной жизни г. Афанасьева, теперь главная откупная контора. Там, где мелькали личики полковницких дочек, а рядом с ними усики разных «с ума сводов», торчат бочки, ведра и молчаливые лица писцов канцелярии акцизно-откупного комиссионерства, также доживающего тут свой век.

Вместо десятка генералов, постоянно считавшихся здесь старшинством, коменданта и окружного, которому всё и все мешали, сбивая с толку все его распоряжения о поселянах, здесь теперь одна власть: новоставленный «от губернии» городничий. Заведены свои квартальные, пока собственно «хватальные» (для пьяниц из разного былого здесь люда) из

унтер-офицеров. Много выходит в этой ломке старого и перестройке всего здешнего мирка тяжелых казусов для этого городничего. Откуп, пользуясь прежним произволом, позволяет себе еще производить при погребах виноградных вин продажу водки на вынос и для распивки на месте. Городничий Тризна запрашивает откуп об этих нарушениях его прав и обязанностей. Винный главный комиссионер, по поводу запроса городничего Тризны «представить ему список мест продажи питий», отвечает на печатном бланке, как некий маршал Пелисье смиренному русскому капитану порта: «Мы не понимаем из запроса вашего, что нужно вашему благородию от нас: *склянки, пробки, деньги, или самые горячие напитки*». И бумага — за нумером, и за ссылкой на своего почтенного патрона, барона Фитингофа, который, вероятно, об этом и не помышляет.

Входит г. Тризна в три часа в частный отель, содержимый некоею вдовою-солдаткою, слыша о буйстве и криках, вылетавших из окон сего кабачка, и говорит: «По закону далее полуночи кабаки не могут быть открыты. Выходите отсюда все домой». Утром храбрая вдова призвана к допросу. Но отвечать и судиться у частного гражданского городничего она не желает.

— Дайте мне антиллерийского начальника! — кричит она, вспоминая былые здешние привилегии и желая иметь над собою суд специалиста, так как муж ее был тут когда-то в артиллерии.

Такова-то была здесь прежде путаница семи подразделений разных подчиненных. Теперь, слава тебе Господи, все минует, все обстроится заново. Я здесь вырос, служил в разных службах и знаю место: город лет через десять будет на славу, особенно как созреет и соседний с нашим военно-поселенским крестьянский вопрос.

Вечером пил я чай в подгородней поселенской слободке Осиновке, у бывшего еще недавно военного поселянина, а теперь второй гильдии купца Зорина. Он держит гурты рогатого скота и овец, нагуливает их на арендуемых землях и осенью бьет на сало и солонину в собственных бойнях. Недавно он завел и свечной завод. Прежде он держал разные

подряды на военные команды. Теперь у него, говорят, капитал тысяч в двести серебром. Старшего сына он выделил и дал ему чистоганом 25 000 р. с. Сверх того, он купил на границе Купянского уезда тысячу десятин земли, где ведет уже два года хлебопашество наймом. Землю эту он, как слышно, купил у какого-то обедневшего помещика.

В домике у него, оклеенном французскими обоями, стоит рояль. На столе лежат «Биржевые ведомости» и книжка журнала «Время». Младший сын его учится уже давно. Ему лет десять. Зимою он учится, а летом ездит в фургоне, с отцовскими сгонщиками, в объезд гуртов скота и овец. Старик былого не бранит, а в молодое и новое верует всею душой. Счастлив этот несчастный «мономан села Грузина», что его громадные и опасные ошибки исправлены теперь такою опытною рукой.

1862 г.

IV

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ БЛИЗ КРЫМА

(ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ПО МАЛОРОССИИ)

В России в настоящее время[1] находится до 300 000 человек колонистов разных племен и вероисповеданий. Первые колонисты были водворены в нашем отечестве около 1763 года по указу императрицы Екатерины II; им дано было на каждое семейство от двадцати пяти до тридцати десятин земли. Все колонисты состояли под ведением комитета опекунства об иностранцах. Особенные привилегии быстро раз-

[1] Писано в 1855 г.

вили благосостояние наших колоний. С той поры их народонаселение беспрестанно увеличивалось. В Сарептской колонии оно удваивалось в каждые двадцать два или двадцать пять лет. Взглянем на состояние немецких колоний в наших херсонских степях, именно колоний *менонистов*.

Недавно мы имели случай видеть все менонистские колонии, которые лежат по большой дороге из Керчи, через Арабатскую Стрелку, Мелитополь и Орехов, в Екатеринославль.

Колонии эти, числом до двадцати нумеров, как их называют русские, носят имена или немецкие, или татарские, или русские. Они расположены в небольших расстояниях друг от друга и представляют вид небольших германских торговых городков. Большая дорога идет чрез их главные улицы.

Каждому хозяину полагается обязанностью возделывать небольшой домашний сад. Часть этого сада засевается фруктовыми деревьями, другая часть — дикими деревьями, третья — тутовыми. Кроме этого сада, все хозяева общими средствами обязаны возделывать огромный общественный сад своей колонии. Этот сад имеет также три разряда дерев: фруктовых, диких и тутовых. Подобное распоряжение имело самое благодетельное влияние на пустынные степи нашего юга. Дорога, по которой вы большею частию не встретите даже верст, заменяемых здесь небольшими насыпями, во многих местах идет роскошною аллеею менонистских плантаций... Степи наши обращаются в сады...

Сверх этой первой обязанности, менонистские колонисты должны устраивать в своих хлебных полях живые изгороди. Живые изгороди удались здесь в отличном виде. Кроме тени, которою они увеличивают влажность атмосферы и степной почвы, живые изгороди составляют притом лучшую защиту против постоянных степных ветров, из которых восточный, летний, особенно страшен для нашей благословенной житницы Малороссии.

Самые травы вокруг садов и живых изгородей оживляются, разрастаются и дают превосходный укос. Иногда в местах, долгое время обнаженных и обгорелых, вдруг явля-

ются травы самые сочные и редкие. В несчастные годы, когда для южных хозяйств в Крыму и в степях Украины сено чрезвычайно дорожает, у менонистов его бывает столько, что они им снабжают самых отдаленных своих соседей.

Колонии состоят из главной улицы и двух или трех переулков. Дома все деревянные, на каменных фундаментах, в два и часто в три этажа. Кровли высокие, острые, выкрашенные в красный или в черный цвет. Крыльцо каждого дома выходит на улицу, что очень поражает путешественников, привыкших в Крыму к домам, которые на улицу не имеют даже окон и представляют сплошные, печальные массы. Перед домом зажиточных менонистов вы увидите колодец с колесом и чистенькою голубою бадьей; подле помещается длинное корыто, куда бежит вода для скота. Кроме домового садика, который выходит на улицу, как в Москве в Садовой улице или в Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова, вы иногда увидите хорошенький павильон, в котором женский пол менонистского семейства в летние дни купается в чистеньких и оранжевых ваннах. Рядом с каждым домом устроены сараи; одна часть сарая служит для помещения фабрики или мастерской, в другой ставятся земледельческие орудия и экипажи. За сараем помещаются конюшни, овечьи загоны, бойни, погреба и ледники. У каждого селения возвышается столб с надписью на металлической доске: такая-то колония, столько-то жителей и домов.

Менонисты имеют довольно оригинальное устройство своих общин. Они не допускают между собою никакой роскоши, никакого щегольства. Дорогие ткани, модные платья женщин и мужчин, пестрые цвета — все это запрещено у них. Для женщин существует здесь такой же, установленный годами, неизменный наряд, как и для мужчин. В этом их хозяева находят огромную выгоду. Подобно тому, как в Петербурге, Лондоне и Вене денди, например, ни в каком случае в настоящее время не смеют ходить, положим, в желтых шелковых фраках или в блондовых жилетах, так точно и

менонистские модницы не смеют носить прически a la Titus или шелковых платьев с воланами. У менонистов не существует даже слов и понятий о моде и современности вкуса. У них все, как в старину. Мужчины уже четвертый десяток носят зеленые суконные куртки, узкие черные панталоны, что безобразит их неуклюжие и длинные ноги, башмаки, подкованные гвоздями и шапки с колоссальными козырьками; летом к этому костюму присоединяется соломенная шляпа. Женщины ходят в синих чулках; эти синие чулки как нельзя лучше приходятся к менонисткам, потому что они ужасные умницы, скороспелки, пишут, кроме отчетов по экономии, свои дневники и участвуют в туземных газетах, «Zeitung», которых у них две. Все менонистки носят короткие шерстяные юбки, черные передники, голубые ситцевые корсажи и несколько ниток ожерелья. Волосы убирают в корзинку, а виски заплетают косичками и в виде белокурых клапанчиков укладывают по бокам бровей.

Мужчины и женщины все ужасные флегматики, но опрятны, рассудительны, работящи и экономны. Изгнав роскошь, менонисты распорядились так же и с изящными искусствами: музыка у них предана остракизму и запрещена под страхом строгих взысканий. Танцы считаются одним из смертных грехов. Молодые мужчины совершенно удалены от женского общества. Менонисты говорят, что сближение молодых людей обоего пола порождает только пошлое волокитство, бесхарактерность, легкость и ветреность мыслей. Вы их не уверите, что это отчуждение мужчин от общества женщин порождает еще худшие последствия: угрюмость характера первых и смешную сентиментальность последних; молодые мужчины в свободное время губят свои досуги в пьянстве, в курении кнастера и в чтении глупейших рыцарских сказок, и, наконец, браки редко бывают счастливы у менонистов, потому что жених и невеста до дня свадьбы редко знают друг друга даже по имени.

Менонистское начальство считает обязанностью следить за частной жизнью каждого из колонистов. Когда какой-ни-

будь член менонистского общества своими поступками, развратным поведением или неповиновением обществу навлечет на себя общее негодование, его призывают в молитвенный дом. Президент совета читает ему его проступки, укоряет его в бесчестной жизни и, от имени общества, исключает из числа членов колонии: это значит, что виновный лишается чести, всего имения, жены и детей... Никто ему не смеет подать руку! Исключенному остается одно: поступить в наемники к одному из членов колонии. Если он исправится, лет через пять, правление колонии призывает его вновь в молитвенный дом, читает ему положение совета и объявляет, что общество, исключив его из своего состава, положило своею обязанностью следить за ним, что он своею последнею честною жизнью искупил свое прошедшее и что общество вновь принимает его в свою среду, возвращает ему его права, имение и семейство, бывшее без него под опекою общества.

Благодетельные меры правительства совершенно осчастливили этот чудный уголок России. В числе менонистов есть семейства, которые пришли в наше отечество, не имея ничего, кроме жажды труда и хозяйственных познаний, а ныне пользуются огромными богатствами. Фамилии *Корниза*, поместья которого, Тощенаг и Юшакли, чудно устроены, и *Пфейля* пользуются всеобщим уважением.

Корниз, с самого прибытия в Россию до нынешнего времени, постоянно был главою менонистских колоний. Честность, здравый ум, гениальные способности в науке хозяйства и в практике положительной жизни, наконец, европейская ученость, доказательством которой служат его сочинения по части хозяйства и сельской промышленности, — все это характеризует представителя менонистов. Корниз, кроме забот о своих соотечественниках, много сделал и для других племен южной России. Так, его содействием к осуществлению благих предначертаний правительства дикие ногайцы стали теперь народом оседлым. Корниз сперва входил с ними в дружбу, потом надежнейших ногайцев брал к себе в наемники, в услужение, учил их обработке земли, посеву хлебов и деревьев, обогащал

их сколько можно, просвещал — словом, доводил их личность до личности европейца и потом отпускал их в родные кочевья... Образование таких пришлецов быстро распространялось на диких ногайцев, они бросали свои кибитки, селились в степях, у рек и озер, заводили вначале род татарских аулов, строили сакли, потом малороссийские мазанки, хаты, а ныне вы встретите целые ногайские селения, которых нельзя отличить от немецких колоний. По распоряжению местного начальства, здесь обращают большое внимание на благочиние ногайских поселений. Дурные хозяева, за нерадение и нечистоту в домах, переселяются в заднюю часть деревень, и желание жить в главной улице, на большой дороге, заставляет ногайцев бросать и природную лень, и природную дикость.

Несмотря на нынешнее свое богатство, ни один из честных менонистов не переменит своих привычек и образа жизни.

У одного из богатейших менонистских магнатов я как-то провел весь день и успел подметить много странного в чудной жизни его семейства. Старик-хозяин имеет теперь состояние в несколько миллионов. В разговорах своих он иногда ссылается на некоторые участки своих земель, говоря: «Да! у меня есть там-то клочок чернозема, там-то клочок степей», — а эти клочки состоят из нескольких тысяч десятин земли. Получая не один десяток тысяч рублей дохода, мой знакомый менонист живет очень просто, его дочери готовят ему обед, служат за столом, моют его бумажные колпаки и стелют гостям чистые, настоящие германские постели.

У другого менониста состояние значительнее, чем у предыдущего, и, несмотря на это, честный колонист объезжает на простой тележке каждый год свои земли, где пасутся бесчисленные стада овец и лошадей; выдал единственную дочь за своего чабана, пастуха, и вовсе не жалеет своего зятя, который по-прежнему целое лето живет в степи с овцами и только зимою предается счастию семейного уголка.

Кстати о стадах овец и лошадей. Теперь на юге, особенно у колонистов, коневодство играет важную роль. Заимствуем здесь описание степных новороссийских табунов из сочинения

Коля и, показав нашим читателям любопытную сторону нашей степной жизни, тем самым постараемся обратить их внимание на богатства наших колоний.

Под степными и дикими лошадьми не должно разуметь таких, которые пасутся на воле, без всякого надзора, и которых потом ловят; в этом смысле, может быть, встречаются еще табуны диких, никому не принадлежащих лошадей в киргизских и аральских степях, где есть огромные, необитаемые, никому не принадлежащие пространства. В новороссийских степях важнейшие из помещиков владеют такими огромными землями, что, за недостатком людей, могут обрабатывать только самую малейшую часть оных, а потому, кроме овец и рогатого скота, содержат большие табуны лошадей, которые посылают в отдаленнейшие пастбища или самые плохие угодья, и тем бесполезную траву превращают в выгодные силы, и задешево воспитывают в пустынях сильную породу лошадей.

Они покупают кобыл и жеребцов и отсылают их, под надзором пастухов, в степи для расплода. Жеребята оставляются в табунах, пока число лошадей в табуне не возрастет до известного предела, то есть пока имение может их прокормить, не вредя прочим отраслям хозяйства. Это число, по величине имения, бывает различно: от 100 до 800, даже 1000 лошадей. Иногда помещики имеют несколько подобных табунов, которые вместе возрастают тысяч до десяти штук, но тогда табуны распределяются по разным имениям, из которых для каждого едва ли назначается более тысячи. Когда табун размножается до известного числа лошадей, соответственного имению, начинается пользование оными; до того лошади родятся и издыхают, не принося никакой выгоды; пользование состоит в том, что из табуна частию берут рабочих лошадей, нужных для хозяйства в имении, частию же этих, на свободе степей окрепших, сильных животных продают охотникам, ремонтерам и на ярмарках.

Степное воспитание лошадей производится под надзором табунщиков.

Эти табунщики составляют столь же отличный тип степей, как и дикие лошади, и едва ли во всей Европе можно найти подобных людей: разве только нечто подобное можно встретить у их антиподов, в пампасах или травных степях Южной Америки. Пастухи овец и скота суть настоящие телегообитатели и возят за собою в своих странствованиях телеги, с которыми на короткое время и утверждаются в том или в другом месте. Этого небольшого удобства табунщик не имеет, потому что дикость и быстрота коней заставляют его постоянно быть верхом на лошади. Бурный темперамент его питомцев не дает ему ни минуты покоя: он день и ночь остается на лошади, которая не только служит ему сиденьем, но и столом для обеда, диваном и постелью... Этот народ приобретает удивительную способность удовлетворять все свои прихоти, для чего прочим людям необходима разная мебель, помощью одной лошади, от четырех ног которой они так же не отделены, как кентавры от своих...

Когда другие люди ищут покоя, тогда именно табунщик лишен его. Ночью, когда лошади далеко уходят пастись, он должен постоянно объезжать табун, потому что тогда-то и собираются все опасности от волков, воров, бури и прочего. В проливной дождь и метель ему хуже, чем лошадям, потому что последние могут отвертываться от ветра, а он должен постоянно идти против направления бури, чтоб смотреть за лошадьми и отгонять их; иначе они без призора, в сильную непогоду, рассеиваются по обнаженной степи... Табунщик обыкновенно носит панталоны из шкуры жеребячьей или телячьей; род камзола из того же материала, внутрь шерстью, под которою прежде билось лошадиное сердце, согревает его грудь. Все это стягивает кожаный ремень, к которому навешиваются разные редкости: кусочки металла, янтарь, деньги, древности...

Так как табунщики бывают и врачами порученной им скотины и почти всегда знают с дюжину разных средств, то обыкновенно пояса их обвешиваются хирургическими и медицинскими снарядами. Они носят высокие цилиндрические

шапки из черного бараньего меха. Сверху надевают свитку из темной овечьей шерсти; снаружи к ней приделан большой капюшон, который надвигается на шапку и лицо и в котором, как в древних шлемах, оставлены отверстия для глаз, носа и рта. В хорошую погоду капюшон висит на спине, как мешок, и действительно вместо него и употребляется... Табунщик бывает вооружен арапником, арканом и дубиной. Аркан — веревка длиною аршин в пятнадцать с узлом на конце: когда нужно, табунщик бросает его на лошадь, обматывает веревку об ее шею, затягивает узел и повергает пленника на землю. Дубинка обделана на кончике железом: ею бьют, иногда ее бросают.

Сверх этих вещей и чашки с водою (так как надобно возить с собою и колодец, необходимый при безводии степей), сверх сумы с хлебом и фляжки с водкой табунщик имеет еще некоторые безделицы, что можно себе представить, если вообразить, что лошадь — его арсенал, спальня, кладовая и кухня и что она должна мчать в галоп все предметы, удовлетворяющие жизненным потребностям. Эти, сказанным образом обвешанные, вооруженные дубиновержцы, работая своим хлопающим арапником, умеют удивительно искусно управлять неукротимыми конями своего табуна, решать их споры, водить их днем и ночью, в бури и непогоды, защищать от волков. Более всего хлопот причиняют им жеребцы, которые постоянно стараются утвердить свою власть над другими лошадьми, а потому и находятся с ними во всегдашней вражде...

Эти злые и упрямые султаны табунов, из коих некоторые живут в степи лет по пятнадцати и двадцати, не видав в глаза конюшни, иногда до того надоедают табунщикам, что они проклинают свое ремесло, отправляются к хозяевам и объявляют, что они с таким-то жеребцом не могут более служить и, как говорит Коль, или им не служить, или жеребцу не быть в табуне!.. В таких случаях своевольный жеребец продается или на время отсылается в темницу конюшни, где и должен искупить свою необузданность.

При неимоверных трудах табунщик редко достигает старости. Разумеется, и плата ему бывает высока. Они получают ежегодно от пяти до шести рублей за лошадь, и, следовательно, за тысячу штук получают от пяти до шести тысяч рублей ассигнациями! Это было бы выгодное жалованье для пастуха, если б он не должен был платить за пропадающих лошадей, нанимать себе товарищей, которых при табуне в тысячу лошадей не может быть менее трех, и держать своих верховых лошадей для езды.

Кража лошадей в степях производится иногда в большом виде, и при несчастии можно в одну ночь потерять большое число. Впрочем, если табунщики счастливы, ловки, поселяют страх в ворах и зверях, то через несколько лет могут собрать порядочный капиталец и оставить свое звание. Но жадность к деньгам ослепляет их: они не оставляют своего ремесла вовремя и обыкновенно теряют все, что до того успеют сберечь.

Иногда в тяжелой жизни табунщиков бывает и веселье. Денег у них довольно, жид верит на сколько угодно, и они проводят ночи в степных корчмах. Поутру, проспавшись, мчатся на бегунах за табуном и сгоняют рассеенных. Если лошади в ночь наделали вред в полях или садах, то они умеют хитростями избежать ответственности.

Бывают и между табунщиками ужасные конокрады. Если они прогоняют свой табун, то берегись странник, остановившийся на большой дороге. Будто занимаясь только своими лошадьми, они подходят ближе и ближе и пасут своих лошадей подле дороги; но чуть солнце закатится и наступят сумерки, они напрягают свое зрение, как совы, и где только завидят парочку лошадок, которых, может быть, выпряг обозник и пустил на травку или которые зашли подалее от соседней деревни, тотчас настигают их безжалостным арканом и гонят весь табун в степь. Табунщики не держат краденого добра, а передают его своим приятелям противной стороны, с которыми всегда имеют ночные сходбища; эти приятели препровождают пленников далее, и таким образом

след их теряется. Время этих сделок — тихая летняя ночь... Воры-пастухи свершают тогда свои переезды верст по сорока и по пятидесяти, о которых так же мало известно, как и о ночных странствованиях хищных жителей пустыни. Монгольские могильные холмы бывают при этом случае местами сходки, впадины пещер — кошельками, а широкая степь — базаром...

Весною лошадям приволье во всех отношениях. Только волки, проголодавшись после зимы, иногда их сильно беспокоят. Волки, конечно, не осмеливаются прямо нападать на табуны, оберегаемые пастухами; но иногда случается им зарезать жеребенка, оставленного матерью, или отсталую хромую лошадь. Если то завидят другие лошади, то не дают пощады, а дубинка пастуха вылетает из его рук и убивает хищника до смерти. Летом случается, что лошади терпят от жаров. Тогда они пасутся только ночью в прохладных, несколько сыроватых долинах и оврагах, но к утру уже теряют аппетит и не едят более ни былинки. При наступлении жара они выходят на высокую степь, которая иногда еще освежается ветерком, так как долины и овраги, бывшие ночью прохладными погребами, днем раскаляются, как печи. Так как в степи тени вовсе нет, то лошади становятся в кружок головами и доставляют друг другу тень, хотя, впрочем, весьма скудную. В этом положении стоят они небольшими отделениями по целым часам, как статуи, и иногда только мотают головой, навевая тем себе несколько прохлады. Пастухи обыкновенно лежат кружками. После жажды и зноя лета наступает наконец приятное осеннее время, когда степь вновь зеленеет, вода течет обильнее, табуны отгуливаются и собираются со свежими силами.

Собственно в начале октября все стада возвращаются из степей, или их выгоняют туда только днем. Но если стоит хорошее время, то оставляют их в степях и после этого срока, пока, наконец, вдруг налетит вьюга, предвестница зимы. Тогда только и слышно, что у того помещика вьюга загнала сотню лошадей в лиман, озеро, образовавшееся от морских

наводнений, у другого еще более погибло в овраге. Но еще хуже этих вьюг густые туманы, случавшиеся осенью, так что шагах в десяти ничего нельзя различить. Тогда пастухи собирают свои табуны в возможно тесный круг и беспрестанно его объезжают; иногда туманы образуются так скоро, что лошадей не успевают собрать; если притом являются еще злые люди, то гибель табуна неизбежна.

Табуны пригоняются на ярмарки для продажи лошадей в Балту и в Бердичев. На ярмарках обводят места веревками или обносят лесом, и туда пускают табуны. Подле сидит хозяин, вокруг ходят охотники и покупщики и выбирают. От продавца нельзя требовать, чтоб он показал или подвел лошадь. Он отвечает, что «это дикие лошади, смотрите и выбирайте: такой-то лошади столько-то лет, я стою за это, больше ни за что не ручусь, — она сто́ит столько-то. Но наперед я не могу поймать лошади: это сто́ит много хлопот, и, пожалуй, при этом еще испортишь лошадь. Дайте табунщику столько-то на водку... Если поймает хорошо и осторожно, ваша взяла!» Действительно, табунщик может так туго набросить аркан, что от этого лошадь пострадает. Самые большие покупки делаются не на ярмарках, а в самих табунах. Ремонтеры и вообще оптовые закупщики ездят из табуна в табун и расспрашивают, есть ли лошади стольких-то лет, такого-то цвета, замечают, сколько их, и когда набирают достаточное число, то отправляют их на место назначения. При получении смотрят только лошадям в зубы, чтоб убедиться насчет лет; впрочем, известно, что этот дикий товар приблизительно имеет равную цену и что только воспитание и обучение лошади открывает ее хорошие и худые свойства.

Мы должны сказать еще несколько слов о зиме. Это время года самое несчастное для бедных животных: оно исполнено лишений, голода, холода, производит болезни и даже смерть. Загон, где их собирают, представляет вал, обведенный рвом. Только по местам находится род крыши для защиты от северных ветров. В таком жалком жилье бедные

животные должны терпеть ужасную стужу. В то же время они подвергаются иногда мучениям голода.

В начале зимы, когда в степях под снегом еще зеленеют немногие осенние травы, табунщик подкладывает им иногда пуки сена и соломы, и таким образом они перебиваются кое-как до января. И тогда недостаток проявляется во всей силе: все запасы истощаются, дурная погода продолжается, и бедному табуну подкладывают уже солому, назначенную было для топлива, и тростник; в отчаянных случаях раскрывают соломенные и тростниковые крыши и кормят скот тем, что достают. Всякую зиму табуны выходят больными и исхудалыми, будто привидения. Счастье, когда лошади еще выходят, потому что случаются зимы, когда они падают жертвами лишений; много лет тогда потребно для того, чтобы вновь поправить и усилить табуны. В такие годы, по словам автора «Обозрения экономической статистики России», хозяева готовы отдать все. Они обращаются к скрягам, которые, в надежде на такие времена, целые годы хранили сенные запасы и теперь продают их за безмерную цену, открывают амбары с хлебом, который был спрятан для «благоприятных обстоятельств». Картофель, репа, кукуруза, хлеб — все делится с животными; скупость человека переходит в жалость.

1855 г.

V

БЮДЖЕТ ОДНОГО ВЗЯТОЧНИКА

На днях судьба забросила меня, мимоездом, в один глухой степной городок.

Дело было простое: еврею, вознице моему, разумеется на долгих, нужно было покормить лошадей. Вылезши из-под клеенчатой занавески душного фургона, я вошел в питейный

дом, при котором находился и постоялый заезжий двор. В ожидании яичницы и вечного самовара я уселся перед столиком в качестве самого кроткого и долготерпеливого странника. Модные журнальные картинки тридцатых годов висели между окнами в рамках. Пожар Московского театра, удостоившийся уже чести перейти на носовые платки и обои, помещался на двух полосах последних, облепивших угол стены у печи. Духота была смертельная. Вдруг я услышал: «Держи, держи! вор! гвалт, держи!» — и в то же время мимо окна промчались взапуски, шлепая туфлями, два незнакомых еврея, в фуфайках, и мой возница, также еврей. Я выбежал на крыльцо. Оказалось, что, пока извозчик мой и шинкарь пересказывали друг другу новости о Харькове и Киеве, о Иоськах и Юдках, смелая и ловкая посторонняя рука, почти в виду евреев, направилась в фургон, вытащила оттуда мое пальто и мешок с поклажей и готовилась уже скрыться за угол. Общий гвалт поднял на ноги целый квартал. Выскочили из дворов Хайки, Нухимы, Мошки и Берки. Вор был схвачен и с триумфом отправлен в полицию при несметной толпе любопытных. Он оказался отставным уланским солдатом Шебардиным. Схваченный за полу обезумевшим от страху и злости евреем, племянником шинкаря, он озадачил всех вопросом: «Где тут живет Селиверстов?» — «Кто Селиверстов?» — «А наш солдатик!» — «А на что?» — «Да я его тут искал!» — «В фургоне??? Ступай, ступай к частному...»

Таким-то образом я и познакомился с героем моего рассказа, с частным приставом уездного степного городка NN, городка, окруженного безлесьем и глушью и выстроенного «в рассыпку и разметку»... чисто по-украински, на невылазном месте. Частный пристав, назовем его хоть Иван Семенычем, был непостижимо добрым, толстым, живым и уморительно-подвижным, пятидесятипятилетним существом. Маленькими, нежными и веселыми глазками он так и смотрел в душу. Переваливаясь то с дивана на стул, то со стула опять на диван, он поминутно поджимал под себя ножки,

складывал на животе руки, утирал клетчатым платком потеющее лицо и подбородок и заливался самым добродушным смехом. После кучи весело рассказанных анекдотов, когда я был уже представлен его жене, свояченице и двум его детям, Пете и Феклуше, находясь под влиянием происшествия с вором и комических рассказов хозяина, я медленно отодвинул стакан с чаем, помолчал и вдруг озадачил частного пристава таким вопросом:

— Послушайте, Иван Семеныч, скажите мне по правде... берете вы взятки?

Хозяин мой замер на стуле: улыбка его застыла на губах.

— Как-с? — спросил он немного погодя и весь превратился в изумление.

Более он не произнес ни слова, и я сам видел, как капля крупного пота собралась у него на лысине, сползла на лоб и стала скатываться на нос...

— Берете ли вы взятки? — повторил я внятно и явственно.

— Ах, батюшки! да что это такое? Какие вы вопросы задаете? — ответил Иван Семеныч, утираясь платком и семеня ногами по полу. Живот его так и ходил; жена усиленно сморкалась у окна; свояченица, потупя глаза, подбирала на спицы кучу спущенных петель. Даже Петя и Феклуша, с разинутыми ртами, стояли у двери и казались изумленными...

— Эх, Иван Семеныч, Иван Семеныч, что же вас так смутил мой вопрос? И неужели вам не приходило в голову, что такой же вопрос: «А ну-ка, почтеннейшее чадо Иоанн, не брал ли ты взяток?» — зададут вам на том свете?

Пристав молча и сурово встал со стула, бережно оправил жилет и сюртук с форменными пуговицами, не глядя на меня, раза два прошелся по комнате, стал у окна и сказал:

— Милостивый государь, такими вещами не шутят!

Я кинулся его успокаивать, хотел все обратить в шутку, ссылался на мой откровенный, несколько ветреный и юркий характер, столько вредивший мне в жизни в былые годы. Иван Семеныч, молча выслушав меня, сказал: «Жена, сестра, дети, марш! оставьте нас!» — и, когда те вышли, с увлечением сжал мне руки и спросил:

— Как вы думаете... я подлец?

Я был в свою очередь озадачен!

— Подлец, подлец! — думаете вы! — подхватил с горячностью Иван Семеныч. — И все вы так думаете! Да оно, пожалуй, что и правда!

— О! помилуйте! — начал я. — Я не думал, не мыслил вас обидеть, Иван Семеныч.

Он утерся, запер крепче дверь, сел и стиснул меня за руку:

— Милостивый государь! Скажу вам, что я вас не боюсь! Молоды вы очень пугать нас. Вздор вся ваша обличительная литература! Да и не провести вам нас, старых воробьев! Вы не служите: это видел я из вашего паспорта! Ну, да хоть бы вы и служили, хоть бы и разученые были все ваши высшие чины, так все-таки ничего они с нами не сделают. Скажите вы этим господам, коли когда приведет вас судьба говорить с ними, что ничего-таки, ровно ничего они не сделают с нами! Так-таки ровно ничего! Коли нас, мелких, топить, так топи палаты, правления, целые уезды, губернии! Все нынче на нас ездят! Вон начальник, один из бывших у нас, не чета вашим обличителям, вздумал отставлять взяточников. Началось дело с надсмотрщиков гражданской палаты по крепостным делам, вывозящих в конце года по 20 тысяч рублей серебром из города, и, переходя вдоль всяких секретарей, протоколистов и столоначальников, покончилось становыми приставами! Что же-с? Вышел такой годик, скажу вам, что пришлось хоть публиковать в губернских ведомостях о вызове лиц, желающих служить, положим, в губернском правлении и двух наших палатах! Все чиновники ушли, да и не далеко, и тут же близко ушли, даже в ту же

губернию: поступили на службу к другому начальству... Да-с! Тут же, на речке Безыменке, в каменных палатах проживал у нас свой начальник откупщик, господин, положим, Чубуков Клим Григорьевич! Жил он на всей вольготности, ел на золоте, спал на бархате, ходил по атласу, сидел на шелку и глядел на миллионы. Помощничек его, откупщик в осьмнадцатом от него колене и выжига такой же, как и он, 84-й пробы, получал жалованья от него 3000 рублей серебром! Три тысячи рублей серебром — и получает кто же? Кулак, борода, синяя чуйка, рядец из села Трехполтинова! Да ведь это генеральское и чуть-чуть не сенаторское жалованье! Господи! Так как же было не бежать к такому-то трехбунчужному паше, к такому Сарданапалу нашим всем чиновникам? Ну, и перебежали! Он же, кстати, и не важничает, не говорит вам *ты*, не лицеприятничает, формуляров самовластно и по пустякам навеки не марает, не гнет всех за грош в три погибели, денег дает вдоволь, хоть за то и требует службы начистоту, и не упрекает за взятки... потому что там взяток уже никто и не берет, и брать не может, затем, что каждый в жизни обеспечен. Сказано очень умно: работник дорожит тем местом, которое его обеспечивает. Берет же тот, кто не взять не может. Вы не верите? Слушайте: говорю вам по совести. Взятки бывают трех родов: вынужденные, добровольные и навязчивые. За вынужденные — да покарает нас Бог! Навязчивых уже ныне мало... А добровольные — добровольные беру-с... и я!

У меня мороз прошел по коже. Иван Семеныч набил трубку, высек огня, закурил и отворил дверь.

— Пойдемте в сад. Душно здесь. Я вам сообщу одну вещицу.

Мы вышли, побродили по единственной дорожке, какая была в саду, пока начало вечереть, сели на лавочке, и пристав, разговорившись о своих расходах и житье-бытье, спросил меня:

— Знаете ли, сколько я получаю жалованья?

— Нет!

— Двести рублей ассигнациями.

Я ничего не ответил.

— А хотите ли знать, сколько мне с семьей да и всякому другому нужно непременно прожить в этой трущобе?

— Не знаю.

— Так слушайте же и, если захотите, хоть записывайте. Помните только, что жалованья я получаю двести рублей ассигнациями в год.

И он начал так:

— Дом мой состоит из меня, жены, свояченицы, двух детей, кухарки, девчонки для прислуги, кучера, лошади и дворовой собаки. Итого: осьми человек и двух скотов. Пожалуй, вы скажете, что без жены, значит, и без детей можно бы, для сокращения расходов, и обойтись в пользу страны? Ну, да ведь ими-то господа частные пристава прежде своего сана обзаводятся!.. Издержки начинаются с обеда. Пожалуй, вы скажете, что и обед не нужен. На это отвечу, что даже тот писец уездного суда, который получает в месяц казенного жалования 3 р. серебром и нанимает квартиру за городом в двух верстах, и тот эту квартиру нанимает со столом, с платою по 5 р. сер. вместе за этот стол и квартиру. (Замечайте: 3 и 5! Он уже на два целковых должен взять взятку.) Итак, я ем и пью чай. Это уже обычай самых бедных русских людей... то есть, виноват, взяточников! Чаю выходит у меня в месяц 1 фунт; чай именуется: фамильный, ценою у нас 1½ р. сер. Сахару выходит в утро 8 кусков. Я пью внакладку; остальная семья вприкуску, свояченица же моя, ради смиренности и сиротства своего, даже вприглядку, как я тому ни противился. Итого 8 кусков в утро, 10 фунтов в месяц; по 30 к. сер. фунт у Лебезнева: 3 р. сер. в месяц. Да 1½ р. сер. за чай. В месяц всего 4½ р. сер.; а в год чай и сахар 54 р. сер. Далее, обед наш и людской. Наш: на базаре берется 5 фунтов говядины, у того же Лебезнева-мошенника, хоть придуши его, по 3 к. сер., значит, на 15 к. сер. Хлеба: три булки по 12 к. сер. каждая (еще в

1849 году я сам тут застал булку по 5 к. сер.), всего за хлеб 36 к. сер. Зелени: капусты, моркови на 3 к. сер. Картофелю: кладите тоже на 3 к. сер. Круп в кашу: на 6 к. сер. Соль берется оптом. Ну, кладите в обед на все кушанье на 3 к. сер. Масла на весь обед в кашу и на заправу блюд, по отсутствию кормов для скота, 30 к. сер. (пуд ныне по 12 р. сер.). Хрен, уксус и горчица также запасаются оптом. Ну, кладите в обед: на 4 к. сер. Да молока копеек на 10 сер. Считайте-ка по пальцам, ну-ка! три да три, три да три копейки сер. А сочтите обед. (Мы принесли счеты и стали выкладывать аккуратно). В итоге выходит: 1 р. 10 к. сер. Считайте еще, что последние три года, во время войны, говядина была по 5 к. сер. за фунт, так и больше выйдет. Без рюмки водки трудно обойтись в нашем ремесле, после всякой беготни: еще 3 к. сер. Итого наш обед в день 1 р. 13 к. сер. Теперь людской. Если наш состоит всего из борща, каши и жаркого, то людской может уже смело состоять из одного борща и каши. Кладите им: вместо мяса, на трех человек, сала свиного на 3 к. сер.; зелени на 3 к. сер.; круп для каши на 5 к. сер.; квасу-сыровцу на 3 к. сер.; соли на 3 к. сер.; хлеба ржаного на 12 к. сер. Итого: людской обед 29 к. сер. С нашим вместе общий обед в моем доме: 1 р. 42 к. серебром.

Заметьте, высчитавши это, я по строжайшей экономии кладу, что ужин моей семье и людям должен составляться, если желудок потребует такового, из остатков обеденных. Из них же должна продовольствоваться круглый год дворовая собака. И из тех же, наконец, экономических остатков должны пополняться более роскошными прибавками обед и ужин в праздничные дни. Предоставляю вам судить, каковы, значит, у нас эти праздничные банкеты, в Рождество, на Новый год и на Пасху, когда, по пословице, «и у подпечной крысы сластей полные мисы»...

Итак *еда*, (то-есть чай, обед и ужин) в моем доме обходится: обед по 1 р. 42 к. сер. в день, в месяц 42 р. 60 к. сер., в год 511 р. 20 к.; а включая сюда стоимость чая в

год, приведенную выше, 54 р. сер., получим всего в итоге за еду в год: 565 р. 20 к. сер.

Далее. Квартира здесь, подобная моей, стоит 150 р. сер. Кладите, что мне сбавляют по отводу 70 р. сер. Я доплачиваю от себя: 80 р. сер. Их только и считаем.

Дрова. Сажень у нас, на безлесье, стоит 13 р. сер. Нужно в обрез 6 сажен в год: итого 78 р. сер. Да на кухню кладите не дров, а навозного овечьего кирпича, по здешнему кизяка, 2 сажени в год, по 5 руб. сер.: итого 10 руб. сер. Выходит на дрова 88 р. сер.

Далее. Освещение. Кладите 1 фунт сальных свечей на два дня, или 3 фунта в неделю, в пятьдесят недель 150 фунтов, по 12 к. сер. Сколько выйдет? 18 р. сер. в год.

Переходим к одежде. Я делаю пару платья в год. Сукно по 2 р. сер. аршин; 5 аршин на пару, на сюртук и брюки — 10 р. сер. Работа Щеголеву или Швенкелю 3 р. сер. Приклад 2 р. Сапог три пары в год, по 3 р. сер.; итого 10 р. сер. (Тут считается починка на 1 р. сер.) Белье, галстуки, жилет и шапка — на все кладу в год 5 р. сер. Значит, мой костюм в год: 35 р. сер.

Жена моя. Два платья ситцевых по 2 р. сер. с шитьем и одно к празднику шелковое, канаусовое, 10 р. сер. Вы скажете, зачем шелковое? А вон не хотите ли посмотреть? Видите, вон идет мой хожалый солдат, из губернских будочников? У него есть жена. Как бы вы думали? И она носит шелковые платья! Что скажет моя жена, коли я откажу? Итак, за платья 14 р. сер. Шляпа одна в год: 4 р. сер. Чепчик: 2 р. сер. Башмаков 6 пар по 50 к. сер. — 3 р. сер. Платок большой на плечи 2 р. сер. Мантилья 6 р. сер. Зонтик 2 р. сер. Всего женин наряд 33 р. сер.

Может быть, да и наверное, я еще многое тут позабыл. Ну, да пусть уже так! Одежду свояченицы кладите столько же — 33 р. сер. У других нет своячениц — ну, те и счастливцы. Моя хоть и пьет чай вприглядку, зато вертит хвостом не хуже моей половины. Одежду обоих детей: каждому

кладите столько же, коли не больше; вы знаете, что такое дети?.. Ну, да при хлопотах матери, кладите обоим 33 р. сер. Итак, одежда всей семьи, со мною, выходит 134 р. сер. в год.

Одежда людская. Девке комнатной старое барынино платье. Кроме того, на 2 фартука, по 40 к. сер., хотя летом полагается ходить босиком, но все-таки она сносит в год 2 пары башмаков, по 40 к. сер., и одни сапоги в 1½ р. сер.; два платка: в 30 и 50 к. сер. Тулуп на зиму: 5 р. сер. Две рубахи, по 1 р. сер. каждая, считая холст по 7 к. сер. аршин. Итого 10 р. 90 к. сер.

Кучеру: 2 пары сапог — 3 р. сер. Тулуп: 5 р. сер. Армяк: 4 р. сер. Пояс: 50 к. сер. Шапка зимняя: 1 р. сер. Летняя: 75 к. сер. Рукавицы: 50 к. сер. Две китайчатых рубахи: 1½ р. сер. Одни брюки китайчатые, кубовые синие: 1½ р. сер.

Кухарке: менее, чем девке в платках, но более в сапогах, по случаю ходьбы на базар зимой и на реку мыть белье в проруби. Значит, то же самое: 10 р. 90 к. сер. А всего одежда дворни в год: 41 р. 5 к. сер.

Жалованье бабам (о, изумление!) кладите всего 10 р. сер. в месяц! Менее 1 р. сер. в месяц! Ведь это — со времен царя Гороха и царицы Чечевицы! Жалованье кучеру не полагается: он из полицейских, только армяк носит.

Но вот что всего любопытнее, и этим я завершу свой бюджет. Как вы думаете, нужна мне лошадь? Нужна или нет, отвечайте прямо?! Вы улыбаетесь, считаете это прихотью? Нет-с, не прихоть это-с. Говорят тебе: драка, воровство, офицеры буйство чинят, жида побили! Где, как? В Скотовиловке. Ну, и беги в Скотовиловку! А Скотовиловка ровно четыре версты за городом и в городской черте считается! И сколько таких сел считается в городской черте?.. Да и город-то весь почти из сел состроился, на пять меряных верст раскинулся! На пять верст! Цепь длинная! Ну, и исходи, избегай ее в день

с конца в конец раз пять-шесть! А истории вроде вашей тут каждый день: из народонаселения две трети жидов; они смирны, да зато грязны. А ведь полиция и чистоту нравов, и чистоту задних дворов наблюдай! Войска проходят поминутно: смотри и за их выгодами! Словом, батюшка, без лошади да без таратаечки нашему брату не обойтись. Ну-с, и содержим мы эту лошадь! Так как же бы вы думали? Сколько стоит содержание лошади в год? А?.. Считая воз сена, в три-четыре копны, в 3 р. сер., а по нынешним ценам и того дороже, выйдет в год: 60 р. сер. Ровно, значит, содержание моего рысистого скота стоит столько, сколько я сам получаю жалованья: двести рублей ассигнациями с небольшим! Вот и судите, брать ли нам взятки или не брать?.. Подводите итог, подводите... Это для меня самого любопытно...

И он устремил глаза на счеты... Я положил на счетах все вышеозначенные цифры, взглянул на кости и пришел в истинное изумление. На костях стояло в итоге:

Чай и сахар	54	р. сер.		
Пища семьи и дворни	511	»	20	к. с.
Квартира	80	»		
Дрова	88	»		
Освещение	18	»		
Платье семьи	134	»		
Одежда дворни	41	»	5	» »
Жалованье бабам	20	»		
Прокорм лошади	60	»		
Ремонт упряжи и дом. утвари	10	»		
Всего в год	1016	р.	25	к. с.

Я не мог вытерпеть и вскочил...

— Тысяча шестнадцать рублей двадцать пять копеек серебром! — воскликнул я. — Да возможное ли это дело? Здесь, в глуши!..

— Тысяча шестнадцать рублей, точно так! Не менее, о, еще далеко не менее тысячи серебром! Вы скажете,

что хоть это и в обрез, да может быть во всем и экономия? Не спорю... Но на эту экономию я положил праздники и ужин (я на ужин ни семье, ни дворне, ни скотам ничего не клал!) А теперь еще положите: болезни, непредвиденные случаи, посылки матери моей... Ведь у меня 80-летняя старуха мать еще жива — и у брата в Житомире живет... Да на пост: на говенье попу, на молебны; на сласти, наконец...

— О, если еще сласти считать... — заметил я.

— А как бы вы думали: без трубки табаку обойдется теперь наш брат? Ведь я уже все принимаю в расчет... И жена нюхает! Богомоловский 3-й сорт, да подмешивает золы... А конфет детишкам я и не кладу...

Мы помолчали и встали. Уже окончательно стемнело, и скоро месяц вырезался из-за соборной церкви, построенной еще, как говорят, при запорожцах.

— На ком же вы, Иван Семенович, добираете то, что вам не дает казна? — спросил я, ходя по саду.

Пристав хотел ответить и замолчал. Над забором у ворот показалась голова моего жида-возницы. Он сгорал нетерпением и страхом при виде долгого визита моего у пристава и подъехал с фургоном. Я ему крикнул, чтоб он отъехал к стороне, а сам возобновил вопрос. Пристав вздохнул, и на лице его показалось то же строгое и печальное выражение, какое я еще в доме раз у него заметил.

— С купцов берем... — ответил он со вздохом, — ведь они все сами тычут, добровольно тычут! С беспаспортных тоже... С этих наш городничий, правда, лично получает; ну, да знает тоже честь, и с нами делится. Беглых у нас особенно много летом и зимой на заработках проживает. Все с севера России! Потом ярмарки... Десять тысяч серебром у нас полиции одна весенняя ярмарка дает. Народ-то тогда все голодный; ну, и украсть, и выпить, и побуйствовать любит! Вора поймаешь, его посадишь в холодную, а из карманов-то его кража

все в наш же карман идет! Жиды тоже за явку паспортов дают... Наконец и откуп... Взятка с этой козы такая уже, что и не взять совестно! Не подоишь ее, так, пожалуй, говорят, и заболеет коза... Да и мало ли еще с кого... Все добровольные, а насилия нет, убей Бог, нет... Больно все вздорожало, и все тут... А насилия мы, по крайней мере я, не делаем, убей Бог — ни на волос!

— Иван Семенович, — сказал я, прощаясь с добродушным стариком, — вы не будете сердиться за один вопрос?

— А что? опять спросите: взяточник ли я и подлец ли?

— О, нет! Помилуйте, что вы говорите?

— Так что же?

— Позволите вы мне напечатать то, что вы мне теперь рассказали? У меня один знакомый в журналах пишет...

— Напечатать?.. А, пожалуй! Только по имени не обзовите, а то городничий прогонит... Я литературу люблю и сам г. Щедрина и г. Громеку читал; а тот — и-и!.. не любит, убей Бог, не любит... говорит, всех этих писателей бы в мешок да в воду...

1860 г.

VI

ШАМИЛЬ В МАЛОРОССИИ

Пока столицы еще ждали кавказского героя, наши степи уже встречали его. 12 сентября Шамиль проехал через Изюм. 13-го утром, в 4 часа, он был на станции в Чугуеве, в 36 верстах от Харькова. Я проезжал в это время через Чугуев. Значительная толпа народа суетилась у подъезда станции. В коридоре, у дверей в комнаты налево, стояли молча офицеры и несколько генералов. Все говорили шепо-

том. Иные нагибались к замочной скважине и смотрели в комнату.

— Шамиль напился чаю и спит! — сказал кто-то.

— Так он и чай пьет? — спросили из толпы.

Вышел из комнаты, где отдыхал имам, в черкесском наряде офицер, говоривший по-русски.

— Что Шамиль? — спросили его.

— Лег вздремнуть.

— А Кази-Магона, его сын?

— Курит папироску.

— Мариланд Спиглазова? — спросил кто-то.

Офицер вынул пачку из кармана и взглянул на сигнатурку.

— Нет, Достоевского! — ответил он с улыбкой. — Купили в Бахмуте; крепкие, турецкие.

Мне сразу мелькнул в уме Петербург и почтенный фабрикант, автор «Белых ночей» и очень недурных папирос.

— Как его взяли? — допрашивал молодой офицерик. — Говорят, что его жена, армянка, стреляла по многим в последние минуты, что у него два миллиона денег серебром и золотом осталось и что он просился в Мекку?

— Многое говорят, — ответил офицер в черкеске, — Дюма еще не то напишет. Читали мы его сказки! А Шамиль и не знает про него; мы спрашивали.

Толпа у дверей засуетилась. Вышел сын Шамиля — с белым, несколько грубым и загорелым лицом, в светлом плаще верблюжьего цвета и в черной бараньей папахе на голове. С ним переводчик.

— Имам проснулся и позволяет войти всем! — сказал он громко и с улыбкой в ответ на всякие просьбы стоявших у замочной скважины.

Мы все вошли. Шамиль сидел на станционном диване, стареньком, столько знакомом каждому из нас, у ломберного стола. Комната, оклеенная полосатыми обоями, украшалась портретом Государя Императора, в рост, над

диваном. Шамиль сидел под портретом и, при входе нашем, поверял свои карманные часы с большими часами, висевшими на стене при входе в комнату. Мы поклонились и полукругом, толпой человек в тридцать, стали близ него, шагах в двух. Он спрятал часы в карман, куда-то под белые костяные патроны на груди черной черкески, и тихо, более глазами, чем головой, ответил на наш поклон. Все молчали, только смотрели на него.

Вот его портрет. Огромная, белая, свернутая не то из кисеи, не то из тонкой шерстяной ткани чалма на голове; широкая, длинная, подкрашенная коричневою краскою борода; черные, несколько блуждающие, будто убегающие от резкого дневного света глаза, постоянно опущенные книзу. В руках четки. Лицо гладкое и еще довольно свежее. У глаз несколько морщин. Морщина, и довольно резкая, между бровей. Губы его иногда что-то шепчут, будто молитву. Голос его тихий, несколько глухой. Вообще, Шамиль производит скорее впечатление духовного лица, нежели воинственного человека. Это скорее герой романов Морьера и лицо из мистических и тихих сказок «Тысячи и одной ночи», чем виновник кровавых реляций «Инвалида», от наместничества графа Воронцова до князя Барятинского. Смотря на эти мягкие, ласковые глаза, на старческое, монашеское шептание губ, на четки и неподвижную, сурьмленную бороду, с важностью которой нас познакомили с детства и похождения Хаджи-Бабы в Испагани, и пресловутая «Шехеразада», никак нельзя допустить, чтобы этот человек был виновником драм, оглашавших столько лет Кавказ. Такие лица я видел в Крыму, задолго до войны, под вечер, за перилами башенок минарета, сзывавших прохожих на молитвы.

Мы стояли, молчали, смотрели и смотрели. Вот он вздохнул, вот белыми небольшими руками стал поправлять перевязь на груди, у шашки. Оружие ему возвращено. Сзади, за кучею стоявших, шел разговор шепотом; говорил станционный смотритель: «Это приехал, выслал всех, простлал ков-

рик, разулся, умылся и давай молиться; молился долго. Напился чаю и лег спать. Да не спал, все ворочался. Потом стал говорить. Я спрашиваю переводчика, о чем он бормочет. Говорит: наскучило ехать в карете; просится ехать в Петербург верхом».

Посетители еще постояли, посмотрели, помолчали и стали расходиться.

— Вот он какой! Тихий да простой.

— Так это-то Шамиль? И стоило будить меня в четыре часа, глазеть на него: так себе, какой-то простяк, род татарина, что с халатами ходят.

На крыльце стояли два русских офицера, из кавказских урожденцев, в черкесках, прикомандированных к соседней дивизии, собранной в Чугуеве.

— Эх, лев, лев, голова-то, глаза! Вот гений, вот герой царственный! — говорил один из них с пылавшими глазами. — У такого великого пленника и на ординарцах не бесчестье простоять! Вот бы сюжет Лермонтову. Это не чета Печорину.

Толки шли разные. Были и такие недостойные слова:

— Зверь, чистый зверь; что на него смотреть! В крепость его теперь; немало народу он погубил!

Я опять воротился в комнату. Шамиля окружали спутники его, в черкесках. Почтительно снявши с него чалму, в то время как он все еще сидел на диване (причем я заметил его бритую, серебристую голову, прикрытую парчовою шапочкой), спутники надели ему через плечо ятаган, служа ему, как служат послушники высшему духовному лицу. Шамиль спросил, скоро ли он поедет далее. Ему сказали, что посланный к корпусному командиру все еще не возвращается. Прошло еще довольно времени. Посланный воротился и объявил, что корпусный командир на свидание не будет. Ему подали лошадей. Он встал, накинул плащ, быстро оглянулся и быстро прошел по опустелой комнате. Тут только, при виде его исполинского роста и твердой, царственной поступи, мне пришли

на ум Ахта и Гергебиль, Дарго и Ведены. Севши в карету (говорят, уступленную ему князем Барятинским), он раза три нетерпеливо оглядывался и все спрашивал что-то. Это он ждал замешкавшегося своего сына. Ямщик тронул вожжи, и Шамиль уехал, среди новой толпы, собравшейся на улице уже оживленного города.

Подкатили дрожечки, на них два юнкера.

— Эх, Петя, опоздали! Не догнать ли его?

— Нет, Гриша, не догонишь! Лошадь пристала!

— Так как же?

— А как? В Кочетке (в пяти верстах), в вокзале, сегодня Юлию Пастрану показывают; лучше вечером поедем туда!

— Ну, хорошо...

И простодушные дрожечки поехали назад.

День этот и следующий прошли тихо. Только войска все передвигались. Под вечер из Харькова прискакал фельдъегерь. Объявлено, что Государь будет в Чугуеве не 16, а 15 сентября, завтра, во вторник, утром, что смотр войскам назначен также 15, и что Шамиль 14 опять будет назад в Чугуев из Харькова, что ему объявлено приказание быть на царском смотру.

В самом деле, вечером 14 числа, в понедельник, новый фельдъегерь привез известие, что Шамиль выехал снова из Харькова, в 6 часов после обеда, и в 8 будет в Чугуеве и остановится в доме начальника округа, на площади, рядом с корпусным штабом, близ собора. Толпа дам, уже в 7 часов, ожидала его, разряженная, в сенях подъезда. Шли новые толки.

— Вы слышали, mesdames, что Шамиль в Харькове был в конном цирке и так восхитился представлением плясунов и — главное — плясуний, что спросил, нельзя ли начать представление снова?

— Я только что из Харькова, — отозвалась одна дама, — там его не увидела, так приехала сюда.

— Расскажите, как же он там принят...

— Он остановился на Екатеринославской улице, катался на лошадях, совершенно восхитился городом и дамами, нахлынувшими к нему. Одни потчевали его ананасами, другие — конфетами, третьи — улыбками. Кто-то спросил, нравятся ли ему наши дамы. Он отвечал: не все — молодые.

— А вы знаете, что за суд он изрек года за два, на Кавказе, над одним жидом? — спросил какой-то офицер. — Говорят, один черкес, рубя дрова, взял в плен еврея, русского маркитанта, и посадил его сзади себя верхом на коня. Дорогою еврей, дрожа от ужаса, выдернул из-за его пояса топор, убил черкеса, столкнул его и поскакал, но был пойман другим черкесом, видевшим это, и приведен к Шамилю. Вот суд Шамиля: семью убитого черкеса он велел наградить; черкеса, поймавшего вновь еврея, велел высечь за то, что он на месте не убил жида; а жиду объявил так: прощаю тебя за то, что в первый раз в жизни вижу храброго жида...

Вошел полный господин, с вестью, что приехал передовой Шамиля. Ворвавшийся ветер чуть не загасил стеариновой свечи на стене сеней.

— Ах, Боже мой, войдет Шамиль, и мы его не увидим впотьмах; нельзя ли лампу?

Но сторож-солдат был неумолим и не обращал внимания на вопли дам, хотя, в самом деле, свеча то и дело гасла. Вдруг подъехал экипаж, вошел сын Шамиля с мюридом, и едва прошел по лестнице вверх, явился и сам имам. Многие прошли за ним наверх. Ему тотчас подали чай. Он сел на диван и окинул глазами комнату. Три картины, рисованные масляными красками, висели по стенам: сцены из библейской истории и пожар какого-то города. На пожар он глядел долее. Опять вошли дамы и новые офицеры, столпились полукругом у стола, стояли, молчали и смотрели... Пронесли ему две складные кровати. Глаза у него слипались. Он даже зевнул; на большом пальце правой руки, державшей черные четки, блеснуло

серебряное, грубой работы, кольцо. Посетители постояли, посмотрели и разошлись.

Наутро Государь принимал Шамиля. Имам, как я сам видел, шел во временный дворец бледнее обыкновенного и тревожно двигал руками, гладя бороду. Потом Шамиль был на смотру, верхом. Блистательное войско, парадные наряды и эволюции заняли его чрезвычайно.

Но вот Государь в половине 3 часа пополудни 16 сентября въехал в Харьков. Вслед за ним приехал Шамиль. В 8 часов вечера зажглась по городу иллюминация. Запылала в огнях громадная, исполинская колокольня собора, зажглись вензеля, триумфальные арки на площадях. Запылало электрическое солнце над университетом. Шамиля повезли по городу.

— Что это? верно, слова какие-нибудь? — спросил он, подъезжая с Екатеринославской улицы к университету, где над горой из огней составлена была надпись, длиною саженей в 50, вдоль окон, над тополями.

— Да, слова, — ответил переводчик.

— Что же такое, я хочу знать?

— *«Да распространяется повсюду стремление к просвещению!»*

— А!..

И имам склонил голову, в знак удовольствия.

Но вот у освещенного дворянского собрания толпа крикнула «ура». Государь приехал на дворянский бал. Шамиль в белом тюрбане, белой кашемировой черкеске, с сыном и тремя мюридами, высился над раздушенною толпою дам. Войдя в зал, Шамиль отшатнулся от двери: так его поразило освещение, убранство громадной залы, украшенной гербами уездов и цветами, блеск свечей и нарядов. Заиграла музыка, пары двинулись в польском. Шамиль вошел в толпу, изумленными глазами окидывая костюмы дам...

— Боже мой, — говорили в толпе, разглядывая его сурьмленную бороду, усы, черные, блуждающие глаза, белый огромный тюрбан и губы, шептавшие какие-то слова, — кто

сказал бы еще неделю назад, что Шамиль, вооруженный Шамиль, будет в Харькове, на бале, среди дам, танцующих польский?

Бал развернулся во всем блеске. Толпа сдвигалась поминутно везде, куда шел «последний кавказский лев».

— Не устал ли имам? — спросили его через переводчика. — Вчера он был на смотру с дороги, сегодня с дороги на балу?

— В присутствии Его Величества Русского Императора я не чувствую усталости! — ответил Шамиль.

— А кто ему из дам более нравится?

— Все нравятся! — ответил Шамиль.

— А позволяет ли ему закон его веры быть в обществе женщин?

— Я сам закон моей веры и могу...

Вроде этого давал ответы глава мюридизма на пышном бале Харькова.

Сыну его задали один вопрос:

— Видите, как у нас все свободны, как весело?

— Да, хорошо у вас; но надо много денег!

Один молоденький господин протиснулся к Шамилю и спросил переводчика:

— Читал ли Шамиль книгу г. Вердеревского «Плен у Шамиля княгинь Орбелиани и Чавчавадзе?»

— Шамиль не видел ни одной европейской книги и не знает, что о нем пишут!

— А газеты у него получались?

— Ему дела не было до газет; а покойный его сын получал петербургские и московские «Ведомости, но недолго!

На бале узнали, что Шамилю назначено жить в Калуге.

— Отчего вы так упорно не сдавались? Видите, как здесь хорошо!

— Да, я жалею, что не знал России и что ранее не искал ее дружбы! Я с полным доверием теперь еду в глубь России, в Москву и в Петербург...

Жены его и сын Магма-Шапи остались в Шурах.

Еще часа два ходила толпа на бале за ним. Он не ужинал, смотрелся в зеркала новой залы, нарочно выстроенной для приезда Государя, еще прошелся и уехал, сказавши губернскому предводителю дворянства, когда Государь уже уехал:

— Все, что я здесь видел, меня очень заняло; но в особенности то, как любит высокое сословие дворян своего молодого Государя!

Через день Шамиль уезжал в Москву.

На крыльце его спросили:

— Как же все это, что он видит, можно сравнить с его Кавказом?

Шамиль ответил:

— Кавказ — это жизнь, действительность; а то, что теперь вижу, сказка для меня!

1859 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 9

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 26.01.95.
Формат 70 X 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 31,5. Уч.-изд. л. 35,24. Тираж 15 000 экз.
Заказ 95

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ
«Ярославский полиграфкомбинат». 150049,
Ярославль, ул. Свободы, 97.

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ